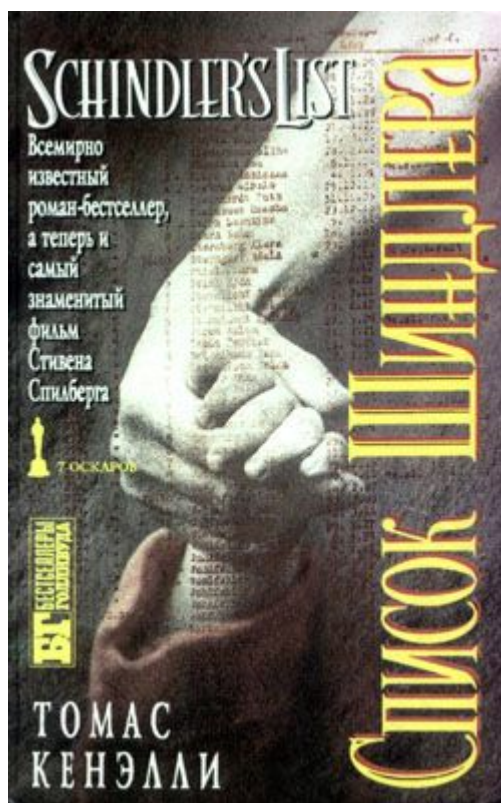


Томас Кенэлли Список Шиндлера



OCR Денис
Оригинал: Thomas Keneally, "Schindler's List"
Перевод: Илан Е. Полоцк

Аннотация

Действие романа основано на истинных событиях, происходивших в оккупированной Польше во время Второй мировой войны. Немецкий промышленник Оскар Шиндлер в одиночку спас от смерти в газовых камерах больше людей, чем кто-либо за всю историю войны. Но это не история войны, это – история личности, нашедшей в себе мужество противостоять бесчеловечному государственному аппарату насилия.

Томас Кенэлли Список Шиндлера

В память Оскара Шиндлера и Леопольда Пфедферберга, страсть и настойчивость которого позволили этой книге появиться на свет

Предисловие автора

В 1980 году я зашел в магазин дорожных принадлежностей в Беверли-Хиллз, Калифорния, собираясь приобрести пару чемоданов. Магазин принадлежал Леопольду Пфедфербергу, одному из тех, кто выжил стараниями Шиндлера. И стоя у полки, уставленной импортными итальянскими кожаными изделиями, я впервые услышал повествование об Оскаре Шиндлере, немецком бонвиване, ловком дельце, обаятельной личности, полной противоречий, одним из свидетельств которых является его встреча с представителями обреченной на смерть расы в те годы, которые ныне известны под именем Холокоста, Катастрофы.

Рассказ об удивительной истории Оскара основан главным образом на беседах с пятьюдесятью людьми, спасенными Шиндлером, которые ныне живут в семи странах – Австралии, Израиле, Западной Германии, Австрии, Соединенных Штатах, Аргентине и Бразилии. Он дополнен и обогащен посещением в компании Леопольда Пфедферберга тех мест, которые упоминаются в книге: Кракова, где разворачивалась деятельность Оскара; Плачува, где располагался концентрационный трудовой лагерь, Липовой улицы в Заблоче, где по-прежнему находятся корпуса предприятий Оскара; Аушвица-Биркенау, откуда Оскар набирал к себе заключенных женщин. Немалое значение для повествования имели документальные свидетельства и другая информация, полученная от тех немногих соратников Оскара военных лет, которых удалось разыскать, а также от большого количества его друзей послевоенных лет. Много подробных свидетельств, имеющих отношение к Оскару, поступило от «евреев Шиндлера» на хранение в музей Йад-Вашем. Мои записи были дополнены материалами, собранными в память героев и мучеников, а также письменными показаниями из различных источников и немалым количеством бумаг и писем самого Шиндлера, частью хранящимися в музее Йад-Вашем, частью предоставленными его друзьями.

Использование романной ткани и специфических литературных приемов при изложении подлинной истории редко применяется в современной литературе. Тем не менее я предпочел идти именно по этому пути – и потому, что в моем распоряжении были чисто писательские навыки, и потому, что форма романа показалась мне наиболее подходящей, когда предстояло описать столь противоречивую и мощную фигуру, как Оскар Шиндлер. Тем не менее я постарался избегать всякого домысливания, если оно входило в противоречие с документами, – и все же мне нередко приходилось выбирать некий средний путь между подлинностью и мифами, обилие которых неизменно сопровождало такую личность, как Оскар. Порой возникала необходимость в полном объеме реконструировать разговоры Оскара, о которых остались лишь краткие упоминания. Но большая часть диалогов и контактов основана на подробных воспоминаниях *Schindlerjuden* (евреев Шиндлера) или самого Шиндлера и других, которые были свидетелями его отчаянного мужества.

Я хотел бы принести свою благодарность первым трем из числа спасенных Шиндлером – Леопольду Пфедфербергу, судье Моше Бейски из Верховного суда Израиля и Мечиславу Пемперу, которые не только поделились с автором своими воспоминаниями об Оскаре и представили ему документы, способствовавшие точности повествования, но также, прочитав первый вариант книги, внесли в него ценные уточнения. И многие другие, среди которых были и спасенные Оскаром во время войны, и его послевоенные коллеги и друзья, поделились своими воспоминаниями и щедро снабжали автора информацией в виде писем и документов. Среди них я хотел бы назвать фрау Эмили Шиндлер, миссис Людмилу Пфедферберг, доктора Софи Штерн, миссис Хелен Горовитц, доктора Джонаса Дрезнера, мистера и миссис Генри и Мариану Рознер, Леопольда Рознера, доктора Алекса Рознера, доктора Идека Шинделя, доктора Дануту Шиндель, миссис Регину Горовитц, миссис Брониславу Каракульску, мистера Ричарда Горовитца, мистера Шмуэля Спрингмана, покойного мистера Джекоба Штернберга, мистера Ежи Штернберга, мистера и миссис Льюис Фаген, мистера Генри Кинстлингера, миссис Ребекку Бау, мистера Эдварда Хьюбергера, мистера и миссис Ирвинг Гловин и многих других. У меня в доме мистер и миссис Э. Корн не только дели-

лись своими воспоминаниями об Оскаре Шиндлере, но и оказывали мне постоянную поддержку. В Йад-Вашеме доктор Иосиф Кермитц, доктор Шмуэль Краковски, Вера Прауснитц, Хана Абель и Хадаша Модлингер не только обеспечили мне полный доступ к свидетельствам спасенных Шиндлером, но и предоставили в мое распоряжение все видео и фотоматериалы.

И наконец, со всем уважением я хотел бы отдать должное тем усилиям, которые приложил покойный мистер Мартин Гош, чтобы имя Оскара Шиндлера стало известным миру и принести дань уважения его вдове, миссис Люсиль Гене, за ее помощь в осуществлении этого замысла.

При неоценимой помощи всех этих людей удивительная история Оскара Шиндлера в первый раз предстает в полном виде.

Том Кенэлли

Пролог Осень 1943 года

В Польше стояла глубокая осень, когда из богатого и элегантного многоквартирного дома на улице Страшевского вышел высокий молодой человек в дорогом пальто, под которым виднелся двубортный смокинг на его лацкане красовалась большая, украшенная золотом и черной эмалью *Hakenkreuz* (свастика), и увидел своего шофера, который, дыша клубами пара, ждал его у открытой дверцы огромного и, что особенно выделялось на этом мрачном фоне, блестящего лимузина марки «Адлер».

– Смотрите под ноги, герр Шиндлер, – сказал шофер. – Все покрыто льдом, как сердце вдовы.

Став свидетелями этой мимолетной сценки на открытом воздухе, мы, тем не менее, обрели почву под ногами. Высокий молодой человек до конца своих дней будет предпочитать носить двубортные смокинги и – поскольку он имел кое-какое отношение к технике – всегда пользоваться большими внушительными машинами и (хотя он и был немцем, а немцы в тот период истории пользовались непререкаемым влиянием) неизменно оставаться человеком, с которым польский шофер может себе позволить по-дружески почтительно пошутить.

Но вряд ли возможно приступить к изложению всей нашей истории, ограничившись столь краткой характеристикой. Ибо она повествует об убедительном триумфе добра над злом, триумфе, который имеет точное и неоспоримое выражение. Когда вы подходите к этой сложной задаче с другой стороны – то есть, когда пытаетесь последовательно и полно рассказать о неоспоримых успехах зла – нетрудно быть пронизательным, точным и мудрым, чтобы избежать банальностей. Нетрудно показать неотвратимость зла, пронизывающего всю ткань повествования, хотя порой добро может и одержать верх с помощью таких трудно учитываемых преимуществ, как достоинство и самоуважение. Врожденные человеческие пороки всегда привлекают основное внимание повествователя, врожденная порочность человеческой природы является питательной средой для историка. Но когда собираешься писать о человеческих добродетелях, такой подход становится рискованным.

«Добродетель», в сущности, столь опасное слово, что возникает необходимость в объяснении его смысла; герр Оскар Шиндлер, который сейчас подвергает опасности свою блистающую обувь на обледенелом тротуаре одного из самых старых и аристократических кварталов Кракова, отнюдь не был добродетельным молодым человеком в привычном смысле этого слова. В городе он снимал квартиру для своей немецкой любовницы и давно крутил роман со своей польской секретаршей. Его жена Эмили предпочитала большую часть времени проводить в их доме в Моравии, хотя порой наезжала в Польшу, чтобы навестить мужа. Тут необходимо уточнить: по отношению ко всем своим женщинам он был любезным и щедрым любовником. Но это не извиняло его, если говорить о привычном понимании слова «добродетель».

К тому же он был далеко не дурак выпить. Порой он выпивал ради чистого удовольствия, доставляемого алкоголем; куда чаще ради осязаемой выгоды ему приходилось пить с коллегами, людьми из СС. Мало кто мог сравниться с ним в умении сохранять ясную голову во время возлияний. И опять-таки это качество – в узком понимании моральных достоинств – не могло служить оправданием его склонности к кутежам. И хотя заслуги герра Шиндлера получили документальное подтверждение, нельзя не сказать о некоторой двойственности его природы, которая помогла ему существовать или, по крайней мере, иметь дело с продажной и чудовищной системой, запол-

нившей Европу концентрационными лагерями, в каждом из которых в той или иной мере торжествовала бесчеловечность, превратившая один из народов – о нем предпочитали умалчивать – в нацию узников. Таким образом, может быть, лучше всего ограничиться намеком на столь странные добродетели герра Шиндлера и перейти к повествованию о местах и людях, в общении с которыми они и проявлялись.

Добравшись до конца улицы Страшевского, машина проехала мимо черной громады Вавельского замка, из которого высокочтимый юрист национал-социалистической партии Ганс Франк правил генерал-губернаторством Польши. Как и полагалось замку, в котором обитал дух зла, в нем не было ни проблеска света. Ни герр Шиндлер, ни его водитель старались не глядеть на его твердыню, когда машина повернула на юго-запад, в сторону реки. На мосту в Подгоже, перекинутом через замерзшую Вислу, охрана, которая была обязана препятствовать проникновению в город партизан и других саботажников, остановив машину, потребовала от водителя *Passierschein*. Герр Шиндлер часто проезжал через этот пропускной пункт, перемещаясь то со своего предприятия (на территории которого у него тоже были апартаменты) в город по делам, или же из своей квартиры на Страшевского на заводы в предместье Заблоче. Привыкнув встречаться с ним после наступления темноты, охрана пропускала его без особых формальностей, зная, что так или иначе пассажир машины направляется то на обед, то на прием, а то и к себе в спальню; а может, вот как сегодня вечером, за десять километров от города в концентрационный лагерь в Плачув, где его ждал обед с гауптштурмфюрером СС Амоном Гетом, высокопоставленным сластолюбцем. Поскольку герр Шиндлер пользовался репутацией щедрого дарителя горячительных напитков под Рождество, его машина без особых задержек была пропущена в пригород Подгоже.

Не подлежит сомнению, что на этом этапе своего существования, несмотря на свою любовь к хорошему столу и выдержанному вину, герр Шиндлер воспринимал сегодняшней обед у коменданта Гета скорее с омерзением, чем с предвкушением. Не было случая, когда необходимость сидеть и пить с Амоном вызывала у него иные чувства, кроме тягостных и неприятных. Тем не менее, отрицательные эмоции герр Шиндлера носили этакий пикантный оттенок – возбуждение от предвкушаемого омерзения было как бы сродни средневековым мистериям, то есть, эти эмоции, можно сказать, больше подхлестывали Шиндлера, нежели обессиливали его.

Расположившись в салоне «Адлера», обтянутого черной кожей, герр Шиндлер ехал вдоль трамвайных путей, которые с недавнего времени обозначали границу еврейского гетто и, как всегда, непрерывно курил. Но таким образом он обретал спокойствие. Нет, манеры его не страдали напряженностью; он всегда отличался изысканностью поведения и неизменно давал понять, что вслед за бутылкой хорошего коньяка приходит черед дорогой сигареты. И только он мог понять, приносит ли ему облегчение глоток из фляжки, к которой он прикладывался, проезжая по вымершей почерневшей местности и видя, как по дороге на Львов тянется череда теплушек для скота, в которых могли быть солдаты или заключенные, или даже – хоть в это было трудно поверить – коровы.

Оказавшись в пригороде, километрах в десяти от центра города, «Адлер» повернул направо, на улочку, которая по иронии судьбы носила название Иерусалимской. Ночь начала забирать морозцем и в стывшем воздухе герр Шиндлер первым делом увидел под холмом разрушенную синагогу, а затем скопление строений, которое в те дни получило название «Иерусалима» – концентрационный лагерь Плачув, барачный поселок, в котором размещалось 20 тысяч представителей беспокойного еврейского племени. Украинская полиция и люди из Ваффен СС любезно встретили у ворот герра Шиндлера, ибо и здесь он пользовался не меньшей известностью, чем на мосту в Подгоже.

Поравнявшись с административным зданием, «Адлер» двинулся по тюремной дороге, вымощенной еврейскими надгробиями. Еще два года назад на месте лагеря размещалось еврейское кладбище. Комендант Гет, считавший себя поэтом, использовал его конструкции, не задумываясь о возникшей метафоре. Она подразумевала дорогу, устланную надгробьями и разделившую лагерь на две половины – но она обрывалась, не доходя до виллы, занятой самолично комендантом Гетом.

С правой стороны, за казармами охраны располагалась бывшая еврейская покойницкая. Не подлежало сомнению, что смерти тут были самые доподлинные и причиной их служило истощение: всех покойников сносили сюда. Но ныне это помещение служило конюшней для коменданта. Хотя герр Шиндлер привык к черной иронии ситуации, он, как всегда, отреагировал на него иро-

ническим хмыканьем. По общему признанию, если ты мог с юмором оценивать все небольшие накладки миропорядка в новой Европе, то, значит, ты принимал их, они становились частью твоего мировосприятия. А размах его у герра Шиндлера был поистине необъятен.

Заключенный Полдек Пфефферберг тоже направлялся этим вечером на виллу коменданта. Лизек, девятнадцатилетний посыльный коменданта, явился в барак Пфефферберга с пропуском, подписанным унтершарфюрером СС. Проблема, с которой он столкнулся, заключалась в том, что в ванной комнате забило сток, и Лизек опасался, что получит приличную выволочку, когда утром герр комендант захочет принять ванну. Пфефферберг, бывший учителем Лизека в старших классах гимназии в Подгоже, работал в гараже лагеря и имел доступ к химикалиям. В компании Лизека он отправился в гараж, где взял гибкий шланг с щеткой на конце и канистру с растворителем. Пребывание на вилле коменданта всегда могло кончиться чем угодно, но оно включало в себя возможность подкормиться у Хелен Хирш, тихой и запуганной прислужницы Гета, которая в свое время тоже была ученицей Пфефферберга.

Когда «Адлер» герра Шиндлера был в ста метрах от виллы, донесся собачий лай – это подал голос датский дог, волкодав и другие псы, которых Амон держал в конурах за домом. Сама вилла представляла собой квадратное строение с мансардой. Окна наверху выходили на балкон. Вдоль всего здания шла веранда с балюстрадой. Амон Гет любил сидеть летом на свежем воздухе. После приезда в Плачув он заметно прибавил в весе. Следующим летом ему будет стыдно показаться на солнце. Но по крайней мере, в этом подобию Иерусалима он избавлен от насмешек.

Этим вечером у двери виллы стоял унтершарфюрер СС в белых перчатках. Отдав честь, он пригласил герра Шиндлера в дом. В вестибюле украинский вестовой Иван принял у герра Шиндлера пальто и широкополую шляпу. Шиндлер коснулся нагрудного кармана смокинга, дабы убедиться, что не забыл подарка для хозяина: золотой портсигар, приобретенный на черном рынке. Амон настолько преуспел, особенно имея дело с конфискованными драгоценностями, что подношение менее ценное, чем золотое изделие, просто оскорбило бы его.

Двойная дверь вела в обеденный зал, где играли братья Рознеры – Генри на скрипке и Лео на аккордеоне. По настоянию Гета, они оставляли полосатую лагерную одежду в малярной мастерской, где работали днем и надевали вечерние костюмы, которые для таких случаев хранили в своем бараке. Оскар Шиндлер знал, что хотя комендант обожал их исполнение, Рознеры никогда не чувствовали себя в безопасности, играя на вилле. Они видели слишком многое, имеющее отношение к Амону. Они знали, насколько легко он со своей неустойчивой психикой выходит из себя и подвергает наказаниям *ex tempore*. Играли они со всем старанием, надеясь, что их музыка не вызовет у хозяина внезапного необъяснимого взрыва негодования.

Этим вечером за столом у Амона Гета собралось семь человек. Расположившиеся пообок от Шиндлера и хозяина гости включали в себя Юлиана Шернера, главу СС в районе Кракова и Рольфа Чурду, шефа краковского отделения СД, службы тайной полиции покойного Рейнхарда Гейдриха. Шернер был оберфюрером – ранг в СС, соответствующий промежуточной стадии между полковником и бригадным генералом, для которого не было армейского эквивалента; Чурда же был оберштурмбанфюрером, то есть полковник-лейтенантом. У самого же Гета было звание гауптштурмфюрера или капитана. Шернер и Чурда были самыми почетными гостями, поскольку лагерь находился в их подчинении. Они были всего на несколько лет старше коменданта Гета, но шеф СС Шернер выглядел явно человеком средних лет – в очках, лысый и с заметным намеком на тучность. Но поскольку его протеже вел сибаритский образ жизни, разница в годах между ним и Амоном почти не сказывалась.

Самым старшим в компании был герр Франц Бош, ветеран первой мировой войны, под управлением которого находились различные производства, законные и тайные, в Плачuve. Кроме того, он был «экономическим советником» Шернера и имел деловые интересы в городе.

Оскар презирал и Боша и обоих шефов полицейских служб Шернера и Чурду. Тем не менее, сотрудничество с ними было жизненно важно для существования его собственного предприятия в Заблоче, и поэтому он регулярно преподносил им подарки. Единственными гостями, к которым Оскар испытывал дружеское расположение, были Юлиус Мадритч, владелец предприятия по пошиву форменной одежды здесь же в лагере, и его управляющий Раймонд Титч. Мадритч был на год или около того младше Оскара и герра коменданта Гета. Он был предприимчивой, но достаточно гуманной личностью и если бы от него потребовалось оправдать существование столь прибыльного предприятия в концлагере, он мог бы доказать, что оно дает работу почти четырем ты-

сячам заключенных и тем самым спасает их от жерновов смерти. Раймонд Титч, которому было слегка за тридцать, стройный и сдержанный, явно высказывавший желание как можно раньше покинуть вечеринку, непосредственно управлял предприятием: он контрабандой протаскивал в лагерь грузовики с кормежкой для своих заключенных (мероприятие, которое в конце концов закончилось для него тюрьмой СС и Освенцимом) и работал рука об руку с Мадритчем.

Таков был привычный набор гостей, собиравшихся на вилле коменданта Гета.

Четыре приглашенные женщины в дорогих платьях и с изысканными прическами, были моложе любого из присутствующих мужчин. Они были шлюхами высшего класса, немками и польками из Кракова. Кое-кто из них регулярно присутствовал на таких обедах. Их количество предполагало джентльменский выбор для двух офицеров. Немецкая любовница Гета, Майола, обычно оставалась в своей городской квартире во время пирушек у Амона. Она считала обеды у Гета типичным мужским сборищем, оскорблявшим ее нежные чувства.

Не было сомнений, что и шефы полиции, и комендант по-своему любили Оскара. Тем не менее, по их мнению, в нем было что-то странное. Они с готовностью списывали это частично на его происхождение. Он был из судетских немцев – Арканзас по отношению к Манхэттену, Ливерпуль – к Кембриджу. Имелись признаки того, что Оскар был не совсем правоверным, при том что он всегда с готовностью расплачивался, был заводилой веселых балаганов, неплохо пил и обладал спокойным, хотя порой и несколько грубоватым юмором. Он был из того типа людей, которым вы улыбаетесь и киваете через комнату, но к которым нет необходимости тут же кидаться по поводу встречи.

Скорее всего, эсэсовцы заметили появление Шиндлера из-за легкого оживления среди четырех женщин. Те, кто знал Оскара в те годы, говорят, что он обладал непринужденным очарованием, которое магнетически сказывалось, главным образом, на женщинах – он пользовался у них неизменным успехом. Два шефа полиции, Чурда и Шернер, скорее всего, обратили внимание на Шиндлера, чтобы вызвать и к себе интерес дамского персонала.

Гет пошел навстречу протянутой руке Оскара. Комендант был столь же высок, как и Шиндлер и впечатление, что он несколько полноват для мужчины в тридцать с небольшим, усиливалось его ростом и атлетической фигурой, на которой явно лишними были жировые отложения. На лице его с правильными чертами пьяно поблескивали глаза. Комендант уже выпил немалое количество местного бренди.

Тем не менее, он зашел не так далеко, как герр Бош, экономический гений Плачува и СС. Герр Бош выделялся носом пурпурной расцветки; кислород, который, по всем законам, должен был снабжать сосуды его лица, давно уже сгорел синим пламенем от обилия алкоголя. Кивнув ему, Шиндлер понял, что этим вечером Бош, как всегда своего не упустит.

– Милости просим нашего промышленника, – прогудел Гет и затем вежливо представил ему девушек. Тем временем братья Рознеры продолжали играть мелодии Штрауса; глаза Генри не отрывались от струн, лишь изредка скашиваясь в пустой угол комнаты, а Лео, склонив голову к клавиатуре аккордеона, лишь еле заметно улыбался.

Наконец герр Шиндлер представился женщинам. Прикладываясь поцелуем к протянутой руке, он испытал жалость к этим девушкам из рабочих районов Кракова, ибо знал, что позже – когда в ходе вечеринки начнется бичевание и истязания – на их плоти останутся шрамы и рубцы от ударов хлыста. Но в настоящий момент гауптштурмфюрер Амон Гет, которого выпивка превращала в садиста, держался как образцовый венский джентльмен.

Предобеденное общение не несло в себе ничего из ряда вон выходящего. Шел разговор о ходе войны, и пока шеф СД Чурда заверял высокую немку, что Крым надежно защищен, шеф СС Шернер сообщил другой собеседнице, что парень, которого он знал еще по Гамбургу, отличный парень, обершарфюрер СС, потерял ногу, когда партизаны взорвали ресторан в Ченстохове. Шиндлер обсуждал производственные проблемы и положение на предприятии с Мадритчем и его управляющим Титчем. Трое предпринимателей поддерживали искренние дружеские отношения. Герр Шиндлер был в курсе, что Титч нелегально доставляет хлеб, закупленный на черном рынке, для заключенных, работающих на фабрике форменной одежды Мадритча и что немалая часть денег, потребных для этой цели, поступает от Мадритча. Их действия объяснялись простой гуманностью, поскольку, по мнению Шиндлера, доходы в Польше были достаточно высоки, чтобы удовлетворить самого алчного капиталиста и оправдать некоторые незаконные расходы на толику хлеба. Лично же для Шиндлера, контракты с *Rustungsinspektion*, инспекции по делам вооруженных

сил, организации, которая рассматривала предложения и заключала контракты на производство множества необходимых предметов для германской армии, были настолько удовлетворительны, что он предвкушал удовольствие предстать в ореоле успехов перед глазами своего отца. К сожалению, Мадригч, Титч и он, Оскар Шиндлер были единственными, о которых он знал, что они регулярно тратят деньги на приобретение хлеба на черном рынке.

Когда Гет уже был готов пригласить всех к столу, герр Бош подошел к Шиндлеру и, предусмотрительно подхватив его под руку, повлек к дверям, рядом с которыми играли музыканты, словно предполагая, что звуки музыки заглушат их разговор.

– Насколько мне кажется, дела идут неплохо, сказал Бош.

Шиндлер улыбнулся собеседнику.

– Вам в самом деле так кажется, герр Бош?

– Именно так, подтвердил Бош. Конечно, он просматривал бюллетень Инспекции, в котором упоминались контракты, заключенные с предприятием Шиндлера.

– Я бы хотел выяснить, – продолжил Бош, склоняя к нему голову, – на фоне сегодняшнего подъема, обусловленного, кстати, нашими выдающимися успехами на различных фронтах... я хотел бы узнать, нет ли у вас желания сделать благородный жест. Ничего особенного. Всего лишь жест.

– Конечно, – ответил Шиндлер. Он испытал приступ тошноты от того, что его откровенно пытаются использовать, и в то же время ощущение, близкое к восторгу. Учреждение шефа полиции Шернера дважды использовало свое влияние, чтобы вытащить Шиндлера из тюрьмы. И теперь оно обращалось к нему за одолжением, что позволяло в будущем снова прибегнуть к его защите.

– Моя тетька в Бремене стала жертвой бомбежки, бедная старушка, – сказал Бош. – Она все потеряла! Вплоть до супружеской постели. И комод со всем ее мейсенским фарфором и посудой. Вот я и интересуюсь: не могли бы вы обеспечить ее какой-нибудь кухонной утварью. И может, супницу-другую, которые вы производите на ДЭФ.

Deutsche Emailwaren Fabrik (Германская фабрика эмалированной посуды) было одним из наиболее процветающих предприятий герра Шиндлера. Немцы именовали его ДЭФ, а поляки и евреи предпочитали другое название: «Эмалия».

– Думаю, это можно будет устроить, – сказал герр Шиндлер. – Вы хотите, чтобы я отправил ей товар напрямую или через вас?

Бош даже не улыбнулся.

– Через меня, Оскар. Я хочу вложить небольшую записку.

– Конечно.

– Значит, договорились. Скажем, каждого предмета по полгросса – суповых тарелок, блюдец, кофейников. И полдюжины таких же супниц.

Герр Шиндлер, выпятив челюсть, откровенно расхохотался, хотя и не без некоторой настороженности. Но, заговорив, он стал воплощением любезности, каковым в самом деле и являлся. Ему приходилось постоянно раздавать подарки. Ну ясно же, Бош вечно принимал глубоко к сердцу мучения родственников, пострадавших от бомбежек.

– У вашей тети сиротский приют? – пробормотал Оскар.

Бош снова посмотрел ему прямо в глаза; его собеседник, хотя и выпил, ни на что не намекал.

– Она старая женщина без всяких средств к существованию. И она сможет обменять то, в чем у нее не будет нужды.

– Я скажу своей секретарше, чтобы она позаботилась.

– Той польке? – спросил Бош. – Красотке?

– Красотке, – согласился Шиндлер.

Бош попытался было свистнуть, но губы не подчинились ему из-за чрезмерного количества выпитого бренди и получилось лишь слабое шипение.

– Ваша жена, – откровенно, как мужчина мужчине, сказал он, – должна быть святой.

– Она такая и есть, – вежливо подтвердил герр Шиндлер. Он охотно предоставит Бошу кухонную утварь, но из этого не следовало, что он позволит ему говорить о своей жене.

– Скажите мне, – обратился к нему Бош. – Как вам удастся держать ее в неведении? Она должна все знать... или вы, должно быть, жестко ее контролируете?

Добродушное выражение сползло с лица Шиндлера, уступив место откровенному отвраще-

нию. У него вырвался глухой раздраженный звук, который ничем не напоминал нормальный голос Шиндлера.

– Я никогда ни с кем не обсуждаю личных вопросов, – сказал он.

Бош спохватился.

– Прошу прощения. Я не хотел...

Он рассыпался в извинениях. Этим веселым вечером герр Шиндлер не собирался объяснять герру Бошу, что дело тут было не в контролировании кого бы то ни было, что несчастье брака Шиндлера заключалось в сочетании астеничного темперамента – фрау Эмили Шиндлер – и бурного жизнелюбия герра Оскара Шиндлера – которые, отвергнув добрые советы, соединились по собственной воле. Но раздражение, которое Бош вызывал у Оскара, имело более глубокие корни, что он и сам понимал. Эмили очень напоминала Оскару его покойную мать, фрау Луизу Шиндлер. Герр Шиндлер-старший покинул Луизу в 1935 году. Поэтому Оскар испытывал подсознательное ощущение, что, приглядываясь к браку Эмили и Оскара, Бош унижает достоинство его отца.

Бош по-прежнему не прекращал извиняться. Он, который мог спокойно запустить руку в любую кассу Кракова, едва не вспотел от паники при мысли, что может потерять шесть дюжин наборов кухонной посуды.

Гостей пригласили к столу. Горничная подала луковый суп. Пока гости отдавали ему должное, братья Рознеры продолжали играть, переместившись ближе к обеденному залу, но не настолько, чтобы мешать передвижениям горничной или Ивана и Петра, двух украинских ординарцев Гета. Герр Шиндлер, сидевший между высокой девушкой, которой Шернер начал выдавать авансы и симпатичной худенькой полькой, говорившей по-немецки, обратил внимание, что обе его соседки наблюдают за горничной. На ней была привычная униформа домашней прислуги – черное платье и белый передник. У нее не было ни еврейской звезды на рукаве, ни желтой отметины на спине. Тем не менее, видно было, что она еврейка. Внимание остальных женщин привлекло состояние ее лица. На скуле у нее явно виднелся синяк, но не подлежало сомнению, что Гет совершенно не стесняется демонстрировать состояние своей прислуги перед гостями из Кракова. Обе женщины и Шиндлер обратили внимание не только на синяк на лице, но и на багровое пятно, показывающееся из-под воротничка в том месте, где ее хрупкая шея переходила в плечи.

Амон Гет не только не оставил девушку без внимания, но, наоборот, повернувшись к ней вместе со стулом, широким жестом руки продемонстрировал ее собравшейся компании. Герр Шиндлер не был в этом доме шесть недель, но его информатор сообщил ему, что отношения между Гетом и девушкой носят извращенный болезненный характер. В компании друзей он использовал ее, как предмет для разговоров. Скрывал же он ее, лишь когда ему наносили визит старшие офицеры не из района Кракова.

– Дамы и господа, – воззвал он, изображая вдребезги пьяного конферансье из кабаре, – разрешите представить вам Лену. После пяти месяцев пребывания у меня, она наконец научилась вести себя и управляться на кухне.

– Насколько я могу судить по ее лицу, – заметила высокая девушка, – она нередко натывает на кухонную мебель.

– Что ее ждет и впредь, – с утробным смешком сказал Гет. – Да. И впредь. Не так ли, Лена?

– Он суров с женщинами, – гордо сказал шеф СС, подмигивая своей высокой соседке. В намеке Шернера не было ничего оскорбительного, поскольку он имел в виду только еврейских женщин, а не женщин вообще. И намекая на еврейство Лены, Гет давал понять, что она понесет наказание то ли публично, в присутствии гостей за обедом, то ли позже, когда друзья коменданта разъедутся по домам. Шернер, будучи начальником Гета, мог бы приказать ему прекратить издеваться над девушкой. Но это внесло бы плохую нотку в дружескую атмосферу, царящую на вилле Амона. Шернер явился сюда не в роли начальника, а как друг, коллега, любитель изысканной кухни и обольститель женщин. Амон, конечно, был странной личностью, но никто не мог сравниться с ним в искусстве устраивать приемы.

Далее была подана сельдь под соусом и пороссячи ножки, с отменным вкусом приготовленные и украшенные гарниром стараниями Лены. Мясо собравшиеся запивали густым красным венгерским вином; братья Рознер изобраили стремительный чардаш, атмосфера в обеденном зале все разряжалась и офицеры скинули форменные френчи. Разговоры крутились, главным образом, вокруг военных контрактов. Мадритч, производивший форменную одежду, выслушивал вопросы относительно своей фабрики в Тарнуве. Удалось ли заключить с инспекцией по делам вооружен-

ных сил контракты столь же выгодные, как и на его фабрике в Плачуве? Мадритч обратился за справкой к Титчу, своему худому, сдержанному управляющему. Гет внезапно сделал вид, что занят делами, как человек, в середине обеда вспоминающий о неотложных обязанностях, с которыми необходимо покончить сегодня же и которые вызывают к нему из темноты служебного кабинета.

Девушки из Кракова откровенно скучали; сидящая справа тонкокостная полька с блестящей помадой на губах, которой было лет восемнадцать, но никак не больше двадцати, коснулась рукава смокинга Шиндлера.

– Вы не военный? – пробормотала она. – Вам бы очень пошла форма.

Все начали ухмыляться – включая Мадритча. Тому пришлось на краткое время в 1940 году облачиться в мундир, пока не было признано, что его предпринимательские таланты куда существеннее для военных усилий. Но герр Шиндлер пользовался таким влиянием, что вермахт никогда не покушался на него. Мадритч со знанием дела посмеялся.

– Нет, вы слышали? – обратился ко всему столу оберфюрер Шернер. – Малышка увидела нашего предпринимателя в роли солдата. Рядовой Шиндлер, как вам нравится? С одеялом на плечах хлебает кашу из своего котелка. Где-то под Харьковом.

В присутствии Шиндлера в элегантном смокинге, это в самом деле была странная картина, и Шиндлер сам расхохотался, представив себя в таком виде.

– А ведь случилось... – сказал Бош, пытаясь щелкнуть пальцами, – случилось... как его имя, того, из Варшавы?

– Тоббенс, – с ходу вступил в разговор Гет. – Это с Тоббенсом случилось. То есть, чуть не случилось.

Шеф СД Чурда сказал:

– Ах, да. Вроде в самом деле с Тоббенсом.

Предмет разговора был варшавским промышленником, крупнее и Шиндлера и Мадритча. И весьма преуспевающим.

– Хейни, – продолжил Чурда (Хейни – это был Генрих Гиммлер), – прибыл в Варшаву и приказал людям из армейской инспекции: «Вышвырнуть всех долбанных евреев с фабрики Тоббенса, а его самого в армию и... и послать на фронт». Вот именно, на фронт! А затем Хейни приказал моим коллегам тут: «Изучите его бухгалтерские книги под микроскопом!»

Тоббенс был предметом обожания инспекции по делам вооруженных сил, что выражалось для него в выгодных контрактах, а для них – в обилии подношений. И лишь протесты инспекции спасли Тоббенса, торжественно сообщил Шернер, после чего, склонившись к своей тарелке, одарил Шиндлера широкой улыбкой:

– В Кракове этого не будет, Оскар. Мы слишком любим вас.

В то же мгновение, скорее всего, для того, чтобы продемонстрировать, с каким теплом все собравшиеся относятся к герру Шиндлеру, промышленнику, Гет поднялся на ноги и затянул мелодию без слов, в унисон с тактами из «Мадам Баттерфляй», которые старательно выводили братья Рознеры, как и подобает настоящим артистам, пусть даже судьба и обрекла их на существование на проклятом заводе в пределах проклятого гетто.

К этому времени Пфедферберг и ординарец продолжали находиться наверху в ванной Гета, стараясь избавиться от плотной пробки в сливе. До них доносилась музыка Рознеров и бурные взрывы смеха, а также обрывки разговоров. Наступило время кофепития; измученная Лена обнесла гостей подносом и, стараясь не привлекать к себе внимания, удалилась на кухню.

Мадритч и Титч быстро допили кофе и, извинившись перед присутствующими, поднялись. Шиндлер собрался сделать то же самое. Польская малышка решила было запротестовать, но он себя чувствовал не лучшим образом в этом доме. В «Гетхаусе» разрешалось все, что угодно, но Оскар чувствовал, что его глубокое знание о границах поведения в компании СС в Польше заставляет с пронзительной ясностью оценивать каждое сказанное здесь слово, каждый выпитый стакан, не говоря уж о том, что тут тебе предложат и сексуальное обслуживание. Даже если вы уединяетесь с девушкой наверху, невозможно забыть, что Бош, и Шернер, и Гет – твои собратья по удовольствию, и они, поднимаясь по лестнице, заходя в ванную, а затем в спальню, совершают те же действия, что и ты. Герр Шиндлер был далеко не монахом, но он предпочел бы быть таковым, чем делить женщину с *chez* Гетом.

Через голову девушки он завел доверительный разговор с Шернером о военных новостях, о польских бандитах, об ожидании плохой погоды. Тем самым он дал понять девушке, что Шернер

ему как брат, а он никогда не позволит себе увести девушку у брата. Хотя, пожелав ей доброй ночи, он поцеловал ей ручку. Он заметил, что Гет, оставшийся уже в рубашке, исчез в дверях столовой и двинулся вверх по лестнице, поддерживаемый девушкой, во время обеда сидевшей рядом с ним. Извинившись, Оскар успел перехватить коменданта. Нагнав его, он положил руку на плечо Гета. Повернувшийся Гет попытался сфокусировать на нем взгляд.

– А, – пробормотал он. – Уходишь, Оскар?

– Я должен быть дома, – сказал Оскар. Дом означал квартиру Ингрид, его немецкой любовницы.

– Ну ты и жеребец, – сказал Гет.

– До тебя далеко, – возразил Шиндлер.

– Да, ты прав. По части трахания я олимпийский чемпион. Мы идем... куда мы идем? – он было повернул голову к девушке, но сам ответил на вопрос. – Мы идем на кухню проверить, как Лена ее почистила.

– Нет, – со смехом опровергла его девушка. – Мы не этим будем заниматься. – Она потащила его по лестнице. Это было благородно с ее стороны – в данном случае осознание женской общности помогло оберечь худенькую забитую девушку на кухне.

Шиндлер посмотрел им вслед – грузный мужчина в офицерских галифе и поддерживающая его стройная девица, с трудом взбирающиеся по ступенькам. Гет выглядел как человек, который, рухнув в постель, будет спать до середины дня, но Оскар знал, что могучий организм коменданта живет по собственным часам. В три часа утра Гету может приспичить встать, чтобы написать письмо отцу в Вену. Поспав всего час, с первыми лучами рассвета к семи часам он может выскочить на балкон со снайперской винтовкой в руках, чтобы пристрелить кого-то из припозднившихся заключенных.

Когда Гет с девушкой одолели первый лестничный марш, Шиндлер прошел по холлу, направляясь в заднюю часть дома.

Пфефферберг и Лизек слышали коменданта значительно раньше его предполагаемого появления: оказавшись в спальне, он стал что-то бормотать притаившей его девушке. Молча и бесшумно они постарались собрать все свое оборудование, чтобы прокравшись в спальню, через боковую дверь выскользнуть из нее. Увидев их, Гет первым делом обратил внимание на штырь для чистки и решил, что эти двое явились с целью покушаться на его жизнь. Тем не менее, когда Лизек сделал шаг вперед и дрожащим голосом доложил, коменданта понял, что они всего лишь заключенные.

– Герр комендант, – докладывал Лизек, у которого перехватывало дыхание от вполне оправданного страха. – Хочу сообщить, что у вас в ванной заклинило сток...

– Ах, вот как, – сказал Амон. – И значит, вызвали специалиста. – Он кивнул мальчишке. – Подойди-ка, дорогой.

Едва только сделав шаг вперед, Лизек получил такой жестокий удар, что улетел под кровать. Амон снова повторил приглашение, явно стараясь развеселить девушку зрелищем того, как вежливо он разговаривает с заключенными. С трудом встав, Лизек снова приблизился к коменданту, чтобы получить очередную плюху. Когда мальчишка поднялся во второй раз, Пфефферберг, как опытный заключенный ждал чего угодно – что их сейчас отправят вниз в сад, где обоих на пару пристрелит Иван. Вместо этого комендант просто рявкнул на них, чтобы они убирались, чему они незамедлительно подчинились.

Когда через несколько дней Пфефферберг услышал, что Лизек мертв, застрелен Амоном, он предположил, что поводом тому послужил инцидент в ванной. На деле же причиной было совсем другое – Лизек позволили себе запрячь лошадь в пролетку для герра Буша, не испросив предварительно разрешения у коменданта.

На кухне виллы горничная, чье настоящее имя было Хелен Хирш (Гет называл ее Лена из лени, как она всегда считала), подняв глаза, увидела в дверном проеме одного из гостей. Вздвигнув, она поставила тарелку с остатками мяса и замерла в тревожном ожидании.

– Герр... – глянув на его смокинг, она наконец нашла подходящее слово для обращения к визитеру, – герр директор, я всего лишь собирала кости для собак герра коменданта.

– Пожалуйста, пожалуйста, – ответил герр Шиндлер. – Вы не обязаны докладывать мне, фрейлейн Хирш.

Он обошел вокруг стола. Он вроде не собирался приставать к ней, но все же она его побаи-

валась. Хотя Амон обожал избивать ее, еврейское происхождение все же спасало от сексуальных притязаний. Но теперь перед ней стоял немец, который не был столь подвержен расовым предрассудкам, как Амон. К тому же она не привыкла к такому тону голоса и обращению, хотя порой на кухню забегали эсэсовцы и младший состав, от которых она слышала жалобы на Амона.

– Вы не знаете меня? – спросил он, просто как человек – знаменитый футболист или скрипач – чье ощущение собственного величия было оскорблено тем фактом, что кто-то не знает его. – Я Шиндлер.

Она склонила голову.

– Герр директор, – сказала она. – Конечно же. Я слышала о вас... и вы тут бывали раньше. Я помню...

Он обнял ее за плечи, сразу же почувствовав, как напряглось ее тело, и легко скользнул губами по ее щеке.

– Это поцелуй совсем другого сорта, – пробормотал он. – Я целую вас из жалости, если хотите знать.

Она не смогла сдержать слез. «Герр директор» Шиндлер теперь крепко поцеловал ее в лоб, на манер того, как в Польше прощаются на вокзалах, звучно причмокнув губами, что принято в Восточной Европе. Она увидела, что он тоже готов заплакать.

– Этот поцелуй – привет вам от... – он махнул рукой, давая понять о племени честных и благородных людей, скрывающихся во тьме, спящих на нарах в бараках или таящихся в лесах, людей, для которых она, принимая наказания от Гета – была некоей смягчающей удары прокладкой.

Отстранившись от нее, герр Шиндлер полез в боковой карман и вытащил оттуда большую шоколадку. Видно было, что она еще довоенного производства.

– Спрячьте ее где-нибудь, – посоветовал он.

– Еды у меня тут хватает, – сказала она ему, словно то, что ей не приходится голодать, было предметом ее гордости. Пища – это было последнее, что волновало ее. Она знала, что не выйдет живой из дома Амона, но уж не из-за того, что не хватит еды.

– Если вы не хотите съесть ее, продайте, – сказал ей герр Шиндлер. – Но почему бы вам и самой не поправиться. – Отодвинувшись, он оглядел ее с головы до ног. – Ицхак Штерн рассказывал мне о вас.

– Герр Шиндлер, – пробормотала девушка. Опустив голову, она позволила себе несколько секунд поплакать. – Герр Шиндлер, ему нравится бить меня перед этими женщинами. В первый день здесь, он избил меня, потому что я выкинула кости от обеда. В полночь он спустился в подвал и спросил меня, где они. Они предназначаются для его собак, вы понимаете. Тогда он в первый раз избил меня. Я сказала ему... я не помню, что ему говорила; теперь я ничего не говорю... почему вы бьете меня? Он сказал: «Причина, по которой я бью тебя в том, что ты спрашиваешь, за что я бью тебя».

Она покачала головой и пожала плечами, словно извиняясь, что позволила себе так разговаривать. Больше ей не хотелось откровенничать; она не могла излагать всю историю бесконечных избиений, когда кулаки гауптштурмфюрера снова и снова ходили по ее телу.

Герр Шиндлер доверительно наклонился к ней.

– Да, у вас нелегкая жизнь, Хелен, – сказал он ей.

– Неважно, – ответила она. – Я так и так жду.

– Чего ждете?

– Что когда-нибудь он пристрелит меня.

Шиндлер покачал головой, и она подумала, что с ее стороны было бы слишком большой смелостью питать какие-то надежды. Может, хорошая одежда и вежливое поведение герр Шиндлера – всего лишь провокация.

– Ради Бога, герр директор, я тут такого навидалась. В понедельник мы поднялись на крышу скалывать лед, молодой Лизек и я. И мы видели, как герр комендант вышел из дверей и прошел на веранду, как раз под нами. И там, стоя на ступеньках, он выхватил свой револьвер и выстрелил в женщину, проходящую мимо. Она несла узел. Он попал ей прямо в горло. Женщина просто шла себе куда-то. Вы понимаете. Она была точно такая, как все остальные. Я не могла и представить, что он это сделает. И чем больше вы узнаете герр коменданта, тем отчетливее вы понимаете, что тут нет никаких правил и законов, которых можно было бы придерживаться. Вы не можете сказать себе: «Если я буду соблюдать эти правила, то буду в безопасности»...

Шиндлер взял ее за руку и подчеркнуто сжал ее.

– Послушайте, моя дорогая фройляйн Хелен Хирш... Несмотря на все это, тут все же лучше, чем в Майданеке или Аушвице. Если вы сумеете сохранить свое здоровье...

– Я думала, – сказала она, – что будет легче тут, на кухне. Когда меня перевели сюда из лагерного пищеблока, остальные девушки мне завидовали.

По губам ее скользнула скорбная улыбка.

Шиндлер снова повысил голос. Теперь он напоминал человека, втолковывающего принципы физики.

– Он не убьет вас, моя дорогая Хелен, потому что вы доставляете ему слишком большое удовольствие. Вы так нравитесь ему, что он даже не позволяет вам носить Звезду. Он не хочет, чтобы кто-нибудь знал, как ему нравится еврейка. Он застрелил ту женщину, потому что она ничего не значила для него, она была одной из многих, она была пустое место для него. Вы должны это понять. Но вы, вы... да, это гнусно, Хелен. Но такова жизнь.

Кто-то еще говорил ей эти слова. Лео Йон, заместитель коменданта. Он был унтерштурмфюрером СС.

– Он не убьет тебя, – сказал Йон, – до самого конца, потому что ему так нравится вышибать из тебя дух.

Но в устах Йона эти слова звучали совсем по-другому. Герр Шиндлер же приговорил ее к жалкому существованию.

Похоже, он понял, почему она оцепенела. Он пробормотал какие-то подбадривающие слова. Они еще увидятся. Он попытается вытащить ее отсюда.

– Вытащить? – спросила она.

– С виллы, – объяснил он, – на мой завод. Конечно, вы должны были слышать о моем предприятии. У меня фабрика эмалированной посуды.

– Ах, да, – воскликнула она, словно ребенок из трущоб, которому рассказывают о Ривьере. – «Эмалия» Шиндлера. Я слышала о ней.

– Берегите здоровье, – снова сказал он. Похоже, с его точки зрения это было самым главным. И, казалось, он знал о будущих намерениях – и Гимmlера и Франка, когда произносил это.

– Хорошо, – согласилась она.

Она повернулась к нему спиной, и двинула вдоль стены полку с посудой с силой, которой Шиндлер никак не ожидал в таком изможденном создании. Затем она вынула кирпич из того куска стены, который прикрывала полка с посудой. Оттуда она вытащила сверток денег оккупационных злотых.

– На лагерной кухне у меня сестра, – сказала она. – Она моложе меня. Я бы хотела, чтобы вы выкупили ее, если ее станут загонять в теплушку. Я догадываюсь, что вы часто уже заранее знаете о таких вещах.

– Постараюсь заняться, – небрежно, отнюдь не давая ей торжественного обещания, ответил Шиндлер. – Сколько здесь?

– Четыре тысячи злотых.

Он небрежно взял их, ее деньги, оставленные на черный день и сунул их в боковой карман. У него они были в большей безопасности, чем спрятанные на кухне Амона Гета.

Так рискованно началась история Оскара Шиндлера, в которой было место и жестокости нацистов и разгульности эсэсовцев, и худой запуганной девушке и даже шлюхе с золотым сердцем – она была хорошей немкой.

С одной стороны, для дела Оскара было жизненно важно видеть подлинное лицо системы, жуткую личину под маской чиновничьей благопристойности. Раньше, чем многие иные осмелились признаться себе, он понял, что означает термин *Sondlubehandlung*, и хотя он толковался всего лишь как «Окончательное решение», слово это означало горы отравленных цианидом трупов в Бельцеце, Собиборе, Треблинке и в том комплексе к западу от Кракова, известном полякам как Освенцим-Бжезинка, но который станет известным на западе под своим немецким названием – Аушвиц-Биркенау.

С другой стороны, он был бизнесмен, делец по складу характера и он не мог открыто плюнуть системе в глаза. Он уже предвидел горы трупов и хотя не предполагал, насколько они вырастут в этом году и в следующем и превысят ли они Маттергорн, он знал, что этих гор мертвецов не избежать. И хотя он не мог предсказать, чьими бюрократическими стараниями будут они расти,

Оскар все же предполагал, что всегда будет и место и необходимость для труда евреев. Поэтому, разговаривая с Хелен Хирш он и настаивал: «Берегите здоровье». Он был уверен, как и те евреи, согнанные в концлагерь в Плачуве, что ни один режим, – как бы ни был он свиреп – не может позволить себе отказаться от такого количества бесплатных рабочих рук. И лишь те, которые теряют силы, обескровливаются, сваливаются в дизентерии – лишь тех отправляют в Аушвиц. Герр Шиндлер сам не раз слышал, как заключенные Плачува, согнанные на аппельплац на утреннюю поверку, бормочут про себя:

«По крайней мере, у меня пока есть здоровье», – тоном, которым в нормальной жизни говорили лишь старики.

Так, сим зимним вечером начались эти дни и ночи, когда герр Шиндлер приступил к практическому спасению многих человеческих жизней. Он увяз с головой; он в такой невообразимой степени нарушил законы рейха, что ситуация должна была привести к его многократному обезглавливанию, повешению или уничтожению в бараках Аушвица или Гроссрозена. Но он еще не знал, во что ему это обойдется. Хотя фортуна пока всегда была на его стороне, он не знал, какую плату ему придется выложить за свои деяния.

Не стоит с самого начала подчеркивать его убеждения; история эта началась с простого и банального акта доброты – поцелуй, мягкий голос, шоколадка. Хелен Хирш так никогда больше и не увидела свои 4.000 злотых – во всяком случае, она не смогла подержать их в руках и сосчитать. Но до сего дня она считает сущей безделицей небрежность Оскара в обращении с деньгами.

Глава 1

Бронированные армады генерала Зигмунда Листа, рванувшись на север, с обеих сторон обошли жемчужину польских городов Краков. Случилось это 6-го сентября 1939 года. И для Оскара Шиндлера, прибывшего вслед за ними, город стал на последующие пять лет убежищем, его устричной раковиной. Национал-социализм решительно разочаровал его всего через месяц, но он не мог не признать, что Краков с его железнодорожным узлом и пока еще достаточно скромной промышленностью станет бурно развиваться при новом режиме. И в его пределах он больше не будет простым коммивояжером. Теперь он станет подлинным магнатом.

Далеко не просто разыскать в истории семьи Шиндлеров происхождение тех импульсов, которые побудили его предпринять эту беспримерную операцию по спасению сотен людей. Он родился 28 апреля 1908 года в Австро-венгерской Империи Франца-Иосифа, в холмистой моравской провинции древней австрийской империи. Местом его рождения был промышленный город Цвиттау, куда в силу некоторых коммерческих интересов предки Шиндлеров переехали из Вены еще в начале шестнадцатого столетия.

Герр Ганс Шиндлер, которого вполне удовлетворял миропорядок империи, считал себя австрийцем и говорил по-немецки в застольях, по телефону, в деловых взаимоотношениях, а также в минуты нежности. Тем не менее, когда в 1918 году герр Шиндлер и члены его семьи выяснили, что стали гражданами Чехословацкой республики Масарика и Бенеша, данное открытие отнюдь не расстроило отца и, уж конечно, его десятилетнего сына. Гитлер ребенком и тем более во взрослом возрасте мучительно переживал разрыв мистического единства Австрии и Германии и их политическое разделение. Даже тень подобных неврозоз не омрачала детство Оскара Шиндлера; у него и в мыслях не было, что он, мол, лишен некоего наследства. Чехословакия оказалась такой уютной мирной республикой, подобной яблоку, запеченному в тесте, что немецко-говорящая община обрела в ней вполне достойное место, при том, что времена Депрессии и кое-какие глупости со стороны правительства и внесли определенные осложнения.

Цвиттау, родной город Оскара был небольшим, покрытым угольной копотью городком на южных отрогах горного хребта Есеник. Окружающие его холмы хоть и были изуродованы промышленностью, но все же частично сохранили былую растительность и радовали глаз лиственными деревьями, елями и соснами. Община немецко-говорящих *Sudetendeutschen* организовала немецкую начальную школу, которую и посещал Оскар. Здесь же он прошел и курс реальной гимназии, из которой предполагалось выпускать людей точных наук – для работы в шахтах, на производстве, в гражданской службе. Они должны были способствовать промышленному развитию района. У самого герра Шиндлера был завод сельскохозяйственного оборудования, и планировалось, что образование Оскара позволит ему унаследовать семейное дело.

Семья Шиндлеров была католиками. Как и семья молодого Амона Гета, который к тому времени тоже завершил курс наук и готовился к экзаменам на аттестат зрелости в Вене.

Мать Оскара Луиза соблюдала религиозные требования со всей присущей ей энергией, и все воскресенья ее одеяния благоухали запахом ладана, облака которого поднимались к сводам церкви Святого Мориса во время мессы. Ганс Шиндлер относился к тем мужьям, которые запросы религии полностью поручали попечению женщин. Ганс отдавал предпочтение коньяку; он любил посидеть в кофейнях. Этого добропорядочного монархиста, господина Ганса Шиндлера неизменно окружала атмосфера теплого дыхания дорогих напитков, хорошего табака и склонности к радостям земным.

Семья жила в современной вилле с собственным садом по другую сторону промышленного района города. В семье было двое детей – Оскар и его сестра Эльфрида. О том, как обстояли дела в самом доме нам неизвестно почти ничего, кроме самых общих расхожих представлений. Мы знаем, например, что фрау Шиндлер расстраивалась из-за того, что сын, подобно отцу, был не очень ревностным католиком.

Но жизнь семьи ничем не омрачалась. Из того немногого, что поведал сам Оскар о своем детстве, ясно, что темных воспоминаний по себе оно не оставило. Сквозь ветви елей в саду пробивался солнечный свет. К исходу короткого лета поспевали сливы. Начиная с июня он лишь изредка ходил к мессе, возвращение домой отнюдь не было отягощено сознанием грехов. Он выгонял на солнышко из гаража машину отца и начинал копаться в ее двигателе. Или же, расположившись на крыльчке у заднего входа в дом, он разбирал карбюратор мотоцикла, изготавливаемого своими руками.

У Оскара были еврейские друзья из средней еврейской буржуазии, чьи родители тоже посылали их учиться в немецкую школу. Дети эти относились не к провинциальным ашкенази – странным ортодоксам, говорившим только на идише. Дети еврейских бизнесменов говорили на нескольких языках и весьма вольно относились к ритуальным обычаям. Именно в такой еврейской семье по другую сторону долины, в Бескидских горах, незадолго до того, как в среде солидных немецких бюргеров появился на свет Ганс Шиндлер, родился Зигмунд Фрейд.

Последующие поступки Оскара берут свое начало в воспоминаниях детства. Молодому Оскару приходилось защищать еврейского мальчика, подвергавшегося нападкам по пути домой из школы. Нет оснований с уверенностью утверждать, что так все и было, тем более, что один еврейский ребенок, избавленный от необходимости хлопотать разбитым носом, еще ничего не доказывает. Ибо сам Гиммлер сетовал, выступая перед своими штурмовиками, что у каждого немца есть еврейский приятель.

«Еврейский народ должен быть уничтожен, – утверждал каждый член партии. – Да, такова наша программа: полное избавление от евреев, их поголовное уничтожение, о чем мы и позаботимся». Что они старательно и претворяли в жизнь – восемьдесят миллионов добропорядочных немцев, у каждого из которых был в друзьях один порядочный еврей. Конечно, все остальные существа свиньи, но вот этот-то единственный самый что ни есть первостатейный.

Пытаясь найти истоки последующего энтузиазма Оскара, который рос под сенью идей Гиммлера, мы встречаемся с соседом Шиндлеров, жившим дверь в дверь с ними с либеральным раввином, доктором Феликсом Кантором. Рабби Кантор был учеником Абрахама Гейгера, сторонника либеральных взглядов на иудаизм, который считал, что быть немцем и в то же время евреем не преступление, а скорее, добродетель. Рабби Кантор отнюдь не был ограниченным провинциальным схоластом. Он носил современную одежду и обиходным языком в доме был немецкий. Место своего богослужения он называл храмом, а не старомодным именем «синагога». Его святилище посещали еврейские врачи, инженеры и владельцы текстильных предприятий в Цвиттау. Во время поездок они рассказывали другим бизнесменам: «Наш рабби – доктор Кантор; он пишет статьи не только для еврейских журналов в Праге и Брно, но и для ежедневных изданий».

Два сына рабби Кантора ходили в ту же самую школу, что и сын его немецкого соседа Шиндлера. Оба мальчика отличались блестящими способностями и в свое время должны были стать двумя из немногих еврейских профессоров Немецкого университета в Праге. Эти два стриженных ежиком вундеркинда в коротких по колено штанишках носились, болтая по-немецки, по саду летом. Они играли в салки с детьми Шиндлеров, гоняясь друг за другом. И наблюдая, как они мелькают меж стволов деревьев, доктор Кантор размышлял, что все развивается, как предсказывали и Гейгер, и Гретц, и Лазарус, и другие немецко-еврейские либералы девятнадцатого столетия.

Мы ведем достойное светское существование, нас тепло принимают наши немецкие соседи – мистер Шиндлер даже позволяет себе в нашем присутствии ехидные реплики о чешских чиновниках. Мы занимаемся светскими науками и истолковываем Талмуд в применении к сегодняшним дням. Мы принадлежим к двадцатому столетию, являясь в то же время наследниками традиций древнего народа. Мы ни на кого не нападаем и никого не оскорбляем.

Позже, в середине тридцатых годов, рабби пришлось пересмотреть свои полные благодушия оценки и в конце концов прийти к выводу, что его сыновьям никогда не получить докторские степени в среде национал-социалистов, как бы хорошо они ни говорили по-немецки. Стало совершенно ясно, что ни точные науки двадцатого столетия, ни гуманитарные дисциплины не смогут уберечь евреев в той мере, как звание раввина, которое еще признавали новые немецкие законодатели. В 1936 году Канторы перебрались в Бельгию. И Шиндлеры никогда больше не слышали о них.

Раса, кровь и почва – эти понятия мало что значили для подрастающего Оскара. Он был одним из тех ребят, для которых мотоцикл заменял весь мир. Да и его отцу по духу своему механику – казалось, нравилась тяга мальчишки к стремительной могучей машине. В последний школьный год Оскар носился вокруг города на красном «Галлони» мощностью в 500 кубиков. Его школьный приятель, Эрвин Трагач, с невыразимым удовольствием смотрел, как красный «Галлони» летает по улицам городка, привлекая внимание прохожих на площади. Как и гениальные отпрыски Кантора, это явление было по-своему уникальным. Не только единственный «Галлони» в Цвиттау, не только единственный итальянский мотоцикл на 500 кубиков в Моравии, но, скорее всего, единственная подобная машина во всей Чехословакии.

Весной 1928 года, в последние месяцы возмужания Оскара и накануне того самого лета, когда ему предстояло влюбиться и принять решение стать женатым человеком, он явился на городской площади обладателем «Мото-Гуцци» на 250 куб. см, владельцами которых на всем континенте, кроме Италии, было еще только четыре человека и все четверо считались гонщиками мирового класса Гейслер, Ганс Винклер, венгр Джое и поляк Колачковский. Несомненно, кое-кто из горожан качал головой и говорил, что герр Шиндлер явно портит мальчишку.

Но для Оскара это лето было самым приятным и самым невинным. Мальчишка в плотно облегающем голову кожаном шлеме на ревушем «Мото-Гуцци» гонялся по трассам в горах Моравии, выступая против команды местной фабрики. Политика совершенно не занимала его: он был достойным сыном из семьи, для которой самым ярким политическим жестом явилась зажженная в память Франца-Иосифа свеча. Он был счастлив, а за пределами этих поросших сосняком склонов его ждал неудачный брак, экономический крах, семнадцать лет смертельно опасных политических игр. Но грядущее знание еще не отложило свой отпечаток на лицо гонщика, который только щурился от ветра, бьющего в глаза на большой скорости – он был еще молод, он еще не был профессионалом, все победы и потери еще только ждали его, и он был уверен, что лучшие призы еще впереди, потому что как гонщик он будет только побеждать.

Его первая серьезная гонка должна была состояться в мае, на горной трассе между Брно и Собеславом. Это было соревнование высшего класса и, по крайней мере, дорогой игрушке, которую преуспевающий герр Шиндлер подарил своему сыну, не пришлось ржаветь в гараже. На своем красном «Мото-Гуцци» он пришел третьим за двумя «Терро», которые были оснащены английскими моторами «Блекберн».

Для участия в следующем соревновании ему пришлось уехать подальше от дома в район Алтфатера, в горы на границе Саксонии. Здесь же был чемпион Германии в классе до 250 кубических сантиметров Вальфрид Винклер и его старый соперник Курт Хенкельман на ДКВ с водяным охлаждением. Участвовали все гонщики из Саксонии – Горовитц, Кохер и Кливар; были еще несколько машин «Терро» с теми же английскими двигателями и несколько «Ковентри-Игле». Считая и машину Оскара Шиндлера, в гонке участвовали еще три «Мото-Гуцци», а также настоящие звери из класса в 350 кубиков и просто хищники «БМВ» из класса 500 куб. см.

Это был едва ли не лучший день в жизни Оскара, полный ничем не омраченного счастья. На первых же кругах он безоговорочно вошел в число лидеров и теперь оставалось только ждать развития событий. Через час Винклер, Хенкельман и Оскар оставили горы Саксонии у себя за спиной, а остальные «Мото-Гуцци» сошли с дистанции из-за каких-то механических поломок. Как Оскар и предполагал, на предпоследнем круге он обошел Винклера и в гуле горячего гудрона, в мелькании сосен по обочинам перед ним замаячила победа, которая должна была положить начало его карье-

ре выдающегося гонщика и позволить ему вести жизнь, полную странствий.

Завершая круг, который, по его мнению, был последним, Оскар обошел Хенкельмана, двух ДКВ, пересек линию и сбросил скорость. Должно быть, судьи что-то спутали, ибо толпа радостно возликовала, решив, что гонка завершена. Но к тому времени Оскар уже понял, что это не так – и что он сделал типичную для любителей ошибку – но Вальфрид Винклер и Мита Выходил обошли его, и даже уставший Хенкельман смог вытолкнуть его с третьего места.

Тем не менее, дома его приветствовали. С технической точки зрения, он уступил лишь лучшим гонщикам Европы.

Трагач предположил, что причина, по которой кончилась карьера Оскара как гонщика, носила экономический характер. Догадка была верна. Этим летом, после всего полутора месяцев ухаживания, он спешно женился на дочке фермера, потеряв расположение отца, который к тому времени был и его работодателем.

Девушка, на которой он женился, была родом из деревни к востоку от Цвиттау. Она получила образование в монастырской школе и обладала качествами, которые восхищали его в собственной матери. Ее овдовевший отец был не столько крестьянином, сколько фермером, получившим хорошее воспитание. Во время Тридцатилетней войны его австрийским предкам удалось пережить бесконечные кампании, мор и чуму, опустошавшие плодородные земли. Через три столетия, в преддверии новой эры, полной риска и опасностей, его дочь заключила необдуманый брак с несформировавшимся мальчишкой. Ее отец был разочарован столь же глубоко, как и отец Оскара.

Гансу не понравился выбор сына, ибо он видел, что Оскар женился по его, Ганса, неудачному образцу. Чувственный муж, мальчишка с неустановившимся характером, он слишком рано решил обрести в жизни мир и покой при помощи неискушенной, грациозной девушки, смахивающей по своим взглядам на монахиню.

Оскар встретил Эмили на какой-то вечеринке в Цвиттау. Она приехала в гости к своим друзьям, родом из той же деревни Альт-Монштейн. Оскар, конечно, знал эти места, где он продавал трактора.

Когда в приходской церкви Цвиттау было объявлено о бракосочетании, кое-кто, посчитав, что пара совершенно не подходит друг к другу, стал искать иные мотивы брака, кроме любви. Их предположения можно было понять, потому что этим летом предприятие Шиндлера оказалось в трудном положении, ибо оно продолжало производить трактора с паровым двигателем того типа, который переставал пользоваться спросом у фермеров. Большую часть своего заработка Оскар вкладывал обратно в дело, а тут – вместе с Эмили – к нему пришло приданое в полмиллиона рейхсмарок, солидный капитал с любой точки зрения, который должен был заметно облегчить его положение. Тем не менее, подозрения и слухи не имели под собой оснований, ибо этим летом Оскар был всецело в плену страсти. Но поскольку отец Эмили не имел никаких оснований считать, что мальчишка утихомирится и будет хорошим мужем, он выплатил лишь часть полумиллионного наследства.

Сама же Эмили была только рада покинуть наскучившую ей деревню и выйти замуж за симпатичного Оскара Шиндлера. Ближайшим другом ее отца неизменно был нудный приходской священник, и Эмили выросла, разливая им чай и слушая их наивные разговоры о политике и теологии. Если мы по-прежнему будем искать какие-то связи с еврейской средой, то и в детстве Эмили они имели место – это был деревенский доктор, который пользовал ее бабушку, и Рита, внучка владельца магазина Рейфа. Во время одного из своих посещений фермы приходской священник сказал отцу Эмили, что с точки зрения принципов католицизма не очень хорошо, что ребенок водит дружбу с евреями. Набывшись, полная детского упрямства, Эмили отказалась следовать эдикту священника. Дружба длилась до того дня 1942 года, когда местный нацистский чиновник пристрелил Риту перед магазином.

После женитьбы Оскар и Эмили расположились в квартире в Цвиттау. Для Оскара тридцатые годы стали эпилогом его блистательной ошибки на трассе Алтфатера летом 1928 года. Он отбыл военную службу в чехословацкой армии, и хотя она предоставила ему возможность ездить на машине, он понял, что ненавидит военную жизнь – не из соображений пацифизма, но из-за тех неудобств, которые она доставляет. Вернувшись домой, он не уделял внимания Эмили по вечерам, допоздна засиживался в кафе, подобно холостяку и заговаривая с девушками, которые ничем не напоминали добродетельных монахинь. Семейное предприятие обанкротилось в 1935 году, и в том же году его отец оставил фразу Луизу Шиндлер и снял себе квартиру. Оскар возненавидел его

за этот поступок и, когда заходил на чай к теткам, то поносил Ганса, а порой, даже в кафе, произносил речи относительно предательства своего отца по отношению к порядочной женщине. Похоже он был слеп и совершенно не видел сходства между своим сомнительным браком и распавшимся браком отца.

Поскольку он уже обрел хорошие деловые связи, да и в силу постоянного хорошего расположения духа, умения предлагать товар и пить не пьянея, даже в самом расцвете эпохи Депрессии он получил работу заведующим торговым отделом «Моравиан Электротекник». Головная контора находилась в мрачной столице провинции, в Брно, и Оскар курсировал между Брно и Цвиттау. Ему нравилась постоянные разъезды. Он уже наполовину добился исполнения той цели в жизни, которую поставил себе, обойдя Винклера на трассе в Алтфатере.

Когда его мать умерла, он сразу же вернулся и на похоронах стоял рядом со своими тетями, своей сестрой Эльфридой и женой Эмили по одну сторону могилы, в то время, как предавший покойную Ганс находился в одиночестве – не считая, разумеется, приходского священника – в голове гроба. Кончина Луизы освятила неприязнь между Оскаром и Гансом. Оскар не мог понять (это доступно только женщинам), что, в сущности, и он, и Ганс были двумя братьями по несчастью, разделенные случайным отцовством.

Во время похорон Оскар нацепил *Hakenkreutz*, эмблему партии судетских немцев Конрада Гейнлейна. Ни Эмили, ни его тети не одобрили выбор, но и не приняли его слишком близко к сердцу – в этом году все молодые чешские немцы украсили себя такими значками. Только социал-демократы и коммунисты отказывались от подобных эмблем и не записывались в партию Гейнлейна, но, видит Бог, Оскар не был ни социал-демократом, ни коммунистом. Оскар был торговцем. Все должно идти своим чередом, и когда вы оказываетесь в среде немецких предпринимателей с таким значком на лацкане, вы получаете заказ.

Но хотя его книга заказов была заполнена до предела, и он не успевал записывать новые, Оскара так же в эти месяцы 1938 года, незадолго до того, как германские дивизии вошли в Судеты – не покидало ощущение, что грядет резкий поворот истории, и он испытывал искушение вступить в партию.

Каковы бы ни были мотивы, заставившие его подумывать о присоединении к Гейнлейну, как только немецкие дивизии вошли в Моравию, он испытал мгновенное разочарование в национал-социализме, столь же быстрое, как разочарование в браке, последовавшее после женитьбы. Похоже, он предполагал, что силы вторжения помогут основать некую братскую Судетскую республику. Позже он говорил, что был поражен обращением с чешским населением, захватом имущества, принадлежащего чехам. Его первый акт сопротивления, о котором есть документальное свидетельство, последовал очень рано, в преддверии мирового конфликта, и нет оснований сомневаться – протекторат Богемии и Моравии, провозглашенный Гитлером в замке Градчаны в марте 1939 года, неприятно поразил его первыми же проявлениями тирании.

Но помимо этого, два человека, чьи мнения он уважал больше всего – Эмили и прохладно относящийся к нему ее отец – не воспринимали все происходившее как час неудержимого нашествия тевтонов и оба уверенно утверждали, что успехи Гитлеру не светят. Их мнение носило не особенно обоснованный характер, как, впрочем, и точка зрения Оскара. Эмили просто считала, что человека, объявившего себя живым Богом, ждет кара. Герр Шиндлер-старший, чья точка зрения стала известна Оскару от тетки, апеллировал к основным историческим принципам. Неподалеку от Брно текла река, на берегах которой Наполеон одержал свою знаменитую победу при Аустерлице. Ну и какая судьба постигла триумфатора Наполеона? Он стал никем, выращивая картошку на островке, затерянном в Атлантике. То же самое ждет и этого типа. Ты идешь к цели, пользуясь не столько жестким канатом, считал герр Шиндлер-старший, сколько упругой пружиной. И чем сильнее ты сжимаешь ее, тем мощнее тебя отбросит в начальную точку. Этому герра Ганса Шиндлера научила жизнь, неудачный брак и экономический крах.

Но, скорее всего, его сын Оскар не был открытым противником новой системы. Как-то осенним вечером молодой герр Шиндлер посетил прием, устроенный в санатории в холмистой местности под Остравой, недалеко от польской границы. Хозяйкой была управляющая санаторием, клиент и приятельница Оскара, которую он как-то встретил в пути. Она познакомила его с представительным немцем по имени Эберхард Гебауэр. Они завели разговор о бизнесе, о действиях, которые могут предпринять Франция и Англия, а также Россия. Затем, прихватив с собой бутылку, они удалились в соседнюю комнату, чтобы, как выразился герр Гебауэр, могли поговорить

более откровенно. Здесь Гебауэр представился офицером разведывательной службы «Абвер» адмирала Канариса и осведомился у своего собутыльника, не хочет ли он воспользоваться возможностью поработать на иностранный отдел абвера. У Оскара были счета и деловые интересы по ту сторону границы в Польше, по всей Галиции и Верхней Силезии. Согласен ли оказать он содействие абверу, ведя военную разведку в данном регионе? Гебауэр сказал, что он знает от их общей приятельницы, хозяйки заведения, что Оскар умен и общителен. Обладая такими качествами, он может принести пользу, сообщая не только о промышленных и военных объектах в данном районе, но и о тех немцах из Польши, которых ему случится завербовать в ресторанах, барах или во время деловых встреч.

И снова в виде извинения для молодого Оскара можно упомянуть, что он согласился работать на Канариса как агент абвера, потому что это позволяло ему избежать службы в армии. Что, в основном, и привлекло его в этом предложении. Должно быть, он не сомневался, что вторжение немцев в Польшу неизбежно. Как и строевой офицер, который, сидя рядом с ним на кровати, пил из одной с ним бутылки, он должен был одобрять процветание своей нации, хотя ему не нравились средства, к которым для этого приходилось прибегать. С точки зрения Оскара, Гебауэр видел в происходящем какое-то моральное оправдание, потому что он и его коллеги по Абверу считали себя элитой, придерживавшейся заповедей христианства. И хотя такой подход не мешал им планировать военное вторжение в Польшу, они с презрением относились к Гиммлеру и СС, с которыми, высокомерно верили они, им приходится вести борьбу за контроль над душами немецкого народа.

Позже, в ходе самых различных поисков в архивах разведки, удалось найти донесения Оскара, которые были исчерпывающими и толковыми. Во время поездок в Польшу по заданиям Абвера, он доказал, что обладает даром очаровывать людей и получать от них информацию, особенно в ходе светских сборищ – за обеденным столом, во время коктейлей. Нам неизвестна истинная сущность или важность того, что он находил для Гебауэра и Канариса, но Краков пришелся ему очень по душе, когда выяснилось, что, хотя его нельзя считать крупным промышленным центром, он представляет собой прекрасный средневековый город, окруженный кольцом металлургических, текстильных и химических предприятий.

Что же касается немоторизованной Польской армии, все ее секреты лежали на поверхности.

Глава 2

В конце октября 1939 года два молодых немецких фельдфебеля зашли в выставочный зал фирмы «Дж. С. Бучхайстер и компания» на Страдомской улице Кракова и выразили настоятельное желание купить несколько отрезков дешевых тканей, чтобы послать их домой. Клерк, стоявший за конторкой, еврей с желтой звездой на груди, объяснил, что у Бучхайстера не продают товар отдельным покупателям, а снабжают им фабрики одежды и оптовых потребителей. Убедить солдат ему не удалось. Когда пришло время расплачиваться они с шутовскими ужимками сунули баварскую банкноту 1858 года и оккупационную марку германской армии, датированную 1914 годом.

– Отличные деньги, – сказал один из них еврейскому кассиру.

Они были здоровыми молодыми людьми, которые провели всю весну и лето на маневрах, а в начале осени им без больших трудов достался триумф победы и все преимущества завоевателей в приятном городе. Бухгалтер был вынужден согласиться на сделку и постарался выпроводить их из магазина до того, как положил деньги в звякнувшую кассу.

Во второй половине дня сюда же явился молодой немец, контролировавший торговый баланс; официальная его должность была искусно закамуфлирована титулом представителя Восточной компании вкладов, а на деле он должен был принять все еврейские предприятия и вести дальше их дела. Он был одним из двух официальных лиц, назначенных к Бучхайстеру. Первым был Зепп Ойе, старший инспектор, неприятный человек средних лет, а вторым – этот хваткий молодой делец. Он проверил бухгалтерские книги и кассу. Оттуда он извлек не имеющие стоимости купюры. Что это значит, что это за дурацкие бумажки?

Еврей-бухгалтер поведал свою историю; инспектор обвинил его в том, что он подсунул эти древние бумажки вместо твердых золотых. Тем же днем, поднявшись на второй этаж склада Бучхайстера, хватистый молодой человек сообщил Зеппу Ойе о происшедшем и выразил мнение, что они должны вызвать *Schutzpolizei*.

И герр Ойе и молодой финансист – оба они знали, к чему это приведет: бухгалтер окажется в тюрьме СС на Монтелюпинской. Молодой инспектор считал, что таким образом представится великолепный повод сменить еврейский штат Бучхайстера. Но эта идея неприятно поразила Ойе, у которого был тайный повод так оценить ее: его бабушка была еврейкой, хотя до сих пор этого еще никто не знал.

Ойе отправил посыльного с запиской к главному бухгалтеру компании, польскому еврею Ицхаку Штерну, который лежал дома с гриппом. Ойе был политическим назначенцем и опыта в бухгалтерии у него было маловато. Он хотел, чтобы Штерн явился в контору и разрешил безвыходную ситуацию с отрезами. Едва только он отослал записку Штерну в Подгоже, как в кабинет зашел секретарь и сказал, что его ждет герр Оскар Шиндлер, утверждая, что они договорились о встрече. Выйдя в приемную, Ойе увидел высокого молодого человека, безмятежного, как датский дог, который в ожидании спокойно курил. Они действительно виделись на каком-то приеме предыдущим вечером. Оскар был там с девушкой из судетских немцев, по имени Ингрид, служившей *Treuhander* или инспектором еврейской компании металлических изделий, так же, как Ойе был *Treuhander* у Бучхайстера. В окружении компании друзей из абвера Оскар и Ингрид, не скрывавшие своей увлеченности друг другом, были заметной парой.

Герр Шиндлер интересовался возможностями приложения сил и средств в Кракове. Текстильная промышленность? – предложил ему Ойе. – Это не только форменная одежда. Польский рынок сам по себе достаточно велик и на нем господствуют достаточно высокие цены, чтобы они устроили всех нас. Вы можете сами посмотреть предприятие Бучхайстера, предложил он Оскару, еще не зная, как он будет сожалеть о последствиях не совсем трезвого недавнего разговора, состоявшегося часа в два ночи.

Шиндлер понял, что Ойе уже пожалел о своем предложении.

– Если это вас не затруднит, герр *Treuhander*, – высказался Оскар...

Герр Ойе сказал, что нет, ни в коем случае и провел его через склад и дальше через двор к ткацкому цеху, где с направляющих сходили большие рулоны золотистой ткани. Шиндлер спросил, не доставляют ли поляки беспокойства господину инспектору.

– Нет, – ответил Зепп, – они, скорее, сотрудничают. Правда, мрачноваты. Но в конце концов, тут ведь не завод боеприпасов.

Шиндлер столь откровенно производил впечатление человека со связями, что Ойе не устоял перед искушением осторожно задать вопрос: знает ли Оскар кого-либо из Главного управления по делам вооруженных сил? Например, генерала Юлиуса Шиндлера. Может, генерал Шиндлер его родственник?

– Это не имеет ровно никакого значения, – с обезоруживающей прямоотой сказал герр Шиндлер (на деле же генерал Шиндлер не имел к нему никакого отношения). – По сравнению с другими, – добавил Оскар, – генерал еще далеко не самая плохая личность.

Ойе согласился. Но ему самому никогда не доводилось обедать с генералом Шиндлером или встречаться с ним за выпивкой; вот в чем была разница.

Вернувшись в контору, они встретили Ицхака Штерна, еврейского бухгалтера Бучхайстера; в ожидании их он сидел на стуле, предложенном секретарем Ойе, сморкаясь и кашляя. Встав, он сложил руки перед грудью и проводил почтительным взглядом представителей армии завоевателей, которые, миновав его, проследовали в кабинет. Здесь Ойе предложил Оскару выпить и, извинившись, оставил его у камина, после чего вышел переговорить со Штерном.

Тот был худ, и в нем была сдержанность, присущая ученому. Его манера поведения в самом деле была свойственна, скорее, истолкователю Талмуда, облагороженному европейским интеллектом. Ойе изложил ему историю с двумя солдатами и предложение, которое сделал молодой немецкий бухгалтер. Из сейфа он вынул злосчастные купюры: баварскую 1858 года и оккупационную 1914-го.

– Я предполагаю, что вы можете организовать соответствующую бухгалтерскую процедуру, чтобы разобраться в ситуации, – сказал Ойе. – Эта история может вызвать в Кракове большой резонанс.

Взяв банкноты, Ицхак Штерн внимательно изучил их. Он в самом деле знает, что делать в таком случае, сказал он господину инспектору. Без тени улыбки и не моргнув глазом, он пересек комнату и подойдя к открытому огню в камине в дальнем конце ее, бросил туда обе банкноты.

– Я спишу эту транзакцию по графе потерь, как «выставочные экземпляры» продукции, –

сказал он. – Начиная с сентября, таковых было немало.

Ойе оценил сдержанный и эффективный подход Штерна, с которым тот отнесся к вещественным доказательствам. Он не смог удержаться от смеха, поскольку тощая фигура бухгалтера, продемонстрировавшего ему этакую местечковую находчивость, воплощала в себе все сложности Кракова как такового. Только местные обитатели знают, за какой конец веревки надо хвататься. А в кабинете у него сидит герр Шиндлер, жаждущий получить информацию о местных условиях.

Ойе пригласил Штерна в кабинет управляющего для встречи с Шиндлером, который сидел, глядя в огонь и рассеянно покачивая в руке закупоренную фляжку. Первым делом Ицхак Штерн подумал, что этот немец не из покладистых. Ойе носил на лацкане символ своего фюрера, миниатюрную свастику с той же небрежностью, с какой другой бы украсил себя значком мотоциклетного клуба. Но большая, размером с солидную монету, эмблема Шиндлера отражала свет черной эмалированной поверхностью. И она, и атмосфера преуспевания, окружавшая этого молодого человека, больше, чем что-либо другое дали Штерну понять, что польских евреев ждет невеселая холодная осень.

Ойе представил их друг другу. В соответствии с последним указом губернатора Франка, Штерн обратился к нему со словами:

– Должен сообщить вам, что я еврей.

– Ну и что? – буркнул ему Шиндлер. – А я немец. Каждый при своем!

«Все прекрасно, – едва ли не вслух пробормотал Штерн, уткнувшись в свой носовой платок. – Но на всякий случай не мешало бы вам заглянуть в указы».

Ибо Ицхаку Штерну – уже сейчас, когда не прошло и семи недель после введения «нового порядка» в Польше – приходилось существовать в соответствии не только с этим указом, но и со многими другими. Ганс Франк, генерал-губернатор Польши, уже лично подписал и выпустил в свет шесть ограничительных указов, доверив остальные правителю округа, доктору Отто Вахтеру, группенфюреру (генерал-майору) СС. Штерн, кроме оповещения о своем происхождении, обязан был иметь при себе специальное регистрационное удостоверение с желтой полосой. Когда Штерн, кашляя, стоял перед Шиндлером, уже три недели действовал указ, запрещающий приготовление кошерного мяса, а также оповещающий о создании трудовых лагерей для евреев. Официальный рацион питания, полагающийся Штерну как «унтерменшу» (недочеловеку), был лишь чуть больше половины того, что полагалось полякам и неевреям, хотя и тот выдавался им как унтерменшам.

Наконец, 8-го ноября было выпущено распоряжение, потребовавшее от всех краковских евреев зарегистрироваться не позже 24-го числа.

Штерн, полный спокойствия и некой абстрактной созерцательности, осознавал, что указы будут продолжать выходить в свет, определяя их жизнь, пока, наконец, у него останется право только дышать. Большинство краковских евреев так же ждали бурного потока распоряжений. Жизнь уже и так затрещала по всем швам – евреев из *shtetls*, маленьких местечек, отправляли в город работать в угольных разрезах, интеллектуалов же гнали на село убирать навоз. Время от времени возникала спорадическая резня, как, например, в Турске, когда дивизион артиллерии СС заставил людей весь день работать, наводя мост, а потом вечером всех согнали к деревенской синагоге и расстреляли. Такие же события будут возникать постоянно. Но рано или поздно все как-то наладится, устроится; народ постарается выжить, подавая прошения и подкупая власти – старый метод, он срабатывал еще во времена Римской империи и сработает сейчас. В конце концов, гражданским властям нужны евреи, особенно, когда они составляют десятую часть населения.

Тем не менее, Штерн смотрел в будущее без оптимизма, он явно не был прожектером. Он не предполагал, что законодатели в ближайшее время утихомятся и можно будет начать с ними серьезные переговоры. Ибо их, евреев, ждут куда более худшие времена. И поскольку он не знал, с какой стороны подымется пламя и какой оно будет силы, чтобы испепелить их, он предпочитал не думать о будущем.

– Весьма любезно с вашей стороны, герр Шиндлер, что вы своим небрежным замечанием благородно дали мне понять, что мы на равных.

– Этот человек, – сказал Ойе, представляя Ицхака Штерна, – правая рука Бучхайстера. У него хорошие связи в деловом мире Кракова.

Штерн не был в том положении, чтобы спорить с Ойе. Кроме того, он не знал, почему *Treuhand* рассыпается в любезностях перед невозмутимым визитером.

Ойе извинился и покинул их.

Оставшись наедине со Штерном, Шиндлер пробормотал, что был бы весьма благодарен, если бы бухгалтер ввел его в курс дела относительно некоторых местных предприятий. Пытаясь понять, что нужно Оскару, Штерн предложил, что, может быть, герру Шиндлеру лучше переговорить с официальными представителями.

– Они все воры, – откровенно сказал герр Шиндлер. – И к тому же замшелые бюрократы. А мне нужна откровенная оценка. – Он пожал плечами. – По духу я капиталист, и терпеть не могу, когда меня вводят в какие-то рамки.

После такого начала Штерн и самозванный капиталист вступили в разговор. Штерн оказался бесценным источником информации; казалось, у него были друзья и родственники едва ли не на каждом предприятии Кракова – на текстильных, по пошиву одежды, на кондитерских и мебельных фабриках и машиностроительных предприятиях. Герр Шиндлер был приятно поражен и извлек конверт из нагрудного кармана:

– Вы знаете такую компанию, как «Рекорд»? – спросил он.

Ицхак Штерн знал ее. Она находится на грани краха, сказал он. Она производит эмалированную посуду. После банкротства часть прессов для металла будет конфискована, да и сейчас от нее осталась, скорее, лишь оболочка, в пределах которой производится – под управлением одного из родственников бывшего владельца – лишь малая часть того, что можно было бы делать. Его брат, сказал Штерн, представляет шведскую компанию, которая является одним из основных кредиторов «Рекорда». Штерн позволил себе небольшую нотку покровительственной гордости, осудив компанию:

– Предприятие очень плохо управлялось, – сказал и Шиндлер бросил конверт на колени Штерна.

– Здесь их балансовый отчет. Скажите мне, что вы о нем думаете.

Штерн ответил, что герр Шиндлер, конечно же, может с таким же успехом задать этот вопрос другому, а не ему. Конечно, согласился Оскар. Но я ценю именно ваше мнение.

Штерн быстро просмотрел балансовый отчет; после трех минут изучения его, он почувствовал, что в кабинете воцарилась какое-то странное молчание и, подняв глаза, увидел, что герр Оскар Шиндлер не сводит с него взгляда.

Такой человек, как Штерн, был в полной мере одарен доставшейся ему от предков способностью нюхом чувствовать того гоя, который может охранить или даже в какой-то мере укрыть от ненависти и дикости других. Это было странное ощущение надежности, какого-то укрытия. И с этой минуты предположение, что под крылом герра Шиндлера он сможет найти спасение, внесло своеобразный оттенок в их общение, подобно тому, как намек на интимные отношения окрашивает разговор мужчины и женщины на вечеринке. Это было всего лишь смутное предположение, которое волновало Штерна, естественно, куда больше, чем Шиндлера, и о котором он не осмеливался дать понять, дабы не нарушить установившуюся связь между ними.

– Но дело, как таковое, отличное, – сказал Штерн. – Вы можете поговорить с моим братом. И, конечно же, есть возможность заключения военных контрактов...

– Конечно, – пробормотал герр Шиндлер.

Почти сразу же после падения Кракова, еще до того, как завершилась осада Варшавы, в генерал-губернаторстве была организована Инспекция по делам вооруженных сил, в обязанности которой входило заключение контрактов с промышленниками, способными снабжать армию всем необходимым. На таком предприятии, как «Рекорд», отлично можно было бы производить походные котелки и полевые кухни. Инспекцию, как Штерну было известно, возглавлял генерал-майор вермахта Юлиус Шиндлер. Не был ли данный генерал родственником Оскара Шиндлера? – спросил Штерн.

– Нет, боюсь, что нет, – ответил Шиндлер таким тоном, будто просил Штерна сохранить данный факт в тайне.

– Во всяком случае, – заметил Штерн, – даже в сегодняшнем положении «Рекорд» может выдавать продукции больше чем на полмиллиона злотых в год, а новые прессы и печи для обжига можно без труда получить. Это зависит от способности герра Шиндлера заполучить кредиты.

– Эмалированная посуда, – сказал Шиндлер, – больше отвечает его наклонностям, чем текстиль. В недавнем прошлом он выпускал сельскохозяйственное оборудование, так что он разбирается в паровых прессах и так далее.

Штерну не пришло в голову спросить, почему столь преуспевающий немецкий предприни-

матерь выразил желание поговорить с ним о деловых предложениях. Подобные встречи сопутствовали всей истории его народа и нормальный деловой обмен мнениями не нуждался в объяснениях. Он стал растолковывать, на каких условиях коммерческий суд согласится сдать в аренду обанкротившееся предприятие. Арендное владение, которое потом можно будет приобрести – это лучше, чем положение инспектора, которой полностью находится под контролем министерства экономики.

Понизив голос, Штерн рискнул спросить:

– Вы понимаете, что скоро вы выясните, насколько ограничено количество людей, которых вам будет разрешено взять на работу?..

Шиндлер оживился.

– Как вы об этом узнали? Об окончательном решении?

– Я читал в «Берлинер Тагеблатт». Пока еще евреям разрешается читать немецкие газеты.

Не прекращая смеяться, Шиндлер протянул руку и позволил ей опуститься на плечо Штерна.

– Вот как? – спросил он.

По сути, Штерн знал обо всем этом потому, что Ойе получил депешу от рейхссекретаря Министерства экономики Эберхарда фон Ягвитца, излагающую политику ариизации деловой активности. Ойе передал ее Штерну, чтобы тот подготовил краткое изложение меморандума. Скорее с сокрушением, чем с возмущением, фон Ягвитц указывал, что существует давление со стороны остальных правительственных и партийных инстанций, как например РСХА Гейдриха, то есть, из штаб-квартиры тайной полиции рейха, с целью приватизировать не только руководство компаний, но и управленческий состав и рабочую силу. И чем скорее удастся избавиться даже от опытных еврейских работников, тем лучше – конечно, при том обязательном условии, что производство продукции будет оставаться на приемлемом уровне.

Наконец герр Шиндлер засунул отчет о деятельности «Рекорда» обратно в нагрудный карман, встал и в сопровождении Ицхака Штерна вышел. Они постояли некоторое время среди машинисток и клерков, обмениваясь негромкими философскими фразами, которые Оскар любил себе позволять. И именно здесь Оскар понял, что сущность христианства имеет основу в иудаизме; тема эта, в силу каких-то причин, может, из-за детской дружбы с Канторами в Цвиттау, всегда интересовала его. Штерн говорил тихо и вдумчиво. В свое время он публиковал статьи в журналах, посвященных сравнительному анализу религий. Оскар, который, заблуждаясь, считал себя в определенной мере философом, встретил специалиста в этой области. Склонный к вдумчивому и углубленному до педантизма изучению предмета, Штерн встретил в лице Оскара понимающего собеседника, одаренного от природы умом, но лишённого концептуальной глубины. Не то, чтобы Штерн сетовал на это. Их столь неуместная дружба стала обретать корни. И Штерн поймал себя на том, что он подыскивает исторические аналогии, как делал отец Оскара из опыта предыдущих империй, сопровождая их собственными объяснениями, почему Гитлеру не добиться конечного успеха.

Это мнение вырвалось у него прежде, чем Штерн спохватился. Остальные евреи, находившиеся в помещении, склонили головы и уставились в бумаги. Шиндлер оставался совершенно спокоен.

К концу их разговора Оскар сказал нечто новое. В такие времена, сказал он, церкви, должно быть, трудно вносить людям, что их Отец Небесный заботится о жизни и смерти даже простого воробья. Он бы не смог быть священником, сказал герр Шиндлер, в такие времена, когда жизнь стоит не дороже пачки сигарет. Штерн согласился, но в пылу дискуссии выдвинул предположение, что герру Шиндлеру было бы неплохо сопоставить ссылки на Библию с талмудической версией, которая утверждает, что тот, кто спасет жизнь хоть одного человека, спасет весь мир.

– Конечно, конечно, – сказал Оскар Шиндлер.

Прав он был или нет, но Ицхак Штерн всегда считал, что именно в это мгновение он бросил семена во вспаханную борозду.

Глава 3

Есть и другой краковский еврей, который рассказал о встрече с Шиндлером той осенью, когда он был на краю гибели. Имя этого человека Леопольд (Польдек) Пфедферберг. Он был командиром взвода польской армии во время последней трагической кампании. Получив ранение в ногу

во время сражения на реке Сан, он дохромал до польского военного госпиталя в Пшемысле, где стал помогать другим раненым. Он был не врачом, а преподавателем физики в старших классах: он окончил Ягеллонский университет в Кракове и имел какое-то представление об анатомии. Он был крепким, уверенным в себе двадцатисемилетним парнем со стальными мускулами.

Вместе с несколькими сотнями польских офицеров, взятыми в плен под Пшемыслом, Пфедферберга уже везли в Германию, когда поезд остановился в его родном городе Кракове и всех пленных согнали в зал ожидания первого класса, где им и предстояло пребывать, пока не подадут новый транспорт. Его дом был в десяти кварталах от вокзала. Для предприимчивого молодого человека казалось просто чудовищным, что он не может выйти на улицу Павья и, сев на первый же трамвай, добраться до дома. Не попробовать ли ему обдурить стоящего у дверей юного охранника из вермахта?

В нагрудном кармане у Пфедферберга был документ, подписанный руководством немецкого госпиталя в Пшемысле, в котором говорилось, что ему разрешается передвижение по городу в составе экипажа скорой помощи, для оказания содействия раненым из обеих армий. С формальной точки зрения, бумага вызывала доверие, на ней были все полагающиеся подписи и печати. Вынув ее из кармана, он подошел к охраннику и протянул ему документ.

– По-немецки читаешь? – спросил Пфедферберг.

Конечно, он знал, кого можно подначивать. Ты должен быть молод и уметь убеждать, используя всю свою напористость, которая при этом не должна иметь оскорбительного характера. Вообще, ты должен проявить себя типичным поляком, с той примесью аристократизма, которая была свойственна членам польского офицерского корпуса, даже тем его редким членам, которые были евреями.

Охранник моргнул.

– Конечно, читаю, – сказал он. Но, взяв документ в руки, он держал его перед собой, подобно человеку, не знающему грамоты – как кусок хлеба. Пфедферберг объяснил по-немецки, что документ дает ему право свободного выхода и устройства в гостинице. Охранник видел только обилие официальных печатей. Настоящий документ. Мотнув головой, он показал на дверь.

Этим утром Пфедферберг оказался единственным пассажиром в трамвае первого маршрута. Еще не было шести часов. Кондуктор, не обратив на него особого внимания, взял плату за проезд, потому что в городе еще было полно польских солдат, ускользнувших от вермахта. Офицерам необходимо было пройти регистрацию, вот и все.

Трамвай обогнул район Барбакан и через проезд в древней крепостной стене двинулся вниз по Флорянской до церкви Святой Марии, через центральную площадь, от которой было пять минут до улицы Гродской. Недалеко от дома 48, квартиры его родителей, он, вспомнив мальчишеские упражнения, спрыгнул с трамвая до того, как сработал воздушный тормоз и с разбегу подлетел к дверям.

После побега он жил без особых удобств, скитаясь по друзьям и лишь изредка навещая дом на Гродской. Открылись были еврейские школы – их окончательно прикрыли только через шесть недель – и он вроде мог вернуться к преподавательской работе. Он не сомневался, что гестапо потребует некоторое время, прежде чем оно обратит на него внимание, и обратился за получением карточек на питание. Он стал заниматься драгоценностями – как агент по продаже, а также на свой собственный страх и риск – на черном рынке, который функционировал на центральной площади Кракова, под сводами Сукенице и рядом с двумя шпилями церкви Святой Девы Марии. Торговля носила быстрый и беспорядочный характер, участвовали в ней и поляки, но большей частью польские евреи. Их продуктовые книжки, в которых то и дело отменяли те или иные купоны, позволяли им получать только две трети мясных продуктов и половину того количества масла, что выдавалось прочим согражданам, а все купоны на какао и рис были им недоступны. Так что черный рынок, который действовал все столетия чужеземного владычества и несколько десятилетий польской автономии, стал едва ли не единственным источником и пищи, и каких-то доходов, являясь в то же время наглядным свидетельством сопротивления, которое оказывали даже почтенные горожане, не говоря уж о тех, кто, подобно Пфедфербергу, обладал всей мудростью, почерпнутой на улицах.

Он прикидывал, что скоро сможет отправиться в дорогу по лыжным тропам Закопане в Татрах и через Словакию проскользнуть в Венгрию или Румынию. К такому путешествию он был вполне готов, поскольку в свое время был членом польской национальной сборной по лыжам. В

квартире матери на самой высокой полке, заставленной фарфором, он хранил маленький пистолетик 22-калибра – оружие, которое могло ему послужить и в ходе предполагаемого бегства, и если его в квартире застигнет гестапо.

Имея при себе эту полуигрушку с перламутровыми щечками, Пфефферберг был близок к тому, чтобы стильным ноябрьским днем убить Оскара Шиндлера. Шиндлер в своем двубортном смокинге с партийным значком на лацкане решил посетить миссис Мину Пфефферберг, мать Польдека, чтобы договориться с ней о заказе. Квартирный отдел рейха предоставил ему прекрасную современную квартиру на улице Страшевского. До этого она принадлежала еврейской семье Нуссбаум. Он получил ее без какой-либо компенсации предыдущим обитателям. И в тот день, когда появился Оскар, миссис Мина Пфефферберг ждала, что такая же судьба постигнет и их дом на Гродской.

Часть друзей Оскара позже утверждали – хотя это и невозможно доказать – что Оскару удалось разыскать обездоленных Нуссбаумов в их обиталище на Подгоже и вручить им в виде компенсации сумму около 50 000 злотых. С помощью этих денег, как говорилось, Нуссбаумам удалось оплатить свое бегство в Югославию. Эти пятьдесят тысяч злотых можно было расценить как явный вызов режиму, но еще до Рождества Оскар позволил еще несколько подобных же эскапад. Некоторые из его друзей не могли не отметить, что благотворительность была неистребимым пороком Шиндлера, одним из его пристрастий. Он мог выложить водителю такси вдвое больше, чем полагалось по счетчику. И тут же необходимо добавить, что он не был рьяным поклонником наместнической политики Рейха и открыто говорил об этом Штерну вовсе не во времена упадка режима, а еще в те давние упоительные осенние деньки.

Во всяком случае, миссис Пфефферберг не имела представления, почему этот высокий немец в хорошо пошитом костюме оказался у ее дверей. Он вполне мог разыскивать ее сына, который как раз в этот момент находился на кухне. Он мог явиться, чтобы реквизировать ее квартиру, ее антиквариат, ее французские гобелены и, в конце концов, ее дела.

И действительно, чуть позже, в декабрьские дни праздника Хануки немецкая полиция, получив приказ, появится у дверей Пфеффербергов и выгонит их, дрожащих от холода, на мостовую Гродской улицы. Когда миссис Пфефферберг попросит разрешения подняться за пальто, она получит отказ; а когда мистер Пфефферберг явится в бюро с подношением в виде старинных золотых часов, он получит по физиономии. «В прошлом я был свидетелем ужасных вещей, – скажет Герман Геринг, – все, от мелких шоферов до гауляйтеров, так набивали себе карманы в ходе этих акций, что теперь у каждого по полумиллиону». То, что мистер Пфефферберг при помощи такой безделушки, как золотые часы, мог подвергнуть сомнению моральные устои партии, должно было бы потрясти Геринга. Но что поделать, в тот год в Польше гестапо не слишком церемонилось, откровенно разграбляя имущество конфискованных квартир.

Когда Шиндлер впервые появился в апартаментах Пфеффербергов на втором этаже, члены семьи занимались своими делами. Миссис Пфефферберг, окруженная образцами и отрезами ткани, и кусками обоев, обсуждала их качество со своим сыном. Тут-то и постучал герр Шиндлер. Визит не особенно беспокоил Леопольда. Из квартиры было два выхода на лестничную площадку, находившихся друг против друга – парадная дверь и черный ход на кухне. Леопольд прошел туда и сквозь щелку рассмотрел визитера. Он увидел внушительного мужчину в модном костюме и вернулся к матери в гостиную. У меня ощущение, сказал он, что этот человек из гестапо. Когда тыпустишь его, я, как всегда, уйду через кухню.

Госпожу Мину Пфефферберг колотило. Она открыла парадную дверь. Она, конечно, слышала, куда по коридору прошел ее сын. Пфефферберг действительно взял пистолет и сунул его за пояс, надеясь, что звук открываемой двери поможет ему незаметно выскользнуть из квартиры. Но глупо было бы исчезнуть, не выяснив, что тут нужно этому солидному немцу. Не исключено, что его придется прикончить, после чего всей семье надо будет бежать в Румынию.

Если бы неумолимое развитие событий заставило бы Пфефферберга выхватить пистолет и открыть огонь, то история этого месяца была бы отмечена и смертью, и бегством, и неизбежными жестокими репрессиями. Герра Шиндлера погребли бы после краткой заупокойной службы, и он, без сомнения, был бы отмщен. Всем его нереализованным возможностям был бы быстро положен конец. И в Цвиттау могли бы задаться вопросом: «Чей он был муж?»

Голос удивил Пфеффербергов. Он был мягкий, спокойный и хотя речь шла о деле, казалось, гость готов был попросить извинения за вторжение. За прошедшие недели они уже привыкли к

грубым командным окриком, вслед за которыми следовали обыски и изъятия. В этом же были какие-то отеческие покровительственные нотки. Это могло плохо кончиться. Но в визите было и что-то интригующее.

Выскользнув из кухни, Пфедферберг притаился за двойными дверями гостиной. Немец был ему почти не виден.

– Вы миссис Пфедферберг? – спросил тот. – Вас рекомендовал мне герр Нуссбаум. Я недавно разместился в апартаментах на Страшевского и хотел бы изменить их декор.

Мина Пфедферберг продолжала держать человека на пороге. Она была так растеряна и говорила столь сбивчиво, что сын из жалости к ней, появился в дверях, застегнув пиджак, скрывающий оружие. Пригласив гостя войти, он в то же время по-польски шепнул матери несколько ободряющих слов.

Наконец Оскар Шиндлер назвался. Напряжение несколько спало, ибо Шиндлер дал понять, что Пфедфербергам нечего бояться. Шиндлер выразил свою расположенность к ним тем, что общался к ним через сына в роли переводчика.

– Из Чехословакии приезжает моя жена, – сказал он, – и я хотел бы, чтобы обстановка отвечала ее вкусам.

Он уточнил, что, конечно, Нуссбаумы великолепно обставили свое родное обиталище, но они предпочитали массивную мебель и мрачные тона. Госпоже Шиндлер же нравится более живая обстановка, дабы в ней было что-то во французском стиле, что-то в шведском.

Миссис Пфедферберг оправилась настолько, чтобы пробормотать, что она, в общем-то, не знает, что и сказать, с наступлением Рождества у нее масса работы. Леопольд мог предположить, что в ней говорило инстинктивное нежелание обслуживать немецкую клиентуру; но в эти времена немцы были единственным народом, столь уверенно глядевшим в будущее, что они могли позволить себе заботиться об интерьере квартир. А миссис Пфедферберг нуждалась в хорошем контракте – ее муж потерял работу и теперь буквально за гроши работал в «Геймайнде», еврейском благотворительном бюро.

Не прошло и двух минут, как оба мужчины вступили в дружескую беседу. Пистолет за поясом Пфедферберга обрел статус оружия, которое, может быть, понадобится в отдаленном будущем, при непредвиденной случайности. Уже не было сомнений, что миссис Пфедферберг возьмется декорировать квартиру Шиндлера, не считаясь с расходами, и Шиндлер намекнул, что когда все будет в порядке, Леопольд мог бы заглянуть к нему переговорить и о других делах.

– Не исключено, что вы сможете помочь мне советом относительно местного рынка, – сказал герр Шиндлер. – Вот например, на вас очень элегантная синяя рубашка... Сам я просто не представляю, как достать нечто подобное. – Его наивность была не более, чем уловкой, и Пфедферберг отдал ей должное. – Магазины, как вы знаете, пусты, – с намеком пробормотал Оскар.

Леопольд был из того сорта молодых людей, которые выжили лишь потому, что умели рисковать и играть по-крупному.

– Герр Шиндлер, это очень дорогие рубашки, и я надеюсь, что вы это понимаете. Они стоят по двадцать пять злотых каждая.

Он зависил стоимость раз в пять. В глазах герра Шиндлера мелькнуло насмешливое понимание – тем не менее, он не хотел подвергать опасности их только зародившуюся взаимную симпатию или напоминать Пфедфербергу, что у того есть оружие.

– Может, я смогу раздобыть вам несколько, – сказал Леопольд, – если вы сообщите мне ваш размер. Но, боюсь, мои поставщики потребуют деньги вперед.

Герр Шиндлер, все с тем же пониманием взглянув на него, вынул бумажник и протянул Пфедфербергу 200 рейхсмарок. Сумма была настолько велика, что Пфедферберг, не обижая себя, мог бы приобрести на нее рубашки для дюжины Шиндлеров. Но, придерживаясь правил игры, он не моргнул и глазом.

– Вы должны дать мне свои размеры, – напомнил он. Через неделю Леопольд доставил дюжину шелковых рубашек в квартиру Шиндлера на Страшевского. В апартаментах его встретила симпатичная немка, которая представилась как *Trauhander*, инспектирующая производство в Кракове скобяных изделий. Как-то вечером Пфедферберг увидел Оскара в компании светловолосой и большеглазой польской красавицы. Если и существовала фрау Шиндлер, она так и не показала даже после того, как фрау Пфедферберг закончила декорирование квартиры. Сам же Леопольд стал одним из наиболее постоянных поставщиков Шиндлеру предметов роскоши – шелковых из-

делий, мебели, драгоценностей – с черного рынка, который процветал в древнем городе Кракове.

Глава 4

В следующий раз Ицхак Штерн встретил Оскара Шиндлера как-то утром в начале декабря. Заявление Шиндлера было уже подано в польский коммерческий суд Кракова, а Оскару было все недосуг посетить контору Бучхайстера, но, наконец, пообщавшись с Ойе, он остановился около стола Штерна в приемной, хлопнул в ладоши и голосом подвыпившего человека объявил:

– Завтра начинается! Улицам Иосифа и Исаака стоило бы подготовиться!

Улицы Иосифа и Исаака действительно существовали в Казимировке, являвшейся частью старого гетто Кракова, островком, переданным Казимиром Великим в пользование еврейской общины; теперь оно представляло собой заселенное предместье, притулившееся у притока Вислы.

Герр Шиндлер нагнулся к Штерну и тот, уловив его согретое хорошим коньяком дыхание, задался вопросом: "В самом ли деле герр Шиндлер знает, что может ждать улицы Иосифа и Исаака? Или же он назвал их просто походя?" Во всяком случае Штерн ощутил тошнотворное чувство слабости и растерянности. Герр Шиндлер промурлыкал что-то о готовящемся погроме, и его тон, полный небрежного хвастовства, должен был поставить Штерна на место.

Было 3-го декабря. Когда Оскар сказал «завтра», Штерн предположил, что он имел в виду не буквально 4-го декабря, а употребил это выражение в том смысле, как это всегда свойственно пьяницам и пророкам – вот-вот нечто должно произойти. Только несколько человек из тех, кто слышали или уловили невнятный намек герра Шиндлера, восприняли его в буквальном смысле. Всю ночь они укладывали вещи и переправляли семьи через реку в Подгоже.

Что же касается Оскара, он решил сообщить эту неприятную новость на свой страх и риск. Она дошла к нему, как минимум, из двух источников, от его новых приятелей. Один из них – Герман Тоффель был полицейским в звании вахтмейстера (сержанта), прикомандированным к штабу. Другой, Дитер Ридер, служил в штабе СД у Чурды. Среди офицеров они, пожалуй, были самыми симпатичными личностями, на которых у Оскара всегда был особый нюх.

Хотя он так толком и не смог бы объяснить мотивы, почему обратился к Штерну в то декабрьское утро.

Потом он уже говорил, что во время немецкой оккупации Богемии и Моравии, он был свидетелем повсеместного захвата собственности чехов и евреев в том районе Судет, который отходил немцам, что надежно излечило его от всякой симпатии к «новому порядку». И когда он выложил новости Штерну, это куда больше, чем сомнительная история с Нуссбаумами, дало понять, на какой путь он вступает.

Должно быть он, как и евреи Кракова, тешил себя надеждами, что после первоначальной вспышки ярости режим утихомирится и даст людям дышать. Если в течение нескольких последующих месяцев рейды и налеты СС удастся хоть в какой-то мере смягчить вовремя поступающей информацией, может, к весне как-то все наладится. Кроме того, как Оскар, так и евреи старались внушить себе, что немцы все же были цивилизованной нацией.

Решение СС вторгнуться в пределы Казимировки, тем не менее, вызвало у Оскара глубокое отвращение – не потому, что оно напрямую могло коснуться того уровня, на котором он зарабатывал деньги, ухаживал за женщинами, обедал с друзьями, но, чем яснее становились намерения правящего режима, тем более омерзительным и непереносимым он становился для Оскара. Предполагалось, что планируемая операция в какой-то мере обеспечит ее участников мехами и драгоценностями, поскольку обитателей преуспевающих кварталов между Краковом и Казимировкой ждало выселение и изгнание. Но первая акция, кроме практических результатов должна была послужить грозным предупреждением запуганному населению древнего еврейского квартала. С этой целью, как Ридер рассказал Оскару, в Казимировку из Стардома будет переброшен небольшой отряд *Einsatzgruppe*, который прибудет на тех же машинах, что и ребята из местных отделений СС и полевой жандармерии.

Вместе с армией вторжения в Польшу прибыли и шесть «Айнзатц-групп». Их название носило несколько неопределенный характер и наиболее точно его можно было бы перевести как «группы специального назначения». Но неопределенное слово «*Einsatz*» содержало в себе богатство оттенков – бросить вызов, кинуть перчатку, проявить рыцарское мужество. Группы набирались из членов гейдриховской *Sicherheitsdienst* (СД, секретной службы). Им сразу же давали понять,

что полномочия у них исключительно широки. Их высший руководитель шесть недель тому назад сказал генералу Вильгельму Кейтелю, что «в Польском генерал-губернаторстве развернется суровая борьба за выживание нации, которая не потерпит никаких ограничений со стороны закона». За высокой риторикой их вождей, как понимали солдаты айнзатцгрупп, за словами о выживании нации, скрывалось уничтожение одной расы другой, так же как слово «*einsatz*», особо благородная миссия, означало раскаленные стволы автоматов.

Взвод айнзатцгруппы, которому тем вечером предстояло действовать в Казимировке, представлял собой отборную часть, элиту. Пусть эти краковские эсэсовцы, сидящие на сдельной оплате, занимаются столь гнусным делом, как обыск квартир в поисках колец и меховых пальто. На их же долю выпало участие в куда более важном и радикальном символическом действе, которое положит конец символу еврейской культуры – то есть, древней синагоге Кракова.

Как и местные «*Sonderkommandos*» СС (или отряд специального назначения), которым предстояло принять участие в первой акции, так и шеф тайной полиции СД Чурда, уже несколько недель дожидались прибытия айнзатцгруппы. Армия договорилась с Гейдрихом и высшим руководством полиции, что она будет держаться в стороне от этих операций, пока Польша не перейдет от военного к гражданскому правлению. Наконец было получено разрешение властей, и по всей стране рыцари айнзатцгрупп и зондеркоманд были спущены с цепи, чтобы с профессиональным бесстрашием положить конец истории расы, обитавшей в старых иудейских гетто.

В конце улицы, где располагались апартаменты Оскара, на скале высилась укрепленная громада Вавельского замка, из которого Ганс Франк правил генерал-губернаторством. И если Оскар хотел понять, какое будущее ожидает Польшу, необходимо было присмотреться к связям между Франком и новоиспеченными исполнителями из СС и СД, а также между Франком и евреями Кракова.

Во-первых, Франк, напрямую не руководил теми специальными группами, направлявшимися в Казимировку. Полицейские силы Генриха Гимmlера, где бы они ни действовали, всегда руководствовались своими законами. Не будучи в восторге от их независимости. Франк не соглашался с их методами и с чисто практической точки зрения. Как и любой член партии он поддерживал политику уничтожения еврейского населения и считал Краков, несмотря на все его достоинства, невыносимым местом обитания из-за населяющих его евреев. В течение нескольких прошедших недель он решительно возражал, когда власти хотели использовать генерал-губернаторство и особенно Краков с его железнодорожным узлом как место свалки, куда будут свозить всех евреев от Лодзи до Познани. Он не верил, что айнзатцгруппы или зондеркоманды с их методами могут разрешить суть проблемы. На определенном этапе мучительных размышлений «Гейни» разделял убеждение Франка, что должен быть создан один-единственный огромный концентрационный лагерь для евреев, для каковой цели могут послужить, например, Люблин с окрестностями или, что было бы еще желательнее, остров Мадагаскар.

Сами поляки всегда склонялись к этой идее об использовании Мадагаскара. В 1937 году польское правительство даже послало миссию изучить этот гористый остров, отдаленность которого должна была оберечь их европейскую чувствительность. Министерство по делам колоний Франции, которой принадлежал Мадагаскар, охотно заключило бы сделку на правительственном уровне, поскольку Мадагаскар, заселенный евреями из Европы, мог бы стать отличным рынком сбыта. Какое-то время министр обороны Южной Африки Освальд Пироу исполнял роль посредника в переговорах Гитлера и Франции относительно острова. Таким образом, Мадагаскар как способ решения мог сыграть почетную роль. Ганс Франк ставил на него, а не на айнзатцгруппы. Ибо их спорадические набеги и резня не могли заметно уменьшить количество недочеловеков в Восточной Европе. В то время, когда шла кампания у стен Варшавы, айнзатцгруппы в Силезии сгоняли евреев в синагоги и подрывали их там, толпами топили их, врываются в дома в канун Шаббата или по праздникам, рвали их молитвенные свитки, кидали талесы в огонь, ставили евреев к стенке. Но их усилия почти не сказывались. История неоднократно доказывала, утверждал Франк, что гонимым нациям в массе своей удавалось пережить геноцид и снова размножиться. Фаллос, оказывается, действовал куда быстрее оружия.

Но никто из них еще не знал – ни спорящие между собой члены Партии, ни наиболее образованные из членов айнзатцгрупп, сидящие по бортам одного из грузовиков, ни такие же ребята из СС, сидящие в другом, которым этим вечером предстояло захватить синагогу, ни герр Оскар Шиндлер, направлявшийся к себе на Страшевского, где ему предстояло переодеться к званому

обеду – никто из них еще не знал, и даже многие осведомленные члены Партии сомневались, что будет найдено технологически приемлемое решение – что химический состав для уничтожения насекомых, получивший название «Циклон Б» будет принят вместо Мадагаскара как средство окончательного решения.

Между Гитлером и Лени Рифеншталь, любимой актрисой и режиссером фюрера, произошел некий инцидент. Вскоре после падения Лодзи она прибыла туда со своим неизменным оператором и увидела шеренгу евреев – типичных иудеев с пейсами – которых расстреливали из автоматического оружия. Она напрямик отправилась к фюреру, который пребывал в штаб-квартире Южной группы войск и устроила сцену. С любой точки зрения – логики, эффективности, общественного мнения – ребята из айнзатцгрупп вели себя глупо. Но теперь смешно было говорить и о Мадагаскаре, когда был найден кардинальный способ свести на нет количество недочеловеков в Центральной Европе, для чего будут отведены специальные места с соответствующим оборудованием, о чем знаменитой киношнице лучше было бы не знать.

Как Оскар и предупредил Штерна в приемной у Бучхайстера, ээсовцы, перемещаясь от дверей к дверям, начали экономическое уничтожение детей Исаака, Иосифа и Якова. Они врывались в квартиры, выволакивая содержимое шкафов, взламывая замки столов и гардеробов. Они срывали украшения с пальцев, с шей и из кармашков для часов. Девушке, которая не хотела отдавать свою меховую шубку, сломали руку; мальчишку с улицы Цемной, вцепившегося в свои лыжи, просто пристрелили.

Некоторые из ограбленных – не догадываясь, что СС действует по своим законам – на следующий день обратились с жалобами в полицейский участок. Где-то, как они знали из уроков истории, должен обитать старший офицер, бескорыстный и благородный, который придет в ужас и решительно призовет к порядку распоясавшихся грабителей. Должно последовать расследование истории с мальчиком на Цемной и с одной из женщин, которой ударом дубинки сломали нос.

Пока ребята из СС работали по квартирам, взвод айнзатцгруппы собрался у синагоги четырнадцатого столетия на Старой Божнице. Как и предполагалось, они застали тут за молитвой компанию старых евреев с бородами, в пейсах и в молитвенных одеяниях. Согнав из окружающих зданий некоторое количество не столь ортодоксальных евреев, их тоже запихали в синагогу, словно бы немцы желали посмотреть, какова будет реакция одной группы на другую.

Среди тех, кому пришлось переступить порог синагоги на Старой Божнице, был гангстер Макс Редлих, который никоим иным образом не попал бы в древний храм и не был бы приглашен в него. Они стояли перед ковчегом Завета, два совершенно разных представителя одного народа, которые в нормальный день сочли бы присутствие друг друга оскорбительным для себя. Солдат айнзатцгруппы вскрыл ковчег и вытащил из него пергаментный свиток Торы.

Странное сообщество, собранное под сводами синагоги, должно было пройти мимо брошенного на пол свитка и плевать на него. Увильнуть было невозможно – плевок был явственно виден на пергаменте.

Среди согнанных в синагогу и никогда раньше не стоявших бок о бок, ортодоксальные евреи были куда более рациональны, чем все прочие – агностики, либералы, те, кто считали себя европейцами. Людям из айнзатцгруппы было ясно, что современный еврей пойдет на их требования и даже постарается посмотреть им в глаза, как бы говоря: «Да бросьте, мы слишком умны, чтобы обращать внимание на эти глупости». Во время подготовки ээсовцам говорили, что еврейское воспитание – всего лишь тонкая оболочка на либеральном фасаде и, когда согнанные в синагогу обладатели коротких причесок и современных одеяний вернутся к вере отцов, отказавшись совершить святотатство, это и будет доказано.

Но все оплевали свиток – кроме Макса Редлиха. Айнзатцгруппа убедилась, что проверка оправдала затраченное на нее время – человек, внешний вид которого позволял предполагать, что он без возражений плюнет на свиток, ибо для него он с интеллектуальной точки зрения представлял бессмысленный остаток древних верований – в этом человеке вскипевшая кровь сказала, что перед ним лежит священная реликвия его народа. Когда наконец евреи откажутся от таких смешных предрассудков, как голос крови? Неужели они не могут мыслить столь же четко, как Кант? Вот в чем был смысл испытания.

Редлих не выдержал его. Он произнес маленькую речь.

– На моей совести много грехов. Но этого сделать я не могу.

Его пристрелили первым, после чего расстреляли всех остальных и предали это место огню,

оставив от одной из старейших в Польше синагог лишь обгорелый скелет.

Глава 5

Виктория Клоновска, польская секретарша, была украшением приемной Оскара, и он немедленно закрутил с ней длинный роман. Ингрид, его немецкая любовница, должна была бы знать о ее существовании, как Эмили Шиндлер знала о существовании Ингрид. Но Оскар никогда не занимался любовью исподтишка, втихомолку. Он был по-детски откровенен в интимных отношениях. Не то что он хвастался. Просто он никогда не испытывал необходимости врать, прокрадываться в гостиницу по задней лестнице и в темноте тихонько стучать в дверь девушки. С тех пор как Оскар отказался по-крупному врать своим женщинам, выбор его сузился; ему было трудновато пускаться в ход традиционные приемы обольщения любовника.

С высокой светлой прической над хорошеньким живым лисьим личиком, Виктория Клоновска производила впечатление одной из тех легкомысленных девушек, которые воспринимают царящую вокруг историческую неопределенность лишь как временное затруднение, после которой они и займутся таким серьезным делом, как организация своей жизни. Хотя эта осень требовала скромной одежды, Клоновска с нескрываемой фривольностью носила свои жакетики, плиссированные блузки и облегающие юбки. Тем не менее она обладала ясной головой, была преданной и толковой сотрудницей. Конечно, она была националисткой в не допускающем возражений польском стиле. Что в конце концов не помешало ей провести переговоры с немецкими сановниками, дабы ее судетского любовника выпустили из учреждения СС. Но в данный момент Оскар предложил ей не столь рискованную работу.

Он намекнул, что хотел бы найти хороший бар или кабаре в Кракове, где мог бы встречаться с друзьями. Не завязывать контакты, не угощать начальство из Инспектората. А с настоящими друзьями. Какое-нибудь веселое местечко, куда не заглядывают официальные лица средних лет.

Знает ли Клоновска такое местечко?

Ей удалось найти великолепный джазовый погребок на узкой улочке к северу от Рынка, городской площади. Испокон веков оно было популярно у молодых преподавателей и студентов университета, но сама Виктория там не бывала. Солидная публика, которая намекала, что была бы не прочь провести с ней свободное время, не испытывала желания окунуться в студенческий гомон. При желании там же можно арендовать отдельную нишу под занавесом, где компания прекрасно проведет время, развлекаясь под звуки дикарской музыки. Оценив находчивость Клоновской, разыскавшей это музыкальное заведение, Оскар окрестил ее «Колумбом». С партийной точки зрения джаз был не только вырождающимся декадентским искусством, но и выражал африканское животное начало недочеловеков. Излюбленным ритмом СС и официальных лиц партии был «ум-па-па» венских вальсов, и они старательно избегали джаз-клубов.

Под Рождество 1939 года Оскар устроил вечеринку в клубе для некоторых своих приятелей. Обладая инстинктивным умением устанавливать любые контакты, он не испытывал никаких затруднений, когда приходилось пить и с теми, кто не вызывал у него симпатий. Но в этот вечер вокруг собрались люди, к которым он-таки испытывал дружеские чувства. К тому же, надо добавить, они, конечно же, были молодыми, полезными, хотя еще и недостаточно влиятельными членами различных оккупационных учреждений; и все из них в той или иной мере чувствовали себя вдвойне изгнанниками – и не только потому, что они были вдалеке от дома. И в родных пределах, и за границей все они в той или иной мере чувствовали неприязнь к режиму.

Здесь был, например, молодой немецкий землемер из управления внутренних дел генерал-губернаторства. Он определял границы эмалировочной фабрики Оскара в Заблоче. На задах предприятия Оскара (ДЭФ) находилось свободное пространство, отданное под два других производства – фабрики упаковочных материалов и завода радиаторов. Оскар с удовольствием выяснил, что, по данным топографа, большинство этой площади принадлежит ДЭФ. В голове у него уже возникали картины экономической экспансии. Землемер, конечно, тоже был приглашен, потому что он был порядочный парень, и с ним можно было разговаривать, да и потому что он мог пригодиться для получения в будущем разрешения на строительство.

Здесь же был и полицейский Герман Тоффель и работник СД Ридер, и молодой офицер – тоже топограф, по фамилии Штейнхаузер – из инспекции по делам вооруженных сил. Оскар встретил этого человека и завязал с ним дружеские отношения, когда искал разрешения на начало своей

деятельности. Он с удовольствием выпивал в этой компании. Он всегда был убежден, что лучший способ разделаться с гордiveвым узлом бюрократии, не прибегая ко взяткам, – это хорошо надраться в общей компании.

И наконец тут же были два человека из абвера. Первым был Эберхард Гебауэр, тот лейтенант, который год назад завербовал Оскара в ряды абвера. Вторым был лейтенант Мартин Плате из штаб-квартиры Канариса в Бреслау. И именно старания такого приятеля, как Гебауэр, позволили герру Оскару Шиндлеру впервые понять, какие возможности предоставляет город, подобный Кракову.

Присутствие Гебауэра и Плате имело и дополнительный оттенок. Оскар по-прежнему числился как агент в списках абвера и за годы, проведенные в Кракове, не раз доставлял удовольствие штабу Канариса в Бреслау, поставляя им исчерпывающие отчеты о поведении их соперников из СС. Кроме удовольствия провести время в теплой компании с хорошей выпивкой, Гебауэр и Плате ценили его вклад в дело разведки, который позволил им узнать о несколько оппозиционных взглядах таких жандармов, как Тоффель и Ридер из СД.

Хотя не представляется возможным доподлинно восстановить, о чем в тот вечер говорили члены этой компании, из позднейших рассказов Оскара можно достаточно точно представить личность каждого из ее участников.

Без сомнения, именно Гебауэр провозгласил тот самый тост, сказав, что не заставляет их пить ни за правительство, ни за армию или ее вождей; вместо этого он предложил всем выпить за благоденствие эмалировочной фабрики их доброго друга Оскара Шиндлера. Он делает это потому, что, если фабрика будет процветать, у них не будет недостатка в подобных встречах, вечеринках в неповторимом стиле Шиндлера, лучше которых невозможно себе представить.

Но после того как тосту было отдано должное, все разговоры, естественно, вернулись к теме, которая смущала или мучила все слои гражданского управления. К евреям.

Тоффель и Ридер провели весь день на станции Могильской, наблюдая за разгрузкой поездов с восточного направления, доставлявших поляков и евреев. Их привозили с присоединенных территорий, из недавно завоеванного региона, который в прошлом принадлежал немцам. Тоффель не утверждал, что для пассажиров в теплушках были созданы какие-то удобства, хотя признал, что погода была довольно холодной. Но вереницы вагонов с живым грузом пока еще были в новинку для всех, и теплушки не были забиты под завязку, что говорило бы о полной бесчеловечности. Но Тоффеля смущала политика как таковая, кроющаяся за всем этим.

Постоянно ходят слухи, сказал Тоффель, что мы на пороге войны. И черт побери, территории надо очистить от части поляков и полумиллиона евреев. – Вся система Восточной железной дороги, – сказал Тоффель, – работает на доставку их к нам.

Абверовцы слушали его, не скрывая легких усмешек. Для СС внешним врагом были евреи, а для ведомства Канариса – само СС.

СС, сказал Тоффель, с 15 ноября зарезервировало для себя всю внутреннюю сеть железных дорог. На его стол в кабинете на Поморской, сказал он, приходят копии гневных меморандумов СС, адресованных армейскому руководству с жалобами, что армия срывает их планы, заставляя на две недели нарушать расписание использования восточной сети железных дорог. Ради Бога, вопрошал Тоффель, разве не армия должна первым делом использовать железные дороги – и в той мере, в какой ей это нужно? Как иначе объединить в единое целое запад и восток, удивлялся изрядно напившийся Тоффель. При помощи мотоциклов?

Оскар позволил себе сдержанно улыбнуться, обратив внимание, что абверовцы воздерживаются от комментариев. Они подозревают, что Тоффель не столько пьян, сколько пытается их провозировать.

Землемер и человек из Инспекции по делам армии задали Тоффелю несколько вопросов, относительно странных поездов, приходящих на Могильскую. Скоро об этих грузах не будет иметь смысла упоминать: транспорты с людьми станут привычным делом для политики переселения. Но в тот вечер, когда Оскар устраивал рождественскую пирушку, они еще были в новинку.

– Их называют *concentration*, – сказал Тоффель, – Это слово встречается в документах. Концентрационный. И сказал бы, что чертовски часто.

Владелец джаз-клуба принес блюда с сельдью под соусом. Рыба пошла как нельзя лучше под крепкую выпивку и когда гости набросились на нее, Гебауэр завел речь о «юденрате», органе еврейского самоуправления, которые по приказу губернатора Франка были организованы в каждой

общине. В городах юденрат включал в себя двадцать пять избранных членов, полностью отвечающих за выполнение всех приказов властей. В Кракове юденрат существовал меньше месяца; председателем его был назначен Марек Биберштейн, уважаемый член бывшего муниципалитета. Но, заметил Гебауэр, ему довелось услышать, что в Вавельском замке уже составлен план использования еврейской рабочей силы. Юденрату остается только уточнять подробности: евреи будут чистить канавы и уборные, а также убирать снег. Не кажется ли, что этот план может вызвать с их стороны непредсказуемую реакцию?

Ни в коем случае, сказал инженер Штейнхаузер из инспекции по делам армии. Считается, что если они будут поставлять рабочую силу и ходить, так сказать, строем, это положит конец случайным нападениям, которые кончаются избиениями или, бывает, пулей в голову.

Мартин Плате согласился. Они будут сотрудничать в надежде избежать худшей судьбы. Таков их метод – и его нужно понять. Они всегда подкупают гражданские власти, идя с ними на сотрудничество, а потом начинают торговаться.

Подхватив тему, Гебауэр постарался ввести в заблуждение Тоффеля и Ридера, сделав вид, что он с предельной страстью заинтересовался этой проблемой, чего на самом деле не было. – Я вам скажу, что я имею в виду под сотрудничеством, – объявил он. – Франк издал указ, требующий, чтобы каждый еврей в генерал-губернаторстве носил звезду. Этому указу всего несколько недель от роду. И в Варшаве уже объявились еврейские производители, которые стали их делать из моющейся пластмассы по три злотых каждая. Словно бы они не представляют, что это за закон. Словно бы эта штука – эмблема велосипедного клуба.

В этих словах явно был намек, что, коль скоро Шиндлер занимается эмалировкой, ему вполне под силу на своем предприятии штамповать роскошные эмалевые значки и в розницу продавать их через сеть магазинов скобяных изделий, которые контролировала его подруга Ингрид. Кто-то заметил, что звезда – это их национальная эмблема, символ государства, которое было разрушено римлянами и которое существует ныне лишь в умах сионистов. Так что, возможно, люди будут с гордостью носить знак звезды.

– Дело в том, – сказал Гебауэр, – что у них нет никакой организации, чтобы защитить самих себя. Они начинают думать о ней разве что в предвесье шторма. Но тут уж совсем другое. Этот шторм будет делом рук СС, – продолжил Гебауэр, снова как бы давая понять, что, пусть он и не в восторге от такой перспективы, но отдает должное профессиональной дотошности СС.

– Да бросьте, – возразил Плате, – самое худшее, что может случиться с ними, это высылка на Мадагаскар, где, кстати, погода куда лучше, чем в Кракове.

– Сомневаюсь, чтобы им когда-либо довелось увидеть Мадагаскар, – сказал Гебауэр.

Оскар предложил сменить тему разговора. Разве это не его вечеринка?

На деле же Оскару довелось увидеть, как в баре отеля «Краковия» Гебауэр передавал из рук в руки некоему еврейскому бизнесмену фальшивые документы на отъезд в Венгрию. Может, Гебауэр делал это за вознаграждение, хотя он был слишком осторожен, чтобы иметь дело с бумагами и тем более, оставлять на них свою подпись или ставить печать. Но, что бы он ни говорил в присутствии Тоффеля, было ясно, что он не принадлежал к числу ненавистников евреев. Как и любой из них. И в Рождество 1939 года Оскар видел, что они просто позволили себе отдохнуть от напыщенной официальной линии поведения. И позже они окажутся весьма полезны.

Глава 6

Акция, имевшая место в ночь на 4 декабря, убедила Штерна в том, что Оскар Шиндлер, как ни странно, оказался порядочным гоем. Существовала талмудистская легенда о Праведниках Мира, о которых говорилось, что в любой период человечества их существует всего тридцать шесть человек. Штерн не считал, что эта мистическая цифра носит буквальный характер, но легенда имела для него психологическую доподлинность, и он считал, что это будет весьма мудро и достойно постараться найти в Шиндлере убежище, где можно будет жить и дышать.

Немец нуждался в капитале – с завода «Рекорд» практически полностью было вывезено оборудование, если не считать небольшого набора прессов для металла, ванн для эмалирования и печей обжига. И поскольку Штерн обладал определенным влиянием на Шиндлера, он свел его с человеком, который на приемлемых условиях мог обеспечить средства – с Абрахамом Байкером, управляющим конторой «Рекорда», доставшейся Оскару.

Они вдвоем – высокий крупный Оскар, так и лучащийся довольством жизнью и маленький коренастый Банкер – нанесли визит потенциальным инвесторам. По распоряжению от 23 ноября все банковские вклады и содержимое сейфов, принадлежавших евреям, переходили в полное и безраздельное владение немецкой администрации, в связи с чем бывшие владельцы лишались всяческих доходов от вкладов. Кое-кто из преуспевающих еврейских бизнесменов, из тех, кто хоть немного разбирался в истории, втайне обратили часть средств в твердую валюту. Но они предвидели, что через несколько лет под правлением генерал-губернатора Франка владеть валютой станет рискованно; куда предпочтительнее перевести состояние в транспортабельный вид – в драгоценные камни, золото и тому подобные ценности.

В пределах Кракова и вокруг него было немало знакомых Банкера, которые, как он знал, были бы готовы вложить капитал в обмен на гарантированное количество продукции. Условия сделки включали в себя инвестиции 50 тысяч злотых в обмен на определенное весовое количество посуды в месяц, поставки которой должны были начаться в июле 1940 года и длиться в течение года. Для краковских евреев, живших под надзором Ганса Франка из Вавельского замка, кухонная посуда была надежнее злотых.

Стороны, участвующие в заключение этого контракта – Оскар, инвестор и Банкер как посредник – решили не оставлять следов сделки, даже памятной записки. Детальный контракт был бессмыслен и в любом случае не мог ни к чему принудить. Такой подход был нереален. Все зависело от рекомендации Банкера, ручающегося за этого производителя эмалированной посуды из Судет.

Эти встречи, скорее всего, должны были состояться в квартире инвестора в центре Кракова, в старом внутреннем городе. Польские пейзажисты, которых обожала жена инвестора, французские романы, которые с увлечением читали его хрупкие обаятельные дочери, могли бы создать приятную атмосферу вокруг этой сделки. Но наш почтенный джентльмен уже был выкинут из своей квартиры и нашел себе пристанище в самом бедном районе, в Подгоже. Он все никак не мог оправиться от потрясения – он потерял квартиру и оказался в роли наемного служащего на своем же собственном предприятии – и все это произошло за несколько месяцев, год еще не кончился.

Хотелось бы приукрасить героическое поведение Оскара в этой истории, сказав, что он никогда бы не дал повода для обвинения в том, что он нарушил устное соглашение. Уже в новом году он крепко сцепился с неким еврейским розничным торговцем по поводу количества продукции, которую этот человек хотел получить на складе ДЭФ, что на Липовой. И на этом основании данный джентльмен осуждал Оскара до конца жизни. Но что Оскар вообще не выполнял условий сделки – нет, этого сказать нельзя.

Ибо Оскар по натуре не мог не платить долги, создавая порой впечатление, что у него неисчерпаемый источник средств, которому никогда не придет конец. Во всяком случае, Оскар и другие немцы, которым выпала такая возможность, так разжились за последовавшие четыре года, что только человек, до мозга костей снедаемый жаждой наживы, отказался бы платить то, что отец Оскара предпочитал называть долгом чести.

Эмили Шиндлер приехала в Краков, чтобы в первый раз навестить своего мужа, лишь в новом году. Она нашла город самым приятным из всех мест, где ей приходилось бывать, куда более изящным, привлекательным и по-хорошему старомодным, чем Брно с его облаками промышленного смога.

На нее произвела впечатление новая квартира мужа. Окна фасада выходили на Планты, кольцо ухоженных бульваров и парков, огибавших почти весь город по следам некогда существовавшей и снесенной крепостной стены. В конце улицы возвышалась древняя твердыня Вавельского замка и посреди всей этой старины располагалась современная квартира Оскара. Она оценила драпировки и обтянутые материей стены, о чем позаботилась госпожа Пфедферберг. Успехи Оскара Шиндлера имели материальное воплощение.

– Ты очень хорошо устроился в Польше, – сказала она.

Оскар понимал, что она на самом деле имеет в виду то самое приданое, которое ее отец отказался выплачивать двенадцать лет назад, когда приезжающие из Цвиттау обрушили на деревушку Альт-Молштейн известие, что его зять позволяет себе жить и крутить романы подобно неженатому мужчине. Брак его дочери обрел тот самый характер, которого он смертельно боялся, и провалиться ему на месте, если он выложит хоть грош.

И хотя отсутствие ожидавшихся 400 тысяч рейхсмарок несколько сказалось на процветании

Оскара, отказ достопочтенного фермера из Альт-Молштейна выплатить их уязвил его дочь так, что даже спустя двенадцать лет она чувствовала себя под этим грузом; и хотя теперь для Оскара это было несущественно, Эмили продолжала помнить.

– Моя дорогая, – как правило, ворчал Оскар, – да мне никогда и не были нужны эти чертовы деньги.

Отношения Эмили с Оскаром, носящие непостоянный характер, были свойственны тем женщинам, которые, зная, что ее муж неверен ей и никогда не будет хранить ей верность, тем не менее не хотят, чтобы им под нос совали доказательства его прегрешений. Как бы она ни была утомлена, Эмилия следовала за мужем по Кракову, посещая приемы, на которых приятели Оскара, конечно же, знали правду, знали имена других женщин, о которых она не хотела и слышать.

Как-то днем молодой поляк – это был Польдек Пфефферберг, который как-то чуть не пристрелил ее мужа, хотя она об этом не знала – появился в дверях их апартаментов, держа на плече свернутый в рулон ковер. Он был раздобыт на черном рынке, куда прибыл из Стамбула через Венгрию, и Пфефферберг не поленился найти его для Ингрид, которая выехала из квартиры на время пребывания Эмили.

– Фрау Шиндлер дома? – спросил Пфефферберг. Он всегда обращался к Ингрид как к фрау Шиндлер, потому что считал, что тем самым доставляет ей удовольствие.

– Фрау Шиндлер – это я, – ответила Эмили, понимая, что кроется под этим вопросом.

У Пфефферберга хватило ума, чтобы выкрутиться. В сущности, у него нет никакого дела к фрау Шиндлер, хотя он так много слышал о ней от герра Шиндлера. Он должен встретиться с герром Шиндлером в связи с кое-какими делами.

Герра Шиндлера нет дома, сказала Эмили. Она предложила Пфеффербергу рюмку, но он торпливо отказался. Эмили понимала, что означает его отказ. Молодой человек был несколько шокирован, столкнувшись с подробностями личной жизни Оскара, и решил, что неблагоприятно сидеть и выпивать с ее жертвой.

Предприятие, которое Оскар взял в аренду, располагалось за рекой в Заблоче, на Липовой 4. Контора, выходящая на улицу, обладала достаточно современным видом и порой Оскару приходило в голову, что было бы вполне возможно, да и удобно перебираться сюда на некоторое время, оборудовав квартиру на третьем этаже, хотя окружение носило промышленный характер и было далеко не столь очаровательным, как на Страшевского. Когда он взялся за оснащение «Рекорда», переименованного в немецкую Фабрику эмалированной посуды, на нем было всего сорок пять человек, выпускавших незначительное количество кухонной утвари. В первых числах *нового* года ему удалось заключить первый контракт с армией. И удивляться тому не было оснований. Он поддерживал приятельские отношения со многими влиятельными техническими работниками, которые сидели в Инспекторате генерала Шиндлера. Он встречался с ними на приемах и приглашал на обеды в отеле «Краковиа». Сохранились фотографии Оскара, восседающего рядом с ними за богато убранными столами; на всех лицах вежливые улыбки, обращенные в фотокамеру; все со вкусом едят и от души пьют, а на офицерах элегантные, с иголки, мундиры. Некоторые из них ставили нужные печати на его бумаги и самым лучшим образом рекомендовали его генералу Шиндлеру – и просто по дружбе, и потому, что считали: Оскар как владелец предприятия может им пригодиться. Оскар был известен своими подарками, наборами которых он всегда предпочитал одаривать официальных лиц – коньяком и коврами, драгоценностями, мебелью и корзинами с изысканными лакомствами. Кроме того, было известно, что генерал Шиндлер ознакомился с образцами эмалированной посуды и высоко оценил изделия своего однофамильца.

Теперь, получив доступ к выгодным контрактам, Оскар позволили себе расширить производство. Места для этого хватало. За конторой ДЭФ простирались два больших производственных помещения. Одно из них было слева от входа, на территории предприятия, в настоящее время отведенной под склад готовой продукции. Другое же было совершенно пустым.

Он приобрел новые станки; часть здесь, часть была доставлена с родины. Кроме военных заказов, к его услугам был необъятный черный рынок, который мог поглотить любое количество продукции. Оскар понял, что перед ним открывается возможность стать подлинным магнатом. К середине лета у него уже работало двести пятьдесят поляков, и возникла необходимость подумать о введении ночной смены. В лучшие времена на заводе сельскохозяйственного оборудования герра Ганса Шиндлера работало не больше пятидесяти человек.

Время от времени в течение этого года Штерн позванивал Шиндлеру, чтобы устроить на ра-

боту кого-нибудь из молодых евреев и каждый раз это было вызвано необходимостью: то сироту из Лодзи, то дочь чиновника из одного из отделов юденрата, еврейского совета. Через несколько месяцев у Оскара уже работало сто пятьдесят еврейских специалистов, и его фабрика понемногу стала обретать репутацию надежной гавани.

В этом году евреев стали рассматривать как рабочую силу, использование которой может сказаться на военных усилиях. В апреле генерал-губернатор Франк издал указ об эвакуации евреев из его столицы, Кракова. Решение было достаточно странным само по себе, поскольку власти Рейха продолжали перебрасывать евреев обратно в пределы генерал-губернаторства в количестве примерно десяти тысяч человек в день. Но условия Кракова, сообщил Франк своему кабинету, были просто скандальными. Так, например, немецкий командир дивизии, как ему стало известно, был вынужден жить в доме, деля его с еврейскими арендаторами. Случалось, что и высшему руководству приходилось сталкиваться с такими же нетерпимыми фактами. Он пообещал, что в течение ближайших шести месяцев Краков будет *judenfrei* (свободен от евреев). В нем останется лишь ограниченное количество в пять-шесть тысяч квалифицированных специалистов еврейской национальности. Всем остальным придется перебраться в другие города генерал-губернаторства, в такие, как Варшава или Радом, Люблин или Ченстохов. До 15 апреля евреям предоставляется право добровольной эмиграции в другие города по своему выбору. Те, которые после этой даты останутся в городе, будут вывезены с небольшим количеством багажа в места, определенным администрацией. И с 1-го ноября, сказал Ганс Франк, немцы в Кракове смогут дышать «хорошим немецким воздухом» и свободно ходить по городу, улицы и парки которого больше не будут «забиты евреями».

Франку не удалось до конца года довести численность евреев в городе до столь низкого уровня, но когда впервые стало известно о его плане, среди евреев Кракова начались волнения, особенно среди молодых, старавшихся обрести дефицитную специальность. Такие люди как Ицхак Штерн, официальные и неофициальные сотрудники юденрата уже стали составлять списки сочувствующих им немцев, к которым они могли бы обратиться за помощью. В списке был и Шиндлер, и Юлиус Мадритч, житель Вены, которому лишь недавно удалось освободиться от обязанности служить в вермахте и он получил пост *Treuhander'a* на заводе военной формы. Убедившись в преимуществе контрактов с инспекцией по делам армии, Мадритч теперь собирался открыть собственную пошивочную фабрику в пригороде Подгоже. В итоге он будет получать доходов больше, чем Шиндлер, но в том знаменательном 1940-м году он жил только на жалованье. И пользовался репутацией гуманного человека – вот и все.

К первому ноября 1940 года Франк заставил двадцать три тысячи евреев добровольно покинуть Краков. Некоторые из них перебрались в новые гетто в Варшаве и Лодзи. Можно представить себе, какое столпотворение творилось на железнодорожных станциях и в отделах регистрации, но люди воспринимали ее безропотно, думая: «Мы все выдержим, мы вынесем все, что они от нас требуют». Оскар знал, что происходит, но, как и сами евреи, считал, что это только временные затруднения.

Пожалуй, этот год можно было считать самым производительным в жизни Оскара – он со всей серьезностью отнесся к преобразованию практически обанкротившегося предприятия в солидную компанию, с которой предпочитали иметь дело правительственные учреждения. Когда выпал первый снег, Оскар с раздражением отметил, что каждый день отсутствуют не менее шестидесяти его еврейских работников. Дело было в том, что по пути на работу их перехватывали эсэсовские патрули и заставляли чистить снег. Герр Шиндлер посетил с жалобой своего приятеля Тоффеля в штаб-квартире СС на Поморской. В один из дней, сообщил он Тоффелю, у него не вышло на работу сто двадцать пять человек.

Тоффель доверительно поведал ему:

– Ты должен понимать, что кое-кому из этих типов плевать на производство. С их точки зрения, так они утверждают свое национальное превосходство: заставляя евреев чистить снег. Я сам этого толком не понимаю... Для них имеет какую-то ритуальную важность, когда евреи чистят снег. И так происходит повсеместно, не только у тебя.

Оскар спросил, приносят ли жалобы и другие. Да, сказал Тоффель. Тем не менее, дополнил он, большой хозяйственный чин из отдела бюджета и планирования СС, как-то оказавшийся в обеденный час у них на Поморской, сказал, что, по его непоколебимому мнению, присутствие квалифицированных еврейских рабочих в экономике рейха является изменническим актом.

– И я думаю, что тебе придется смириться, Оскар – уборка снега будет продолжаться.

В мгновение ока Оскар изобразил возмущенного патриота или, скорее, разъяренного производственника.

– Если они хотят выиграть войну, – сказал он, – им придется избавиться от подобных эсэсовцев.

– Избавиться от них? – переспросил Тоффель. – Ради Бога, да такие же подонки сидят на самом верху.

В результате этого разговора Оскар стал решительно защищать точку зрения, по которой своими рабочими имеет право распоряжаться только хозяин предприятия, что рабочие должны беспрепятственно добираться до работы и что никто не имеет права перехватывать их или издеваться над ними как по пути на завод, так и обратно. В глазах Оскара эти требования носили характер как моральной аксиомы, так и производственной. Во всяком случае, на его фабрике.

Глава 7

Кое-кто из обитателей больших городов – Варшавы и Лодзи с их гетто, Кракова, который стараниями Франка должен был стать *judenfrei* – уезжали в сельскую местность, чтобы затеряться среди крестьян. Братья Рознеры, музыканты из Кракова, которым доведется близко познакомиться с Оскаром, расположились в старой деревушке Тынец. Она лежала в красивой излучине Вислы, и известняковый утес над ней дал приют бенедиктинскому аббатству. Хотя для Рознеров главным была ее затерянность. Сюда же прибилась несколько еврейских лавочников и ремесленников из среды ортодоксов, с которыми у музыкантов из ночного клуба было мало общего. Но крестьяне занятые страдой, были только рады, как Рознеры и надеялись, что среди них появились музыканты.

Они добрались сюда не прямо из Кракова, не из огромного пункта отправки, раскинувшегося у ботанического сада на Могильской, где молодые эсэсовцы запикивали людей по грузовикам, осыпая их ругательствами и выдавая лживые обещания, что багаж с надписанными ярлычками будет доставлен им позже. В сущности, они прибыли из Варшавы, где у них был ангажемент. Им удалось выбраться за день до того, как немцы окончательно перекрыли варшавское гетто – и Генри, и Леопольду, и жене Генри Манси с их пятилетним сыном Олеком.

Братьев привлекла идея перебраться в такую деревушку в южной Польше, как Тынец, недалеко от их родного Кракова. Кроме того, если условия их существования улучшатся, они могут на автобусе наезжать в Краков и искать работу. Манси Рознер, молодая женщина, родом из Австрии, прихватила с собой швейную машину, и Рознеры открыли в Тынце небольшую портняжную мастерскую. По вечерам они играли в таверне, что стало сенсацией для такого местечка. В деревушке принимали их как нельзя лучше, хотя порой и удивлялись их еврейству. Но скрипка была самым почитаемым из всех инструментов в Польше.

Как-то вечером случайно заехавший сюда фольксдойч (немецко-говорящий поляк) услышал исполнение братьев. Фольксдойч, один из тех, во имя которых, якобы, Гитлер и захватил страну, был работником муниципалитета Кракова. Фольксдойч сообщил Генри, что хозяин Кракова оберштурмбанфюрер Павлу и его заместитель, знаменитый в свое время лыжник Зепп Роре, собираются побывать в сельской местности во время уборки урожая, и он хотел, чтобы они получили возможность послушать такую сыгранную пару, как братья Рознеры.

Как-то днем, когда скошенные снопы спокойно подсыхали на жнитве, где в воскресенье было тихо и безлюдно, вереница лимузинов проехала через Тынец, направившись к вилле сбежавшего польского аристократа. На террасе их уже ждали наготове братья Рознеры, и когда дамы и господа расположились в помещении, где когда-то проходили танцевальные вечера, их пригласили начать исполнение. Генри и Леопольд испытывали и возбуждение, и страх от той серьезности, с которой компания оберштурмбанфюрера приготовилась слушать их. Женщины были в белых платьях и перчатках, военные при всем параде, а штатские украшены манишками с отогнутыми уголками воротничков. Когда слушатели так настроены, проще простого разочаровать их. Для евреев же даже такой проступок, как не оправдать ожиданий в области культуры, мог стать серьезным преступлением.

Но они более чем удовлетворили аудиторию. Компания пришла в благодушное состояние, ибо услышала своего излюбленного Штрауса, сочинения Оффенбаха и Легара, Андре Мессаджера

и Лео Фалла. Во время перерывов царило сентиментальное настроение.

Пока Генри и Леопольд играли, дамы и господа пили шампанское из доставленных с собой красивых бутылок.

Когда официальный концерт подошел к концу, братьев доставили вниз с холма, на котором стояла вилла, в общество собравшихся крестьян и солдат сопровождения. Если грубые расистские оскорбления и будут иметь место, то только здесь. Но опять-таки, едва только братья поднялись на машину с откинутыми бортами и увидели глаза толпы. Генри понял, что они в безопасности. Симпатия крестьян, сильно отдававшая национальной гордостью – в этот вечер Рознеры представляли высокую польскую культуру – защищала их. Все напоминало добрые старые времена, и Генри поймал себя на том, что глядя вниз, улыбается Опеку и Манси, для которой он и играет, не обращая ни на кого внимания. И в эти секунды им казалось, что земля наконец обрела покой, умиротворенная звуками музыки.

Когда все кончилось, ротенфюрер средних лет – Генри не очень хорошо разбирался в званиях СС – подошел к ним, стоявшим на грузовике и принимавшим поздравления. Кивнув им, он откровенно ухмыльнулся.

– Надеюсь, что после уборки урожая вы как следует отдохнете, – сказал он и отошел.

Братья уставились друг на друга. Когда эсэсовец уже не мог их услышать, они не удержались от искушения обсудить его слова.

– Это угроза, – убежденно сказал Леопольд. Их до мозга костей пронзило то ощущение страха, которое впервые охватило их, когда фольксдойч обратился к ним – им не удастся пережить эти времена.

Такова была жизнь в селе в 1940 году. Как музыканты они сходили на нет, проводя время в томительной тоске и попытках что-то продать из имущества; время от времени приходили пугающие слухи из того яркого образования, которое именовалось Краковом. Куда, как Рознеры понимали, они рано или поздно вернутся.

Осенью Эмили уехала к себе домой, и когда Штерн в очередной раз пришел к Шиндлеру, кофе подавала уже Ингрид. Оскар не делал секрета из своих слабостей и ему не приходило в голову, что аскет Ицхак Штерн нуждается в каких-то объяснениях присутствия Ингрид. Подобным же образом, когда с кофе было покончено, Оскар, подойдя к буфету, извлек из него непечатую бутылку коньяка и поставил ее на стол между собой и Штерном, словно последний в самом деле мог помочь ему справиться с ней.

Этим вечером Штерн пришел рассказать Оскару о семье, которую мы предпочтем назвать Ц.:¹ пожилой Давид и молодой Леон Ц. распространяли слухи, позволяя себе болтать даже на улицах Казимировки, что Оскар сущий немецкий гангстер, настоящий бандит и грабитель. Хотя, когда Штерн излагал эти обвинения перед Оскаром, он предпочел прибегнуть к более мягким выражениям.

Оскар понимал, что Штерн не ждет от него ответа, что он просто передал ему эту информацию. Но, конечно же, он чувствовал, что должен как-то отреагировать.

– То же самое я могу рассказать и о них, – бросил Оскар. – Они пытались нахально обчислить меня. Если хотите, можете спросить у Ингрид.

Ингрид контролировала деятельность Ц. Она была достаточно порядочным *Treuhander*, но поскольку ей было лишь двадцать с небольшим, не обладала коммерческим опытом. Ходили слухи, что Шиндлер сам устроил девушку на это место, чтобы беспрепятственно продавать в розницу свои изделия. Тем не менее, до сих пор семейство Ц. невозбранно распоряжалось в пределах своей компании. И если им не нравилась ситуация, при которой они обязаны были находиться под постоянным контролем оккупационных властей, никто не мог осуждать их за это.

Штерн отменил предложение Оскара. Кто он такой, чтобы приставать к Ингрид со своими вопросами? Да и в любом случае, какой смысл обмениваться мнениями с девушкой?

– Они плетут петли вокруг Ингрид, – объяснил Оскар. – Они являются на Липовую получать, сколько им полагается, на месте подменяют накладные и вывозят больше товара, чем оплачено. –

¹ Причина, по которой в данном случае использован инициал вместо пусть и выдуманного имени, заключается в том, что в Кракове был в ходу целый ряд польских еврейских фамилий и неосторожное использование какой-то одной из них может оскорбить память тех, кто был уничтожен или же воспоминания некоторых из оставшихся в живых друзей Оскара. – Прим. авт.

«Она сказала, что все в порядке», – объясняют они работникам Шиндлера. Он обо всем договорился с Ингрид.

Этот сынок собрал вокруг себя компанию и стал рассказывать, что, мол, Шиндлер натравил на них эсэсовцев, дабы те избили и выкинули их. Но история его варьировалась от случая к случаю: то избиение якобы произошло на фабрике Шиндлера, на складе, откуда молодой Ц. в самом деле явился с синяком под глазом и с выбитым зубом, то на Лимановского, в присутствии свидетелей. Человек по фамилии Ф., работающий у Оскара и приятель Ц., утверждал, что слышал, как Оскар топал ногами в своем кабинете на Липовой и угрожал стереть с лица земли старого Давида Ц. Говорилось дальше, что Оскар, явившись прямиком на Стародомскую, проверил кассовые книги Ц. и, набив карманы деньгами, объяснил им, что теперь в Европе царит «новый порядок», после чего избил старого Давида в его же кабинете.

Можно ли представить себе, чтобы Оскар набросился на пожилого Давида с кулаками, после чего тот, весь в синяках, слег в постель? Похоже ли на него, что он мог позвонить своим друзьям в полицию и те расправились с Леоном? На определенном уровне, и Оскар, и Ц., – все были жуликами, незаконно спуская на сторону тонны кухонной посуды и не поставляя данных об объеме продаж в *Bezugschain*. На черном рынке диалоги были просты и дела решались быстро. Оскар признал, что он наорал на Ц., обозвав отца и сына ворами и подстраховал себя тем, что выгреб из кассы ту выручку, что Ц. получил за незаконно вывезенную с его склада посуду. Оскар признал также, что дал плюху молодому Леону. Но это было все, что он себе позволил.

Сами же Ц., семью которых Штерн знал с детства, вполне заслуживали своей репутации. Они не были уголовниками в прямом смысле слова, но ухо надо было с ними держать остро, особенно в таких ситуациях, ибо, когда их ловили за руку, они сразу же начинали вопить, мол, держи вора.

Штерн знал, что Леон Ц. в самом деле был украшен синяками. Леон с гордостью носил их по улицам, собираясь извлечь из них все, что только возможно. Избиения эсэсовцами в самом деле случались повсеместно, но для них могли быть десятки причин. Штерн не только не сомневался, что Оскар никогда не мог бы обратиться к СС за такого рода одолжением, но у него было ощущение, что верить или не верить во все, что сказано по этому поводу, совершенно несущественно для его замыслов. Это станет существенным только тогда, когда и если герр Шиндлер действительно проявит образец грубости и жестокости. Отдельные огрехи и оплошности не имели значения для целей Штерна. Будь Оскар без греха, не было бы у него в настоящем такой квартиры и не ждала бы его Ингрид в спальне.

И к тому же нельзя не повторять снова и снова, что Оскар может спасти их всех – господина и госпожу Ц., Леона Ц., господина Х., фройляйн М., старую секретаршу Ц. – с чем они всегда соглашались, но вместо этого они предпочитают мусолить эту дурацкую историю о синяках.

Этим же вечером Ицхак Штерн так же принес известие о приговоре Мареку Биберштейну. Он получил два года тюремного заключения, этот Марек Биберштейн, председатель «юденрата» или, точнее, бывший им до ареста. В других городах «юденрат» был неизменным объектом поношений со стороны еврейского населения, ибо его основной обязанностью было составление списков тех, кого насильственно выгоняли на работу или отправляли в лагеря. Немецкая администрация видела в юденрате орган, выполняющий их приказы, но в Кракове Марек Биберштейн и его кабинет продолжали себя рассматривать как буфер между военным комендантом Кракова Шмидтом, а позже Павлу с одной стороны и еврейскими обитателями города с другой, 13-го марта 1940 года в немецкой газете Кракова доктор Дитрих Редекер заявил, что во время визита в юденрат был поражен контрастом между его коврами и бархатными креслами, и бедностью и запущенностью еврейского квартала в Казимировке. Но выжившие евреи не могли поверить, чтобы состав первого краковского юденрата как-то отделял себя от своего народа. Стараясь обрести какие-то доходы, они, скорее всего, допустили те же ошибки, какие до них совершили юденраты в Лодзи и Варшаве, в изобилии позволяя откупаться от внесения в рабочие списки и включая в них бедняков в обмен на миску супа и ломоть хлеба. Но даже позже, в 1941 году, Биберштейн и его штат по-прежнему пользовались уважением краковских евреев.

Первый состав юденрата состоял из двадцати четырех человек, преимущественно интеллектуалов. Каждый день по пути к себе в Заблоче Оскар проходил мимо их уголовного здания, в котором находилось куча отделов. Наподобие настоящего кабинета министров, каждый член совета отвечал за свой участок работы. Шенкер занимался сбором налогов, Штейнберг строительством –

существенная забота для сообщества, в котором люди постоянно уезжали и приезжали; на этой неделе часть беженцев перебирается в маленькую деревушку, на следующей приезжает обратно в город, не в силах вынести ограничений крестьянского быта. Леон Салпетер, фармацевт по профессии, занимается одним из учреждений социального вспомоществования. Существовали отделы по вопросам питания, похоронных услуг, здоровья, выездных документов, по вопросам экономики, административных служб, культуры и даже – перед угрозой полного исчезновения – образования.

Биберштейн и его совет исходили из убеждения, что евреев, изгнанных из Кракова, ждет плохой конец и поэтому решили прибегнуть к древней стратегии – взяткам. Из казны юденрата на эти цели было выделено 200 тысяч злотых. Биберштейн и секретарь по внутренним делам Хаим Голдфлусс, нашли посредника, в данном случае фольксдойча по фамилии Рейхерт, человека, у которого были контакты и с СС, и с городской администрацией. В задачу Рейхерта входило передать деньги целому ряду официальных лиц, начиная с оберштурмфюрера (звание в СС, эквивалентное первому лейтенанту) Зейбеерта, офицера, осуществлявшего связь между юденратом и городской администрацией. За эту сумму официальные лица должны были разрешить 10 000 евреям из краковской общины оставаться по домам, невзирая на приказ Франка. То ли Рейхерт оскорбил чиновников, решив взять себе слишком большой процент за услуги и оставив на их долю слишком мало, то ли вовлеченные лица, поняв, что самым большим желанием генерал-губернатора Франка остается сделать Краков «юденфрай», сочли слишком опасным получение взятки, из хода суда выяснить так и не удалось. Но Биберштейн получил два года в тюрьме Монтелупич, а Голдфлусс шесть месяцев в Аушвице. Сам Рейхерт заработал восемь лет. Тем не менее, все понимали, что они пройдут у него куда легче, чем сроки у остальных двух.

Шиндлер лишь покачал головой, услышав, что на таких шатких основаниях было выложено двести тысяч злотых.

– Рейхерт жулик, – пробормотал он.

Только десять минут назад обсуждалась тема, являются ли он и Ц. жуликами, и вопрос так и остался открытым. Но относительно Рейхерта сомнений у него не было.

– Я бы мог объяснить им, что в лице Рейхерта они имеют дело с жуликом, – продолжал он настаивать.

Исходя из своих философских принципов, Штерн заметил, что наступают времена, когда людям не останется ничего иного, как вести дела с жуликами.

При этих словах Шиндлер от души, откровенно и жизнерадостно расхохотался.

– Большое спасибо, друг мой, – сказал он Штерну.

Глава 8

В этом году было не такое уж плохое Рождество. Тем не менее, обстановка навевала непреходящее уныние, о чем напоминали и снежные заносы, скрывшие парк по другую сторону от квартиры Шиндлера, и густые шапки снега, казалось, навечно утвердившиеся на кровле Вавельского замка. Теперь никто уже не верил в быстрое разрешение положения дел: ни солдаты, ни поляки, ни евреи по обе стороны реки.

В это Рождество для своей польской секретарши Клоновской Шиндлер приобрел пуделька, забавную парижскую штучку, которого откуда-то раздобыл Пфедферберг. Для Ингрид он купил драгоценностей и некоторые из украшений послал милой Эмили домой в Цвиттау. Пуделей сейчас не так-то легко разыскать, сообщил Леопольд Пфедферберг. Вот драгоценности – сущий пустяк. Сейчас такие времена, что камни то и дело переходят из рук в руки.

Оскар, казалось, продолжал поддерживать одновременные отношения с тремя женщинами, не говоря уже о случайных встречах с другими, не испытывая особых трудностей, которые как правило выпадают на долю ловеласов. Гости, посещавшие его апартаменты, не могли припомнить чтобы Ингрид когда-нибудь была в плохом настроении. Она неизменно оставалась доброй и симпатичной девушкой. Эмили, у которой были куда более веские основания возмущаться, обладала слишком большим достоинством, чтобы устраивать Оскару сцены, которых он, впрочем, более чем заслуживал. Если у Клоновской и были какие-то претензии, они никоим образом не сказывались на ее поведении в приемной ДЭФ, ни на ее преданности герру директору. Можно было предположить, что при том образе жизни, который вел Оскар, обычным делом должны были быть стычки между разгневанными женщинами. Но никто среди многочисленных друзей Оскара и его

работников (а свидетелей его плотских грехов, которые при случае были бы не против позубоскалить над ними, было более чем достаточно) не мог припомнить таковых, что так часто выпадают на долю и не таких ловеласов, как Оскар.

Предположить, как делали некоторые, что женщин устраивало даже частичное обладание Оскаром, значило бы унижить их женское достоинство. Может быть, проблема заключалась в том, что, если вы изъявляли желание поговорить с Оскаром о таком предмете как верность, в глазах у него появлялось искреннее детское удивление, словно вы пытались втолковать ему теорию относительности, которую можно было понять только в результате не менее пяти часов неустанной концентрации. У Оскара никогда не было таких пяти часов, и он никогда не мог сконцентрироваться на подобной проблеме.

Если только речь шла не о матери. Рождественским утром, отдавая дань ее памяти, Оскар отправился к мессе в церковь Святой Девы Марии. Над высоким алтарем было место, где еще несколько недель назад резной деревянный триптих Вита Ствоша привлекал внимание молящихся своей божественной красотой. Пустое пространство и убогость каменной кладки на том месте, где был триптих, отвлекала и раздражала герра Шиндлера. Кто-то украл триптих. Он был отправлен в Нюрнберг. До чего гнусным стал этот мир!

Тем не менее зимой, как и раньше, дела шли как нельзя лучше. С началом года его друзья из Инспекции по делам армии стали намекать Оскару, что неплохо было бы организовать цех по производству противотанковых снарядов. Таковые интересовали Оскара куда меньше, чем кастрюли и сковородки. Их производство не доставляло практически никаких хлопот. После разделки металл шел под прессы, отштампованное изделие окунали в ванну и обжигали при соответствующей температуре. Не надо было тщательно калибровать оборудование, ибо сковородки не требовали такой точности, как оружие. Снаряды нельзя было спускать из-под прилавка, а Оскару нравилась торговля с черного хода – нравилась своим спортивным азартом, отсутствием бумажной волокиты и тем, что, несмотря на сопряженные с ней опасности, позволяла быстро оборачиваться капиталу.

Но, понимая, что такая политика пойдет ему только на пользу, он все же организовал участок по производству вооружения, поставив несколько мощных прецизионных прессов «Хило» и станки для обработки снарядных гильз, которые заняли целый ряд во 2-м цехе. Организация такого участка была довольно хлопотным делом; она заняла несколько месяцев планирования, размещения оборудования и проведения испытаний, прежде чем появилась первая качественная гильза. Большие прессы «Хило», тем не менее, позволили Шиндлеру увереннее смотреть в непредсказуемое будущее; по крайней мере, теперь он имел дело с настоящей индустрией.

Еще до того, как прессы «Хило» были смонтированы и отлажены, Оскар стал получать сигналы от своих друзей из СС на Поморской, что близится время организовать еврейское гетто. Он рассказал об этих слухах Штерну, дав понять, что тревожиться не из-за чего. Ну да, заметил Штерн, об этом поговаривают, слово сказано. Кое-кто уже предвидел такое развитие событий. Мы окажемся внутри, а враги останутся снаружи. Мы сможем заниматься своими делами. Никто не будет завидовать нам, даже камни на улицах. Вокруг гетто будут возведены непроницаемые стены. И они станут зримым выражением катастрофы.

Указ «ген. – губ. 44/91», датированный 3 марта, был опубликован в ежедневных газетах Кракова и его зачитывали через громкоговорители машин, разъезжавших по Казимировке. Находясь на участке вооружений, Оскар услышал, как один из его немецких техников, прокомментировал новость.

– Разве им там не будет лучше? – спросил техник. – Ведь всем известно, что поляки их ненавидят.

Указ объяснялся тем же предлогом. Организация закрытого еврейского квартала необходима, чтобы устранить расовые конфликты в генерал-губернаторстве. Пребывание в гетто носит обязательный характер для всех евреев, но обладатели соответствующих рабочих удостоверений могут отправляться из гетто на работу, возвращаясь по вечерам. Гетто будет размещено в пригороде Подгоже, по ту сторону реки. Конечный срок для переезда определен 20-м марта. В его пределах вопросами размещения будет ведать юденрат, а те поляки, которые в настоящее время живут в пределах гетто и которым, тем самым, придется переезжать, должны обращаться в соответствующие квартирные отделы в других частях города.

К указу прилагалась карта нового гетто. С севера оно ограничивалось рекой, с востока же-

лезнодорожной линией на Львов, с юга холмами за Рекавкой, а с запада – площадью Подгоже. Тут должна будет разместиться масса народа.

Но, по крайней мере, предполагалось, что репрессии хотя бы обретут какую-то форму и при всей ограниченности будущего существования, люди получат основания как-то предсказывать его. Для таких людей, как Иуда Дрезнер, оптовый торговец текстилем, которому довелось познакомиться с Оскаром, предыдущие полтора года были сплошной чередой ограничивающих распоряжений, грабежей и конфискации. Он потерял контакты с кредитным агентством, свою машину и квартиру. Его банковский счет был заморожен. Школа, куда ходили его дети, была закрыта, не говоря уж о том, что их ждало исключение из нее. Семейные драгоценности были конфискованы, как и радиоприемник. Ему и его семье запрещалось появляться в центре Кракова, он не имел права невозбранно ездить в трамвае. Он и ему подобные могли пользоваться только специальными вагонами. Его жена, дочь и сыновья то и дело попадали в облавы, когда их в принудительном порядке гнали убирать снег или на другие тяжелые и грязные работы. И когда вас силой загоняли на грузовик, никогда нельзя было знать, как долго продлится отсутствие и не попадете ли вы во время работы под надзор сумасшедшего охранника с пальцем на спусковом крючке. При таком режиме изпод ног уходила твердая почва и возникало ощущение, что ты стремительно катишься в бездонную яму. Но, может, дном ее и должно оказаться гетто, где хотя бы удастся привести мысли в порядок.

Кроме того, евреи Кракова были приучены – точнее было бы сказать, что это было их врожденным качеством – к мысли о существовании гетто. И когда наконец решение было принято, само это слово звучало успокоительно, вызывая воспоминания о ряде предков, обитавших в нем. Их дедушкам не разрешалось выбираться за пределы гетто в Казимировке вплоть до 1867 года, когда Франц-Иосиф подписал декрет, разрешавший евреям жить в городе всюду, где они пожелают. Циники утверждали, что австрийцам было необходимо откупорить Казимировку, разместившуюся в излучине притока реки недалеко от Кракова, чтобы польские рабочие могли найти себе пристанище недалеко от работы. Тем не менее, старики из Казимировки относились к Францу-Иосифу с нескрываемым уважением так же, как и в тех местах, где прошло детство Оскара Шиндлера.

Хотя они с таким запозданием получили свободу, среди старых краковских евреев жила ностальгия по старому гетто в Казимировке. Да, понятие гетто включало в себя грязь и запущенность, переполненные жилища, необходимость занимать очередь к умывальнику, споры из-за мест для сушки белья. Тем не менее, оно предоставляло евреям священное право заниматься своими делами, изучать богатство наук, распевать песни и обсуждать идеи сионизма, сидя бок о бок в кофейнях, где было вдоволь если не сливок, то хотя бы идей. Из гетто Лодзи и Варшавы доходили зловещие слухи, но, как планировалось, под гетто в Подгоже было отведено достаточно места и, если свериться с картой, становилось понятно, что гетто занимает район чуть ли не в половину Старого города – во всяком случае, хотя пределы его были ограничены, давки тут не предполагалось.

Кроме того появилось распоряжение достаточно успокоительного характера, которое обещало евреям защиту от их польских соотечественников. С начала 30-х годов в Польше существовала продуманно организованная межрасовая неприязнь. Когда началась Депрессия, и упали цены на сельскохозяйственную продукцию, польское правительство санкционировало организацию антисемитских политических групп, которые утверждали, что евреи являются причиной всех трудностей. Санация, Партия Морального Очищения маршала Пилсудского, после смерти старого вождя заключила союз с лагерем Национального Единства, с группой правых воззрений, травившей евреев. Премьер-министр Сладковски так и объявил в парламенте: «Экономическая война евреям? Отлично!» Вместо того, чтобы ввести для крестьян земельную реформу, Санация побуждала их в рыночные дни присматриваться к еврейским прилавкам как к символу исчерпывающего объяснения, почему сельская Польша так бедна. Начавшись в Гродно в 1935 году, в нескольких городах прошли еврейские погромы. Польские законодатели одержали победу, и еврейские предприятия начали задыхаться под гнетом новых законов о банковских кредитах. Промышленные гильдии закрывали свои двери перед еврейскими ремесленниками, а университеты ввели квоту или как они сами – испытывая приверженность к классикам – называли ее *rumbus clausus aut nullus* (количество ограниченное или равное нулю) на поступление еврейских студентов. Факультеты уступили настойчивым требованиям Национального Союза, чтобы евреям отводились специальные скамьи в аудиториях, с левой стороны лекционных залов. Привычным делом в польских университетах стали факты, когда яркие, симпатичные и одаренные девушки из семей городского еврейства выбега-

ли из аудиторий, спасаясь от бритв, которыми полосовали их лица серьезные молодые люди из Союза Национального Единства.

В первые же дни немецкой оккупации завоеватели были удивлены радостной готовностью, с которой поляки указывали на имущество, принадлежавшее евреям и скручивали по рукам и ногам погруженных в молитву евреев, пока немцы выщипывали ортодоксам бороды или, не мудрствуя лукаво, уродовали им лица штыками. Тем не менее, в марте 1941 года можно было верить обещанию беречь евреев от эксцессов польских националистов.

Хотя евреи Кракова не выражали громогласно свою радость, складывая вещи для переезда в Подгоже, чувствовалось странное настроение якобы возвращения домой, перехода за ту черту, за которой, если повезет, можно не опасаться грабежей и издевательств. Во всяком случае, даже те, кто нашли себе пристанище в деревушках вокруг Кракова, таких, как Величка, Неполомице, Лишницы, Муроване и Тынеца, заторопились в Краков, опасаясь не успеть до 20 марта, пусть даже их и ждало окружение без всяких удобств. Потому что гетто по самой своей природе, по определению, означало возможность выжить, пусть даже время от времени подвергаясь нападением. Гетто означало *статис* – стабильность вместо неопределенности.

Появление гетто внесло некоторое неудобство в жизнь Оскара Шиндлера. Для него было привычным, оставляя свою роскошную квартиру на Страшевского, проезжать мимо величественного утеса Вавельского замка, перекрывавшего доступ к городу, подобно пробке в горлышке бутылки, затем проезжать через Казимировку, по моту Костюшко – и налево к своей фабрике в Заблбче. Теперь этот маршрут был перекрыт стенами гетто. Проблема была не так уж существенна, но она вызвала к жизни мысль, что имело бы смысл оборудовать себе квартиру на верхнем этаже административного здания на Липовой. Это было неплохое строение, возведенное в стиле Вальтера Гроппиуса. Обилие стекла и света, роскошная кирпичная кладка у въезда.

Когда бы в эти мартовские дни он не проезжал через город, направляясь в Заблбче, он видел, как упаковывались евреи Казимировки, как с раннего утра вереницы их двигались по Страдомской, толкая и таща за собой тележки, нагруженные стульями, матрацами и часами, – добром, которое перетаскивалось в гетто. Их семьи обитали в Казимировке еще с тех незапамятных времен, когда приток, называвшийся Старая Висла, отделил этот островок от центра. Точнее, с тех времен, когда Казимир Великий пригласил их обосноваться в Кракове, который, как и все прочие места, был опустошен проклятием Черной Смерти. Оскар предположил, что вот так же, более пятисот лет назад, их предки добирались до Кракова, толкая перед собой тележки со скарбом. И теперь они уходят из него, казалось, с теми же тачками. Приглашение Казимира отменено.

Во время утренних поездок по городу Оскар заметил, что план включает в себя проезд городских трамваев по Львовской и через самый центр гетто. Стены, подходящие к путям, возводились трудами польских каменщиков и все проходы перекрывались цементными преградами. К тому же все двери трамваев при въезде в гетто должны были оставаться наглухо закрытыми и транспорт не имел права останавливаться на его территории, пока опять не выезжал в *Umwelt*, арийский мир, на углу улиц Львовской и Кинги. Оскар понимал, что люди так и так будут пользоваться трамваями. Закрытые двери, езда без остановок, пулеметы на стенах – все не имело значения. В этом смысле людей было не изменить. Все равно они будут проникать внутрь – какая-нибудь преданная польская горничная с пакетиком сосисок. И люди будут выбираться за стены гетто, подобные лихим молодым атлетам, как Леопольд Пфедферберг, в карманах которого будут или драгоценные камни или пачки оккупационных золотых или зашифрованное послание для партизан. Люди будут использовать малейшую возможность выйти за пределы запертых дверей, выскользнуть из-за непроницаемых стен.

* * *

С двадцатого марта евреи, работавшие у Оскара, не должны были получать зарплаты, ибо предполагалось, что они будут существовать исключительно за счет своих продуктовых карточек. Вместо этого он должен был платить определенную сумму штаб-квартире СС в Кракове. И Оскар, и Мадритч – оба испытывали определенное неудобство, ибо понимали, что войне рано или поздно придет конец и рабовладельцы, подобно тому, как это было в Америке, будут подвергнуты позору и выставлены на всеобщее поношение. Суммы, которые он должен был выплачивать шефу полиции, были определены стандартами главного административно-хозяйственного дела СС – семь с

половиной марки в день за квалифицированного рабочего, пять рейхсмарок за неквалифицированных и женщин. Надо сказать, что цены были все же дешевле, чем на свободном рынке рабочей силы. Но и для Оскара и для Юлиуса Мадритча ощущение морального дискомфорта перевешивало материальную выгоду. Но в том году платежные ведомости меньше всего беспокоили Оскара. Кроме того, он никогда не был идеальным капиталистом. В молодости отец часто упрекал его, что он легкомысленно относится к деньгам. Еще будучи простым коммивояжером, он обзавелся двумя автомашинами в надежде, что слух о них дойдет до Ганса и тот будет потрясен. Теперь же, в Кракове, он мог позволить себе целую конюшню – бельгийская «Минерва», «Майбах», кабриолет «Адлер» и БМВ.

Позволять себе расточительность и все же преуспевать куда больше, чем бережливый отец – то была одна из тех побед, которые Оскар хотел одержать над жизнью. Во времена бума стоимость рабочей силы не была предметом его забот.

Это же было свойственно и Мадритчу. Его предприятие по пошиву обмундирования находилось в западной части гетто, в миле или около того, от эмалировочной фабрики Оскара. Дела у него шли настолько хорошо, что он уже подумывал об открытии сходного предприятия в Гарнуве. Он так же пользовался симпатией и расположением инспекции по делам вооруженных сил, и доверие к нему было столь велико, что он получил кредит в миллион злотых из Эмиссионного банка.

Какие бы этические сложности они ни испытывали, ни Оскар, ни Юлиус не считали, что как предприниматели они несут на себе моральные обязательства избегать приема на работу евреев, устраивавших их. В этом была определенная сложность, но, поскольку оба они были прагматиками, склоняться перед препятствиями было не в их стиле. Во всяком случае, Ицхак Штерн, как и Роман Гинтер, бизнесмен, представлявший отдел трудоустройства юденрата, связались с Оскаром и Юлиусом, попросив их принимать на работу как можно больше евреев. Целью было обеспечить хоть какое-то экономическое существование гетто. На этом этапе Штерн и Гинтер сошлись во мнении, что евреи, которые представляют экономическую ценность для разбухшей империи, испытывавшей нужду в квалифицированной рабочей силе, пока избавлены от худшей судьбы. С чем согласились и Оскар с Мадритчем.

Итак, в течение двух недель евреи перетаскивали свои повозки через Казимировку и по мосту, стягиваясь в Подгоже. Семьям из среднего класса их польская прислуга помогала толкать тележки. На дне их лежали еще сохранившиеся брошки и меховые шубы, прикрытые скарбом из матрацев вперемешку со сковородками и кастрюлями с длинными ручками. Толпы поляков на Страдомской и Старовислинской веселились, кидая в них грязью:

– Евреи идут, евреи идут! Пока, евреи!

За мостом наспех возведенные деревянные ворота встречали новых обитателей гетто. Украшенные фестоном из светлой свежеструганной древесины, которые придавали им какой-то причудливый вид, они включали в себя и две широкие арки для трамваев, которые пересекая гетто, возвращались в собственно Краков, а сбоку размещалась будка охраны из такой же светлой древесины. Над аркой красовалась надпись на иврите, которая должна была вселять спокойствие. «ЕВРЕЙСКИЙ ГОРОД», – оповещала она. Вдоль стороны гетто, выходящей к реке, была натянута высокая изгородь из колючей проволоки, а все прочие проходы в гетто были перекрыты цементными плитами трехметровой высотой с закругленными навершиями, напоминавшими ряды могильных надгробий, поставленных неизвестным мертвецам.

У ворот гетто нагруженных евреев встречали представители отдела внутренних дел юденрата. Если у поселенца была жена и большая семья, он мог рассчитывать на две комнаты и право пользоваться кухней. Даже в этом случае, после нормальной жизни в двадцатых и тридцатых годах, было мучительно трудно делить личную жизнь с другими семьями, с иными привычками, с другими, порой неприятными, запахами и правилами. Матери плакали, а отцы говорили, что могло бы быть и хуже, но, цокая дырявыми зубами, сокрушенно качали головами. Ортодоксам приходилось с отвращением смиряться с присутствием в одной комнате либералов.

К двадцатому марта переселение было закончено. Любой, оказавшийся вне пределов гетто, подвергался опасности, которая могла в лучшем случае кончиться штрафом. Внутри же, по крайней мере, в настоящий момент можно было как-то жить.

Двадцатитрехлетней Эдит Либгольд была предоставлена комната на первом этаже, которую она делила с матерью и ребенком. Падение Кракова восемнадцать месяцев назад ввергло ее мужа в мрачное настроение, граничащее с отчаянием. Он то и дело уходил из дому, пытаясь выяснить,

какие у него есть возможности. Он носился с идеями, что удастся уйти в леса, найти возможность бегства. Однажды он так и не вернулся.

Из крайнего окна перед Эдит Либгольд открывался вид на Вислу, затянутый частоколом колючей проволоки путь в другую часть гетто, особенно в больницу на Венгерской, вел через Плац Згоды, площадь Мира, единственную площадь на территории гетто. На второй день пребывания в пределах этих стен, она всего на двадцать секунд разминулась с грузовиками СС, забиравшим всех встречаемых в город на принудительные работы по уборке снега и погрузке угля. По слухам, такие команды возвращались обратно, потеряв несколько своих членов. Но более всего Эдит опасалась оказаться в грузовике всего лишь через пару секунд после того, как она думала, что спешит в аптеку Панкевича, а через двадцать минут ребенка надо кормить. Таким образом, она с подружкой отправилась в отдел занятости. Если ей удастся получить сменную работу, по ночам за ребенком присмотрит мать.

В эти первые дни отдел был переполнен. В распоряжении юденрата были собственные полицейские силы, *ordnungsdienst* (OD), организованные и предназначенные для поддержания порядка в гетто, и молодые люди в фуражках и с нарукавными повязками, выстраивали очередь перед конторой.

Группа, включавшая Эдит Либгольд, уже была за дверями, болтая, чтобы убить время, когда к ней подошел невысокий человек средних лет в коричневом пиджаке и с галстуком. С равным правом можно было предположить, что его привлекли и яркая внешность Эдит, и ее раскованное поведение. Поначалу все решили, что он решил подцепить Эдит.

– Послушайте, – сказал он. – Чем тут ждать... есть некая эмалировочная фабрика в Заблоче.

Назвав адрес, он увидел, какое воздействие произвел. Заблоче вне пределов гетто, сказал он им. Там можно меняться чем угодно с польскими рабочими. И ему нужно десять здоровых женщин для работы в ночную смену.

Девушки скорчили физиономии, словно у них был большой выбор занятий и они могли отказаться от его предложения. Работа не тяжелая, заверил он их. И их будут учить. Его имя, сказал подошедший, Абрахам Банкер. Он управляющий. Владелец, конечно, немец. Какого сорта немец? – спросили его. Банкер улыбнулся, словно у него появилась возможность разом удовлетворить их пожелания. Неплохой, сказал он им.

Этим же вечером Эдит Либгольд встретила с остальными работницами ночной смены на эмалировочной фабрике и через все гетто, под охраной еврейской службы порядка, направилась в Заблоче. По пути они задавали вопросы относительно Дойче Эмалфабрик. Суп там дают наваристый, было ей сказано. Бьют? – спросила она. Там это не принято, сказали ей. Там не то, что на заводе бритвенных лезвий Бекмана. Скорее как у Мадритча. У Мадритча жить можно, и у Шиндлера тоже.

При входе на предприятие новые работники ночной смены были вызваны Банкером из колонны и он отвел их наверх, где, миновав пустые письменные столы, они оказались перед дверью с надписью «Герр директор». Эдит Либгольд услышала низкий грудной голос, который пригласил их войти. Герр директор встретил их, сидя на краю стола с сигаретой. Его волосы, цвет которых колебался между блондином и светлым шатеном, были недавно подстрижены; на нем был двубортный пиджак и шелковый галстук. Он выглядел как человек, который уже собрался на званый обед, но задержался специально, чтобы сказать им несколько слов. Он был высок и широкоплеч и было видно, насколько он еще молод. От такой воплощенной мечты гитлеризма Эдит ожидала услышать лекцию о военных усилиях и о необходимости увеличить выпуск продукции.

– Я хотел бы поприветствовать вас, – сказал он по-польски. – Вы стали частью коллектива этого предприятия. – Он отвел глаза в сторону; может, даже ему в голову пришла мысль: «Не стоит им этого говорить – им нет дела до этого места».

Затем, не моргнув глазом, без всяких вступлений и многозначительных жестов, он сказал им:

– Работая здесь, вы будете в безопасности. Если вы останетесь здесь, то выйдете живыми после войны. Затем, пожелав всем спокойной ночи, он оставил кабинет вместе с ними, дав Банкеру возможность поприветствовать их на верхней площадке лестницы, чтобы герр директор успел спуститься первым и сесть за руль своей машины.

Обещание поразило их. Но оно было словно глас Божий. Каким образом простой человек может им это гарантировать? Но Эдит Либгольд поймала себя на том, что сразу же и безоговорочно поверила ему. Не только потому, что ей хотелось верить; не потому, что клюнула на приманку

бессмысленных обещаний. А потому, что в долю секунды она поняла: обещание герра Шиндлера продиктовано не мнением, а убеждением.

Новый набор женщин на ДЭФ получал инструкции, испытывая сладостное головокружение. Словно какая-то рехнувшаяся старая цыганка, даже не получив подаяния, пообещала им, что любая из них выйдет замуж за графа. Услышанные слова решительно изменили отношение Эдит Либгольд к жизни. И если бы даже ее стали расстреливать, она скорее всего возмутилась бы: «А герр директор сказал, что этого не может быть!»

Работа не требовала никаких умственных усилий. Захватами на длинных рукоятках Эдит переносила посуду из ванн эмалирования в печь для обжига. И все время в ушах у нее звучало обещание герра Шиндлера. Только сумасшедший может высказывать его с такой абсолютной уверенностью, не моргнув глазом. Но он явно не был умалишенным. Он был деловым человеком, который ехал на какой-то обед. Тем не менее он должен знать. Но это означало, что у него был какой-то иной подход, другой взгляд, он имел отношение или к Богу или к дьяволу, во всяком случае, к порядку вещей. Но, с другой стороны, его внешний вид, его холеные руки с золотыми кольцами меньше всего отвечали представлению о ясновидце. Руки его привыкли держать бокал с вином; у него были руки мужчины, вызывавшие желание ощутить исходящую от них ласку. Она снова и снова возвращалась к мысли, что он просто сумасшедший или крепко выпил – она искала какие-то мистические объяснения тому, какой уверенности она преисполнилась после слов герра директора.

В этом году и в последующих такие же размышления не покидали и всех остальных, кому Оскар Шиндлер дал столь же твердые обещания. Кое-кто пытался понять, есть ли под ними какое-то основание. Если этот человек ошибается, если при всей своей власти он столь необдуманно бросает слова, то, значит, нет Бога, и нет человечности, и хлеба нет, и нет цикория на земле. Это были, конечно, всего лишь предположения, но в них было зловещее предчувствие.

Глава 9

Этой весной Оскар, оставив свое предприятие в Кракове, в БМВ направился на запад, пересек границу и через пробуждающиеся к жизни весенние леса взял курс на Цвиттау. Он должен повидаться и с Эмили, и со своими тетками и сестрой. Все они объединились в непримиримом союзе против его отца; они старательно поддерживали огонь, зажженный в честь мученичества его матери. И если было какое-то сходство между униженным положением его матери и его жены, то Оскар Шиндлер – в своем пальто с меховыми отворотами, с небрежным изяществом уверенно держащий руль, что не мешало ему время от времени брать очередную турецкую сигарету из бардачка – Оскар Шиндлер его не видел. Его отец был богом и жил по своим непоколебимым законам.

Он любил навещать своих теток, ему нравилось, как они восторженно всплескивали ладошками, восхищаясь покромом его сюртука. Его младшая сестра вышла замуж за одного из начальников железной дороги и жила в уютной квартирке, предоставленной железнодорожным руководством. Ее муж был важной фигурой в Цвиттау с его транспортным узлом и большим грузовым двором. Оскар попил чаю с сестрой и ее мужем и позволил себе немного шнапса. Дети Шиндлера жили не так плохо.

Конечно, именно сестра Шиндлера заботилась о фрау Шиндлер во время ее последней болезни, а сейчас она втайне посещала отца и общалась с ним. Она не могла позволить себе ничего большего, кроме как осторожно намекнуть на возможность примирения, что она и сделала во время чаепития, получив в ответ неопределенное ворчание.

Позже Оскар пообедал дома с Эмили. Она была искренне рада его присутствию в эти свободные дни. Они вместе, подобно старомодной добропорядочной паре, посетили пасхальную службу. Празднование прошло как нельзя лучше и они церемонно танцевали весь вечер, хотя за столом относились друг к другу с несколько отчужденной вежливостью. В глубине души оба они, и Оскар, и Эмили были поражены странной особенностью их брака – он и давал, и получал куда больше в отношениях с чужими людьми, с работниками своей фабрики, но только не с ней.

Проблема, довлеющая над ними, заключалась в том, что они никак не могли решить, стоит ли Эмили перебираться к нему в Краков. Если она отказалась бы от своих апартаментов в Цвиттау, пустив в них других жильцов, ей пришлось бы насовсем застрять в Кракове. Она считала своей

святой обязанностью быть вместе с Оскаром; на языке моральных категорий католической теологии, ее отсутствие в доме служило «поводом к случайному греху». Тем не менее, жизнь с ним в чужом городе могла быть приемлема только в том случае, если он внимательно, чутко и предусмотрительно будет относиться к ее чувствам. Беда же с Оскаром заключалась в том, что на него нельзя было положиться – он не собирался отказываться от своих пороков. Беспечный, то и дело под хмельком, с неизменной улыбкой на губах – казалось, он не сомневался, что, если ему понравится какая-то девушка, она должна тоже проникнуться к нему симпатией.

Этот нерешенный вопрос о переезде в Краков настолько давил на них, что после окончания обеда он извинился, покинул ее и направился в кафе на главной площади. Это заведение нередко посещали горные инженеры, мелкие дельцы и случайные коммивояжеры, имеющие дело с армейскими офицерами. Среди посетителей он с удовольствием разглядел своих друзей времен увлечения мотоциклом. Большинство из них были в форме вермахта. Они выпили коньячка. Кое-кто выразил удивление, что такой здоровый мужик, как Оскар, до сих пор не в мундире.

– Хватает дел и с производством, – проворчал он. – Более чем хватает.

Воспоминания о днях юности, мотоциклах захватили их. Посыпались шутки по поводу аппарата, который Оскар собрал по кусочкам еще старшекласником. Сколько было грохота! Да уж, его пятисоткубовый Галлони грохотал на славу. Шум в кафе нарастал по мере того, как падал уровень коньяка в бутылках. И к концу ужина они превратились в компанию старых школьных друзей: так сияли их лица, словно они вновь обрели утраченный смех, да так оно и было на самом деле. Затем один из них посерьезнел.

– Послушай, Оскар. Тут обедает твой отец, и он всегда в одиночестве.

Оскар Шиндлер смотрел в рюмку с коньяком. Лицо его побагровело, но он лишь пожал плечами.

– Тебе надо бы поговорить с ним, – сказал кто-то. – Бедный старик, от него осталась лишь тень.

Оскар сказал, что он лучше пойдет домой и начал было вставать, но руки приятелей вцепились ему в плечи, заставив снова сесть.

– Он знает, что ты здесь, – заговорили они. Двое уже отправились в пристройку к залу и уговаривали старого Шиндлера присоединиться к их обеду. Оскар, охваченный паникой, наконец поднялся, но пока рылся в карманах в поисках бумажника, из зала, влекомый двумя молодыми людьми, появился Ганс Шиндлер, на лице которого было страдальческое выражение. Оскар оцепенел, увидев его. Как бы он ни гневался на своего отца, он всегда считал, что, если им и суждено сблизиться, путь этот придется пройти ему. Старик был слишком горд. Тем не менее, сейчас он позволил, чтобы его привели к сыну.

Пока их двоих подталкивали друг к другу, первым жестом старика стала смущенная улыбка, сопровождаемая движением бровей. Этот знакомый жест поверг Оскара в смятение. «Я ничего не мог сделать, – словно бы хотел сказать ему Ганс. – И брак, и все остальное, что было между твоей матерью и мною, – все это развивалось по своим законам». Мысль, скрывавшаяся за этой мимикой, могла быть и другой, но этим же вечером Оскар видел точно такое же выражение на другом лице – на своем собственном, когда, глядя на себя в зеркало в холле квартиры Эмили, он пожал плечами: «И брак, и все прочее – все развивается по своим собственным законам». Он обменялся этим взглядом с самим собой, и вот – он уже пропустил три порции коньяка – об этом же дает ему понять его отец.

– Как поживаешь, Оскар? – спросил Ганс Шиндлер. Последнее слово прозвучало со злобщей одышкой. Здоровье отца стало куда хуже по сравнению с теми временами, когда он помнил его.

Оскар Шиндлер решил, что даже герр Ганс Шиндлер заслуживает человеческого отношения – мысль, которую он был не в состоянии усвоить за чаепитием у своей сестры; и, обняв старика, он трижды расцеловал его в обе щеки. Почувствовав прикосновение отцовской щетины, он не смог удержаться от слез в окружении компании инженеров, солдат и бывших мотоциклистов, аплодировавших этой трогательной сцене.

Глава 10

Советник юденрата Артур Розенцвейг, который по-прежнему считал, что он отвечает за здо-

ровье, жизнь и продовольственный рацион обитателей гетто, настоятельно внушал еврейской полиции гетто (*Ordnungsdienst, OD*), что они служат обществу. Он пытался внушить этим молодым людям хоть какое-то понятие о сострадании, чему-то научить их. Хотя в штаб-квартире СС ОД рассматривали как обыкновенные вспомогательные полицейские силы, которые должны просто исполнять приказы, как и любая другая полиция, большинство службы порядка рассматривала себя в совершенно ином качестве.

Нельзя было отрицать, что по мере того, как в гетто налаживалась жизнь, полицейские становились объектами подозрительного отношения, предполагаемыми предателями и коллаборантами. Кое-кто из них поставлял информацию подполью, бросая вызов системе, но скорее всего, большинство из них считало, что существование и их, и их семей зависит от уровня сотрудничества с СС. Честный человек рассматривал службу порядка в гетто как сборище взяточников. Жуликам в ней было раздолье.

Но в первые месяцы существования в Кракове, ОД еще пользовалась уважением. В силу неопределенности своего положения Леопольд Пфедферберг постарался вступить в ее ряды. Когда всем формам образования для евреев, даже тем, что были организованы юденратом, в декабре 1940-го года был положен конец. Польдеку было предложено вести книгу записей на прием и организовывать очередь в отделе внутренних дел юденрата. Занятие это отнимало у него лишь часть времени, но обеспечивало прикрытие, с помощью которого он мог относительно свободно ездить по Кракову. В марте 1941 года была организована служба порядка как таковая, основной целью которой было наведение порядка среди евреев, прибывающих в Подгоже из других частей города и защита их. Польдек принял предложение и обзавелся форменной фуражкой. Он не сомневался, что понимает поставленные задачи – не только обеспечить нормальное существование в пределах стен гетто, но и добиваться от соплеменников подчинения, которое, как неоднократно бывало в истории европейского еврейства, гарантировало, что угнетатели быстрее оставят их в покое, станут меньше обращать на них внимания и жизнь понемногу обретет приемлемые формы.

В то же самое время Пфедферберг не прекращал свою тайную деятельность, таская сквозь ворота гетто туда и обратно кожаные изделия, драгоценности, меха, валюту. Он знал, что охранник у ворот, Освальд Боско, полицейский, настолько ненавидел режим, что позволял проносить в гетто материалы, из которых потом производили товар – одежду, скобяные изделия, – а позже его продавали в Кракове. Он даже не брал взяток.

Минув ворота гетто в роли официального лица, Пфедферберг на какой-нибудь тихой улочке сдергивал еврейскую нарукавную повязку и отправлялся по делам в Казимировку или центр Кракова.

Из-за голов пассажиров в трамвае он видел на городских стенах свежие плакаты и объявления, оповещающие о суровых карах за укрывательство польских бандитов, лозунги типа «ЕВРЕИ – ВШИ – ТИФ», изображения невинной польской девушки, протягивавшей еду носатому еврею, тень которого изображала дьявола. «Тот, кто помогает еврею, помогает Сатане». Рядом с лавочками висели красочные рисунки евреев, делающих фарш для пирожков из крысиного мяса, разбавляющих водой молоко, посыпающих вшами пирожные; грязными ногами они месили тесто. Старания плакатистов и писак из Министерства пропаганды создавали определенный облик гетто на улицах Кракова. Но Пфедферберг, по виду типичный ариец, спокойно рассматривал эти произведения искусства, проходя мимо них с сумкой, полной одежды, драгоценностей или валюты.

Самый сильный удар Пфедферберг испытал в прошлом году, когда Франк изъял из обращения банкноты по 100 и 500 злотых и объявил, что все купюры данного достоинства должны быть депонированы в Кредитном Фонде рейха. Поскольку евреям разрешалось обменивать только 2000 злотых, это означало, что все тайные накопления – владеть суммой свыше 2000 злотых было противозаконно – больше не представляли никакой ценности. Разве что удавалось найти какого-нибудь обладателя арийской внешности, который мог рискнуть, сняв повязку, пристроиться к длинной очереди поляков у Кредитного Банка рейха. Пфедферберг и его молодые друзья-сионисты собрали у обитателей гетто несколько сот тысяч злотых вышеназванных номинаций и, вынося полные саквояжи денег, возвращались с имеющей хождение оккупационной валютой, минус те суммы, что приходилось тратить на подкуп польской синемундирной полиции у ворот гетто.

Вот таким полицейским и был Леопольд Пфедферберг. Превосходным – с точки зрения советника Артура Розенцвейга; совершенно неприемлемым – по стандартам Поморской.

Оскар посетил гетто в апреле – и из любопытства и потому, что ему надо было заглянуть к ювелиру, которому он заказал два кольца. Он убедился, что район населен куда больше того, что он мог себе представить – в одной комнате размещались две семьи, разве что, к вашему везению, у вас был знакомый в юденрате. Стоял душливый запах засорившейся канализации, но женщины ухитрились спастись от эпидемии сыпного тифа, тщательно выскабливая все углы и кипятя во дворе белье.

– Времена меняются, – доверительно сообщил Оскару ювелир. – Еврейской полиции выдали дубинки. – Администрация гетто, как и во всех гетто в Польше, теперь находилась под контролем не губернатора Франка, а секции гестапо 4В, и высшей властью во всех еврейских делах в Кракове стал ныне оберфюрер СС Юлиан Шернер, энергичный добродушный человек в возрасте 45–50 лет, который со своей лысиной и в толстых очках смахивал на заурядного чиновника. Оскар встречался с ним на приемах с коктейлями, устраиваемых немцами. Говорил на них, главным образом, Шернер – и не только о войне, но и о бизнесе и вложениях капитала. Он принадлежал к функционерам, которые в изобилии встречались среди ээсовцев среднего ранга: спортивного склада, они интересовались женщинами, выпивкой и конфискованными вещами. Порой казалось, что его детская ухмылка, появляющаяся в уголках губ, давала понять, как он наслаждается неожиданной властью. Хотя он всегда был в хорошем расположении духа, его отличало полное бессердечие. Оскар мог сказать, что Шернеру больше нравилось работать с евреями, чем убивать их, что ради выгоды он мог бы и обойти законы, но он неуклонно следовал генеральной линии политики СС, к чему бы она ни вела.

Оскар припомнил, что на прошлое Рождество он послал шефу полиции шесть бутылок коньяка. Ныне власть этого человека значительно расширилась, и в этом году он обойдется ему значительно дороже.

Да и вообще точка приложения ее изменилась – СС стало не только орудием политики, но и само стало определять ее. И под жарким июньским солнцем еврейская служба порядка обрела новый характер. Оскар, просто проезжая мимо гетто, успел познакомиться с новой личностью, с бывшим стекольщиком Симхой Спирой, который представлял новые силы в ОД. Спира происходил из ортодоксов и как по темпераменту, так и в силу личных взаимоотношений, презирал европеизированных еврейских либералов, которые еще сидели в совете юденрата. Он получал приказы не от Артура Розенцвейга, а от унтерштурмфюрера Брандта по ту сторону реки. После встреч с Брандтом он возвращался в гетто, отягощенный новыми знаниями и властью. Брандт попросил его организовать политический отдел службы порядка и руководить им, и он набрал в него большинство своих приятелей. Их внешний вид теперь включал в себя не только фуражку и нарукавную повязку, но и серые рубашки, кавалерийские бриджи, офицерскую португую и блестящие ээсовские сапоги. Политический отдел Спиры был выше требований о сотрудничестве и в нем было полно продажной публики, людей с кучей комплексов, полных незаживающих обид за те социальные и интеллектуальные ущемления, которые они в прошлом претерпевали от уважаемых представителей среднего класса еврейской общины. Кроме Спиры, в него входили Шимон Шпитц, Марсель Зеллингер, Игнац Даймонд, коммивояжер Давид Гаттер, Форестер, Грюнер и Ландау. Свое положение они воспринимали как возможность заниматься вымогательством и представлять в СС списки недовольных и бунтарски настроенных обитателей гетто.

Теперь Польдек Пфефферберг только и мечтал удрать из полиции. Ходили слухи, что гестапо заставит всех служащих в ОД принести клятву на верность фюреру, после чего они уже не смогут не подчиняться приказам. Польдек не хотел делить судьбу с серорубашечным Спирой или со Шпитцем и Зеллингером, которые составляли списки для СС. Он добрался до больницы на углу Вегерской, чтобы поговорить с добрым спокойным медиком Александром Биберштейном, официальным врачом юденрата. Брат его Марек был председателем совета и сейчас отбывал срок в тюрьме за нарушение правил валютных операций и попытку дать взятку официальному лицу.

Пфефферберг попросил Биберштейна выдать ему медицинскую справку, чтобы он мог покинуть ряды службы порядка. Это непросто, сказал Биберштейн. Пфефферберг меньше всего смахивает на больного. Просто невозможно, чтоб ему удалось все время симулировать высокое кровяное давление. Доктор Биберштейн проинструктировал его относительно симптомов приступов радикулита. Усвоив их, Пфефферберг выходил на дежурства, скрючившись и с палочкой.

Спира был прямо вне себя. Когда Пфефферберг в первый раз дал ему понять, что хочет оставить службу в полиции, шеф ее рывкнул, словно командир дворцовой стражи, что его могут выне-

сти только на щите. В пределах гетто Спира и его недоразвитые друзья играли роль некоего элитного объединения. Они считали себя то ли Иностранным легионом, то ли пролетарской гвардией.

– Мы пошлем тебя на осмотр к врачам в гестапо! – заорал Спира.

Биберштейн, который принял близко к сердцу угрызения совести молодого Пфедферберга, проинструктировал его как нельзя лучше. Польдек прошел обследование у гестаповского врача и был уволен со службы в еврейской полиции в силу невозможности из-за заболевания исполнять свои обязанности. Спира, прощаясь с Пфедфербергом, хмыкнул с презрительной враждебностью.

На следующий день немцы начали вторжение в Россию. Оскар тайком услышал новости по Би-Би-Си и понял, что с планом освоения Мадагаскара ныне покончено. Пройдут годы, прежде чем появятся суда для его воплощения в жизнь. Оскар почувствовал, что ход событий заставит измениться суть замыслов СС и теперь повсюду экономистам, инженерам, тем, кто планирует перемещение людских масс, всем вплоть до последнего полицейского придется перестраивать свое мышление не только на восприятие долгой войны, но и на систематическую работу по созданию расово безупречной империи.

Глава 11

На улице, что тянулась за Липовой, обращенная своей тыльной частью к предприятию Шиндлера стояла Германская упаковочная фабрика. Оскар Шиндлер, всегда неустанно искавший, с кем бы пообщаться, привык порой заходить туда, чтобы поболтать с ее инспектором Эрнстом Кунпастом или с бывшим владельцем и неофициальным управляющим Шимоном Иеретцом. Предприятие Иеретца стало Германской упаковочной фабрикой два года назад в соответствии с общепринятым порядком вещей – перестали поступать деньги, он потерял право подписывать документы.

Несправедливость всего свершившегося с ним больше не беспокоила Иеретца. Такая же судьба постигла многих из тех, кого он знал. Куда больше его волновало гетто. Стычки на кухне, жалкая убогость коммунальной жизни, запах чужих тел, блохи, которые переползают на тебя с грязной одежды человека, которого ты коснулся плечом на лестнице. Госпожа Иеретц, рассказал он Оскару, испытывает глубокую депрессию. Она с детства привыкла жить в окружении красивых вещей; родом она была из преуспевающей семьи из Клепажа, к северу от Кракова. И подумать только, говорил он Оскару, что из купленных мною стройматериалов, я мог бы возвести себе дом здесь. Он показывал на пустырь за фабрикой. Рабочие играли там в футбол и места гонять мяч им вполне хватало. Большинство их было с завода Оскара, а остальные с фабрики, принадлежавшей польской паре Бельских. Большая часть этого пространства принадлежала Оскару, а остальное – супругам Бельских. Но Оскар не стал указывать на это бедному Иеретцу или уточнять, что и он мог бы использовать это место. Куда больше его заинтересовали слова о пиломатериалах. Вы же понимаете, сказал Иеретц, что надо только бумажки оформить.

Они стояли у окна кабинета Иеретца, оглядывая пустырь. Из мастерской доносились глухие удары молота и визг механических пил. Я не могу себе представить, что потеряю связь с этими местами, сказал Иеретц Оскару. Невыносима мысль, что меня загонят в какой-то трудовой лагерь и изгнанному отсюда мне останется только догадываться, что тут делают эти чертовы идиоты. Вы, конечно, можете понять меня, герр Шиндлер?

Люди, подобные Иеретцу, не могли представить себе, что возможно какое-то просветление. Немецким армиям, казалось, сопутствовали постоянные успехи в России, и даже Би-Би-Си с тревогой говорило об их ярких победах. Заказы военной инспекции на производство полевых кухонь продолжали ложиться на стол Оскара, сопровождаемое комплиментами от генерала Юлиуса Шиндлера, которые он от руки приписывал в конце листа; по телефону ему постоянно приходилось слышать добрые пожелания успехов от младших офицеров. Не обращая особого внимания на приписки и благодарности, Оскар испытывал противоречивое чувство радости, видя корявые буквы почерка отца, когда тот благодарил его за состоявшееся примирение. Все это долго длиться не будет, считал Шиндлер-старший. Этот человек (Гитлер) не понимает, что его ждет. В конце концов Америка раздавит его. А русские? Господи, неужели никто не возьмет на себя труд доказать диктатору, сколько до него было таких же безбожных варваров? С улыбкой читая его письма, Оскар не испытывал неудобств от того, что в нем уживались столь противоречивые эмоции – удовлетворение коммерсанта от контрактов с военным ведомством и глубокое наслаждение от подрыв-

ных писем отца. Руководствуясь чувством любви и стараясь удержать его от подстрекательских речей, Оскар положил отцу ежемесячное содержание в 1000 рейхсмарок, получив удовольствие от собственной щедрости.

Год миновал быстро и почти без огорчений. Долгие часы, которые Шиндлер проводил за работой, приемы в «Краковии», пьяные вечеринки в джаз-клубе, визиты в изысканные апартаменты Клоновской. Лишь когда стали опадать листья, он не без удивления обнаружил, что год подходит к концу. Впечатление куда-то исчезнувшего времени усиливалось поздним приходом лета и осенними дождями, которые хлынули раньше, чем обычно. Смещение времени и не оправдавшиеся стараниями Советов предположения сказались на жизни всех обитателей Европы. Но для герра Оскара Шиндлера на Липовой погода продолжала оставаться просто погодой.

В самом конце 1941 года Оскар оказался под арестом.

Кто-то – то ли польский клерк, то ли немецкий техник с участка боеприпасов, трудно сказать – явился на Поморскую и оклеветал его. Как-то утром на Липовую прибыли двое гестаповцев в штатском, перекрыв вход своим «Мерседесом», словно собираясь положить конец существованию фабрики. Наверху, представ перед Оскаром, они предъявили ему ордер, предписывавший им изъять все деловые бумаги. Но, похоже, в коммерции они понимали немного.

– Какие именно документы вам нужны? – спросил их Шиндлер.

– Кассовые книги, – сказал один.

– И ваш главный гроссбух, – добавил другой.

Процедура ареста носила довольно легкомысленный характер; они болтали с Клоновской, пока Оскар сам отправился искать для них кассовую книгу и финансовый отчет. У него даже нашлось время набросать несколько имен в блокноте – скорее всего, тех, с кем Оскар договорился о встречах и которые теперь предполагалось отменить. Тем не менее, Клоновска поняла, что это был список людей, к которым надо было обратиться за помощью, чтобы вызволить его.

Первым в нем было имя оберфюрера Юлиана Шернера; вторым – Мартина Плате из отдела абвера в Бреслау. Для связи с ним придется заказывать междугородный разговор. Третье имя принадлежало инспектору, вечно пьяному ветерану армии Францу Бошу, на пару с которым Оскар Шиндлер спускал на сторону кухонную утварь. Склонившись над плечом Клоновской и вдыхая запах ее волос, покрытых лаком, он подчеркнул фамилию Буша. Влиятельный человек, Буш был в доверительных отношениях со всеми высшими чинами Кракова, которые не чурались дел на черном рынке. Оскар понимал, что его арест как-то связан с черным рынком, опасность которого заключалась в том, что всегда можно было найти чиновника, готового принять взятку, но никогда нельзя было предугадать, кто из них восплает ревностью к твоим успехам.

Четвертое имя в списке принадлежало немцу, председателю совета директоров «Феррум АГ» из Сосновца, компании, в которой герр Шиндлер закупал металл. Перебрав в уме эти имена он успокоился, пока гестаповский «Мерседес» доставлял его на Поморскую, что была в километре или около того к западу от Центра. Они были гарантией того, что он не исчезнет без следа в лабиринтах системы. Он был далеко не столь беззащитен, как та тысяча обитателей гетто из списков Симхи Спиры, которых похватывали всех до одного и по обледенелым ступеням грузовой станции погнали в теплушки на станции Прокочим. В распоряжении Оскара была тяжелая артиллерия.

Комплекс зданий СС в Кракове представлял собой мрачноватое строение современной конструкции, но не столь зловещее, как тюрьма Монтелюпич. Но если даже не верить слухам о пытках, практикующихся в его кабинетах, само здание сразу же подавляло арестованного, как только он оказывался в его пределах – кафкианская путаница его коридоров, молчаливые угрозы, исходящие от имен на дверях. Здесь было и Главное управление СС, и штаб-квартира полиции с «криппо», то есть с криминальным отделом, и гестапо, и административно-хозяйственный отдел СС, отдел личного состава, по еврейским делам, Управление по вопросам расы и поселений. Верховный Суд СС, оперативный отдел и управление вспомоществования этническим немцам.

Где-то в глубине этого улья Оскару пришлось отвечать на вопросы гестаповца средних лет, который, по всей видимости, больше разбирался в бухгалтерии, чем арестовавшие Оскара сотрудники. В поведении его чувствовался некий легкий юмор, как у таможенника, заподозрившего пассажира в незаконном провозе валюты, а на самом деле обнаружившего у него план завода, который тот вез в подарок своей тетке. Он объяснил Оскару, что все предприятия, выпускающие военную продукцию, находятся под контролем. Оскар не поверил его словам, но предпочел промолчать. Герр Шиндлер должен понимать, сказал ему гестаповец, что предприятия, поддержи-

вающие военные усилия, обладают моральной обязанностью сдавать для этой великой цели всю свою продукцию, воздерживаясь от искушения подрывать экономику генерал-губернаторства незаконными сделками.

Ворчливым голосом, в котором слышались и угроза и благодушие, Оскар пробурчал:

– Вы намекаете, герр вахтмейстер, что у вас есть данные, что мое предприятие якобы не выполняло установленной ему квоты?

– Ваш образ жизни бросается в глаза, – со смущенной улыбкой сказал его собеседник, как бы давая понять, что если все в порядке, то преуспевающий промышленник имеет право жить таким образом. Но любой подобный человек... словом, мы должны быть уверены, что уровень его существования обеспечивается доходами только от законных контракторов.

Оскар лучезарно улыбнулся гестаповцу.

– Кто бы вам ни сообщил мое имя, он сущий идиот, и вы только впустую потеряете время.

– Кто управляющий предприятием ДЭФ? – пропустив его слова мимо ушей, спросил гестаповец.

– Абрахам Банкер.

– Еврей?

– Конечно. Предприятие в свое время принадлежало одному из его родственников.

Тогда отчеты должны быть в порядке, сказал гестаповец. Но он предполагает, что в случае необходимости Банкер может увеличить выпуск продукции.

– Вы хотите сказать, что собираетесь задержать меня? – спросил Оскар. Он не мог удержаться от смеха. – Я хотел бы сказать вам, – сообщил он, – что когда мы с оберфюрером Шернером вдоволь посмеемся за выпивкой над этим происшествием, я непременно сообщу ему, что вы угрожали мне с изысканной вежливостью.

Те двое, что арестовывали его, провели Оскара на второй этаж, где после обыска ему было разрешено оставить при себе сигареты и 100 злотых, дабы оплатить себе некоторые излишества. Затем он был заперт в спальне – одной из лучших, в которых ему приходилось бывать, – прикинул Оскар, – с ванной, туалетом, с пыльными портьерами на зарешеченных окнах; в таких помещениях на время допроса содержали уважаемых лиц. Если задержанного такого ранга приходилось освобождать, ему не приходилось жаловаться на условия содержания, хотя вряд ли он бывал в восторге. Если же удавалось выяснить, что он занимался предательской подрывной деятельностью или же оказывался экономическим преступником, двери этой комнаты превратились в ловушку и прямоком вели к томительному неподвижному ожиданию в камере для допросов в подвале, где ему предстояло истекать кровью в серии истязаний, называвшейся конвейером, а впереди его ждала тюрьма, где заключенных вешали прямо в их камерах. Оскар прикинул, чьими стараниями он здесь очутился. Кто бы это ни был, пообещал он себе, я уж постараюсь, чтобы он очутился в России.

Он всегда терпеть не мог ожидания. После часа томления он постучал в двери и попросил охранника из «Ваффен СС» купить ему бутылку водки, сунув ему 50 злотых. Алкоголь, конечно, стоил втрое дешевле, но таков был метод Оскара. Позже днем, когда Клоновска переговорила с Ингрид, появился пакет с туалетными принадлежностями, книгами и пижамой. Ему доставили великолепный обед с полубутылкой венгерского вина и пока никто не беспокоил его и не являлся с вопросами. Он предположил, что бухгалтер все еще корпит над бумагами с фабрики. Он бы с удовольствием обзавелся радио, чтобы послушать сводку новостей Би-Би-Си из России, с Дальнего востока и о новом участнике войны Соединенных Штатах; у него появилось ощущение, что, если он попросит, его тюремщики доставят и радиоприемник. Ему оставалось только надеяться, что гестапо не явится в его квартиру на Страшевского, где им бросится в глаза мебель и драгоценности Ингрид. Но засыпая, он уже был в том состоянии, когда хочется скорее предстать перед следователем.

Утром ему принесли сытный завтрак – сельдь, яйца, булочки, кофе – но его по-прежнему никто не беспокоил. Наконец навестить его явился эсэсовский бухгалтер средних лет, держа подмышкой кассовую книгу и грощбух.

Бухгалтер пожелал ему доброго утра, выразив надежду, что он провел приятную ночь. За прошедшее время удалось лишь бегло просмотреть документы герра Шиндлера, но было решено, что человек, которого так высоко оценивают лица, вносящие столь солидный вклад в военные усилия, в данный момент не нуждается в особом внимании. К нам, сказал эсэсовец, кое-кто позво-

нил... Благодаря посетителя, Оскар заверил его, что не сомневался в быстрейшем разрешении недоразумения. Приняв обратно в свое распоряжение бухгалтерские книги, он получил все деньги до последнего пфеннига у стойки в приемной.

Внизу уже ждала его сияющая Клоновска. Ее старания установить нужные связи принесли результат, и Шиндлер, целый и здоровый, вышел из этого мрачного здания в своем элегантном двубортном пиджаке. Его уже ждал «Адлер», который был пропущен за ворота. На заднем сиденье расположился забавный пуделек Клоновской.

Глава 12

Во второй половине дня в обителище Дрезнеров, расположившихся в восточной части гетто, появился ребенок. Девочку привезла в Краков супружеская чета из села, поляки, которые опекали ее. Им удалось уговорить польскую полицию у ворот гетто пропустить их. А ребенок прошел как их собственный.

Они были порядочными людьми, и им было очень стыдно из-за необходимости везти девочку обратно в Краков и оставлять ее в гетто. Она была обаятельным малышом, и они привязались к ней. Но как бы там ни было, держать еврейского ребенка на селе было невозможно. Муниципальные власти – не говоря уже об СС – предлагали до 500 злотых и больше, за каждого выданного еврея. Такие вот у них были соседи. Доверять им было нельзя. И не только ребенок попадет в беду, а и все мы. Господи, да есть места, где крестьяне охотятся за евреями с косами и серпами.

На девочку, казалось, не произвели впечатления грязь и убожество гетто. Она сидела за столиком в окружении мокрого белья и увлеченно ела кусок хлеба, который ей дала миссис Дрезнер. Она спокойно принимала ласковые слова, с которыми обращались к ней женщины на кухне. Миссис Дрезнер заметила, как странно настораживалась девочка при ответах на задаваемые ей вопросы. Как и все трехлетние дети она предпочитала яркие цвета. Красный. Она сидела в красной шапочке, красном пальтишке, маленьких красных ботиночках. Крестьяне, чувствовалось, обихаживали ее.

В ходе разговора миссис Дрезнер попыталась что-то выяснить о настоящих родителях девочки. Они тоже жили – точнее, скрывались – где-то в сельской местности. Но, сказала миссис Дрезнер, скоро им придется возвратиться и присоединиться к прочим обитателям краковского гетто. Малышка кивнула, но похоже, молчала она не только из-за застенчивости.

В январе ее родители попали в облаву, причиной которой стали списки, доставленные в СС Спирой, но пока среди толп веселящихся поляков, выкрикивающих: «Пока, пока, евреи!» – их гнали на станцию Прокочим, им удалось выскользнуть из колонны и пересечь улицу, изображая двух добропорядочных польских граждан, вышедших посмотреть на депортацию врагов общества; затерявшись в ликующей массе, им удалось добраться до пригорода; а оттуда – в село.

Теперь им тоже стало ясно, что такая жизнь далеко не безопасна, и летом они решили вернуться в Краков, как-то проникнув в него. Мать «Красной шапочки», как мальчишки Дрезнеров, вернувшись с работы домой из города, сразу же окрестили ее, была двоюродной сестрой миссис Дрезнер.

Вскоре дочь миссис Дрезнер, молодая Данка, тоже вернулась из прачечной авиационной базы Люфтваффе. Данке уже минуло четырнадцать лет и она была достаточно взрослой, чтобы получить *Kennkarte* (рабочую карточку), дающую право на труд вне пределов гетто. Она с радостью стала возиться с молчаливым ребенком.

– Геня, а я знаю твою маму Эву. Мы с ней вместе ходили покупать одежду и она угостила меня пирожными в кафе на Брацкой.

Девочка продолжала сидеть на месте, без улыбки глядя прямо перед собой.

– Мадам, вы ошибаетесь. Мою мать зовут не Ева. Она Яся. – Она продолжала называть имена своих выдуманных польских родственников, чему научили ее родители и крестьяне на тот случай, если ее будет спрашивать синемундирная польская полиция или СС. Члены семьи мрачно посмотрели друг на друга, застигнутые врасплох этой необычной для ребенка хитростью, но, даже сочтя ее неприличной, не стали опровергать ее, ибо понимали, что еще до конца недели она может стать существенным условием спасения.

К обеду появился дядя Идек Шиндель, молодой врач больницы гетто на Вегерской. Он казался веселым и раскованным человеком того типа, в которых дети безоглядно влюбляются. При

виде его Геня сразу же опять стала ребенком и, прыгнув со стула, кинулась к нему. Если он, оказавшись здесь, называет этих людей родственниками, значит, они в самом деле родственники. Теперь можно признать, что твою маму зовут Эва, а дедушку и бабушку на самом деле зовут вовсе не Людвиг и Софья.

Когда домой явился и господин Иуда Дрезнер, заведующий отделом снабжения на фабрике Боша, вся семья оказалась в сборе.

* * *

28-е апреля был день рождения Шиндлера, и празднование его в 1942-м году вылилось в истинное весеннее шумное веселье, чему он радовался как ребенок. Вся фабрика отмечала этот большой день. Не считаясь с расходами, герр директор доставил такое редкое лакомство, как белый хлеб, который подавали к обеденному супу. Оскар Шиндлер, промышленник, умел со вкусом радоваться жизни.

На «Эмалии» рано стали отмечать его тридцать четвертую годовщину. Шиндлер сам дал знак тому, появившись в своей приемной с тремя бутылками коньяка подмышкой, которые и распил с инженерным составом, счетными работниками и чертежниками. Служащие отдела личного состава и расчетов получили полные горсти сигарет, а к середине утра стихия подношений охватила уже всю фабрику. Из кондитерской был доставлен торт, и Оскар лично разрезал его на столе Клоновской. В конторе с поздравлениями стали появляться делегации польских и еврейских рабочих, и он от души расцеловал молодую девушку Кухарскую, чей отец до войны был членом польского парламента. Затем появились еврейские девушки, он пожимал всем руки; каким-то образом объявился Штерн, прибывший с «Прогресса», где он сейчас работал; вежливо пожав руку Оскара, он оказался в его медвежьих объятиях, от которых у него чуть не хрустнули ребра.

Этим же днем кто-то, скорее всего, тот же недавний злопыхатель, связался с Поморской и обвинил Шиндлера в нарушении законов межрасового общения. Его гроссбухи могли выдержать любую проверку, но никто не мог отрицать, что он «целуется с евреями».

На этот раз его арест носил более профессиональный характер, чем предыдущий. Утром 29-го числа черный «Мерседес» перекрыл въезд на фабрику, и двое гестаповцев, чьи действия отличались куда большей уверенностью, чем у их предшественников, встретили его на фабричном дворе. Он обвиняется, сообщили они ему, в нарушении положений Акта о расах и поселении. Они хотели бы, чтобы он отправился с ними. Необходимости предварительно зайти в свою контору не существует.

– У вас есть ордер на арест? – спросил он.

– Мы в нем не нуждаемся, – ответили ему.

Он улыбнулся им. Господа должны понимать, что если они решат забрать его, не имея на руках ордера, им придется серьезно пожалеть об этом.

Он произнес эти слова легко и небрежно, но по их поведению он видел, что уровень исходящей от них угрозы куда серьезнее и не имеет ничего общего с полукомическим задержанием в прошлом году. Тогда разговор на Поморской касался чисто экономических материй и незначительных нарушений правил. На этот раз он столкнулся с какими-то несообразными законами, которое могли родиться только в предельно тупых головах, указы писались затемненной частью мозга. Но дело было серьезно.

– Значит, будем рисковать, – сказал ему один из них.

До него дошла их уверенность, их зловещее равнодушие к нему, человеку облеченному доверием, которому только что минуло тридцать четыре года.

– Таким весенним утром, – сказал он им, – я могу потратить пару часов и на поездку.

Он успокаивал себя мыслью, что опять очутится в том же помещении на Поморской. Но когда они повернули направо на Колейову, он понял, что на этот раз его ждет тюрьма Монтелюпич.

– Я хотел бы переговорить с адвокатом, – сказал он им.

– В свое время, – ответил водитель.

Оскар как нельзя кстати вспомнил рассказ одного из своих собутыльников, что Ягеллонский анатомический институт получает трупы из этой тюрьмы.

Стена ее тянулась вдоль всего квартала, и с заднего сидения гестаповского «Мерседеса» он видел мрачно-унылый ряд одинаковых окон на третьем и четвертом этажах. Миновав въездные

ворота и проехав под аркой, они направились в помещение конторы, где эсэсовские чиновники говорили шепотом, словно, если поднять голос, он громовым эхом разнесется по узким коридорам. У него изъяли всю наличность, но сказали, что она будет выдаваться по 50 злотых в день во время его заключения. Нет, было сказано ему, еще не время приглашать адвоката.

Из приемной его под охраной повели по коридору, и в настороженной тишине до него доносились слабые отзвуки чьих-то криков, пробивающиеся даже из-за стен. Его провели вниз по лестничным маршам в узкий давящий туннель, мимо ряда закрытых камер; дверь одной из них представляла собой решетку. В ней сидело примерно полдюжины заключенных в рубашках с короткими рукавами и они повернулись к стене, чтобы нельзя было разглядеть их лица. Оскар заметил лишь у одного из них надорванное ухо. Кто-то чихнул, но знал, что вытирать нос ему лучше не стоит. «Клоновска, Клоновска, сидишь ли ты на телефоне, любовь моя?»

Ему открыли одну из камер и он вошел в нее. Он испытывал смутное беспокойство – не будет ли она слишком переполнена. Но в камере оказался только один заключенный, какой-то военный, который, накинув для тепла одеяло на плечи, сидел на одной из двух узких деревянных коек, на каждой из которых лежал плоский матрац. О ванне, конечно, тут не могло быть и речи. Стояли ведро с водой и ведро для оправки. У его соседа, как оказалось, штандартенфюрера Ваффен СС была легкая щетина на щеках, несвежая распахнутая рубашка под шинелью и заляпанные грязью сапоги.

– Добро пожаловать, – с кривой усмешкой сказал офицер, подавая Оскару руку. Он был довольно симпатичным парнем, на несколько лет старше Оскара. Не хватало только, чтобы он оказался подсаженным доносчиком. Но для чего тогда ему оставлять форму и сообщать, что он в столь высоком звании. Посмотрев на часы, Оскар сел, опять встал и подошел к высоко расположенному окну. В камеру падал свет с прогулочного дворика, но окно было не того вида, чтобы к нему можно было бы прислониться и, глядя на белый свет, забыть о тесноте камеры, в которой можно было сидеть, лишь касаясь коленями друг друга.

Наконец они стали разговаривать. Оскар был заметно насторожен, но штандартенфюрер болтал без умолку. Как его зовут? Он назвался Филиппом. Он не считал, что джентльмены в тюрьме должны представляться по фамилиям. Кроме того, настало время, когда у людей остались только имена. Если бы в свое время мы обращались друг к другу только по именам, мы были бы куда более счастливы.

Оскар пришел к выводу, что если этот человек не доносчик, то у него явное нервное расстройство, скорее всего из-за шока, который он испытал, оказавшись в камере. Он воевал в Южной России, а потом его батальон был переброшен под Новгород, где он и пребывал всю зиму. Затем он получил отпуск, в течение которого посетил одну польскую девушку в Кракове и, по его словам, они «забыли обо всем на свете в обществе друг друга»; его арестовали в ее квартире через три дня после окончания отпуска.

– И тут я решил, – рассказывал Филипп, – сделать вид, что, черт побери, перепутал даты, как только я увидел эти морды, – он ткнул пальцем в потолок, давая понять, что имеет в виду учреждение, куда они попали, всех этих эсэсовских бухгалтеров и бюрократов, – и стоило только убедиться, как они-то живут. Чтобы не выглядело, будто я, мол, добровольно решил не возвращаться из отпуска. Но, черт возьми, какое ко мне пришло ощущение свободы!..

Оскар спросил, не довелось ли ему бывать на Поморской. Нет, сказал Филипп, только здесь. Поморская смахивает, скорее, на гостиницу. У этих подонков там есть камеры смертников и набор блестящих хромированных инструментов для допросов. Но, кстати, что тут делает герр Оскар?

– Я поцеловал еврейскую девушку, – сказал Оскар. – Мою работницу. В чем меня и обвинили.

Филипп разразился хохотом.

– Ну и ну! Теперь-то у тебя на нее небось не стоит?

Весь день штандартенфюрер Филипп продолжал обвинять СС. Воры и развратники, говорил он. Поверить невозможно, какие деньги гребут некоторые из них. А изображают из себя этаких неподкупных. Да они могут убить бедного поляка, который попробовал стащить кило бекона, а сами живут как ганзейские бароны.

Оскар делал вид, что узнает это все впервые и мысль о продажности, царящей среди рейхсфюреров, больно ранит его, невинного судетского немца, провинциализм которого и заставил его, все забыв, поцеловать еврейскую девушку. Наконец Филипп, устав от яростного словоизвержения,

задремал.

Оскар захотелось выпить. Некоторое количество алкоголя позволит времени течь быстрее и даже смириться с компанией штандартенфюрера. Если он не доносчик, а жертва случайного стечения обстоятельств.

Оскар вынул десятизлотовую банкноту и написал на ней фамилию и номера телефонов; на этот раз их было куда больше – до дюжины. Вытащив еще четыре банкноты, он скомкал их в руке и подойдя к двери, постучал в глазок. Откликнулся рядовой охранник СС, и Оскар увидел в откинувшемся проеме кормушки серьезное лицо человека средних лет. Он не походил на садиста, который может забить бедного поляка до смерти ударами сапога по почкам, но это, конечно, и придавало ему особую опасность в ходе пыток, ибо трудно было ждать подвоха со стороны человека с чертами лица сельского труженика.

Может ли он попросить его принести пять бутылок водки, спросил Оскар. Пять бутылок? – переспросил эсэсовец. Должно быть, этот молодой плохо представляя себе, что значит такое количество. На лице охранника появилось такое выражение, словно бы он раздумывал, не стоит ли сообщить о просьбе Оскара своему начальству. Мы с генералом, сообщил ему Оскар, уговорим на двоих одну бутылку для оживления разговора. А вы и ваши коллеги, вкупе с моей благодарностью, можете воспользоваться остальными. Кроме того, я предполагаю, сказал Оскар, что человек, обладающий такой властью, как вы, может себе позволить сделать несколько обычных телефонных звонков, чтобы помочь заключенному. Номера телефонов вы найдете вот здесь... да, на купюре. Вы не должны сами звонить по всем. Но передайте их моей секретарше, хорошо? Да, ее фамилия первая в списке.

– Это очень влиятельные люди, – пробормотал эсэсовец.

– Ты полный идиот, – сказал Филипп Оскару. – Тебя расстреляют за попытку подкупить охрану.

Оскар обмяк, представив себе такую возможность.

– Это столь же глупо, как целоваться с еврейкой, – добавил Филипп.

– Посмотрим, – сказал Оскар. Но он был напуган.

Наконец эсэсовец вернулся, и вместе с двумя бутылками, просунул в камеру сверток, в котором была чистая рубашка и белье, несколько книг и еще бутылка вина – все это собрала Ингрид в квартире на Страшевского и доставила к воротам тюрьмы. И Филипп с Оскаром провели неплохой вечерок в компании друг друга, хотя один раз охранник грохнул в металлическую дверь и потребовал, чтобы они перестали орать песни. И хотя алкоголь раздвинул темные стенки камеры и придал убедительность яростным излияниям штандартенфюрера, до слуха Оскара доносились отдаленные крики откуда-то сверху и сухой шелест морзянки, которую пуговицей отбивал по стене какой-то отчаявшийся узник в соседней камере. Только один раз, несмотря на оживление, которое им дала водка, перед ними предстала подлинная сущность того места, в котором они находились. Когда, шлепнувшись на свою койку, Филипп сдвинул в сторону соломенный тюфяк, из-под него показалось несколько слов красными чернилами. Ему потребовалось пара минут, пока он разобрался в них – польским он владел куда хуже Оскара.

– «Господи, как они бьют меня!» – перевел он. – Ну и в прекрасный же мир мы попали, друг мой Оскар! Не так ли?

Утром Шиндлер проснулся с ясной головой. Похмелье никогда не мучило его, и он искренне удивлялся, почему некоторые люди так проклинаят это состояние. Но Филипп был бледен и мрачен. Утром его увели и он вернулся, лишь чтобы собрать свои вещи. Днем ему предстояло предстать перед военно-полевым судом, но он предполагал, что его не расстреляют за дезертирство, а направят на курсы переподготовки в Штутгоф.

Складывая валявшуюся на койке шинель, он объяснял Оскару, как следует флиртовать с польками. Оставшись в одиночестве, Оскар убил день за чтением Карла Мая, которого ему прислала Ингрид, и беседа со своим адвокатом, судетским немцем, два года назад открывшему свою контору в Кракове. После общения с ним Оскар успокоился. Причина его ареста была именно такова, как ему и сообщили; они не будут использовать его оплошность в межрасовых отношениях как предлог задерживать его, пока не разберутся во всех его делах.

– Но скорее всего, вам придется предстать перед судом СС и вас спросят, почему вы не в армии?

– Причина более чем очевидна, – сказал Оскар. – Я выпускаю важную военную продукцию.

Вы можете обратиться к генералу Шиндлеру и он подтвердит мои слова.

Теперь Оскар стал читать, неторопливо смакуя каждую страницу Карла Мая – этот мир охотников и индейцев в прериях Америки, где царили законы благородства. Во всяком случае, он не будет торопиться с чтением. Может пройти не меньше недели, прежде чем он предстанет перед судом. Адвокат предполагал, что ему придется выслушать речь председателя суда о поведении, недостойном представителя германской расы, чем все и кончится. Быть посему. Из суда он выйдет куда более осторожным человеком.

На пятое утро, когда он выпил пол-литра черного эрзац-кофе, что подавали к завтраку, за ним зашли фельдфебель и два надзирателя. Мимо молчаливых дверей камер его провели наверх в один из кабинетов. Здесь его встретил человек, с которым он неоднократно общался на вечеринках с коктейлями, оберштурмбанфюрер Рольф Чурда, глава краковского отделения СД. В своем отлично сшитом костюме Чурда походил на преуспевающего бизнесмена.

– Оскар, Оскар, – укоризненно сказал Чурда старому приятелю. – Эти еврейские девчонки обходятся в пять марок в день. Ты должен целовать нас, а не их.

Оскар объяснил, что был день его рождения. Он был в возбужденном состоянии. В конце концов, он выпил.

Чурда покачал головой.

– Вот уж не представлял, что ты такая влиятельная личность, Оскар, – сказал он. – Нам звонили даже из Бреслау, наши друзья из абвера. Конечно, было бы смешно отстранять тебя от работы лишь потому, что ты позволил себе приударить за какой-то евреечкой.

– Вы более, чем правы, герр оберштурмфюрер, – сказал Оскар, чувствуя, что Чурду придется как-то вознаградить за его старания. – Если я могу как-то ответить на вашу любезность...

– В общем-то, – сказал Чурда, – у меня есть некая старая тетушка, чью квартиру полностью разбомбило.

Еще одна старая тетушка. Шиндлер сочувственно поцокал языком и сказал, что представителя уважаемого Чурды в любое время будут ждать на Липовой, где он сможет подобрать себе любой комплект продукции. Но таким людям, как Чурда, не стоит давать понять, что за свое освобождение он теперь у него в неоплатном долгу – пусть даже недавний счастливый узник может предложить ему лишь набор кухонной посуды. Когда Чурда сказал, что ему надо идти, Оскар опечалился.

– Я не могу вот так просто взять и вызвать свою машину, герр оберштурмбанфюрер. Кроме того, мой лимит горячего ограничен.

Чурда спросил, не предполагает ли герр Шиндлер, что СД доставит его домой.

Оскар пожал плечами. Он действительно живет в дальнем конце города, сказал он. Добираться пешком невыносимо долго.

Чурда засмеялся.

– Оскар, один из моих шоферов отвезет вас.

Но когда лимузин с включенным двигателем уже ждал их у подножья лестницы и Шиндлер увидел ряд слепых окон у себя над головой, за которыми простирался другой мир, – мир пыток и убогого существования в камерах для тех, у кого не было кастрюль и сковородок для обменной торговли, – Рольф Чурда придержал его за локоть.

– Шутки в сторону, Оскар, дорогой мой друг. Вы будете сущим идиотом, если позволите себе по-настоящему увлечься какой-нибудь еврейской юбкой. У них нет будущего, Оскар. И завещаю вас, это не старомодные антисемитские высказывания. Это политика.

Глава 13

Даже в это лето люди, обитавшие в пределах этих стен, продолжали лелеять мысль, что гетто – это их пусть и небольшое, но стабильное царство. В 1941 году в это легко было поверить. В пределах гетто существовало почтовое отделение, где на отправления ставили штамп гетто. Выходила даже своя газета, хотя в ней не публиковалось почти ничего, кроме указов и распоряжений из Вавельского замка и с Поморской. На Львовской улице разрешили открыть ресторан и там появилось заведение Ферстера, где братья Рознеры, избежав опасностей, подстерегавших их в сельской местности и непостоянных симпатий крестьян, играли на скрипке и аккордеоне. Казалось, что на какое-то время восстановилась учеба в нормальных школьных классах, что оркестр будет регулярно

собираться и репетировать, что на всех улицах будет кипеть еврейская жизнь и что ремесленники, художники и ученые будут общаться между собой. Эсэсовские бюрократы с Поморской еще не дали понять, что представление о такого рода гетто будет воспринято не просто как издевательство, но и как оскорбление в адрес продуманного хода истории.

Так что, когда унтерштурмфюрер, пригласив председателя юденрата Артура Розенцвейга на Поморскую, лупил его рукояткой хлыста, он пытался вытравить из этого человека бредовые видения гетто как места постоянного пребывания его соплеменников. Гетто – всего лишь вокзал, запасная ветка, обнесенная стеной автобусная станция. И любая точка зрения, которая противоречит этой, в 1942 году не имеет права на существование и должна быть устранена.

Так что нынешняя жизнь гетто не имела ничего общего с той, которую столь отчетливо помнили старики. Музицирование профессией тут не считалось. Здесь вообще не было никаких профессий. Генри Рознеру пришлось отправиться работать в столовую на базе люфтваффе. Здесь он встретился с молодым немцем, шеф-поваром Рихардом, который не скрывал своего насмешливого отношения ко всему происходящему и попытался скрыться от истории двадцатого столетия среди бокалов, шейкеров и прочих принадлежностей для бара. Он настолько сошелся с Генри Рознером, что нередко посылал скрипача через весь город получать зарплату обслуживающего персонала базы.

– Немцам нельзя доверять, – говаривал Рихард, – в конце концов кто-то из них обязательно удерет в Венгрию со всеми деньгами.

Рихард, как и любой бармен, прижившийся на своем месте и пользующийся симпатией клиентов, много чего слышал. В первый день июня он явился в гетто со своей подружкой-фольксдойче в развевающейся пелерине – под которой, как заметили еврейские кумушки, было не так уж много одежды. В силу своей профессии, Рихард знал многих полицейских, в том числе и вахмистра Освальда Боско, и без больших трудов получил доступ в гетто, хотя с официальной точки зрения он должен был держаться от него подальше. Миновав ворота, Рихард пересек площадь в поисках Генри Рознера. Тот удивился, увидев его, ибо расстался с Рихардом всего несколько часов тому назад, но он явился к нему со своей девушкой, оба одетые как для визита. Удивление Генри усилилось в связи с последними событиями. В прошедшие два дня обитателям гетто пришлось стоять в длинной очереди у старого здания Польского Сберегательного Банка на Йозефинской улице для получения новых удостоверений личности. На вашей желтой «кенкарте» с фотокарточкой цвета сепии и большой синей буквой J,² немецкий клерк теперь ставил – если вам повезло – синий штамп. И можно было видеть, как из здания банка выскакивали люди, размахивая своими удостоверениями с *Blauschein*, подтверждавшими их право дышать, поскольку они еще имеют ценность. Рабочие из столовой люфтваффе, из гаража вермахта, с фабрики Мадритча, из «Эмалии» Шиндлера, с завода «Прогресс» без труда обретали синий штамп. Но те, кому было отказано в его получении, чувствовали, что их гражданство даже в гетто под вопросом.

Рихард сказал, что юный Олек Рознер должен пойти с его подружкой и остаться в ее квартире. Допустим, он кое-что услышал в баре. Он не может просто так взять и выйти через ворота, возразил Генри. На посту стоит Боско, объяснил Рихард.

Генри и его жена, помявшись, решили посоветоваться с другими членами семьи, пока девушка в пелерине обещала Олеку закормить его шоколадом.

– *Aktion?* – шепотом спросил Генри. – Ожидается *Aktion!*

Рихард ответил ему вопросом на вопрос.

– Ты получил свою синюю печать? – спросил он.

– Конечно, – сказал Генри.

– И жена?

– Жена тоже.

– А вот Олек нет, – сказал Рихард. И в сгущающихся сумерках Олек Рознер, ребенок, которому только исполнилось шесть лет, вышел из гетто, скрываясь под накидкой подружки Рихарда. И приди в голову какому-нибудь полицейскому приподнять ее полу, и Рихард, и его девушка были бы пристрелены на месте, несмотря на все их отговорки. От Олека бы тоже не осталось и следа. Сидящим в углу своей комнаты Рознерам оставалось лишь надеяться, что они правильно поступи-

² Jude – еврей.

ли, расставшись с ребенком.

Польдек Пфефферберг, посыльный Оскара Шиндлера, в начале года получил приказание заняться обучением детей Симхи Спиры, вознесшегося стекольщика, шефа еврейской службы порядка.

Распоряжение это носило унижительный характер, потому что Спира бросил:

– Да, мы знаем, что ты не годишься для настоящей мужской работы, но в конце концов, хоть какой-то толк с тебя будет, если ты чему-нибудь научишь моих детей.

Пфефферберг веселил Шиндлера, рассказывая ему истории, как проходит процесс учебы в доме Симхи. Шеф полиции был одним из немногих евреев, в распоряжении которого была целая квартира. Здесь, среди блеклых портретов раввинов девятнадцатого столетия, Симха мерил шагами комнату, слушая слова Пфефферберга и, очевидно, предполагая увидеть, как семена знаний тут же дают побеги, тянущиеся из ушей его детей. Напыщенный, он ходил, скрестив руки на груди, будучи уверенным, что подражание манере поведения Наполеона является общим качеством всех влиятельных личностей.

Жена Симхи была тихой женщиной, несколько смущенной властью, неожиданно свалившейся на его мужа, тем более, что старые друзья стали избегать их дом. Дети, мальчик лет двенадцати и девочка четырнадцати, были послушны, но особыми способностями не отличались.

Во всяком случае, явившись к Сберегательному Банку, Пфефферберг был уверен, что без всяких хлопот получит *Blauschein*. Он не сомневался, что работа по обучению детей Спиры будет зачтена ему в актив. Его желтое удостоверение сообщало, что он «профессор высшей школы» и хотя это далеко не в полной мере отвечало положению дел, служило почетным ярлыком.

Чиновники же отказали ему в праве на печать. Заспорив с ними, он дал понять, что может обратиться к Шиндлеру или герру Шепесси, чиновнику из Австрии, который руководил немецким отделом труда, что располагался дальше по улице. Оскар вот уже год просит перейти к нему на «Эмалию», но Пфефферберг всегда считал, что полный рабочий день будет мешать его незаконной деятельности.

Выйдя из здания банка, он увидел, как сотрудники немецкой тайной полиции, польские синемундирники и политический отдел ОД орудуют на тротуаре, рассматривая все удостоверения и арестовывая тех, у кого нет штампа. Часть отбракованных мужчин и женщин уже стояли в шеренге тех посреди Йозефинской. Приосанившись, как его учили в польской армии, он стал объяснять полицейскому, что, конечно же, у него есть куча специальностей. Но шущман, к которому он обратился, покачал головой со словами:

– Со мной можешь не спорить. Если нет синей печати – вон в ту очередь. Понял, еврей?

Пфеффербергу пришлось присоединиться к ней. Мила, его изящная хорошенькая жена, которая вышла за него замуж восемнадцать месяцев назад, работала у Мадритча и уже получила свою синюю печать. Вот так обстояли дела.

Когда вокруг скопилось больше ста человек, их погнали за угол, мимо больницы, во двор старой кондитерской фабрики «Оптима». Здесь уже ждали своей участи несколько сот человек. Те, которые прибыли пораньше, заняли тенистые места под навесами конюшни, пока лошади «Оптимы» развозили заказчикам конфеты и ликер в шоколаде. Согнанные во дворе вели себя тихо и не шумели. Здесь были и такие уважаемые люди, как банкир Холцер, фармацевты и зубные врачи. Они стояли кучками, тихо разговаривая между собой. Молодой аптекарь Бахнер стоял, беседуя с пожилыми супругами Вол. Тут вообще было много пожилых. Старые и бедные зависели от рациона, выдаваемого юденратом. Но этим летом юденрат, распределявший и пищу, и места, не мог быть столь же беспристрастен и справедлив, как раньше.

Медсестры из больницы гетто ходили среди задержанных с ведрами воды, которая, как было сказано, должна была помочь самым растерянным и подавленным. Во всяком случае, это было единственное лекарство (кроме приобретенного на черном рынке цианистого калия), которое могла предложить больница. Старые обездоленные люди, прибывшие сюда из *Shtelts* пили воду в напряженном молчании.

Ближе к концу дня полицейские из всех формирований появились во дворе со списками, организуя людей в шеренги, которым предстояло у ворот поступить под попечительство СС и двигаться дальше на железнодорожную станцию Прокочим. Кое у кого это требование вызвало желание забиться в дальний угол двора. Но Пфефферберг в привычной для себя манере болтался у ворот в поисках какого-то чиновника, к которому мог бы обратиться. Может, где-то тут носится

Спира в своем опереточном одеянии, который согласится – вволю поиздевавшись над ним – освободить его. На деле же рядом с охранником у ворот стоял грустный юноша в форменной фуражке еврейской службы порядка, изучая список, который держал за угол тонкими нежными пальцами. Пфефферберг не только служил с ним вместе то короткое время, что числился в ОД, но в первый год своей карьеры преподавателя в школе Костюшко, учил в Подгоже его сестру.

Парнишка посмотрел на него.

– Пан Пфефферберг, – пробормотал он, еще с давних дней испытывая к нему уважение. И, словно бы двор был забит прокаженными преступниками, он спросил, что пан Пфефферберг тут делает.

– Сушая ерунда, – сказал Пфефферберг, – но я еще не успел получить свою *Blauschein*.

Мальчишка покачал головой.

– Идите за мной, – сказал он.

Он подвел Пфефферберга к старшему шуцману у ворот и отдал честь. Он отнюдь не походил на героя в своей идиотской фуражке и с тощей незащитной шеей, высывавшейся из воротника. Лишь позже Пфефферберг сообразил, что этот его внешний вид вызывал к нему больше доверия.

– Это герр Пфефферберг из юденрата, – соврал он странным сочетанием властности и уважения. – Он пришел навестить кое-кого из родственников. – Шуцман, чувствовалось, был уже предельно утомлен обилием обязанностей, свалившихся на него в этом забитом людьми дворе. Он небрежно вытолкнул Пфефферберга за ворота. У него больше не было времени ни поблагодарить мальчишку, ни задуматься над тайной, почему этот обладатель тощей шеи был готов соврать ради тебя, подвергаясь угрозе неминуемой смерти лишь потому, что ты учил его сестру римским спряжениям.

Пфефферберг помчался сразу в отдел труда, втиснувшись в очередь ждущих приема. За конторкой сидели фройляйн Скода и фройляйн Кносалла, две добродушные девушки из судетских немок. – *Liebhen, Liebhen*, – обратился он к Скоде, – меня хотят забрать, потому, что у меня нет печати. Но вы посмотрите на меня! (Он был сложен, как бык, играл в хоккей и был членом сборной Польши по лыжам.) – Разве я не похож на того, кого бы вы хотели видеть рядом с собой?

Несмотря на толпы людей, весь день не дававших ей перевести дыхание, Скода приподняла брови, с трудом удерживаясь от улыбки. Она взяла его кенкарту.

– Ничем не могу помочь вам, герр Пфефферберг, – сказала она. – Если вам ее не дали, то и я не в силах. Жаль...

– Но вы можете поставить мне печать, *Liebchen*, – продолжал он громким уверенным голосом профессионального обольстителя из мыльной оперы. – У меня есть профессии, *Liebchen*, и я много что умею делать.

Скода сказала, что помочь ему может только герр Шепесси, но провести Пфефферберга к нему не представляется возможным. Потребуется несколько дней прежде чем придет его черед.

– Но вы можете впустить меня к нему, *Liebchen*, – продолжал настаивать Пфефферберг. Что она и сделала. Именно на этом и основывалась ее репутация доброй порядочной девушки, что она могла пренебречь политическими требованиями и даже в такой напряженный день выделить из массы отдельное лицо. Хотя старик с бородавками вряд ли мог уговорить ее.

Герр Шепесси, у которого тоже была репутация достаточно гуманного человека, хотя он служил чудовищной машине, бегло взглянув на удостоверение Пфефферберга, пробормотал:

– Но нам не нужны учителя физкультуры.

Пфефферберг неизменно отказывался от предложений Оскара пойти к нему работать, потому что видел себя лишь в роли вольного охотника, индивидуала. Он не хотел тянуть длинные смены за нищенскую зарплату в грязном запущенном Заблоче. Но он не мог не видеть, что эра личностей подходит к концу. Чтобы выжить, человек должен обладать профессией и где-то трудиться.

– Я фрезеровщик, – объяснил он Шепесси. Действительно, какое-то короткое время он трудился у своего дяди, у которого был маленький металлообрабатывающий заводик в Ревавке.

Герр Шепесси смерил Пфефферберга взглядом поверх очков.

– Ну, что ж, – сказал он. – Вот это профессия.

Взяв ручку, он аккуратно вычеркнул «Преподаватель высшей школы», положив конец образованию, полученному в Ягеллонском университете, которым Пфефферберг так гордился, и написал сверху «Фрезеровщик». Взяв резиновую печать и подушечку с краской, он поставил синюю отметку.

– И теперь, – сказал он, возвращая документ Пфедфербергу, – при встрече с полицией вы сможете сказать ей, что являетесь полезным членом общества.

В конце года Шепесси был отправлен в Аушвиц за то, что его можно было так легко уговорить.

Глава 14

Из разных источников – от полицейского Тоффеля до подвыпившего Боша, проворачивавшего операции с текстилем для СС – до Оскара Шиндлера доходили слухи, что подготовка «мероприятия в гетто» (что бы под этим ни подразумевалось) набирает обороты. По приказу руководства СС в Краков прибыло несколько испытанных закаленных зондеркоманд из Люблина, где исправно поработали, проводя расовую чистку. Тоффель намекнул, что если Оскар не хочет снизить выпуск продукции, ему имело бы смысл до первой субботы июня организовать спальные места для ночной смены.

Так что Оскару пришлось устраивать ночлежку в кабинетах и на втором этаже цеха боеприпасов. Кое-кто из ночной смены были только рады оставаться тут на ночь. У других же были жены, дети, родители, которые ждали их в гетто. Кроме того, у них были *Blauschein*, спасительные синие штампы в кенкартах.

3-го июня Абрахам Банкер, управляющий Оскара, не появился на Липовой. Оскар был еще дома, пил кофе у себя на Сташевского, когда позвонила одна из его секретарш. Она видела, как Банкера гнали вместе с другими из гетто, прямоиком на станцию Прокочим. В группе вместе с ними были и другие рабочие «Эмалии»: Райх, Лейзер... не меньше дюжины.

Оскар тут же вызвал из гаража свою машину. Через реку и вдоль по Львовской он добрался до станции. Здесь он показал свой пропуск охраннику у ворот. Подъездные пути были забиты вереницами теплушек, сама станция была переполнена растерянными обитателями гетто; они стояли длинными рядами, в полном убеждении – и, может, они были правы – что в их положении лучше всего беспрекословно подчиняться приказам. В первый раз Оскар увидел, как людей загоняют в вагон для скота, и это зрелище произвело на него куда большее впечатление, чем все рассказы о нем, заставив, как вкопанного, остановиться на краю платформы. На глаза попался знакомый ювелир.

– Видели Банкера? – спросил Оскар.

– Он уже в одной из теплушек, – ответил ювелир.

– Куда они вас везут? – осведомился Оскар.

– Говорят, в какой-то трудовой лагерь. Под Люблином. Может, там будет не хуже, чем... – и человек махнул рукой в сторону Кракова.

Шиндлер вытащил из кармана пачку сигарет, нашел несколько бумажек по 10 злотых и сунул ювелиру, который поблагодарил его. На этот раз их выгнали из домов безо всего, сказав, что багаж им будет доставлен позже.

В конце прошлого года Шиндлеру довелось увидеть «Бюллетень финансово-строительного отдела СС» с приглашением на возведение крематория в каком-то лагере к юго-востоку от Люблина. В Бельзеце. Шиндлер присмотрелся к ювелиру. Шестьдесят три или шестьдесят четыре года. Заметна худоба; скорее всего, прошлой зимой перенес воспаление легких. В полосатом пиджаке, слишком теплом для сегодняшней погоды. В ясных глазах спокойное понимание того, что ждет их в конце пути. Даже летом 1942 года просто невозможно было себе представить, что этого человека ждут топки огромной кубической конструкции. Неужели они собираются травить заключенных смертоносными эпидемиями? Что это за метод?

Начав от локомотива, Шиндлер двинулся вдоль линии из более чем двадцати теплушек и, вглядываясь в лица, смотрящие на него из-за решеток окон, поднятых к самой крыше теплушек, выкликал Банкера по имени. Можно считать, что тому повезло: Оскар даже не задался вопросом, почему он называет имя Банкера; он не дал себе труд задуматься и понять, что Банкер представляет собой точно такую же человеческую ценность, как и все, ожидающие своей участи на путях. Экзистенциалист пришел бы в смятение от скопления людей на станции, от смешения голосов, выкликающих разные имена. Но Шиндлер не задавался философскими материями. Он искал того человека, который был ему нужен. Ему был нужен только человек по фамилии Банкер, и он продолжал звать его. Его перехватил обершарфюрер СС, специалист по железнодорожным перевоз-

кам из Люблина. Он потребовал от Шиндлера предъявить пропуск. Оскар увидел, что в левой руке тот держит пачку листов – огромный список имен.

Тут мои рабочие, объяснил Шиндлер. Исключительно важные для производства. И мой управляющий. Это какое-то идиотство. У меня контракты с Инспекцией по делам вооруженных сил, а вы тут изымаете у меня рабочих, необходимых для их выполнения.

Вы не можете забрать их, сказал молодой человек. Они в списке... Обершарфюрер СС из опыта знал, что всех, внесенных в список, ждет одна и та же судьба.

Оскар понизил голос до шепота, создав впечатление, что он достаточно влиятельный человек с хорошими связями, которому просто не хочется пускать в ход тяжелую артиллерию. Представляет ли герр обершарфюрер, сколько времени надо готовить специалиста, чтобы заменить тех, кто в списке? У меня на производстве есть цех по производству боеприпасов, который находится под специальным контролем генерала Шиндлера, моего однофамильца. И не только товарищи обершарфюрера на русском фронте почувствуют спад выпуска продукции, но и можно не сомневаться, что Инспекция по делам вооружений потребует представить тому исчерпывающее объяснение.

Молодой человек покачал головой – он тут проездом и всего лишь исполняет свои обязанности.

– Я уже и раньше слышал такие истории, – сказал он. Но он явно обеспокоился. От глаз Оскара не укрылось его состояние, и склонившись к нему, он заговорил мягко и убедительно, с легкой ноткой угрозы.

– Я не собираюсь спорить с вами относительно списка, – сказал он. – Где у вас тут старший?

Молодой человек кивком головы показал на офицера СС, хмурого человека лет тридцати, в очках.

– Могу ли я узнать вашу фамилию, герр унтерштурмфюрер? – спросил Оскар, держа наготове блокнот, вынутый из кармана пиджака.

Офицер тоже заверил его, что список является святым и непререкаемым указанием. Для этого человека он был единственным островком рациональности в мешанине кишящих вокруг евреев и с лязгом ползущих по путям теплушек. Но в голосе Оскара на этот раз была холодная жестокость. Он уже слышал о списке, сказал он. В данном случае его интересует лишь фамилия унтерштурмфюрера, о которой он и спрашивает. Он намерен обратиться непосредственно к оберфюреру Шернеру и генералу Шиндлеру из Инспектората.

– Шиндлеру? – переспросил офицер. В первый раз он внимательно посмотрел на Оскара. Внешний вид посетителя говорил, что тот достаточно уважаемая личность, на лацкане у него поблескивающий значок и генерал был членом его семьи.

– И не сомневаюсь, что могу гарантировать вам, герр унтерштурмфюрер, – с угрожающей вежливостью пробурчал Шиндлер, – еще до конца недели вы будете на русском фронте.

Под предводительством эсэсовского унтера Шиндлер и офицер бок о бок двинулись вдоль шеренг заключенных и рядов уже загруженных теплушек. Локомотив исходил паром, и машинист, дожидаясь сигнала к отправлению, высунулся из кабины, вглядываясь в лежащие перед ним пути. Офицер крикнул попавшемуся на платформе железнодорожнику, чтобы задержались с отправлением. Наконец они добрались до одной из последних теплушек. В ней находилась дюжина рабочих, среди которых оказался и Банкер; их погрузили всех вместе, словно они представляли цельную команду. Дверь откатали в сторону и они выпрыгнули наружу – Банкер и Франкель из конторы, Рейх, Лейзер и другие с производства. Они были сдержанны и молчаливы, стараясь, чтобы никто не заметил их счастья – путешествие им больше не грозит. Оставшиеся внутри весело загалдели, как бы радуясь, что на время пути им достанется больше места, пока офицер, подчеркнуто нажимая карандашом, одного за другим вычеркивал рабочих «Эмалии», а затем попросил Оскара расписаться в нижней части каждого из листов.

Когда Оскар, поблагодарив офицера, двинулся со своими рабочими на выход, тот попридержал его за рукав.

– Видите ли, – сказал эсэовец, – нам это безразлично и вы должны нас понимать. Нас не волнует, будет ли эта дюжина или другая.

Офицер, который встретил Оскара в мрачном настроении, теперь казался спокойным, словно бы наконец нашел смысл в этой ситуации. Вы считаете, что ваши тринадцать жестянщиков так важны? Так мы заменим их тринадцатью другими жестянщиками, и можете цацкаться со своими сантиментами.

– Небольшая неточность в списках, вот и все, – объяснил офицер.

Маленький толстенький Банкер признал, что вся их группа спустя рукава отнеслась к необходимости поставить *Blauschein* в помещении старого польского Сберегательного Банка. Шиндлер, внезапно всплыв, приказал немедленно получить их. Отрывистая грубоватость его слов объяснялась тревогой и испугом, которые он испытал при виде этих толп на станции; лишившись надежд получить синюю печать, люди ждали появления нового обманчивого символа их жизни – теплушек, в которых они, влекомые могучим локомотивом, исчезнут из поля зрения. Теперь, говорили им теплушки, вы все – не что иное, как рабочий скот.

Глава 15

По лицам своих рабочих Оскар мог догадаться о страданиях, которые они испытывают в гетто. Они жили в постоянном напряжении, не имея возможности ни уединиться, ни собраться в общем кругу отпраздновать семейное торжество. Многие искали убежища и какого-то успокоения в том, чтобы подозревать всех и вся – от людей в том же помещении до еврейских полицейских на улице. Но ныне даже самые здравомыслящие не знали, на кого можно положиться, кому довериться. «Каждый обитатель сего дома, – написал молодой литератор Иосиф Бау о пребывании в гетто – обладал своим собственным миром, полным тайн и загадок». Дети внезапно замолкали, заслышав скрип лестничных ступенек. Взрослые, пробуждаясь от ночных кошмаров, в которых являлись они себе обездоленными и изгнанными, обнаруживали себя наяву обездоленными и изгнанными в переполненных комнатах на Подгоже. Вереница ночных видений, преисполненных страхов, находила продолжение в страхах и ужасах дня. Зловещие слухи непрерывно преследовали их в домах, на улицах, на работе. Спира уже составил очередной список, который был вдвое или втрое длиннее предыдущего. Всех детей отправят в Тарнув, где их расстреляют, или в Штутгоф, где их утопят, или в Бреслау, где над ними проведут операцию промывки мозгов, с корнем вырвав всякие воспоминания о своем происхождении. У вас есть старики-родители? Всех старше пятидесяти лет отправят в Величку на соляные копи. Работать? Нет. Их загонят в отработанные штольни и замуруют там.

Все эти слухи, большая часть которых доходила и до Оскара, базировались на инстинктивном человеческом стремлении избежать зла, назвать его, остановить руку судьбы, дав понять, что вы знаете о ней. Но в этот июнь самые страшные видения и слухи стали обретать конкретные формы и самые непредставимые ужасы начали становиться действительностью.

К югу от гетто, за улицей Рекавка, высились холмистые парковые посадки. Они были полны тишины и уединения, подобно средневековым полотнам, особенно, когда с возвышенности предоставлялась возможность заглянуть за стенку гетто с южной стороны. Во время прогулки верхом по гребню холмов, одна за другой, как на карте, открывались улочки гетто и, минуя их, можно было рассматривать все, что происходило внизу.

Шиндлер пользовался этой возможностью, когда с наступлением весны совершал тут верховые прогулки в компании Ингрид. Потрясенный зрелищем железнодорожной станции, он решил развеяться в седле. На следующее утро после спасения Банкера, он взял лошадей из конюшни в Парке Беднарского. Для прогулки верхом было подобрано безупречное одеяние, для него и для Ингрид, – длинные облегающие амазонки, подшитые кожей верховые брюки и блестящие сапожки. Двое безукоризненных светловолосых *Sudeten* с высоты могли смотреть на растревоженный муравейник гетто.

Миновав лужайку, они коротким галопом пересекли открытую лужайку. Покачиваясь в седлах, всадники видели теперь всю Вегерскую как на ладони, на углу которой рядом с больницей стояли толпы людей, а группы эсэсовцев в сопровождении рычащих псов, врываются в дома, выгоняя на улицы обитавшие там семьи, которые, несмотря на жару, старались прихватить с собой теплые вещи, предчувствуя, что им нескоро придется вернуться к себе, если вообще придется. Натянув поводья, Оскар и Ингрид остановили коней под тенистыми кронами деревьев. Присмотревшись к открывшейся картине, они стали замечать логику действий. На пару с эсэсовцами трудились и еврейские полицейские, вооруженные дубинками. Некоторые из них проявляли неподдельный энтузиазм, ибо за несколько минут наблюдений с вершины холма, Оскар успел заметить трех упиравшихся женщин, которых они били дубинками по спине. В нем было вспыхнуло наивное возмущение: СС использует евреев, чтобы бить других евреев. Тем не менее, в течение

дня стало ясно, что кое-кто из службы порядка пускает в ход дубинки, надеясь спастись от худшей участи. Во всяком случае, служба порядка теперь должна была подчиняться новым правилам: если ты замешкаешься, выгоняя чью-то семью на улицу, такая же судьба постигнет твою собственную.

Шиндлер также заметил, что на Вегерской постоянно формируются две шеренги. Одна стояла неподвижно, а участников другой, по мере того, как их набиралось определенное количество, группами перегоняли за угол Жозефинской, где они и исчезали из виду. Нетрудно было понять, почему их собирают и куда уводят, ибо Шиндлер и Ингрид, стоя в окружении сосен, что росли над гетто, были на расстоянии всего двух или трех кварталов от того места, где разворачивалось Aktion.

После того, как семьи были выкинуты из квартир, их силой, не обращая внимания на просьбы и мольбы, разделяли и выстраивали в две линии. Совершеннолетние девушки, у которых все документы были в порядке, примыкали к стоящей неподвижно шеренге, откуда они перекрикивались со своими матерями, оказавшимися в другой линии. Рабочие ночных смен, мрачные и опухшие из-за прерванного сна, попадали в одну шеренгу, а их жены и дети – в другую. Посредине улицы какой-то молодой мужчина спорил с полицейским из службы порядка.

– Да плевать мне на *Blauschein!* – говорил он. Я хочу быть вместе с Эвой и ребенком.

Вмешался вооруженный эсэсовец. В беспорядочной массе *Ghettomenschen* это существо в свежей летней форме особенно выделялось своей сытой уверенностью. Даже с холма был заметен блеск смазки на автоматическом пистолете, что он держал в руках. Эсэсовец ударил еврея в ухо и громким хриплым голосом гаркнул на него. Шиндлер, хотя не разобрал ни слова, не сомневался, что нечто подобное он уже слышал на станции Прокочим. Для меня нет никакой разницы! Если хочешь быть со своей тощей еврейской шлюхой, отправляйся! Человек перебрался из одной группы в другую. Шиндлер увидел, как они с женой обнялись и пока все были заняты лицемерием этого свидетельства супружеской верности, другая женщина, не замеченная эсэсовцами зондеркоманды, скользнула за приоткрытую дверь соседнего дома.

Развернув лошадей, Оскар и Ингрид оказались на известняковой площадке, прямо под которой простиралась улица Кракуза. Присмотревшись, можно было убедиться, что на ее протяжении не царил такое смятение, как на Вегерской. Не столь длинную, как там, шеренгу женщин и детей вели к Пивной. Один охранник шагал впереди, а другой замыкал колонну. В группе этой была какая-то странная неупорядоченность: детей в ней было куда больше, чем могли родить несколько составлявших ее женщин. В самом хвосте семенил какой-то малыш – не разобрать, мальчик или девочка, в коротеньком красном пальтишке и шапочке. Сцена эта привлекла внимание Шиндлера и он решил посоветоваться с Ингрид. Конечно же, это девочка, сказала Ингрид. Девочки обожают цветные вещи, особенно такие яркие.

Пока они смотрели, оба обратили внимание, что эсэсовец в хвосте колонны время от времени протягивал руку, помогая подтягиваться ковылявшей малышке в красном. Делал он это не грубо, скорее, он вел себя как ее старший брат. Если бы даже офицер приказал ему проявить мягкость, дабы успокоить наблюдавших обывателей, он и то не мог бы вести себя лучше. Так что к двум всадникам, наблюдавшим за происходящим сверху из парка, на несколько секунд пришло какое-то иррациональное моральное успокоение. Исчезнувшую за углом колонну женщин и детей еще какое-то время догоняла малышка в красном, затем ее сменила команда эсэсовцев с собаками, двигавшаяся по северной стороне улицы.

Они врываются в убогие квартиры, пропитанные запахом пота; из окон второго этажа летели яростно выкидываемые чемоданы, содержимое которых разлеталось по мостовой. На камни ее, преследуемые собаками, выбегали мужчины, женщины и дети, которым, прячась в шкафах, в чуланах и на чердаках, удалось избежать первой волны обысков; полные ужаса, они с криками пытались увернуться от зубов доberman-пинчеров. Все носились сломя голову, то и дело скрываясь от глаз наблюдателей с площадки на холме. В тех, кто пытался скрыться, тут же стреляли, здесь прямо на тротуаре; из простреленных голов летели ошметки мозгов и потоки крови заливали обочины. Мать с сыном, лет восьми, или не больше десяти, скорчилась под окном, укрывая ребенка. Шиндлер чуть не задохнулся от невыносимого страха за них; у него кровь застыла в жилах от ужаса и он почувствовал такую слабость, что едва не сполз с седла. Глянув на Ингрид, он увидел, что у нее побелели пальцы, которыми она вцепилась в поводья. Он услышал, как, вскрикнув, она начала молиться рядом с ним.

Его взгляд скользнул по Кракузе в поисках малышки в красном. Все свершилось всего в по-

луквартале от нее, даже не дождавшись, пока колонна скроется из виду, свернув на Жозефинскую. Шиндлер сначала не мог понять, откуда тут взялись убийцы. Тем не менее, не подлежало сомнению, что они со всей истовостью исполняли свои обязанности. Когда девчушка в красном, догоняя колонну, остановилась и повернулась посмотреть, женщина получила пулю в шею, а когда мальчик, захлебываясь от слез, сполз по стенке, один из карателей придавил для надежности его голову к земле, чтобы не дергался, приставил ствол ему к затылку – как и предписывалось в СС – и выстрелил.

Оскар снова посмотрел на маленькую девочку в красном пальтишке. Повернувшись, она утавилась на сползающий сапог. Разрыв между ней и последним рядом колонны сразу же увеличился. И снова эсэсовский охранник отеческим жестом подтянул ее и легко подтолкнул в спину. Герр Шиндлер не мог понять, почему он так и не пустил в ход приклад винтовки, ибо на другом конце улицы никто о милосердии и не думал.

Наконец Шиндлер сполз с седла и, сделав несколько шагов, опустил на колени, обнимая ствол сосны. Он с трудом подавил желание избавиться от съеденного им прекрасного завтрака, ибо его бедное тело, как он догадывался, никак не могло осознать весь тот ужас, свидетелем которого он стал на Кракузе.

Они были полностью лишены стыда перед тем, что творили, эти мужчины, рожденные от женщины и писавшие письма своим домашним (о чем, интересно, в них шла речь?) – но это было еще не самое худшее из того, что предстало его глазам. Он знал и видел, что такие понятия как стыд им совершенно чужды, потому что охранник, замыкавший колонну, не испытывал ровно ни какой необходимости уберечь девочку в красном от лицемерия этих сцен. И хуже всего, такое поведение было им предписано свыше, имело официальную санкцию. И никто больше не мог найти спасения ни в размышления о высокой немецкой культуре, ни в убежденности, что приказы, отдаваемые вождями нации, облачают их неизвестностью, освобождают от необходимости покинуть свои ухоженные садики, оторваться от окон своих кабинетов и, выйдя из них, стать хотя бы свидетелями всего происходящего на мостовых. Сцены на Кракузе, представшие глазам Оскара, убедили его, что политика его правительства не может быть объяснена случайными временными ошибками и искажениями. Оскар не сомневался, что люди СС добросовестно выполняли приказы своего начальства, в противном случае их коллега, замыкавший колонну, не позволил бы девочке увидеть все это.

Позже, днем, приняв хорошую дозу бренди, Оскар стал яснее представлять себе положение дел. Существование таких очевидцев, как девочка в красном, допускалось лишь потому, что они не сомневались – все свидетели исчезнут без следа.

* * *

На углу Плаца Згоды³ стояла *Apotheke* Тадеуша Панкевича. Обстановка ее была выдержана в старом стиле, фарфоровые амфоры с написанными на них латынью названиями древних снадобий и несколько сотен изящных полированных ящичков давали обитателям Подгоже представление о сложности фармакопеи. Магистру Панкевичу было позволено остаться в своей квартире над аптекой – с разрешения властей и по просьбе врачей клиники гетто. Он был единственным поляком, которому было разрешено пребывание в стенах гетто. Это был тихий, спокойный человек сорока с лишним лет, и весь круг его интересов ограничивался сугубо интеллектуальными проблемами. Постоянными гостями Панкевича были польский импрессионист Абрам Нейман, композитор Мордка Гебиртиг, философствующий Лерн Стейнберг, ученый и мыслитель доктор Раппопорт – неизменно посещали дом Панкевича. Дом служил также связующим звеном, почтовым ящиком для информации и посланий, которыми обменивались Еврейская боевая организация (ЕБО) и Польская Народная Армия. Молодой Долек Лебескинд, а также Шимон и Густа Дрангеры, организаторы краковского отделения ЕБО, временами звонили сюда, но случалось это редко, от случая к случаю. Важно было не вовлекать Тадеуша в их дела, что – не в пример полицейским юденрата, сотрудничавшим с ними – вызывало у него яростные и недвусмысленные возражения.

В те первые дни июня площадь перед аптекой Панкевича превратилась в сортировочный

³ Площади Мира.

двор. «Место скорби» – так потом Панкевич неизменно называл эту площадь. Как бы люди ни старались забиться в середину, их в конце концов вытаскивали и, рассортировав по ранжиру, приказывали оставить багаж на месте: «Нет, нет, вам его потом пришлют!» У слепой стены вдоль западной площади тех, кто пытался сопротивляться или у кого находили в карманах поддельные арийские документы, расстреливали без всяких объяснений или оправданий перед людьми, сгрудившимися в центре. Оглушительный грохот выстрелов обрывал разговоры и клал конец надеждам. И все же, несмотря на стоны и плач родственников жертв, остальные – потрясенные или отчаянно занятые мыслью, как бы остаться в живых – казалось, не обращали особого внимания на горы трупов. Как только команда грузчиков из евреев погрузила мертвецов на подъехавшие грузовики, оставшиеся на площади сразу же завели разговоры о том, что их ждет в будущем. И Панкевич слышал слова, которые весь день раздавались из уст эсэсовцев: «Заверяю вас, мадам, что евреев отправят работать. Неужели вы считаете, что мы хотим вас уничтожить?» И на лицах женщин ясно читалось отчаянное желание верить в эти слова. А эсэсовцы, не занятые расстрелами у стены, прохаживались в толпе, советуя людям, как крепить ярлычки на чемоданы.

Стоя наверху, в парке Беднарского, Оскар Шиндлер не видел, что происходило на площади. Но и Панкевич, который находился рядом с ней, как и Шиндлер на вершине холма, никогда раньше не был свидетелем такой бесстрастной жестокости, наполнявшей его ужасом. Как и Оскар, он испытывал рвотные спазмы, в ушах его стоял гул, словно он получил удар по голове. Он был настолько потрясен смешением звуков и атмосферой дикой расправы, что так и не узнал – среди убитых на площади были его друзья: Гебиртиг, автор знаменитой песни «Горит наш городок, горит» и добрый мягкий художник Нейман. Задыхаясь, врачи спешили в аптеку, которая была в двух кварталах от больницы. Им были нужны бинты, побольше бинтов – они подбирали раненых прямо с улиц. Одному из врачей понадобилось рвотное. Ибо в толпе несколько десятков человек корчились в судорогах или были в бессознательном состоянии, проглотив цианид. Панкевич видел, как инженер, один из его знакомых, сунул капсулу в рот, когда жена отвернулась от него.

Молодой доктор Идек Шиндель, работавший в больнице гетто на углу Вегерской, услышал от женщины, которая, доставленная в больницу, билась в истерическом припадке, что забирают детей. Она сама видела, как малышей вели по Кракузе и среди них была Геня. Этим утром Шиндель оставил девочку на попечение соседей – он был ее опекуном в гетто; родители по-прежнему скрывались где-то в сельской местности, надеясь проскользнуть обратно в гетто, пребывание в котором до сегодняшнего дня несло в себе меньше опасности. Этим утром Геня, которая всегда вела себя как самостоятельная личность, вышла из дома вместе с женщиной, собиравшейся отвести ее туда, где она жила с дядей. Там ее и задержали. Именно ее, растерянную фигурку девочки без матери, спешащую за колонной по Кракузе, и заметил Оскар Шиндлер сверху из парка.

Сбросив халат и хирургическую маску, доктор Шиндель выскочил на площадь и сразу же увидел ее: сохраняя полное спокойствие в окружении охранников, она сидела на траве. Доктор Шиндель знал, насколько обманчиво ее показное спокойствие, потому что ему не раз приходилось отгонять от нее ночные кошмары.

Он двинулся по периметру площади, и она увидела его. «Не зови меня, – хотел сказать он ей. – Я сам все сделаю». Он не хотел привлекать к себе внимания, потому что это могло плохо кончиться для них обоих. Но у него исчезли основания для беспокойства, когда он увидел, как она молчаливо и отрешенно, с непонимающим видом смотрит на него. Он остановился, пораженный жалостью и восхищенный ее хитростью. В свои три года она прекрасно понимала, что не может себе позволить сразу же кинуться к дяде. Она понимала, что стоит только СС увидеть дядю Идека, спасения для них не будет.

Он попытался составить в уме небольшую речь, с которой собирался обратиться к рослому обершарфюреру, стоящему около стены экзекуций. Не стоит обращаться к кому-то ниже рангом, да и говорить надо без особой униженности. Посмотрев снова на ребенка, он увидел, как в глазах у нее мелькнула тень подозрительности, а затем, с удивительным для постороннего наблюдателя спокойствием, она прошла между двух стоящих рядом с ней эсэсовцев и оказалась вне пределов оцепления. Она двигалась с такой болезненной медлительностью, что даже потом, много времени спустя, закрывая глаза, он видел ее крохотную фигурку среди леса блестящих эсэсовских сапог. Никто на площади не обратил на нее внимания. Продолжая невозмутимо играть свою роль, она двинулась к углу, на котором стояла аптека Панкевича и завернув за него, скрылась из виду. Доктор Шиндель подавил желание заплотировать ей. Но хотя эта сцена заслуживала внимания ауди-

тории, она могла оказаться губительной для исполнительницы.

Он чувствовал, что не может кинуться прямо за ней, ибо это испортит весь ее замысел. Подавляя свои естественные порывы, он убеждал себя, что инстинкт, который вывел ее с площади невредимой, приведет ее в безопасное место. Он вернулся в больницу, приняв мучительно решение предоставить девочку на какое-то время самой себе.

Геня вернулась в ту спальню, выходящую на Кракузу, которую делила со своим дядей. Улица совершенно опустела, ибо те, кому удалось спрятаться в укрытиях или за ложными стенками, не давали знать о себе. Войдя в дом, она залезла под кровать. С угла улицы Идек, возвращавшийся домой, увидел эсэсовцев во время последнего обхода. Но Геня не отреагировала на грохот распахнувшейся двери. Она не ответила и ему, когда он вошел в дом. И только потому, что он знал, где искать ее в хаосе разоренной комнаты, он увидел ее красные башмачки под пологом кровати.

К тому времени Шиндлер уже ставил лошадь в стойло. Спустившись с холма, он лишил себя возможности увидеть маленький, но столь значительный триумф девочки в красном, Гени, которая смогла вернуться туда, где эсэсовцы в первый раз нашли ее. Оказавшись в своем кабинете на фабрике, Оскар наглухо закрыл за собой двери, ибо ему было невыносимо тяжело с кем-либо делиться новостями. И лишь много позже, в выражениях совершенно несвойственных для веселого и раскованного герра Шиндлера, любимца всех краковских вечеринок, самого большого мота в Заблоче, в словах, свидетельствовавших, что за его внешностью гуляки и бонвивана скрывается неподкупный судья, он дал понять, каким грузом легли на него события этого дня.

– После него, – сказал он, – ни один мыслящий человек не мог больше закрывать глаза на то, что происходит. И тогда я решил делать все, что в моих силах, дабы нанести поражение этой системе.

Глава 16

СС не покладая рук трудилось в гетто до субботнего вечера. Действовали эсэсовцы с той неумной эффективностью, свидетелем которой Оскар был во время экзекуции на улице Кракуза. Действия их трудно было предугадать, и те, кому удавалось спастись в пятницу, попадали им в руки в субботу. Геня осталась в живых благодаря лишь своей не по годам развитой способности хранить молчание и оставаться незамеченной в своем красном пальтишке.

У себя наверху, в Заблоче, вспоминая ее фигурку, Оскар не осмеливался поверить, что этот ребенок в красном пережил акцию. Из разговоров с Тоффелем и другими знакомыми из штаб-квартиры на Поморской он знал, что из гетто было вывезено семь тысяч человек. Чиновники из отдела по еврейским делам гестапо высоко оценили результаты чистки. Среди бумажных крыс на Поморской июньская акция оценивалась как триумфальная.

Информация такого рода теперь носила для Оскара более точный характер. Например, он знал, что общее руководство акцией осуществлял некий Вильгельм Хунде, а непосредственное – оберштурмфюрер СС Отто фон Маллотке. Оскар не вел специального досье, но он готовил себя к другому времени, когда он сможет дать полный отчет о происходящем – то ли Канарису, то ли всему миру. Это оказалось легче, чем он предполагал. Пользуясь каждой возможностью, он продолжал расспрашивать о событиях, которые в недавнем прошлом он оценивал как временное помешательство. Неопровержимые данные получал он и от контактов с полицией и от таких проницательных евреев, как Штерн. Со всех концов Польши в гетто просачивались разведывательные данные, часть которых, поступающая от партизан, проходила через аптеку Панкевича. Долек Либескинд, лидер группы сопротивления «Акива Халутц» тоже доставлял информацию из других гетто, являвшуюся результатом его официальных поездок с Еврейской Общинной Самопомощью, организации, которой немцы – поскольку она была под определенным покровительством Красно-го Креста – позволяли существовать.

Не было смысла сообщать эти известия юденрату. Его совет не считал своей гражданской обязанностью информировать обитателей гетто о существовании лагерей. Просто люди придут в крайнее расстройство, на улицах начнутся беспорядки, которые не останутся без наказания. Так что пусть уж лучше люди, как всегда, слушают бредовые рассказы, приходят к выводу, что они полны преувеличений, и возвращаются к надеждам. Так считало большинство членов совета, даже когда им руководил достойный Артур Розенцвейг. Но Розенцвейга больше не было. Коммивояжер Давид Гаттер, кандидатуру которого поддерживали немцы, вскоре стал председателем юденрата.

Пищевой рацион ныне распределялся не только чиновниками из СС, но также Гаттером и новыми советниками, чьим заместителем на улицах был Симха Спира в высоких сапогах. Юденрат тем более не был заинтересован сообщать жителям гетто об их возможной судьбе, потому что сами были уверены, что им-то эта дорога не угрожает.

Оскар начал получать ошеломляющие новости о гетто и о положении дел в нем, когда в Краков вернулся – через восемь дней после отправки теплушек со станции Прокочим – молодой фармацевт Бахнер. Никто не знал: ни как ему удалось проникнуть обратно в гетто, ни почему он вообще вернулся туда, откуда СС без труда пошлет его в очередное путешествие. Но Бахнера привела домой, без сомнения, необходимость рассказать все, что он знал.

Переходя из дома в дом по Львовской и по улочкам, окаймляющим площадь Мира, он рассказывал свою историю. Он видел, каким ужасом она завершилась, сказал он. В глазах у него стоял лихорадочный блеск и за время своего короткого отсутствия он поседел до корней волос. Всех краковчан, которых захватили в облаве в начале июня, отправили в сторону России, рассказал он, в лагерь Бельзец. Когда поезд наконец прибыл на станцию, людей стали выгонять из теплушек украинцы, вооруженные дубинками. Стояло ужасающее зловоние, но эсэсовцы любезно сообщили, что всем придется пройти обработку дезинфектантами. Людей выстроили в две шеренги перед огромным складским помещением, одна надпись на котором гласила «Раздевалка», а вторая – «Ценные вещи». Новоприбывших заставили раздеться, и в толпе ходил еврейский мальчик, таская за собой бечевку, к которой шнурками надо было привязывать обувь. Полагалось снять очки и кольца. В обнаженном виде всем заключенным побрили головы и эсэсовец-парикмахер объяснил, что волосы нужны подводному флоту. Со временем они снова отрастут, намекнул он, поддерживая миф, что в них будут испытывать нужду. Наконец жертв погнали по обнесенному колючей проволокой проходу к сооружениям, на крышах которых красовалась вырезанная из медного листа Звезда Давида и надпись «Душевая и дезинфекционная». Всю дорогу эсэсовцы объясняли им, что, оказавшись внутри, надо дышать глубоко и полной грудью, чего требуют правила дезинфекции. Бахнер увидел, как девочка уронила на землю браслет, который поднял трехлетний мальчик и, играя с ним, вошел в бункер.

Внутри же, рассказывал Бахнер, всех отравили газом. Затем внутрь вошла группа могильщиков, чтобы растащить пирамиды скрюченных трупов и выволочь их наружу для захоронения. Потребовалось два дня, чтобы уничтожить всех, кроме него. Дожидаясь своей очереди, он как-то проскользнул в уборную и, оставшись один, спрыгнул в выгребную яму. Он оставался в ней три дня, по шею в экскрементах. Лицо его было сплошь облеплено мухами, рассказывал он. Он и спал стоя, каждую секунду опасаясь упасть и утонуть. Наконец, ночью ему удалось выползти.

Как-то он добрался до Бельзца, ориентируясь по железнодорожному пути. Всем было понятно, что спасся он лишь потому, что действовал вне пределов здравого смысла. Подобным же образом ему удалось найти помощь, которую ему оказала какая-то женщина на селе, где он смог, помывшись и переодевшись в чистое, пуститься в обратное путешествие к исходному пункту.

Даже и теперь в Кракове были люди, которые сочли историю Бахнера опасными слухами. От заключенных в Аушвице родственникам приходили открытки. Так, если даже о Бельце все правда, она не имеет отношения к Аушвицу. Да и вообще, можно ли в нее поверить? При скудном эмоциональном пайке гетто в голову может придти все что угодно.

Газовые камеры Бельзца, как Шиндлер выяснил через свои источники, были возведены в марте этого года под наблюдением строительной фирмы из Гамбурга и эсэсовских инженеров из Ораниенбурга. По свидетельству Бахнера, три тысячи трупов в день далеко не исчерпывали их возможностей. Поскольку крематорий только еще строился, старая методика избавления от трупов тормозила внедрение новых методов убийств. Та же компания, что обустроивала Бельзец, возводила точно такие же сооружения в Собиборе, а также в районе Люблина. Заявки на строительство были восприняты со всей серьезностью и, тщательно продуманные, такие же конструкции появились в Трешлине, недалеко от Варшавы. Газовые камеры и печи действовали и в основном лагере Аушвиц (Освенцим), и в отдаленном его филиале Аушвиц-2, в нескольких километрах от Биркенау. Сопротивление докладывало, что Аушвиц-2 в состоянии уничтожить в день до десяти тысяч человек. Затем в районе Лодзи существовал аналогичный лагерь под Хелмно, также оборудованный в соответствии с новой технологией.

Сегодня рассказывать об этих фактах значит повторять общие места, знакомые нам из истории. Но когда они стали известны в 1942 году, когда они как гром грянули с ясного июньского не-

ба, это значило сотрясение всех основ бытия, полное разрушение тех участков мозга, в котором, казалось, хранились незыблемые идеи о гуманности и о ее требованиях. По всей Европе этим летом миллионы людей, среди которых был и Оскар, мучительно понимали, что души человеческие уйдут дымом из труб крематория Бельзеца и подобных ему, затерянных в польских лесах.

Этим же летом Оскар наконец стал владельцем вконец обанкротившегося «Рекорда» и, обеспечив себе поддержку коммерческого суда, проформы ради принял участие в аукционе, который должен был определить нового хозяина предприятия. Хотя немецкие армии были уже на Дону и пробивались к нефтяным полям Кавказа, Оскар, исходя из того, что предстало его глазам на Кракузе, считал, что в конечном итоге успеха они не добьются. Тем не менее, время как нельзя лучше способствовало тому, чтобы узаконить границы своего владения фабрикой на Липовой. С детской наивностью, за которую история не раз заставляла расплачиваться, он надеялся, что крах империи зла не повлечет за собой крушение всех ее законов – что и в новую эру он войдет тем же удачливым потомком Ганса Шиндлера из Цвиттау.

Иеретц с упаковочной фабрики настойчиво заставлял его строить барак, который должен был послужить убежищем, на принадлежащем ему куске пустыря. Оскар получил у чиновников все необходимые разрешения. В его обязанности входило обеспечить ночной смене место для отдыха, как он объяснил. У него были стройматериалы, пожертвованные самим Иеретцом.

В последние дни осени на пустыре выросло шаткое сооружение без особых удобств. Выкрашенные зеленым доски с течением времени темнели и усыхали и сквозь щели летел снег. Но во время октябрьской «акции» оно дало укрытие мистеру и миссис Иеретц, и рабочим с фабрики упаковочных материалов и с завода радиаторов, не говоря уже о ночной смене Оскара.

Оскар Шиндлер, который морозным утром акции вышел из своего кабинета поговорить с эсэсовцами, со вспомогательными силами из украинских частей, с синемундирниками польской полиции, с еврейской службой порядка, сопровождавшей до дома его ночную смену; Оскар Шиндлер, который, попивая кофе, звонил вахтмейстеру Боско в его сторожку у ворот гетто и врал, почему его ночная смена должна утром остаться на Липовой, – этот Оскар Шиндлер подвергал себя куда большей опасности, чем требовала его деловая активность. Влиятельные люди, которые дважды вытащили его из тюрьмы, не могут бесконечно приходить ему на помощь, пусть даже он и будет щедро одаривать их по дням рождения. В этом году немало столь же влиятельных личностей оказались в Аушвице. И если им там приходил конец, их вдовы получали краткие сухие телеграммы от коменданта: «Ваш муж скончался в концентрационном лагере Аушвиц».

Боско был тощим, куда более худым, чем Оскар. Хриплоголосый, он был подобно Шиндлеру чешским немцем. Его семья, как и родные Шиндлера, придерживалась консервативных взглядов и старых добрых немецких ценностей. На короткое время он, полный пангерманских настроений, приветствовал возвышение Гитлера, подобно тому, как в свое время Бетховен, вместе со всей Европой, был охвачен лихорадкой обожания Наполеона. В Вене, где он изучал теологию, Боско вступил в СС – частично, чтобы избежать призыва в вермахт, а частью – повинувшись порыву мимолетного рвения. Сейчас он сожалел о своем решении и старательно искупал его, о чем Оскар не подозревал. В то время Оскар знал лишь то, что он всегда с удовольствием подкладывал какую-нибудь свинью в ход проведения акции. Предметом попечительства Боско был внешний периметр гетто, и из своего кабинета, примыкавшего к стене гетто, он с неподдельным ужасом наблюдал за акцией, ибо он, как и Оскар, считал, что в будущем ему придется стать свидетелем.

Оскар не знал, что во время октябрьской акции Боско тайком вывез из гетто несколько дюжин ребятишек в картонных упаковочных ящиках. Не знал Оскар также и то что вахтмейстер раз десять, не меньше, раздобывал пропуска для подпольщиков. Еврейская Боевая Организация обладала сильными позициями в Кракове. Организацию составляли, главным образом, участники молодежных клубов, особенно члены «Акивы» – клуба, названного в честь легендарного рабби Акивы бен Иосифа, исследователя Мишны. Боевой организацией руководила супружеская пара Шимон и Густа Дрангеры – ее дневник стал классическим документом Сопротивления – и Долек Либескинд. Ее члены нуждались в праве свободного прохода в гетто и выхода из него, чтобы доставлять и выносить валюту, поддельные документы и экземпляры подпольной прессы. Они поддерживали контакты с левой Польской Армией Людовой, базировавшейся в лесах вокруг Кракова, которой так же были нужны документы, – а их обеспечивал Боско. Связей Боско с Еврейской Боевой Организацией и Армией Людовой было более чем достаточно, чтобы повесить его; но в глубине души он презирал себя и издевался над собой, мучаясь из-за ограниченности своих возмож-

ностей спасать людей. Ибо Боско хотел спасти всех до одного, что вскоре и попытался сделать, в результате чего и погиб.

* * *

Данке Дрезнер, кухне Гени, девочки в красном, минуло четырнадцать лет, но хотя она выглядела старше своих лет, у нее сохранились детские инстинкты, которые смогли ее уберечь от кордонов на площади. Да, она работала в прачечной на базе люфтваффе, но истина заключалась в том, что этой осенью все лица женского пола, которым было меньше пятнадцати или старше сорока, в любом случае подлежали отправке в лагерь.

Таким образом, когда этим утром отряды зондеркоманды и тайной полиции показались на Львовской, миссис Дрезнер взяла Данку с собой на Дабровскую, где в соседнем доме, имелась фальшивая стенка. Соседкой была женщина лет под сорок, посудомойка в гестаповской столовой рядом с Вавельским замком, что позволяло ей надеяться на определенное снисхождение. Но у нее были престарелые родители, которым не могла не угрожать опасность. Так что она выложила из кирпичей шестидесятисантиметровое укрытие для них, что обошлось ей недешево, ибо кирпичи приходилось тайком проносить в гетто, пряча их в тележках под кучами разрешенного для провоза добра – тряпок или дров. Бог знает, во сколько ей обошлось это тайное укрытие – может, в 5 000 злотых, может в 10 000.

Несколько раз она упоминала о нем миссис Дрезнер. В случае акции миссис Дрезнер может привести Данку и сама придти к ней. Таким образом, этим утром Данка с матерью, услышав за углом испугавшие их звуки, лай и рычание далматинских догов и доберманов, усиленные мегафонами приказания обершарфюреров, поспешила к приятельнице.

Поднявшись по лестнице и найдя соответствующую комнату, они увидели, что эта суматоха уже сказалась на ней.

– Плохи дела, – сказала эта женщина. – Родителей я уже спрятала. Могу и девочку спрятать. Но не вас.

Данка не могла оторвать глаз от стены, оклеенной выцветшими обоями. Там, зажатые в узком пространстве между двумя кирпичными стенками, они будут чувствовать, как по ногам у них бегают крысы и, стоя в темноте бок о бок со стариками, она будет до предела напрягать все чувства.

Миссис Дрезнер постаралась объяснить женщине всю неразумность ее подхода. Но та продолжала твердить, что речь может идти только о девочке, но не о вас. словно бы она считала, что если эсэсовцы обнаружат поддельную стенку, то, учитывая незначительность Данки, проявят к ней большую снисходительность. Миссис Дрезнер объяснила ей, что она не страдает излишней тучностью, что акция, похоже, начинается с этой стороны Львовской и ей просто некуда больше идти. Данка сама по себе очень ответственная девочка, но будет чувствовать себя в большей безопасности рядом со своей матерью. Вы своими глазами можете убедиться, что в этом укрытии поместятся четыре человека, прижавшись друг к другу. Но выстрелы за два квартала от них не позволили ей дальше убеждать хозяйку.

– Я могу устроить лишь девочку, – закричала она. – И хочу, чтобы вы ушли!

Миссис Дрезнер повернулась к Данке и сказала ей, чтобы она укрылась за стенкой. Потом Данка никак не могла понять, почему она послушалась мать и безропотно пошла в укрытие. Женщина провела ее на чердак, откинула коврик и подняла крышку люка. Данка спустилась в узкое пространство. Там было не так уж темно; родители зажгли огарок свечи. Данка устроилась рядом с женщиной – та была чьей-то другой матерью, но Данка ощутила знакомые запахи немытого тела и тепло, присущее всем матерям. Женщина коротко улыбнулась ей. Муж ее стоял по другую сторону от жены и, плотно смежив глаза, прислушивался к звукам снаружи.

Прошло какое-то время, и мать их знакомой дала ей понять, что она, если хочет, может сесть. Поерзав по полу, Данка нашла удобное положение. Крысы их не беспокоили. До них не доносилось никаких звуков, ни слов ее матери или другой женщины за стенкой. Похоже было, что они неожиданно очутились в полной безопасности. Вместе с этим ощущением пришло недовольство собой, тем, что она так покорно подчинилась приказу матери, а затем страх за нее, которая была там, снаружи, где свирепствовала акция.

Миссис Дрезнер не сразу покинула этот дом. Эсэсовцы уже были на Дабровской. Она реши-

ла, что стоит подождать. В сущности, если ее заберут, тем самым она окажет какую-то помощь друзьям. Если из этой комнаты вытащат ее, то тем самым немцы выполнят свою задачу и уж точно не обратят внимание на состояние обоев.

Но соседка убедила ее, что, если миссис Дрезнер останется тут, в живых после обыска не останется никого, да и сама она понимала, чем все кончится, если женщина будет пребывать в таком состоянии. Поэтому, спокойно поставив на себе крест, она поднялась и вышла. Они смогли перехватить ее на лестнице или, в крайнем случае, в прихожей. Почему же не на улице, подумала она. Над обитателями гетто столь мощно властвовали неписанные правила – мол, они должны, дрожа, сидеть по своим комнатам, что сама мысль о возможности спуститься по лестнице воспринималась как вызов системе.

Появление чьей-то фигуры в фуражке остановило ее уже на пороге. Человек возник на верхней ступеньке и, прищурившись, посмотрел в пространство полутемного коридора, в котором лежала лишь полоска холодного голубоватого света со двора. Он узнал ее с первого же взгляда, как и она его. Это был знакомый ее старшего сына; но из этого ничего не вытекало; трудно было представить себе, под каким давлением находятся ребята из службы порядка. Войдя в прихожую, он приблизился к ней.

– Пани Дрезнер, – сказал он. И ткнул пальцем в сторону лестницы. – Они будут здесь через десять минут. Вы можете отсидеться под лестницей. Идите, спрячьтесь под ней.

Столь же покорно, как дочка подчинилась ей, она послушалась молодого человека из службы порядка. Скорчившись под лестницей, она поняла, что ни к чему хорошему это не приведет. Со двора на нее падал свет осеннего дня. Если они захотят пройти во двор или к дверям квартиры в тыльной части прихожей, то она попадется им на глаза. Поскольку не имело никакого значения, будет ли она сидеть, скорчившись, или во весь рост, она выпрямилась. Подойдя к дверям, парень предупредил ее, чтобы она оставалась на месте. Затем он вышел. Она слышала крики, приказы и мольбы так ясно, словно они раздавались из-за соседних дверей.

Наконец он вернулся вместе с другими. До нее донесся грохот сапог в дверь. Она услышала его слова, что, мол, обыскал нижний этаж дома и там никого нет. Хотя комнаты наверху должны быть заняты. Он так спокойно и непринужденно беседовал с эсэсовцами, что ей показался неоправданным риск, на который он пошел. Он поставил на кон свою жизнь против сомнительной возможности, что они, прошерстив сверху донизу Львовскую и сейчас двигаясь по Дабровской, окажутся настолько глупы, что не обыщут сами нижний этаж и не найдут миссис Дрезнер, которую он, будучи едва с ней знаком, спрятал под лестницей.

Но в конце концов они поверили ему на слово. Она слышала, как они поднимались по лестнице, с шумом открывая двери, выходящие на первую площадку, как их подкованные сапоги грохотали в комнате, за стенкой которой скрывалось укрытие. Она услышала визгливый дрожащий голос своей знакомой.

Конечно же, у меня есть разрешение, я работаю в столовой гестапо, я знаю в ней всех уважаемых господ.

Она слышала, как они спускались со второго этажа, кого-то ведя с собой; нет, больше, чем одного человека – пару, семью. «Они оказались на моем месте», – потом уже пришло ей в голову. Хрипловатый простуженный голос мужчины средних лет сказал: «Но, конечно же, господа, мы имеем право взять какую-то одежду». – И тоном столь же равнодушным, каким на вокзале объявляют о расписании, эсэсовец ответил ему по-польски:

– В этом нет необходимости. На месте вас обеспечат всем необходимым.

Звуки стихли, миссис Дрезнер продолжала ждать. Второго обхода не было. Он грянет завтра или послезавтра. Они будут возвращаться снова и снова, завершая отбраковку состава гетто. То, что в июне воспринималось, как кульминация воцарившегося ужаса, в октябре стало привычным бытом. И в той же мере, в какой она испытывала благодарность к спасшему ее парню, поднимаясь наверх за Данкой, она понимала, что, когда убийства превратились в обычную работу, вершащуюся с точностью машины по заранее расписанному распорядку, как тут в Кракове, вряд ли можно, даже собрав все остатки мужества, что-то противопоставить неумолимой энергии этой системы. Многие ортодоксы из гетто придерживались девиза: «Час жизни – все равно жизнь». Мальчишка из еврейской полиции подарил ей этот час. И теперь она понимала, что никто не мог бы подарить ей больше.

Женщина встретила ее с легкой краской стыда на лице.

– Девочка может приходить в любое время, – сказала она. – То есть я выставляла вас не из-за трусости, а в силу политики. И таковая остается. Тебя не могу, а девочку – пожалуйста.

Миссис Дрезнер не стала спорить – у нее было ощущение, что женщина тоже находится в том же состоянии, что спасло ей жизнь внизу. Она поблагодарила ее. Данке, возможно, еще придется воспользоваться ее гостеприимством.

Отныне, поскольку в свои сорок два года она еще выглядит довольно молодо и не жалуется на здоровье, миссис Дрезнер попытается выжить, полагаясь только на себя – с экономической точки зрения, ее усилия могут пригодиться инспекции по делам вооруженных сил; она может внести и какой-то другой вклад в дело военных усилий. Она не была уверена в жизнеспособности этой идеи. В эти дни любой, кто хоть немного понимал, что на самом деле происходит, догадывался, что, с точки зрения СС, уничтожение социально неприемлемых евреев, перевешивает ту ценность, которую они представляют как рабочая сила. И в такие времена встают простые и недвусмысленные вопросы – кто спасет Иуду Дрезнера, заведующего отделом снабжения фабрики? Кто спасет Янека Дрезнера, автомеханика в гараже вермахта? Кто спасет Данку Дрезнер, прачку с базы люфтваффе в то утро, когда СС окончательно решит не считаться с их экономической ценностью?

* * *

Хотя полицейский из службы порядка спас жизнь миссис Дрезнер, в прихожей дома на улице Дабровка, молодые сионисты из «Халуца» и Еврейской Боевой Организации готовились оказать более существенное сопротивление. Они раздобыли мундиры Ваффен СС и, облачившись в них, решили нанести визит в облюбованный эсэсовцами ресторан «Цыганерия», расположенный по другую сторону площади от Словацкого театра. Заложенная ими бомба, пробив крышу «Цыганерии», рухнула в зал со столиками, разорвав на куски семь эсэсовцев и ранив более сорока человек.

Услышав об этом, Оскар подумал, что и он мог быть там, льстиво обихаживая кого-то из больших чинов.

Шимон и Густа Дрангеры и их коллеги приняли осознанное решение выступить против извечного пацифизма гетто, подвигнув его на общее восстание. Заложенной взрывчаткой они подняли на воздух предназначенный только для СС кинотеатр «Багателла» на Кармелитской улице. Только что на мерцающем экране Лени Рифеншталь воплощала образ германской женщины, преданной своим солдатам, которые ради спасения нации ведут бои в варварских гетто или на опасных улицах Кракова – и в следующую секунду яркая желтая вспышка пламени полыхнула по экрану.

В течение последующих нескольких месяцев Боевая Организация потопила патрульное судно на Висле, уничтожила зажигательными бомбами несколько военных гаражей в городе, раздобывала *Passierscheims* для людей, которые не имели иной возможности получить их, обеспечивала работу укрытий, в которых подделывались документы об арийском происхождении, пустила под откос шикарный поезд («Только для нужд армии»), который курсировал между Краковом и Бохней, и распространяла свою подпольную газету. Ее же стараниями двое помощников шефа еврейской полиции Спиры, Шпитц и Форстер, составлявшие списки на арест тысяч людей, попали в эсэсовскую засаду. Они стали жертвами студенческого развлечения. Один из подпольщиков, играя роль информатора, договорился с этими двумя полицейскими о встрече в деревушке под Краковом. В то же время другой информатор сообщил гестапо, что двух руководителей еврейского партизанского движения можно будет перехватить в условленном месте встречи. Обоих, и Шпитца, и Форстера, пристрелили, когда они попытались удрать от гестапо.

И, тем не менее, сопротивление обитателей гетто, скорее, выражалось в поступке Артура Розенцвейга, который, когда в июне от него потребовали составить список на депортацию в несколько тысяч фамилий, в начале его поставил свое имя, имена жены и дочери.

Наверху, в Заблоче, на заднем дворе за «Эмалией» Иеретц и Оскар Шиндлер организовывали свою систему сопротивления, планируя возведение второго барака.

Глава 17

В Кракове появился австрийский дантист по фамилии Седлачек и начал расспрашивать о

Шиндлере. Он прибыл с будапештским поездом, имея с собой список возможных краковских контактов и саквояж с двойным дном, в котором, с тех пор, как генерал-губернатор Франк вывел из обращения крупные купюры, деньги занимали невообразимо много места.

Хотя он делал вид, что путешествует с деловой целью, фактически он был курьером сионистской организации в Будапеште, занимавшейся спасением людей.

Даже осенью 1942 года до сионистов Палестины, оставленных на произвол судьбы мировым сообществом, не доходило ничего, кроме слухов о том, что происходит в Европе. Чтобы получать надежную информацию, они организовали свое бюро в Стамбуле. Из квартиры в городском квартале Бей-оглы, трое агентов стали рассылать открытки во все сионистские организации захваченной немцами Европы. На открытках был текст: «Пожалуйста, дайте мне знать, как у вас дела. Эретц беспокоится о вас». «Эретц» означало «земля», и каждый сионист подразумевал под ним Израиль. Открытки были подписаны одной из этих трех агентов, молодой женщиной Саркой Мандельблатт, которая была доподлинной турецкой гражданкой.

Почтовые открытки исчезали без следа, как будто проваливались в пустоту. Никто не отвечал. Это означало – адресаты были или в тюрьме, или скрывались в лесах, или трудились в каком-то лагере, были перемещены в гетто или убиты. Сионисты в Стамбуле воспринимали это молчание как зловещий признак.

Поздней осенью 1942 года они наконец получили единственный ответ – открытку с одним из видов Будапешта. Послание гласило: «Ваш интерес к моему положению вселяет надежду. Очень нуждаюсь в „рахамим махер“ (срочной помощи). Прошу установить связь».

Ответ был получен от будапештского ювелира Сема Шпрингмана, который наконец разобрался в смысле послания от Сарки Мандельблатт. Сем обладал хрупким телосложением, смахивая по внешнему виду на жокея, ему было тридцать с небольшим. С тринадцати лет, несмотря на присущую ему личную честность, ему приходилось подмазывать чиновников, давать им взятки и устраивать делишки для дипломатического корпуса, подкупая грубых и бестолковых чинов венгерской тайной полиции. И теперь из Стамбула ему дали знать, что хотели бы использовать его для переправки денег, предназначенных для спасения обреченных, в германскую империю и затем с их помощью оповестить весь мир о судьбе европейского еврейства.

В Венгрии адмирала Хорти, союзницы нацистской Германии, Сем Шпрингман и его сионистские коллеги были столь же неосведомлены о том, что происходит в пределах Польши, как и обитатели Стамбула. Но он начал подыскивать курьеров, которые за определенный процент от содержимого багажа или же по убеждению были согласны проникать на оккупированные немцами территории. Одним из его курьеров был торговец драгоценными камнями Эрик Попеску, агент венгерской тайной полиции. Другим был контрабандист, тайно доставлявший ковры, Банди Грош, который также сотрудничал с полицией, но начал работать на Шпрингмана, чтобы искупить вину перед покойной матерью, которой он причинил столько горя. Третьим был Руди Шульц, австрийский медвежатник, агент бюро гестапо из Штутгарта. Шпрингман обладал даром уговаривать таких двойных агентов, как Попеску, Грош или Шульц, играя или на их чувствах, или на алчности или же на их принципах, если таковые у них имелись.

Некоторые из его курьеров были чистыми идеалистами и работали из твердых принципов. Седлачек, который в конце 1942 года наводил в Кракове справки о Шиндлере, и относился к этой категории. У него в Вене была процветающая стоматологическая практика, и в сорок пять лет у него не было ровно никакой необходимости доставлять в Польшу саквояжи с двойным дном. И тем не менее он прибыл в нее со списком имен в кармане и перечень этот был составлен в Стамбуле. Второе имя в списке принадлежало Оскару!

Это означало, что кто-то – Ицхак Штерн, бизнесмен Гинтер, доктор Александр Биберштейн – сообщили сионистам Палестины имя Оскара Шиндлера. И, не подозревая об этом, герр Шиндлер обрел звание порядочного человека.

* * *

У доктора Седлачека был приятель в краковском гарнизоне, его земляк из Вены, который в роти пациента как-то пришел к нему на прием. Им был майор вермахта Франц фон Кораб. В первый же вечер пребывания в Кракове дантист пригласил майора выпить с ним в отеле «Краковия». Прошедший день оставил по себе у Седлачека мрачное впечатление: стоя на берегу серых вод

Вислы, он смотрел на Подгоже, неприступную крепость, мрачные высокие стены которой были обнесены колючей проволокой. Стоящая над крышами дымка говорила, о приближающейся зиме, и резкие порывы дождя поливали ворота с восточной стороны гетто, около которых ежился нахохлившийся полицейский. И когда пришло время идти на встречу с Корабом, он с облегчением покинул свой наблюдательный пост.

В предместье Вены неизменно ходили слухи, что у фон Кораба была еврейская бабушка. Пациенты порой намекали на это – а в пределах Рейха сплетни на генеалогические темы были столь же распространены, как и разговоры о погоде. За выпивкой люди совершенно серьезно обсуждали, правда ли, что бабушка Рейнхарда Гейдриха вышла замуж за еврея по фамилии Зюсс. И как-то, поддавшись чувству дружбы и презрев все соображения здравого смысла, фон Кораб признался Седлачеку, что в данном случае слухи соответствуют истине. Это признание было жестом доверия, которое он мог сейчас без опаски вернуть. Поэтому Седлачек стал расспрашивать майора о некоторых людях из стамбульского списка. На имя Шиндлера, фон Кораб отозвался благосклонным смешком. Он знаком с герром Шиндлером и несколько раз обедал с ним. Он обладает внешней привлекательностью, признал майор и деньги у него не залеживаются. Он куда интереснее, чем старается делать вид. Я могу тут же позвонить и договориться о встрече, предложил майор фон Кораб.

В десять часов следующего утра они появились в конторе «Эмалии». Шиндлер вежливо принял Седлачека, но выжидающе посмотрел на майора фон Кораба, оценивая, насколько он доверяет дантисту. Спустя некоторое время Оскар стал относиться к новому знакомому с большей симпатией, и майор, извинившись, отклонил приглашение остаться на чашку кофе.

– Очень хорошо, – сказал Седлачек, когда Кораб покинул их, – теперь я вам изложу, с чем прибыл.

Он не стал упоминать ни о доставленных им деньгах, ни о возможности того, что в будущем доверенные лица в Польше могут получить небольшое вознаграждение в наличных деньгах из средств Еврейского Объединенного Распределительного Комитета. Не придавая никакого финансового колорита их беседе, дантист хотел узнать, что герру Шиндлеру известно о судьбе польского еврейства во время войны.

Едва только гость стал задавать вопросы, Шиндлер замялся и Седлачек предположил, что сейчас он услышит отказ разговаривать. Всего на производстве у Шиндлера работало 550 евреев, за которых он вносил СС арендную плату. Инспекция по делам вооруженных сил гарантировала таким людям, как Шиндлер, неизменность заключенных с ним контрактов; СС обещала, что и в будущем будет поставлять ему рабскую силу, не дороже 7,5 рейхсмарки за душу в день. Так что не удивительно, если бы он, откинувшись на спинку кожаного кресла, изобразил бы полное непонимание.

– Проблема существует, герр Седлачек, – проворчал он. – И вот в чем она заключается. То, что в этой стране они делают с людьми, вне пределов воображения.

– Вы хотите сказать, – уточнил Седлачек, – что мои доверители просто не смогут вам поверить?

– Поскольку я и сам с трудом верю себе, – сказал Шиндлер. Поднявшись, он подошел к бару, наполнил две рюмки коньяком и протянул одну доктору Седлачеку. Вернувшись на свое место с другой рюмкой в руке, он сделал глоток, нахмурился, прислушиваясь к чему-то, на цыпочках подошел к дверям и резко распахнул их, как бы намереваясь поймать того, кто подслушивал. Несколько мгновений он стоял, застыв в дверном проеме. Седлачек услышал, как он спокойно обратился к секретарше с вопросом о каких-то счетах-фактурах. Через несколько минут он закрыл за собой дверь; вернувшись к Седлачеку, сел за стол и, сделав еще один основательный глоток, стал рассказывать.

Даже в небольшом кругу Седлачека, в его венском антинацистском клубе, не было ни малейшего представления, что преследование евреев носит столь продуманный, систематический и организованный характер. Истории, которые излагал ему Шиндлер, поражали не только с моральной точки зрения: просто невозможно было поверить, что, напрягая все силы в отчаянных сражениях, национал-социалисты могли предназначать тысячи людей, драгоценную пропускную способность железных дорог, огромные объемы грузовых перевозок, строить дорогостоящие инженерные сооружения, бросать последние силы ученых на научно-исследовательские разработки, создавать чиновничий аппарат и арсеналы автоматического оружия с огромными запасами бо-

еприпасов – и все это с целью истребления человеческого поголовья, которое не имеет ни военного, ни экономического значения, а только психологическое. Доктор Седлачек ожидал услышать просто страшные истории о голоде, об экономическом разорении, о погромах в этом городе или насилии над собственниками – привычные из истории вещи.

Отчет Оскара о событиях в Польше окончательно сформировал у Седлачека представление об Оскаре как о человеке. Оккупационный режим как нельзя более устраивал его: он сидит в сердце своей собственной маленькой империи с бокалом коньяка в руке. Спокойный внешне, он клочечет от неудержимого внутреннего гнева. Он оказался в положении человека, который, к своему сожалению, счел для себя невозможным и неприемлемым отворачиваться от самого худшего. И чувствовалось, что он не преувеличивает излагаемые факты.

Если мне удастся организовать вам визу, спросил Седлачек, согласились бы вы прибыть в Будапешт и изложить свой рассказ моим доверителям и кое-кому еще?

На мгновение Шиндлер не смог скрыть удивления. Вы же сами можете написать отчет, сказал он. И, конечно же, такого рода информация поступает к вам из других источников. Увы, нет, сказал ему Седлачек; тут важен ваш личный взгляд, подробности историй и тому подобное. Нет исчерпывающего представления. Вы нужны в Будапеште, повторил Седлачек. Но должен вас предупредить, что путешествие будет не из приятных.

– Вы хотите сказать, – спросил Шиндлер, – что мне придется перебираться через границу пешком?

– Не так страшно, – заверил его дантист. – Может, вам придется ехать, скажем, на товарном поезде.

– Я приеду, – сказал Оскар Шиндлер.

Доктор Седлачек осведомился у него об остальных именах из стамбульского списка. Вот, например, возглавляющий его, некий зубной врач из Кракова. К дантисту, как правило, легче нанести визит, сказал Седлачек, потому что у любого человека на земле есть, как минимум, одно дупло в зубе. Нет, сказал Шиндлер, не стоит наносить визит этому человеку. Он уже привлек внимание СС.

Прежде, чем оставить Краков и вернуться в Будапешт к Шпрингману, доктор Седлачек еще раз встретился с Шиндлером. В кабинете Оскара на ДЕФ, он выложил едва ли не всю валюту, которую вручил ему Шпрингман для поездки в Польшу. Тут был определенный риск, поскольку, учитывая гедонистские наклонности Шиндлера, можно было предположить, что он способен спустить средства на черном рынке на покупку драгоценностей. Но ни Шпрингман, ни в Стамбуле не требовали никаких гарантий. Надежды на аудиторскую проверку у них все равно не было.

Необходимо отметить, что в данном случае Оскар вел себя безупречно и через своих связных передал всю наличность в еврейскую общину, чтобы они тратили ее, как сочтут нужным.

* * *

Мордехай Вулкан, которому, подобно госпоже Дрезнер, довелось в свое время познакомиться с герром Оскаром Шиндлером, по профессии был ювелиром. В конце года его посетил один из работников политического отдела службы порядка Спиры. Беспокоиться не стоит, сказал он ему. В прошлом году его прихватила ОД за торговлю валютой на черном рынке. Когда он отказался быть агентом Бюро контроля валютных операций, его избили в СС, и госпоже Вулкан пришлось нанести визит вахтмейстеру Беку в управление полиции гетто и дать взятку за его освобождение.

В июне он уже был схвачен и снаряжен с очередным транспортом в Бельзец, но знакомый полицейский из службы порядка успел вовремя появиться и вывел его из грузового двора. Ибо даже там были сионисты, как бы ни была мала для них возможность когда-нибудь увидеть Иерусалим. Полицейский, который на этот раз навестил его, не был сионистом. Службе СС, сообщил он Вулкану, срочно нужны четверо ювелиров. Симхе Спире поручили за три часа разыскать их. Иными словами, Герцог, Фриднер, Грюнер и Вулкан, четыре ювелира, должны, явившись в полицейский участок, отправиться напрямиком в прежнюю Техническую Академию, где ныне находятся складские помещения Главного административно-экономического Управления СС.

Как только Вулкан оказался в пределах Академии, он сразу же понял, что тут все подчиняется правилам строгой секретности. У каждой двери стоял охранник. При встрече офицер СС сразу же предупредил четырех ювелиров, что если кто-то из них обмолвится хоть словом об их работе

здесь, то сразу же будет отправлен в трудовой лагерь. Каждый день, сказал он им, они должны приносить с собой инструменты и оборудование для оценки драгоценных камней и золота.

Затем их повели вниз в подвальное помещение. Вдоль всех стен тянулись деревянные помосты с грудями чемоданов и саквояжей, на каждом из которых были ярлычки со старательно выведенными именами их прежних владельцев. Под высокими окнами стоял ряд деревянных ящиков. Когда четверо ювелиров расселись в центре помещения, двое эсэсовцев, взяв один из саквояжей, опустошили его перед Герцогом, вернулись за другим и вывалили его содержимое перед Грюнером. Золотой каскад обрушился на Фриднера и Вулкана. Это было старое золото – кольца, брошки, браслеты, часы, лорнеты, портсигары. Ювелирам предстояло разобрать его, отделив чистый металл от сплавов, и оценить стоимость драгоценных камней и жемчуга. В зависимости от ценности и количества карат все надо было складывать по отдельности.

Сначала они приступили к делу осторожно и опасливо, но потом работа пошла быстрее по мере того, как стали сказываться профессиональные навыки. Эсэсовцы раз за разом забирали разобранные ценности, раскладывая их по соответствующим ящикам. Как только один из них заполнялся, на боку его появлялась надпись черной краской: «Рейхсфюрер СС. Берлин». Рейхсфюрером СС был сам Гиммлер, на чье имя в Рейхсбанке складировались конфискованные по всей Европе ценности. Здесь же было немало детских колечек, и как же трудно было сохранить спокойствие при мысли об их бывших владельцах. Но только раз ювелиры позволили себе смешаться, когда эсэсовец вывалил перед ними груды мятых золотых коронок, на которых еще виднелись следы крови. В этой горке у коленей Вулкана ему чудились зубы тысяч казненных, и все они звали его присоединиться к ним, отшвырнуть рассортированные камни и громко заявить о гнусном происхождении этого добра. Но после минутной заминки Герцог и Грюнер, Вулкан и Фриднер снова принялись за дело, конечно же, думая теперь о сиянии коронок в собственных ртах и опасаясь, что и они могут броситься в глаза эсэсовцам.

Потребовалось не менее шести недель, чтобы разобрать все сокровища, хранящиеся в подвале Технической Академии. Когда с ними было покончено, ювелиров перевели в старый гараж, предназначенный для хранения серебра. Ремонтные ямы были полны сваленными туда изделиями: кольцами, кулонами, пасхальными блюдами, подсвечниками, нагрудными украшениями, диадемами и канделябрами. Здесь тоже приходилось отделять цельное серебро от сплавов и взвешивать его. Дежурный эсэсовский офицер жаловался, что некоторые из предметов трудно упаковывать, и Мордехай Вулкан предположил, что, наверно, часть из них они хотят переплавить. И хотя он не отличался набожностью, он подумал, что было бы куда лучше, маленьким триумфом, если бы рейх унаследовал лишь то серебро, из которого были отлиты святыни иудаизма. Но в силу каких-то причин офицер СС отказался. Может, этим предметам предназначалось пополнить собой какую-нибудь дидактическую коллекцию в одном из музеев рейха. Или, может, эсэсовцы оценили изящество серебряной утвари синагог.

Когда эти обязанности по оценке богатств подошли к концу, Вулкан опять оказался без дела. Ему приходилось регулярно покидать гетто в поисках еды для семьи, особенно для дочери, страдающей бронхитом. Какое-то время он работал в скобяной мастерской в Казимировке, где его и увидел обершарфюрер СС Гола, человек достаточно спокойный. Гола нашел ему работу ремонтником в казармах СС близ Вавеля. Когда со своими гаечными ключами Вулкан входил в столовую, он видел над дверью надпись: «СОБАКАМ И ЕВРЕЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН». Эта надпись, вкуче с сотнями и тысячами вырванных коронок, которые прошли через его руки в Технической Академии, убедили его, что случайная расположенность, проявленная к нему обершарфюрером Гола, ровно ничего не значит в конечном итоге. Гола пил тут же в компании друзей, не обращая совершенно никакого внимания на надпись; но он не заметил и исчезновения семьи Вулкана в тот день, когда ее отправили то ли в Бельзец, то ли в другое, столь же зловещее место. Таким образом Вулкан, как и миссис Дрезнер и почти пятнадцать тысяч других обитателей гетто понимали, что спасти их может только неожиданное чудо. Но в его приход они не верили ни на секунду.

Глава 18

Доктор Седлачек обещал, что путешествие будет без особых удобств, – так оно и вышло. Оскар пустился в путь в хорошем пальто, с чемоданом и сумкой, полной дорожных принадлежностей, которые очень понадобились ему в конце пути. Хотя у него были соответствующие докумен-

ты, он не испытывал желания пускать их в ход. Куда лучше, если ему не придется показывать их на границе. В таком случае он всегда сможет отрицать, что в декабре посещал Венгрию.

Он ехал в грузовом вагоне, заполненном пачками партийной газеты «Фолькишер Беобахтер», предназначенной для распространения в Венгрии. Вдыхая запах типографской краски и примопившись на пачках напечатанного острым готическим шрифтом немецкого официоза, Оскар двигался на юг, а за окном проплывали остроконечные заснеженные пики словацких гор; миновав границу Венгрии, они двинулись на юг по долине Дуная.

Ему был заказан номер в «Паннонии», рядом с университетом, и в первый же по приезде день его навестили маленький Сем Шпрингман и его коллега доктор Ресо Кастнер. Эти два человека, которые поднялись в номер Шиндлера на лифте, уже слышали от беженцев отрывочные сведения. Но ничего существенного, кроме отдельных фактов, сообщить они не могли. То обстоятельство, что им удалось избежать опасности, не означало, что они были знакомы с пределами ее распространения, с механизмом функционирования, с ее размерами и так далее. Кастнер и Шпрингман были полны ожиданий, что – если Седлачеку можно верить – этот судетский немец, дожидаящийся их наверху, сможет обрисовать цельную картину, дать исчерпывающий ответ об опустошенной Польше.

В номере они кратко представились друг другу, потому что Шпрингман и Кастнер пришли слушать и видели, что Шиндлер полон желания рассказывать. В этом городе, обожающем пить кофе, не составило труда заказать крепкий кофе и пирожные, что позволило внести непринужденность в первые минуты знакомства. Кастнер и Шпрингман, обменявшись рукопожатием с огромным немцем, расселись в креслах. Но Шиндлер продолжал мерить шагами комнату. Казалось, что здесь, далеко от Кракова, от страшной реакции гетто и «акций», груз того, что он знал, давил его куда больше, чем когда он вкратце все рассказывал Седлачеку. Он возбужденно ходил по ковру номера. Его шаги, должно быть, были услышаны снизу – от его движения подрагивали канделябры, когда он изображал действия карательной команды эсэсовцев на Кракузе, показывая, как один из них прижал ногой голову жертвы на глазах маленькой девочки в красном, догонявшей свою колонну.

Он начал с личных впечатлений о жестокости, царящей в Кракове, о сценах, которые он сам видел на улицах и о которых слышал по обе стороны стены – от евреев и от СС. В этой связи, сказал он, ему удалось захватить письма от некоторых жителей гетто, от врача Хаима Хильфштейна, от доктора Леона Залпетера, от Ицхака Штерна. В письме доктора Хильфштейна, сказал Шиндлер, говорится о голоде. «Как только уходит лишний вес, – сказал Оскар, – начинают работать мозги».

Все гетто обречены на уничтожение, сообщил им Оскар. Это в равной степени относится как к Варшаве, так к Лодзи или Кракову. Население варшавского гетто сократилось на четыре пятых, лодзинского на две трети, краковского на половину. Куда деваются люди, которых вывозят из гетто? Часть – в трудовые лагеря; но сегодня, вам, господа, придется узнать и принять, что как минимум три пятых депортированных исчезают в концентрационных лагерях, которые пользуются новыми научными методами убийства. И эти лагеря не представляют собой исключения. У них даже есть официальное название, данное им в СС – *Vernichtungslager*: лагеря уничтожения.

За последние несколько недель, рассказал Оскар, примерно 2.000 обитателей, задержанные в облавах, были отосланы не в газовые камеры Бельзеца, а в трудовые лагеря под городом. Один расположен в Величке, другой в Прокочиме – и тот, и другой близ железнодорожной линии, идущей прямо на русский фронт. Из Велички и Прокочима заключенных каждый день гоняют в деревушку Плачув, предместье города, где ведется строительство большого трудового лагеря. Их существование в таких лагерях не знает ни дня отдыха – бараками в Величке и Прокочиме командует эсэсовец Хорст Пиларцик, обративший на себя внимание прошлым июнем, когда организовал вывоз из гетто примерно семи тысяч человек, из которых вернулся только один, химик. Предполагается, что лагерем в Плачuve будет руководить человек такого же калибра. Своеобразное преимущество трудовых лагерей состоит в том, что у них нет технических возможностей для систематического уничтожения людей. Для их существования есть несколько иное логическое объяснение, которое имеет под собой экономическое обоснование – заключенных из Велички и Прокочима, так же, как и из гетто, каждый день гонят на работу на различных стройках. Лагеря в Величке, Прокочиме и предполагаемый лагерь в Плачuve находятся под личным контролем шефа краковской полиции Юлиана Шернера и Рольфа Чурды, в то время как лагерями уничтожения управляет Главное административно-хозяйственное управление СС в Ораниенбурге под Берлином.

Vernichtungslagers тоже какое-то время используют рабочую силу своих заключенных, но конечная цель их – уничтожение людей и использование получаемых от них побочных продуктов, то есть повторный оборот одежды, сбор оставшихся драгоценностей и вещей, вплоть до очков и игрушек; используются даже кожа и волосы трупов.

В середине своих рассуждений о разнице, существующей между лагерями уничтожения и предназначенными для рабского труда, Шиндлер внезапно подошел к дверям, резко распахнул их и оглядел пустой холл.

– Я знаю, что у этого города репутация места, где все подслушивают, – объяснил он. Невысокий мистер Шпрингман, поднявшись, тронул его за локоть.

– «Паннония» не так уж плоха, – тихо сказал он Оскару. – Гестапо обосновалось в «Виктории».

Шиндлер еще раз осмотрел холл, закрыл двери и продолжил метаться по комнате. Остановившись около окна, он возобновил свой мрачный отчет. На руководство трудовыми лагерями назначают людей, доказавших свою неустрашимость и серьезный подход во время чисток гетто. В них время от времени случаются спорадические убийства и, конечно же, существует коррупция, связанная с запасами пищи, от чего уменьшаются рационы для заключенных. Но это все же предпочтительнее, чем гарантированная смерть в *Vernichtungslagers*. Люди в этих трудовых лагерях все же могут устраиваться с чуть большими удобствами, а кое-кого можно извлечь оттуда и тайно переправить через границу в Венгрию.

«То есть, эсэсовцы так же податливы на подкуп, как и другие силы полиции? – спросили Оскара представители Комитета по спасению в Будапеште».

– По своему опыту, – проворчал Оскар, – могу сказать, что нет ни одного, кого нельзя было бы купить.

Когда Оскар завершил свое повествование, конечно же, воцарилось молчание. Нельзя сказать, чтобы Кастнер и Шпрингман были так уж изумлены. Всю жизнь они провели под гнетом страха перед тайной полицией, которая смутно предполагала, чем они ныне занимаются. Они были в относительной безопасности лишь благодаря связям Сема и взяткам. И в то же время респектабельное еврейство относилось к ним с неприязнью. Например, Шмуэль Штерн, президент Еврейского Совета, член венгерского Сената, оценил бы сегодняшний рассказ Оскара Шиндлера как гнусные выдумки, инсинуации в ядре немецкой культуры, оскорбительный намек на предполагаемые действия венгерского правительства. Двое гостей Шиндлера привыкли слышать и худшие вещи.

Так что свидетельства Шиндлера не повергли Кастнера и Шпрингмана в ужас, чего они с тревогой ожидали в глубине души. Теперь они, по крайней мере, знали, против кого и чего им придется направить все силы и средства – хотя противостоять им будет не великан филистимлянин, а сам Бегемот.⁴ Может, они уже начали обдумывать идею, что наряду с конкретными сделками – дополнительным питанием для этого лагеря, спасением этого интеллектуала, взяткой, чтобы утихомирить профессиональное рвение этого эсэсовца – необходимо рассчитывать и долгосрочные спасательные операции, которые потребуют головокружительных расходов.

Шиндлер опустился в кресло. Сем Шпрингман бросил взгляд на измотанного промышленника. Вы произвели на нас исключительно сильное впечатление, сказал Шпрингман. Они, конечно, тут же пошлют в Стамбул полное изложение рассказа Оскара. Необходимо побудить сионистов Палестины и все прочие организации к более решительным действиям. В то же время все это должно быть передано правительствам Черчилля и Рузвельта. Шпрингман сказал, что, по его мнению, Оскар прав, сомневаясь в том, поверят ли люди его словам; он прав, считая, что все это просто не поддается восприятию.

– Тем не менее, – сказал Шпрингман, – я настоятельно попросил бы вас лично прибыть в Стамбул и поговорить там с людьми.

После небольшого раздумья – то ли о требованиях производства эмалированных изделий, то ли об опасности пересечения такого количества границ – Шиндлер согласился.

– Ближе к концу года, – сказал Шпрингман. – А тем временем вы регулярно будете видеться в Кракове с доктором Седлачком.

⁴ Бегемот – одно из имен дьявола.

Они встали, и Оскар увидел, как изменились эти люди. Поблагодарив его, они вышли и стали спускаться по лестнице, производя неоспоримое впечатление двух серьезных деловых людей, которым пришлось выслушать неприятные новости о неполадках на филиале предприятия.

Этим же вечером в отель Шиндлера позвонил доктор Седлачек и пригласил его на короткую прогулку, после чего им предстояло отобедать в отеле «Геллерт». Из-за столика перед ними открывался вид на Дунай, на ползущие по нему огоньки барж, на сияние, поднимающееся над городскими кварталами по ту сторону реки. Словно стояли довоенные времена, когда Шиндлер мог чувствовать себя беззаботным туристом. После напряжения сегодняшнего дня он пил густое красное венгерское вино «Бычья кровь», не в силах утолить сжигающую его жажду, и под их столом появлялось все больше пустых бутылок.

В середине обеда к ним присоединился австрийский журналист, доктор Шмидт со своей любовницей, броской золотоволосой венгеркой. Шиндлер восхитился драгоценностями девушки и сказал, что сам он большой ценитель драгоценных камней. Но когда подали абрикосовое бренди, он был уже не так дружелюбен. Помрачнев, он сидел, слушая болтовню Шмидта о ценах на недвижимость, о покупке машин и о результатах рысистых бегов. Девушка восхищенно слушала Шмидта, поскольку ощущала результаты его торговых сделок на собственной шее и на запястьях. Но неожиданная неприязнь Оскара ни от кого не могла укрыться. Доктор Седлачек втайне был обрадован: может, Оскар видит в какой-то мере и происхождение своего собственного состояния, свое стремление совершать сделки на грани допустимого.

Когда с обедом было покончено, Шмидт и его девушка направились в какой-то ночной клуб, а Седлачек позаботился, чтобы они с Шиндлером попали в другой. Рассевшись там, они, забыв о сдержанности, заказали еще «барака» и стали смотреть представление.

– Этот Шмидт, – сказал Шиндлер, стараясь внести ясность в вопрос, дабы он больше не мучил его в этот час. – Вы его используете?

– Да.

– Не думал, что вам приходится иметь дело с такой публикой, – сказал Оскар. – Он же вор.

Не в силах скрыть улыбки, доктор Седлачек отвернулся от него.

– Как вы можете быть уверены, что он доставит по назначению деньги, которые вы ему доверяете? – спросил Оскар.

– Мы позволяем ему удерживать проценты, – сказал доктор Седлачек.

Оскар задумался на добрых полминуты. Затем пробормотал:

– Не нужны мне эти паршивые проценты. Не хочу даже, чтобы мне их предлагали.

– Очень хорошо, – сказал Седлачек.

– Давайте посмотрим на девочек, – предложил Оскар.

Глава 19

В то время, когда Оскар Шиндлер возвращался в товарном вагоне из Будапешта, где предсказал скорый конец всех гетто, унтерштурмфюрер СС Амон Гет как раз выехал из Люблина, чтобы приступить к такой ликвидации, после чего взять на себя руководство образованным вместо гетто исправительно-трудовым лагерем (*Zwangsarbeitslager*) в Плачуве. Гет был примерно месяцев на восемь младше Шиндлера, но у них было гораздо больше общего, чем только год рождения. Как и Оскар, он вырос в католической семье и перестал следовать требованиям церкви только в 1938 году, когда распался его первый брак. Как и Оскар, он окончил старшие классы в *Realgymnasium* – черчение, физика, математика. К тому же он вообще был достаточно практичным человеком, не мыслителем, хотя предпочитал считать себя философом.

Уроженец Вены, он рано вступил в национал-социалистскую партию, в 1930 году. Когда взволнованная Австрийская Республика в 1933 году запретила партию, он уже был членом ее тайного образования, СС. Работая в подполье, он появился на венских улицах после аншлюса 1938 года в форме унтер-офицера СС. В 1940 году ему было присвоено звание обершарфюрера СС (старший унтер-офицерский состав), а в 1941 году он был облечен честью стать офицером СС, что возлагало куда большую ответственность, чем быть в рядах вермахта. Пройдя военное обучение тактике пехоты, он был направлен в зондеркоманду во время акций в перенаселенном люблинском гетто и, достойно проявив себя там, заслужил право возглавить ликвидацию краковского гетто.

Унтерштурмфюрер СС Амон Гет направлялся на экспрессе вермахта из Люблина в Краков,

где ему предстояло взять под свое руководство хорошо подготовленную зондеркоманду; он походил на Оскара не только годом рождения, религией, склонностью к спиртному, но и крупной фигурой. У Гета было открытое приятное лицо, несколько более вытянутое, чем у Шиндлера. Руки его, крупные и мускулистые, заканчивались длинными изящными пальцами. Он с нежностью относился к своему ребенку, рожденному во втором браке, хотя из-за необходимости постоянно служить за границей он за последние три года редко видел его. Вместо этого, случалось, он проявлял внимание к детям своих коллег-офицеров. Он мог быть и сентиментальным любовником, но хотя походил на Оскара и тягой к сексуальным удовольствиям, вкусы его и пристрастия несколько отличались от общепринятых: порой они влекли к собратьям по СС, а нередко и к избиениям женщин. Обе его жены могли засвидетельствовать, что, когда проходила первая вспышка страсти, они могли вызвать у него физическое неприятие. Он считал себя впечатлительным и нежным человеком, думая, что это его фамильная черта – его отец и дедушка были венскими печатниками и переплетчиками, интересующимися литературой по военной и экономической истории общества, и он любил представлять себя в официальных документах как литератора: человека, имеющего дело с литературой. И хотя в данный момент он мог смело утверждать, что все его мысли заняты лишь порядком проведения операции по ликвидации гетто – это был важнейший шаг в его карьере и успех означал продвижение по службе. Подготовка к «специальной акции», казалось, истощала его нервную энергию. В последние два года его мучила бессонница и случалось, что он бодрствовал до трех или четырех утра, засыпая только под утро. Он бессмысленно напивался, будучи убежденным, что алкоголь дает ему облегчение, которого он не знал в молодости. И опять-таки, подобно Оскару, он никогда не мучился по утрам похмельем, которого вполне заслуживал. Ему оставалось только благодарить свои безупречно работающие почки.

Распоряжения, предписывающие ему уничтожить гетто и взять в свои руки лагерь в Плачув, были датированы 12 февраля 1943 года. Он надеялся, что после встреч с унтер-офицерским составом, с Вильгельмом Кунде, командиром эсэсовской охраны гетто и после консультаций с Вилли Хаасе, заместителем Шернера, можно будет не позже, чем через месяц, приступить к очистке гетто.

На главном вокзале Кракова коменданта Гета встречал сам Кунде и высокий молодой эсэовец Хорст Пиларцик, который временно исполнял обязанности начальника лагерей в Прокочиме и Величке. Разместившись на заднем сидении «Мерседеса», они отправились осматривать и само гетто, и место, предназначенное под разбивку нового лагеря. День был холодным, и когда они пересекли Вислу, сразу же пошел снег. Унтерштурмфюрер Гетт был искренне обрадован наличием фляжки со шнапсом, которую прихватил Пиларцик. Они миновали порталы в псевдovосточном стиле и двинулись по Львовской вдоль трамвайных путей, которые рассекали гетто на две половины. Исполнительный Кунде, который в гражданской жизни был таможенником и привык докладывать начальству, обрисовал приблизительную схему гетто. Часть слева, сообщил Кунде, именуется Гетто-В. Ее население, примерно две тысячи человек, или избежали предыдущей акции, или же были заняты на производственных предприятиях. Но с тех пор были выданы новые удостоверения личности с соответствующими отметками: W для работающих в армейских учреждениях, Z – для работающих на гражданские власти и R – для промышленных рабочих. Те жители гетто-В, у которых нет новых удостоверений, должны быть вывезены для *Sonderbehandlung* (специального обращения). В ходе очистки предпочтительнее было бы первым делом начать с этой стороны, хотя тактическое решение, конечно же, предстоит принимать герру коменданту.

Большая часть гетто располагалась справа и содержала в себе около 10 тысяч человек. Из них, конечно же, предстояло набрать первоначальную рабочую силу для предприятий в лагере Плачув. Предполагалось, что все немецкие предприниматели и инспектора – Бош, Мадритч, Бекман, *Sudetender* Оскар Шиндлер – выразят желание переместить свои производства из пределов города в лагерь. К тому же не далее, чем в полумиле от предполагаемого лагеря расположен завод по производству кабеля и рабочие могут каждый день ходить туда на работу и возвращаться.

– Желательно ли герру коменданту, – спросил Кунде, – проехать по дороге еще несколько миль и взглянуть на площадку для лагеря?

– О да, – сказал Амон, – я думаю, это имеет смысл.

Они свернули с трассы, где двор кабельного завода с занесенными снегом громадными деревянными катушками, отмечал начало Иерусалимской улицы. Гету попалось на глаза несколько групп замотанных в лохмотья изможденных женщин, волочивших детали конструкций – панели,

карнизы – от станции на шоссе Краков-Плачув через дорогу и вверх по Иерусалимской. Они из лагеря в Прокочиме, объяснил Пиларцик. Когда Плачув будет готов, Прокоц, конечно, будет расформирован и эти еще способные к работе женщины перейдут под управление герра коменданта.

Гет прикинул, что расстояние, на которое женщинам приходилось таскать детали, составляло примерно три четверти километра.

– И все в гору, – уточнил Кунде, перекладывая голову с одного плеча на другое, как бы давая понять, что это более чем удовлетворительное дисциплинарное воздействие все же замедляет строительство.

К лагерю необходимо подвести железнодорожную ветку, заметил унтерштурмфюрер Гет. Он поговорит об этом с руководством железной дороги.

Рядом с синагогой и ее моргом они повернули направо и из-за полуразрушенной стены показались надгробья, как зубы в хищно разинутом рту зимы. До этого месяца часть лагеря представляла собой еврейское кладбище.

– Места более, чем хватает, – сказал Вильгельм Кунде. Герр коменданта позволил себе тонкое замечание, которые часто слетали с его губ во время пребывания в Плачове:

– Во всяком случае, их не придется далеко таскать, чтобы закапывать.

Справа стоял дом, который вполне мог служить временной резиденцией для коменданта, а чуть поодаль – большое новое строение, пригодное для административного центра. Полуразрушенный взрывом морт может стать временной лагерной конюшней. Кунде показал две каменоломни вне пределов лагеря, которые были видны отсюда. Одна располагалась на дне небольшой долины, а вторая на холме для вагонеток. Как только погода чуть улучшится, ее прокладка продолжится.

Они двинулись в юго-восточную часть будущего лагеря вдоль виднеющейся из-под снега колеи, которая могла тянуться до горизонта. Но колея неожиданно обрывалась у округлой возвышенности, окруженной широким и глубоким рвом – когда-то это было частью австрийских земляных укреплений. Для артиллеристов они представляли собой неплохой редут, под прикрытием которого можно было бы вести продольный огонь по дороге из России. Унтерштурмфюрер Гет увидел тут место, годное, для дисциплинарных наказаний.

Отсюда открывалось взгляду все пространство лагеря. Типично сельская местность, зажата между двумя холмистыми возвышенностями, часть которой была отведена под еврейское кладбище. Для наблюдателя с того места, где некогда располагался форт, оно представлялось двумя чистыми страницами огромной книги, слегка повернутыми под углом. У входа в долину располагалось сельское строение из серого камня и мимо него, вдоль отдаленного склона, петляя среди нескольких законченных бараков, тянулась вереница женщин, черных, как закорючки на нотном стане, залитые угасающим светом зимнего вечера. Появляясь на обледеневших улицах за Иерусалимской, они карабкались по белому заснеженному склону, подгоняемые окриками украинских охранников, и, подчиняясь указаниям техников СС в шляпах и гражданских пальто, складывали детали деревянных конструкций.

«Ценность их работы весьма сомнительна», – заметил унтерштурмфюрер Гет. Конечно, из гетто никого сюда нельзя переместить, пока не будут построены бараки: не возведена ограда из колючей проволоки и не поставлены сторожевые вышки. У него нет претензий по поводу медлительности, с которой работают заключенные на том холме, доверительно признался он им. В глубине души он просто поражен, что в этот холодный день так поздно солдаты СС и украинская охрана не позволяют мыслям о теплом бараке и миске супа снизить темп работы.

Хорст Пиларцик заверил его, что работы гораздо ближе к завершению, чем это может показаться с первого взгляда: площадка выровнена, несмотря на холода подготовлен котлован под фундаменты и с железнодорожной станции доставлено большое количество элементов конструкций. Завтра у герра унтерштурмфюрера будет возможность проконсультироваться с производителями работ – встреча назначена на 10 часов. Но современные методы строительства, сопряженные с привлечением достаточного количества рабочей силы, позволяют предполагать, что в течение суток, если позволит погода, основные работы будут завершены.

Казалось, что Пиларцик был полон серьезных опасений, как бы Гет не пришел в уныние. Но на деле Амон был в восторге. В том, что открылось его глазам, он уже различал окончательные очертания этого места. Да и наличие ограды его не особенно беспокоило. Она должна служить скорее целям душевного успокоения заключенных, чем ограничивать их. После того, как Подгоже

стало свидетелем методов ликвидации, применяемых СС, люди будут только благодарны возможности перебраться в бараки в Плачуве. Даже те, у кого будут соответствующие документы, приползут сюда, моля, чтобы им дали притулиться хотя бы в траве, у заиндевевших корней деревьев. Для большинства из них проволока будет нужна, только как предлог для оправдания, дабы убеждать себя, что они стали заключенными против своей воли.

Встреча с местными владельцами предприятий и инспекторами имела место утром следующего дня в резиденции Элиана Шернера в центре Кракова. Амон Гет прибыл с покровительственной улыбкой на губах и в отглаженной форме Ваффен СС, ловко облегающей его крупное тело и, казалось, заполнил собой все помещение. Он не сомневался, что, очаровав своим обаянием независимых предпринимателей Боша, Мадритча и Шиндлера, убедит их переместить свою еврейскую рабочую силу за проволоку лагеря. Кроме того, исследование наличия квалифицированной рабочей силы среди обитателей гетто помогло ему убедиться, что Плачув может стать источником неплохих сделок. Там были ювелиры, обойщики, портные, которых можно будет использовать лишь с разрешения коменданта, когда будут поступать заказы от СС, вермахта и уважаемых представителей немецкой администрации. На территории будут располагаться пошивочные мастерские Мадритча, эмалировочная фабрика Шиндлера, предполагаемые металлообрабатывающий заводик, щеточная фабрика, складские помещения для ремонта пострадавшей военной формы, поступающей с русского фронта, другие склады для использования еврейской одежды из гетто, которая после обработки будет направляться семьям, пострадавшим от бомбежек. По опыту работы с драгоценностями и мехами, проходившими через отделение СС в Люблине, и видя делишки начальства, каждый из которых имел свой куш, он знал, что неизменно будет получать неплохие проценты от всех возможностей, предоставляемых лагерем. Карьера дала ему прекрасную возможность совмещения служебного долга и финансовых возможностей. Прошлым вечером за обедом веселый и компанейский шеф СС Юлиан Шернер дал понять Амону, какие великолепные возможности Плачув может предоставить молодому офицеру – или, точнее, им обоим.

Шернер и открыл встречу с представителями предприятий. Он торжественно оповестил о «концентрации рабочей силы», словно это был великий экономический закон, заново открытый чиновниками из СС. Ваша рабочая сила неизменно будет находиться под руками, сказал Шернер. Текущий ремонт фабричных сооружений будет проводиться бесплатно и не будет взиматься арендная плата. Всех присутствующих сегодня приглашают осмотреть производственные площади в пределах Плачува.

Приглашенным представился новый комендант. Он сказал, что польщен сотрудничеством с теми деловыми людьми, чей ценный вклад в дело военных усилий давно пользуется широкой известностью.

На карте Амон показал участки, отведенные под предприятия. Они располагались рядом с мужской половиной лагеря; женщинам – он упомянул о них с легкой очаровательной улыбкой – придется преодолевать несколько большее расстояние, от ста до двухсот метров по склону, чтобы добраться до цехов. Он заверил господ, что главная его задача – лишь обеспечить бесперебойное функционирование всех лагерных структур и что у него нет ни малейшего намерения вмешиваться в производственную политику или как-то посягать на ту управленческую автономию, которой они пользуются тут в Кракове. Его приказы, как может подтвердить оберфюрер Шернер, строжайшим образом будут запрещать такого рода вмешательство. Но оберфюрер был совершенно прав, указав на взаимные выгоды, которые получают обе стороны, если производство будет развиваться в пределах лагеря. Владельцам не придется платить за предоставляемые площади, а он, комендант лагеря, будет избавлен от необходимости охранять заключенных по пути в город и обратно. Они без труда могут представить себе, в какой мере протяженность пути и враждебность поляков к колоннам евреев скажутся на производительности их рабочей силы.

Во время своего выступления комендант то и дело поглядывал на Мадритча и Шиндлера, тех двоих, которых он особенно старался убедить. Он уже знал, что вполне может положиться на знания местных условий Боша и его советы. Но вот герр Шиндлер, например, имел у себя участок по производству вооружений, пусть маленький и еще в процессе становления. Тем не менее, если удастся перетащить его к себе, Плачув сразу же обретет вес в глазах инспекции по делам вооруженных сил.

Герр Мадритч слушал, погрузившись в мрачную задумчивость, а герр Шиндлер рассматривал оратора с мягкой усмешкой. И еще не закончив свое выступление, комендант Гет инстинктив-

но понял, что Мадритча удастся уговорить и он переведет свое производство, а Шиндлер, скорее всего, откажется. Исходя из этих двух решений, столь разных, трудно было судить, кто из двоих с большей покровительственностью относится к своим евреям – Мадритч, который предпочтет окаться в Плачuve вместе с ними, или же Шиндлер, который решит оставить их на «Эмалии».

Оскар Шиндлер, сохраняя на лице то самое выражение бесконечной снисходительности, отправился вместе со всеми осматривать пространство лагеря. Плачув уже начал обретать соответствующий вид – улучшившаяся погода позволила начать сборку барачков, а оттаявшая земля – копать ямы под отхожие места и мусоросборники. Польская строительная компания уже тянула по периметру мили колючей проволоки. На фоне городских кварталов Кракова, вырисовывающихся на горизонте, уже громоздились опоры сторожевых вышек, а также у въезда в долину с улицы Велички в дальнем конце лагеря. Поднявшись в тень австрийского земляного форта на восточном склоне холма, группа официальных лиц стала свидетелями того, как быстро и эффективно кипит работа. Справа, как заметил Оскар, женщины месили глинистую тропу от колеи, таская на руках тяжелые секции барачков. С самой нижней точки долины и вверх по отдаленному склону поднимались ряды дощатых барачков; мужчины-заключенные поднимали, собирали и сколачивали их с энергией, которая с этого расстояния напоминала трудовой энтузиазм.

На самом лучшем месте, на ровной площадке под ногами компании уже стояли длинные цементные сооружения, готовые принять в себя производства. На цементных основаниях можно было без опаски устанавливать тяжелое оборудование. За монтажом производственных мощностей будет наблюдать СС. Надо, правда, признать, что дорога, которая вела в лагерь, скорее напоминала сельскую тропу, но строительная фирма Клуга уже взяла подряд на строительство центральной улицы, ведущей в лагерь, а железная дорога обещала подвести ветку к самым воротам и к каменоломне внизу справа. Измельченный известняк из каменоломни и щебенка расколотых надгробий еврейского кладбища, которые Гет назвал «позором для поляков», обеспечат прокладку внутренних дорог в лагере. Так что господам не стоит беспокоиться из-за отсутствия путей, сказал Гет, ибо он собирается первым делом организовать постоянные команды для работы в каменоломне и укладки дорожных покрытий.

Под вагонетки будет проложена узкоколейка. Она протянется из каменоломни мимо административного корпуса и больших каменных барачков, которые будут возведены вон там – для гарнизона СС и украинцев. Вагонетки с камнями, каждая весом в шесть тонн, будут тянуть команды из женщин, по тридцать пять или сорок человек в каждой, за канаты, укрепленные с каждой стороны вагонетки, чтобы компенсировать неровности колеи. Те, кто споткнется и упадет и не успеет откатиться в сторону, будут просто растоптаны, поскольку команда должна двигаться в едином ритме и никому не будет позволено нарушать его. Оценивая это хитро продуманное производство, унаследованное от египетских фараонов, Оскар почувствовал тот же самый тошнотворный спазм, ту же пульсацию крови в висках, что охватили его, когда он сидел в седле над Кракузой. Гет заверил примолкших деловых людей, что ощущает с ними полное родство духа. Он отнюдь не был смущен дикой картиной, развертывающейся под ними. И вопрос был точно таким же, что возник на Кракузе: что вообще может смутить СС? Что может смутить Амона Гета?

Энергию, с которой на глазах столь непросвещенного наблюдателя, как Оскар, трудились строители барачков, можно было объяснить их стремлением скорее возвести укрытия для своих женщин. Но хотя до Оскара еще не дошли слухи, этим утром Амон устроил перед всеми показательную казнь, так что теперь они, вне всякого сомнения, уложатся в конечные сроки. После встречи в ранние утренние часы с инженерами-строителями Амон по Иерусалимской направился к будущим казармам, за возведением которых следил прекрасный унтер-офицер, уже представленный на получение офицерского звания, Альберт Хайар. Отдав честь, Хайар отрапортовал о происшествии. Часть фундамента под одним из барачков осела, побагровев от смущения, сказал Хайар. Амон уже обратил внимание на девушку, мелькающую среди конструкций полувозведенного строения: обращаясь к рабочим, она что-то объясняла и показывала им.

– Кто это? – спросил он Хайара.

– Заключенная Диана Рейтер, – объяснил Хайар, – инженер-строитель, которую привлекли к возведению барачков. Она утверждает, что была допущена ошибка при работе над котлованом и требует выкопать весь цемент и камни и заново отрыхтовать весь котлован.

По цвету лица Хайара Гет мог утверждать, что он уже сцепился с этой женщиной. Хайару, действительно, пришлось признать, что он гаркнул на нее: «Вы тут бараки строите, а не долбаный

отель „Европа“!»

Амон одарил Хайара кривой усмешкой.

– Мы не должны спорить с этой публикой, – сказал он, – если им дан приказ. Доставьте мне девку.

По ее походке, по небрежной элегантности, воспитанной ее родителями, выходцами из среднего класса, по европейским манерам, внушенным ей в семье, Амон безошибочно мог предположить, что, поскольку среди честных поляков ей не было места в их университетах, ее послали учиться в Вену или Милан, дабы приобрести профессию, которая даст ей в жизни опору и защиту. Она подошла к нему с таким видом, словно они были соратниками по стычке с глупой солдатней и неумехами из инженерного корпуса СС, которые наблюдали за созданием фундамента. Она не подозревала, какую он испытывал к ней ненависть – ко всем этим личностям, которые считают, что даже в присутствии СС, даже возводя эти строения, они могут не обращать внимания на свое еврейство.

– Вы вступили в спор с обершарфюрером Хайаром, – как неоспоримый факт, сказал ей Гет.

Она смело кивнула. Герр комендант должен все понимать, говорил ее жест, пусть даже этому идиоту Хайару и не под силу такое. «Фундамент с этого конца надо полностью переложить», – с пылом стала она ему объяснять. Конечно, Амон знал, что «они» все такие, что им лишь бы отлынивать от дела, а рабочая сила будет бездельничать во время проволочек. «Если сейчас все не переделать, – продолжала она ему объяснять, – в конечном итоге этот край барака совсем осядет. И, возможно, рухнет все здание».

Она продолжала доказывать, но Амон, кивая, понимал, что она врет. Это было первым правилом: никогда не слушать еврейских специалистов. Все они выкормыши Маркса, чьи теории имеют целью подорвать непоколебимость, цельность правительств и доверие к ним – а также Фрейда, который подвергает опасности ясность и цельность арийского мышления. Амон почувствовал, что доводы этой девчонки угрожают цельности его собственного мышления.

Он подозвал Хайара. Унтер-офицер смущенно подошел к нему, решив, что сейчас получит приказ подчиниться указаниям этой девчонки. Она тоже пришла к такому же выводу.

– Пристрелить ее, – сказал Амон Хайару.

Естественно, наступила пауза, в течение которой Хайар осмысливал приказ.

– Пристрелить ее, – повторил Амон.

Хайар взял девушку под локоть, чтобы отвести ее в место, предназначенное для таких экзекуций.

– Здесь! – сказал Амон. – Пристрелить ее здесь! Под мою ответственность, – сказал Амон.

Хайар знал, как это делается. Развернув ее за локоть, он слегка оттолкнул девушку от себя и, вынув из кобуры маузер, всадил ей пулю в затылок.

Выстрел ужаснул всех на рабочей площадке, кроме – такое было впечатление – палачей и умирающей Дианы Рейтер. Стоя на коленях, она успела бросить на него взгляд. «Вам за это воздается», – сказала она. Уверенность в ее глазах испугала Амона, но и наполнила его восторженным чувством справедливости. Он не имел представления, да и не поверил бы, что эти симптомы имеют клинический характер. На деле же он считал, что охватившее его чувство восторга и возбуждения – это награда за действие, полное политической, расовой и моральной справедливости. Но надо сказать, что человек, столь высоко вознагражденный за свой поступок, за полноту этого часа заплатит такой опустошенностью, что ее надо будет заполнить едой, питьем, а также контактом с женщиной.

Кроме этих соображений, расстрел Дианы Рейтер, доказавший никчемность ее западноевропейского диплома, имел и практическую ценность: отныне никому из строителей домов и дорог в Плачуве не придет в голову считать, что они представляют собой какую-то ценность – если уж все профессиональные знания не смогли спасти Диану Рейтер, то всем остальным остается лишь молча повиноваться, стараясь стать как можно более незаметными. И таким образом, женщины, таскающие оконные рамы и дверные косяки со станции ветки Краков-Плачув, и команда в каменоломне, и мужчины, возводящие бараки – все работали с предельной энергией, на которую они были подвигнуты сценой убийства мисс Рейтер.

Что же до Хайара и его коллег, им стало ясно, что казни по поводу и без него будут общепринятым стилем существования Плачува.

Глава 20

Через два дня после посещения Плачува Шиндлер заехал во временную городскую резиденцию коменданта Гета, прихватив с собой для подарка бутылку бренди. К тому времени известие об убийстве Дианы Рейтер дошло до «Эмалии» и стало одним из предлогов, убедивших Оскара, что ни в коем случае нельзя переводить фабрику в Плачув.

Двое крупных мужчин, рассевшись друг против друга, сразу же почувствовали, что между ними установилось взаимопонимание – нечто вроде той мгновенной связи, что на короткое время вспыхнула между Амоном и мисс Рейтер. Оба они понимали, что пребывание в Кракове им обоим должно принести благосостояние; но что при этом Оскар готов заплатить за одолжение. На этом уровне Оскар и комендант прекрасно понимали друг друга. Оскар обладал характерным для коммивояжеров даром убеждать нужного ему человека так, словно тот был его братом по духу, и ему столь успешно удалось ввести в заблуждение коменданта Гета, что тот неизменно считал Оскара своим близким приятелем.

Но по свидетельствам Штерна и прочих, не подлежит сомнению, что со времени первой же их встречи Оскар воспринимал Гета как человека, который идет убивать столь же спокойно, как чиновник отправляется в свою контору. Оскар мог оценивать Амона как администратора, Амона как дельца, но в то же время он понимал, что девять десятых личности коменданта не подпадают под понятие нормального человеческого существа. Деловые же и общественные связи между Оскаром и Амоном развивались настолько удовлетворительно, что невольно вызывали искушение предположить, что Оскар каким-то образом, пусть и презирая самого себя, восхищался злом, воплощенным в этом человеке. На деле же никто из знавших Оскара в то время или позже не мог заметить и следа подобного восхищения. Оскар презирал Гета со всей силой страсти, не нуждающейся в объяснениях. Презрение его порой угрожало обрести такую форму, что оно могло самым драматическим образом сказаться на его карьере. Тем не менее трудно было избежать мысли, что Амон воплощал темные стороны натуры Оскара, доведись тому в силу несчастного стечения обстоятельств стать фанатичным убийцей.

Отдав должное стоящей между ними бутылке бренди, Оскар объяснил Амону, почему для него невозможно перебраться в Плачув. Его предприятие – слишком сложное производство, чтобы его можно было перебазировать. Он не сомневался, что его друга Мадритча устроит предложение переселить еврейских рабочих, но технику Мадритча куда легче переместить – в основном она представляет собой лишь ряд швейных машин. Но возникают совсем иные проблемы, когда надо снимать с фундаментов массивные прессы для металла, у каждого из которых, как и подобает столь сложной технике, свой нор. Чтобы установить их на новом основании, надо создавать совершенно иную систему эксцентриситетов. Это приведет к задержкам в выпуске продукции: период монтажа и наладки потребует куда больше времени, чем у его уважаемого приятеля Мадритча. Унтерштурмфюрер должен понимать, что, будучи связанным необходимостью выполнять столь важные военные контракты, ДЭФ не может позволить себе так транжирить время. Герр Бекман, который столкнулся с теми же проблемами, уволил всех своих еврейских рабочих с «Короны». Он не хотел, чтобы утреннее шествие евреев на работу и вечернее из возвращение вызывало какие-то беспорядки. К сожалению, у него, Шиндлера, на несколько сот высококвалифицированных рабочих больше, чем у Бекмана. Если он избавится от них, потребуется немалое время, чтобы полностью заменить их поляками – а это опять-таки приведет к срыву поставок военной продукции, срыву даже большему, чем если бы он принял столь привлекательное предложение Гета и переехал в Плачув.

В глубине души Амон предположил, что Оскара беспокоит нечто совсем иное: переезд в Плачув помешает его делишкам, которые он прокручивает в Кракове. Тем не менее комендант поспешил заверить герра Шиндлера, что он никоим образом не собирается вмешиваться в вопросы управления его предприятием.

– Меня беспокоят чисто производственные проблемы, – ханжески заверил его Шиндлер. Он не хотел бы причинять неудобства господину коменданту, но будет ему искренне благодарен, как, в чем он не сомневается, и инспекция по делам армии, если ДЭФу будет позволено остаться на прежнем месте.

Среди таких людей, как Гет и Оскар, слово «благодарен» имело отнюдь не абстрактное значение. За одолжение надо платить. Благодарность может выражаться и в напитках, и в драгоцен-

ных камнях.

– Я понимаю ваши проблемы, герр Шиндлер, – сказал Амон. – И я буду только счастлив после ликвидации гетто предоставлять охрану вашим рабочим, эскортируя их от Плачува до Заблоче.

* * *

Ицхак Штерн как-то днем заглянул в Заблоче по делам «Прогресса» и нашел Оскара в полной прострации, которая объяснялась опасным состоянием бессилия. После того, как Клоновска принесла им кофе, который герр директор употребил с хорошей дозой коньяка, Оскар рассказал Штерну, что он снова побывал в Плачуве: формально, чтобы взглянуть, как там идут дела, на деле же – убедиться, когда лагерь будет готов для приема *Ghettomenschen*.

– Я прикинул, – сказал Оскар.

Он подсчитал количество бараков на дальнем склоне и, зная, что Амон собирается разместить в каждом не менее 200 женщин, увидел, что там, в верхней части лагеря, готовы места для примерно 6.000 обитательниц гетто. В секторе для мужчин, расположенном несколько ниже, было не так много готовых бараков, но учитывая то, как в Плачуве движется работа, на днях там все будет завершено.

Все на предприятии знают, что их ждет, сказал Оскар. И ночной смене нет смысла тут оставаться, потому что им так и так придется возвращаться в гетто. Все, что я могу внушить им, сказал Оскар, снова делая солидный глоток коньяка, они не должны пытаться спрятаться, предварительно не подготовив надежного укрытия. Он слышал, что после ликвидации гетто его будут разбирать буквально по камням. Будет проверено каждое углубление в стене, каждый чердак, где разберут перекрытия, обнюхают каждую дырку, заколотят все погреба. Все, что я могу сказать, – не пытайтесь сопротивляться.

Как ни странно, Штерну, одному из объектов готовящейся акции, пришлось утешать герра директора Шиндлера, которому предстояло быть всего лишь ее свидетелем. Внимание Оскара к своим еврейским рабочим потеряло свою напряженность, уступив место куда более объемной трагедии близящегося конца гетто. Плачув – рабочее учреждение, говорил ему Штерн. И как всякому учреждению, ему суждена долгая жизнь. Он не напоминает Бельзец, который производит трупы подобно тому, как Генри Форд производит автомобили. Да, с появлением Плачува положение дел ухудшается, но это еще не конец всего сущего. Когда Штерн закончил убеждать его, Оскар сидел, вцепившись обеими руками в полированную доску стола, и несколько секунд казалось, что он вот-вот оторвет ее. Понимаете ли, Штерн, сказал он, когда слишком хорошо, это тоже плохо!

Так и есть, согласился Штерн. Таков естественный порядок вещей. Он продолжил спорить, с мелочной дотошностью приводя цитаты и высказывания, но он и сам чувствовал страх. Ибо Оскар, казалось, был на грани слома. Штерн понимал, что если Оскар потеряет надежду, то уволит всех еврейских рабочих «Эмалии», ибо Оскар не хотел иметь ничего общего с этими грязными делами и был полон желания очиститься от них.

Еще придет время добрых дел, сказал Штерн. Пока еще его нет.

Отказавшись от попыток выломать доску стола, Оскар откинулся на спинку кресла и постарался объяснить причину своей подавленности.

– Вы же знаете этого Амона Гета, – сказал он. – Он по-своему обаятелен. Появившись здесь, он может просто очаровать вас. Но он психопат.

В последнее утро существования гетто – оно выпало на «шаббат», 13 марта, субботу, – Амон Гет прибыл на площадь Мира в час, когда по календарю должен был начаться рассвет. Низкая облачная пелена размывала границу между ночью и днем. Он увидел, что люди из зондеркоманды уже на месте и стоят, переминаясь на мерзлой земле в небольшом скверике, покуривая и тихо пересмеиваясь, стараясь, чтобы их присутствие оставалось секретом для обитателей маленьких улочек за аптекой Панкевича. Улица, по которой они явились, была пустынна, в городе царило образцовое спокойствие. Остатки снега вдоль стен подплывали грязью. С достаточной уверенностью можно предположить, что сентиментальный Гет с отеческой гордостью поглядывал на этих молодых людей, в тесном товарищеском кругу ожидавших начала акции.

Амон сделал глоток коньяка, дожидаясь появления штурмбанфюрера Вилли Хассе, человека средних лет, который должен был осуществлять не столько тактическое, сколько стратегическое

руководство акцией. Сегодня предстояло покончить с гетто-А, к западу от площади, занимавшим большую часть этого района, где размещались все работающие евреи (здоровые, полные надежд и самоуверенные) – вот его и предстояло вычистить. Гетто-В, небольшой район в несколько кварталов в восточной части гетто, давал приют старикам и тем, кто был непригоден ни к какой работе. Ими займутся ближе к вечеру или завтра. С ними покончат в огромном лагере уничтожения коменданта Рудольфа Гесса в Аушвице. Гетто-В позволит продемонстрировать честную и мужественную работу. Гетто-А представляет собой вызов их решимости.

Любой хотел бы быть сегодня на его месте, ибо сегодня – исторический день. Еврейский Краков насчитывает около семисот лет своей истории, и вот сегодня к вечеру – или в крайнем случае завтра – эти семь столетий превратятся в прах и Краков станет *judenfrei* (свободен от евреев). Любой мелкий чиновник из СС захочет сказать, что, мол, и он присутствует при сем зрелище. Даже Анкельбах, *Treuhandler* на скобяной фабрике «Прогресс», числящийся отставником СС, натянул сегодня свою унтер-офицерскую форму и явился в гетто со своим взводом. Вне всякого сомнения, в числе участников имел право быть Вилли Хассе со своим боевым опытом, один из работников операции.

Амон страдал от привычной легкой головной боли и чувствовал себя утомленным от отчаянной бессонницы, отпустившая его лишь под самое утро. Но теперь, очутившись на месте действия, он ощутил неподдельное профессиональное вдохновение. Национал-социалистская партия щедро одарила бойцов из СС – они могут идти в битву, не страшась физических опасностей, на их долю выпадет честь и слава, без тех неприятных осложнений, которые портят все дело возможностью получить пулю. Обрести психологическую стойкость было непростым делом. У каждого офицера СС были друзья, которые покончили с собой. Документы СС, составленные для предотвращения этих несчастных случайностей, указывали, что надо твердо и неукоснительно отбросить мысль: мол, если у еврея в руках нет оружия, он лишен социального, политического или экономического влияния. На деле же он вооружен до зубов. Лиши себя чувства жалости, обрети стойкость закаленной стали, потому что даже еврейский ребенок – это бомба замедленного действия, подложенная под твою культуру; еврейская женщина биологически предрасположена к предательству, а еврейский мужчина – куда более опасный враг, чем можно ожидать от любого русского.

Амон Гет был тверд как сталь. Он знал, что никогда не изменит себе, и мысль об этом наполняла его восторженной радостью, как марафонца, уверенного в своей победе. Он презирал ту уклончивость, с которой некоторые изнеженные офицеры предоставляли действовать своим солдатам. Он чувствовал, что в определенном смысле это куда опаснее, чем боязнь самому приложить руку. Он будет для них образцом, что он и продемонстрировал в случае с Дианой Рейтер. Он чувствовал приближение эйфории, той, что весь день будет нести его на своих крыльях внутреннего удовлетворения, которое, подогретое алкоголем, достигнет предела, когда настанет час сомкнуть ряды. И пусть нависла над головами низкая пелена облаков, – он знал, что сегодня один из его звездных дней, и когда на склоне лет он будет окружен миром и покоем, молодежь с восторгом и изумлением будет расспрашивать его о днях, подобных этому.

Меньше чем в километре отсюда доктор Х., врач больницы гетто, сидел в темноте среди своих последних пациентов; он был благодарен судьбе, что тут, на верхнем этаже больницы, они как-то отделены от тянущихся внизу улиц, имея дело лишь со своими болями и лихорадками.

Ибо на улицах уже ни для кого не было тайной, что случилось в инфекционной больнице рядом с площадью. Взвод СС под командой обершарфюрера Альберта Хайара явился в больницу, чтобы положить конец ее существованию, и наткнулся на доктора Розалию Блау, которая, стоя между коек своих больных скарлатиной и туберкулезом, сообщила, что их, мол, нельзя транспортировать. Детей с простудным кашлем уже успели отослать по домам. Но больных скарлатиной опасно перемещать – и для них самих, и для общины; туберкулезные больные настолько слабы, что не могут сами передвигаться.

Поскольку скарлатина в основном является болезнью подросткового возраста, большей частью пациентов доктора Блау были девочки от двенадцати до шестнадцати лет. Представ лицом к лицу с Альбертом Хайаром, доктор Блау указала в качестве свидетельства профессиональности ее диагноза на охваченную лихорадкой девочку с широко раскрытыми глазами.

Хайар же, действуя в соответствии с примером, который неделю назад он получил от Амона Гета, выстрелом разнес голову доктору Блау. Заразные больные, часть которых пыталась подняться со своих коек, а другие продолжали оставаться в бреду, были скошены шквалом автоматного

огня. Когда взвод Хайара покончил со своими обязанностями, по лестнице поднялась команда мужчин из гетто, чтобы разобраться с трупами, собрать окровавленное постельное белье и помыть стены.

Это же отделение было расположено в помещении, которое до войны было участком польской полиции. Все время существования гетто все три ее этажа были заполнены больными. Заведующим его был уважаемый врач, доктор Б. И когда утром 13 марта над гетто занимался тусклый рассвет, на попечении врачей Б. и Х. уже оставалось всего четверо больных, все нетранспортабельные. Одним из них был молодой рабочий парень со скоротечной чахоткой, другим – талантливый музыкант с пораженной почкой. Для доктора Х. было важно как-то уберечь их от паники при звуках очередей. К тому же в палате находился слепой мужчина после инсульта и старик с непроходимостью кишечника, в предельной степени истощения и с искусственным анусом.

Все врачи, включая доктора Х., были медиками высочайшей квалификации. В скудной нищей больничке гетто впервые в Польше были проведены научные исследования болезни Вейла, исследовались возможности пересадки костного мозга и синдромы болезни Паркинсона. Тем не менее этим утром доктор Х. был погружен в размышления по поводу цианистого калия.

Предвидя необходимость самоубийства, Х. должен был обеспечить необходимое количество раствора циановой кислоты. Он понимал, что раствор понадобится и для других врачей. Мрачные события прошлого года сказались на гетто подобно эндемическому заболеванию. Оно заразило и доктора Х. Он был молод и отличался несокрушимым здоровьем. Но ход истории обретал зловещий характер. Мысль о том, что у него есть доступ к цианиду, успокаивала доктора Х. в самые худшие дни. На последнем этапе существования гетто снадобья для него и других врачей более чем достаточно. С мышьяком им практически не приходилось иметь дело. В их распоряжении остались только рвотные препараты и аспирин. Цианид был единственным из оставшихся сложных препаратов.

Этим утром, когда еще не минуло и пяти часов, доктор Х. проснулся в своей квартире на улице Вита Ствоша от шума двигателей грузовиков, раздававшегося из-за стены. Выглянув из окна, он увидел, как у реки собирается зондеркоманда, и понял, что сегодня гетто ждет последняя акция. Побежав в больницу, он нашел тут доктора Б. и медсестер, которые оказались тут по той же причине; не покладая рук они помогали пациентам, еще способным двигаться, спускаться по лестницам, передавая их в руки родственников или друзей, которые доставляли их домой. Когда в палатах не осталось никого, кроме этих четверых, доктор Б. сказал сестрам, что они могут уходить, и все подчинились приказу, кроме старшей медсестры. В компании врачей Б. и Х. она осталась с четырьмя пациентами в опустевшей больнице.

Пока тянулось ожидание, врачи почти не разговаривали между собой. Все они имели доступ к цианиду, и вскоре Х. стало ясно, что доктор Б. также обдумывает этот грустный исход. Да, речь могла идти только о самоубийстве. Но существовала еще необходимость эвтаназии, умерщвления больных. Сама мысль о ней приводила Х. в ужас. У него были тонкие черты лица и подчеркнута застенчивый взгляд. Он мучительно страдал от возможной необходимости преодолеть этические запреты, которые были для него столь же органичны, как собственное тело. Он понимал, что врач с иглой в руках, исходя из здравого смысла, но не имея почвы под ногами, может взвешивать ценность того или иного решения, словно листая прейскурант – то ли ввести цианид, то ли отдать своего пациента зондеркоманде. Но Х. понимал, что такие материи никогда не могут быть предметом подсчетов, что законы этики куда выше и куда мучительнее, чем правила алгебры.

Порой доктор Б. подходил к окну и выглядывал из него, чтобы убедиться, не началась ли акция, после чего возвращался к Х. с мягким профессиональным спокойным взглядом. Доктор Б., в чем Х. не сомневался, так же перебирал различные варианты решения, которые мелькали перед ним подобно карточным картинкам и не придя ни к какому выводу, начинал думать снова и снова. Самоубийство. Эвтаназия. Водный раствор циановой кислоты. Привлекал и другой выход: остаться рядом с больными, подобно Розалии Блау. И еще – впрыснуть цианид и больным и себе. Этот поступок привлекал Х., поскольку он казался не таким пассивным, как первый. В таком состоянии, когда он просыпался три ночи подряд, он испытывал едва ли не физическое удовольствие при мысли, как быстро подействует яд, словно бы он был наркотиком или крепким напитком, необходимым каждой жертве, чтобы смягчить ожидание последнего часа.

Для столь серьезного человека, как доктор Х., сама привлекательность подобного варианта была убедительной причиной не прибегать к препарату. Для него повод к самоубийству мог быть

никак не меньше, чем услышанный от отца рассказ о массовом самоубийстве зелотов Мертвого моря, которые не хотели попасть в плен к римлянам. Иными словами, принцип заключался в том, что смерть не должна служить безопасной уютной гаванью. В основе ее должно лежать яростное нежелание попасть в руки врагов. Конечно, принцип остается принципом, а ужас, пришедший этим серым утром – другое дело. Но Х. был человеком принципов.

У него была жена. У них с женой был другой путь бегства, и он помнил о нем. Он вел через канализационный сток на углу улиц Пивной и Кракузы. По сточной системе – а потом полный риска переход до леса Ойчув. Он боялся его больше, чем быстрого забвения, которое даст цианид. Правда, если его остановят синемундирная полиция или немцы и заставят спустить штаны, он выдержит испытание – спасибо доктору Лаху. Тот был известным специалистом по пластической хирургии, который научил многих молодых краковских евреев, как бескровным образом удлинять крайнюю плоть: укладываясь спать, надо приспособлять к ней отягощающее – например, бутылку с постоянно увеличивающимся количеством воды в ней. Такой способ, рассказывал Лах, евреи использовали во времена римских преследований и усиливающийся напор немецких акций в последние полтора года заставил доктора Лаха вернуть его к жизни. Лах и научил своего молодого коллегу доктора Х. и тот факт, что, случалось, он успешно, срабатывал, еще более отвращал Х. от самоубийства.

На рассвете старшая медсестра, спокойная сдержанная женщина лет сорока, явилась к доктору Х. с утренним докладом. У молодого человека дела шли на поправку, но слепой с его невнятной после инсульта речью был в явном беспокойстве. Ночью музыкант и пациент с искусственным пищеводом мучились болями. Тем не менее теперь в отделении стояла полная тишина; пациенты досматривали последние сны, и доктор Х. вышел на промерзший балкончик, нависший над двором, чтобы выкурить сигарету и еще раз обдумать проблему.

Прошлым летом доктор Х. был в старой инфекционной больнице на Рекавке, когда эсэсовцы решили прикрыть этот район гетто и перебазировать больницу. Выстроив штат медиков вдоль стены, они стали сволакивать пациентов вниз. Х. видел, как у старой мадам Рейзман нога попала между баясинами перил, но тащивший ее за другую ногу эсэсовец не остановился, чтобы высвободить ступню, а продолжал тащить, пока застрявшая конечность не переломилась с громким треском. Таким образом перемещали пациентов. Но в прошлом году никто и не думал, что встанет вопрос об убийстве из милосердия. На том этапе все еще лелеяли надежды, что положение дел улучшится.

А теперь, если даже он с доктором Б. примут решение, хватит ли у него отваги ввести цианид больному человеку – или же он найдет кого-то другого для этого действия и будет наблюдать за ним с профессиональным бесстрашием. Вся эта ситуация отдавала полным абсурдом. Когда решение принято, все остальное уже становится несущественным. Так и так придется произвести это действие.

Здесь на балконе он и услышал первые звуки. Они начались необычно рано и доносились с восточной стороны гетто. Эти лающие выкрики «*Raus, raus!*» в мегафоны, привычная ложь о багаже, который кто-то хотел захватить с собой. По пустынным улицам и среди домов, за стенами которых все застыли в неподвижности, всю дорогу от булыжного покрытия площади и до Надвислянской улицы вдоль реки пополз полный ужаса шепоток, от которого Х. заколотило, словно он мог понять его.

Затем он услышал первую очередь, столь громкую, что она могла пробудить пациентов. После стрельбы воцарилось внезапное Молчание, после чего мегафон рявкнул в ответ на высокий женский плач; рыдания прервались еще одной вспышкой очереди, за которой последовали крики с разных сторон; перекрываемый ревом эсэсовских мегафонов, возгласами еврейских полицейских и других обитателей улиц взрыв горя стих лишь в дальнем конце гетто у ворот. Он представил себе, как это может сказаться на предкоматозном состоянии музыканта с отказавшей почкой.

Вернувшись в палату, он увидел, что все они смотрят на него – даже музыкант. И он скорее чувствовал, чем видел, как оцепенели на койках их напряженные тела, и старик с фистулой заплакал, содрогаясь всем телом.

– Доктор, доктор! – кто-то позвал его.

– Прошу вас! – ответил доктор Х., как бы давая понять: «Я здесь, я с вами, а они еще далеко отсюда». Он бросил взгляд на доктора Х., который прищурился, услышав, как в трех кварталах от них еще кого-то выкидывают на улицу. Кивнув ему, доктор Б. подошел к небольшому шкафчику с

лекарствами в дальнем конце палаты и вернулся с флаконом водного раствора циановой кислоты. Помолчав, Х. подошел к своему коллеге. Он мог отстраниться, предоставив все доктору Б. Ему показалось, что у этого человека хватит сил все свершить самому, не ища оправдания у коллеги. Но это постыдно, подумал Х. – промолчать, не взять на себя часть этой непосильной ноши. Доктор Х., хотя и был моложе доктора Б., учился вместе с ним в Ягеллонском университете; он был специалистом и мыслителем. И он хотел оказать доктору Б. поддержку в эти минуты.

– Ну что ж, – сказал доктор Б., мельком показывая бутылочку Х. Слова его едва ли не были заглушены женским криком и резкими приказами, раздававшимися в дальнем конце Йозефинской. Доктор Б. позвал сестру.

– Дайте каждому пациенту сорок капель в воде.

– Сорок капель, – повторила она. Медсестра знала, что представляет собой этот препарат.

– Совершенно верно, – сказал доктор Б. Доктор Х. тоже смотрел на нее. Да, хотелось сказать ему. Теперь я обрел силу; я могу дать снадобье. Но это может обеспокоить их, если я сам исполню назначение. Каждый пациент знает, что лекарство раздает сестра.

Пока она готовила микстуру, Х. прошел по палате и положил руку на плечо старика.

– У меня есть кое-что, дабы помочь вам, Роман, – обратился он к нему. С изумлением доктор Х. понял, что, ощутив под ладонью сухую старческую кожу, он впитал в себя всю его историю. На долю секунды, словно во вспышке пламени, мелькнул облик юного Романа, уроженца Галиции времен Франца-Иосифа, предмет сладостного обожания женщин, обитательниц *petit* Вены, драгоценного камня на берегах Вислы – Кракова. В военной форме армии Франца-Иосифа он отправляется на весенние маневры в горах. Покрытый шоколадным загаром, он со своей девушкой из Казимировки посещает *patisseries*, царство кружев и бижутерии. Поднимаясь на гору Костюшко, он украдкой срывает у нее поцелуй в кустах.

– Каким образом мир мог так преобразиться при жизни одного человека? – спрашивает этот юноша у старого Романа. От Франца-Иосифа до унтер-офицера СС, который имеет право обречь на смерть и Розалию Блау, и девочку в лихорадке?

– Пожалуйста, Роман, – сказал врач, давая понять, что старик должен расслабить сведенное судорогой тело. Он не сомневался, что зондеркоманда будет тут не позже чем через час. Доктор Х. подавил искушение сообщить ему эту тайну. Доктор Б. оказался щедр в дозировке. Несколько секунд с перехваченным дыханием, легкое изумление – и измученное тело Романа наконец получит возможность отдохнуть.

Когда с четырьмя мензурками явилась медсестра, никто из четырех даже не спросил ее, что она принесла им. Доктор Х. так никогда и не понял, догадались ли они. Отвернувшись, он посмотрел на часы. Он боялся, что выпив снадобье, они начнут издавать какие-то звуки, более страшные и зловещие, чем привычные в больнице шорохи и кашель. Он услышал, как сестра пробормотала: «Вот кое-что для вас». Он услышал, как кто-то набрал в грудь воздуха. Он не знал, была ли то сестра или кто-то из пациентов. «Эта женщина – самая героическая из всех нас», – подумал он.

Когда он снова бросил на нее взгляд, медсестра будила пациента с почкой, предлагая заспанному музыканту мензурку. Из дальнего угла палаты доктор Б. не сводил взгляда с ее накрахмаленного белого халата. Доктор Х. подошел к старику Роману и пощупал его пульс. Его не было. На койке в дальнем конце палаты музыкант заставил себя проглотить пахнущую горьким миндалем микстуру.

Как Х. и надеялся, все прошло мягко и спокойно. Он посмотрел на них – рты чуть приоткрылись, ничего ужасающего, остекленевшие глаза невозмутимы, головы откинута и подбородки утаивались в потолок: их уходу, их бегству мог бы позавидовать любой обитатель гетто.

Глава 21

Польдек Пфедферберг обитал в комнате на втором этаже дома девятнадцатого столетия в конце Йозефинской. Поверх стены гетто ее окна выходили на Вислу, по которой вверх и вниз по течению ползли польские баржи, не догадываясь о последнем дне гетто, а патрульный катер СС легко болтался на воде, как прогулочная яхта. Пфедферберг со своей женой Милой ждал появления зондеркоманды, которая прикажет им убираться на улицу. Мила была хрупкой и нежной молодой женщиной двадцати двух лет; сбежав из Лодзи и очутившись в гетто, она вышла замуж за Польдека в первые же дни пребывания здесь. Она была родом из семьи потомственных врачей; ее

отец, хирург, умер еще молодым в 1937 году, мать ее была дерматологом во время акции в Гарнуве в прошлом году она погибла той же смертью, что и Розалия Блау в инфекционной больнице: ее перерезала очередь из автомата, когда она отказалась покинуть своих пациентов.

У Милы было доброе и веселое детство, тоже прошедшее в Лодзи, где издавна травили евреев, но свое медицинское образование она решила получить в Вене за год до войны. Она встретила Польдека, когда в 1939 году жителей Лодзи переселили в Краков. Милу определили на постой в ту же квартиру, где жил Польдек Пфедферберг.

Как и Мила, он оказался последним представителем своей семьи. Его мать, в свое время создававшая декор квартиры Шиндлера на Страшевского, вместе с отцом была отправлена в гетто Гарнува. Оттуда, как в конце концов стало известно, их увезли в Бельзец, где и убили. Его сестра с мужем, который по документам был арийцем, исчезли в недрах тюрьмы Павяк в Варшаве. И он, и Мила остались одни на свете. С точки зрения темперамента они менее всего подходили друг другу: Польдека знали все в округе, он был типичным лидером и организатором, из тех ребят, которые, когда что-то случается и начальство спрашивает, кто это сделал, делают шаг вперед и берут ответственность на себя. Мила была большей частью погружена в молчание, потрясенная невыразимым ударом судьбы, поглотившей ее семью. В мирное время они были бы великолепной парой. Она была не только умна, но и мудра; при всей своей молчаливости, привлекала к себе внимание. Она была одарена склонностью к иронии, которая нередко умеряла ораторские порывы Польдека Пфедферберга. Тем не менее, именно сегодня они ссорились.

Хотя Мила была не против, если представится такая возможность, оставить гетто и даже видеть перед своим мысленным взором себя с Польдеком в лесу в роли партизан, она смертельно боялась канализационных коллекторов. Польдек пользовался ими не раз, чтобы покинуть пределы гетто, хотя порой на выходе и наткался на полицию. Его друг и бывший преподаватель, доктор Х., тоже не раз говорил, что канализация может стать путем спасения, ибо вряд ли ее будут так охранять во время появления в гетто зондеркоманды. Все дело лишь в том, чтобы дожидаться наступления ранних зимних сумерек. Спустившись, сразу же надо уходить в левый туннель, который мог привести под улицы, находившиеся не в еврейской части Подгоже; сток выходил на берег Вислы рядом с каналом на улице Заторской. Вчера доктор Х. сообщил ему четко и определенно: врач и его жена попробуют уйти через коллектор и будут только рады, если Пфедферберги присоединятся к ним. Но Польдек еще не мог принять решение за Милу и за себя. Мила испытывала обоснованные страхи, что эсэсовцы могут затопить коллекторы газом или каким-то иным образом захватить их, явившись сразу же в квартиру Пфедферберга в дальнем конце Йозефинской.

День в их мансарде тянулся медленно и напряженно, полный гаданий, в какую сторону им придется подаваться. Соседи, должно быть, тоже ждали. Кое-кто из них, наверное, не в силах больше выносить ожидание, двинулись по дороге, нагруженные багажом и чемоданчиками с самым необходимым, ибо мешанина зловещих звуков заставила их спуститься вниз – зловещий грохот раздавался уже в квартале отсюда, а тут все еще царила застарелая тишина, нарушаемая лишь поскрипыванием перекрытий дома, отмерявшего последние и самые страшные часы жизни в нем. С наступлением сумеречного дня Польдек и Мила поели каждый по куску непропеченного хлеба – те 300 грамм, что приходились на их долю. Звуки акции уже докатились до угла Вегерской, что была лишь в квартале от них и, стихнув там, к полудню возобновились снова. Они перемежались минутами напряженной тишины. Кто-то тщетно пытался забиться в туалет на площадке первого этажа. В этот час отчаянно хотелось верить, что таким путем удастся спастись.

Последний серый день их жизни в доме номер 2 по Йозефинской, несмотря на наступающие сумерки, отказывался подходить к концу. Хотя сумерки так сгустились, что, по мнению Польдека, можно было рискнуть проникнуть в коллектор и до наступления темноты. Поскольку воцарилось относительное спокойствие, ему хотелось бы встретиться и посоветоваться с доктором Х.

– Прошу тебя... – сказала Мила. Но он успокоил ее. Он будет держаться подальше от улиц, прокладывая себе путь через сеть дыр и проломов, которые соединяли один дом с другим. Он был полон уверенности. Этот конец улицы вроде не патрулируется. Он не попадет на глаза ни еврейской службе порядка, ни случайным эсэсовцам на перекрестках и через пять минут вернется.

– Дорогая, – сказал он ей. – Дорогая, я обязан связаться с доктором Х.

Спустившись по задней лестнице, он попал во двор через проем в капитальной стене и, избегая открытых участков улиц, добрался до отдела трудоустройства. Здесь он рискнул пересечь широкий бульвар, нырнув в глубь треугольного квартала многонаселенных домов напротив, где под

навесами, во дворах и коридорах стояли группки людей, обсуждая слухи и прикидывая, что делать. На Кракузу он вышел как раз напротив дома врача. Не замеченный патрулями, сместившиеся к южной границе гетто, он пересек улицу в трех кварталах отсюда, оказавшись в том районе, где Шиндлер впервые стал свидетелем ужасающей расовой политики Рейха.

Дом доктора Х. был пуст, но во дворе Польдек встретил растерянного мужчину средних лет, который рассказал ему, что зондеркоманда уже была здесь, а доктор и его жена сначала прятались, а потом спустились в канализационный колодец. Может, они и правильно сделали, сказал человек. Они еще вернутся, эти СС. Польдек кивнул: он уже знал тактические приемы акции, которые смогли пережить не так много людей.

Он вернулся тем же путем, которым уходил, и снова ему пришлось пересекать улицу. Но дом встретил его пустотой. Мила исчезла с их вещами – все двери были распахнуты, все комнаты пусты. Он прикинул, может, на деле все спрятались в больнице – доктор Х. с женой и Мила. Может, супруги Х. взяли ее с собой, видя в каком она состоянии и из уважения к ее происхождению из длинного ряда врачей.

Польдек торопливо проскочил сквозь другое отверстие в стене и другим путем добрался до больницы. Как символы безоговорочной капитуляции, с обоих балконов верхнего этажа свисали окровавленные полотнища простыней. На булыжной мостовой лежала гора трупов. У некоторых были проломаны головы, сломаны руки и ноги. Среди них, конечно, не было последних пациентов врачей Х. и Б. Это были люди, которых днем согнали сюда, а потом перебили. Некоторых из них пристрелили наверху и выкинули во двор.

И много позже, когда Польдека расспрашивали о количестве трупов во дворе больницы гетто, он утверждал, что там было 60 или 70, хотя, конечно, у него не было времени сосчитать наваленные грудой тела. Краков был провинциальным городом, и Польдек вырос в Подгоже, где все знали друг друга; затем его семья переехала в центр, где ему вместе с матерью приходилось посещать достойных и уважаемых горожан – и теперь он опознал в наваленной куче трупов несколько знакомых лиц – старых клиентов его матери, тех, кто интересовались его успехами в старших классах школы Костюшко, улыбались его ответам, угощали его конфетами и печеньем, восхищенные его раскованностью и обаянием. Теперь же они распластались в бесстыдных откровенных позах на этом залитом кровью дворе.

Почему-то Пфедфербергу не пришло в голову поискать среди них тела своей жены и супругов Х. Он осознавал, что привело его сюда. Он неколебимо верил, что придет лучшее время, время беспристрастного трибунала. Он чувствовал, что ему придется предстать перед ним свидетелем – то же, что испытал Шиндлер, стоя на холме над Рекавкой.

Его внимание привлекла толпа людей на Вегерской, куда выходил больничный двор. Она двигалась к воротам на Рекавке, напоминая мрачное скопище фабричных рабочих, которые, не выспавшись, поднялись утром в понедельник, или разочарованную толпу болельщиков проигравшей футбольной команды. В толпе он заметил соседей с Йозефинской. Он вышел со двора, неся с собой единственное оружие – память обо всем происшедшем. Что случилось с Милой? Видел ли ее кто-нибудь? Она успела уйти, сказали ему. Зондеркоманда прочесала все вокруг. Но она уже была за воротами, направляясь в Плачув.

Он с Милой, конечно, обговорил порядок действий на случай таких непредвиденных обстоятельств. Если один из них окажется в Плачуве, другому лучше держаться подальше от этого места. Он знал, что Мила обладает способностью быть незаметной – неоценимый дар для заключенного; но она может не выдержать мук голода. Оставаясь на свободе, он будет поддерживать ее. Он не сомневался, что ему удастся как-то решить эту проблему, хотя это будет нелегко – толпы ошеломленных людей, подгоняемые эсэсовцами к воротам с южной стороны и дальше, к обнесенным колючей проволокой предприятиям Плачува, говорили, и, вероятно, вполне справедливо, что спасение для этой массы людей на долгое время будет связано только с этим местом.

Несмотря на поздний час, посветлело, потому что пошел снег. Польдеку удалось пересечь улицу и проникнуть в пустую квартиру в подвальном этаже. Добираясь до нее, он попытался представить, действительно ли она пуста или забита притаившимися обитателями гетто, которые то ли наивно, то ли предусмотрительно считают, что где бы СС ни выловило их, путь лежит прямым в газовую камеру.

Польдек искал надежное убежище. Проходными дворами он добрался до дровяного склада на Йозефинской. Лесоматериалов тут почти не осталось. Штабелей пилочника, за которыми

можно спрятаться, не было видно. Место, которое виднелось из-за железных ворот у входа, выглядело куда лучше. Темный металл их высоких створок обещал укрытие на ночь. Позже он не мог поверить, что с такой охотой сам выбрал это место.

Он скорчился за одной из створок, откинутой к стене брошенного дома. Сквозь щель между воротным столбом он видел Йозефинскую с той стороны, откуда он появился. Ледяной холод литых металлических листьев говорил ему, что опускается холодный вечер, и он запахнул на груди куртку. Мимо пробежали мужчина с женщиной, стремясь к воротам и спотыкаясь о брошенные узлы и чемоданы, на которых болтались бесполезные теперь ярлычки со старательно выведенными фамилиями. «Клейнфильд», в последних проблесках вечера успел прочитать он. Лерер, Баум, Вейнберг, Смолар, Струе, Розенталь, Бирман, Цейтлин... Имена тех, кому уже никогда не получить своих вещей. «Груды добра, отягощенного лишь памятью», – потом описал это зрелище молодой художник Иосиф Бау.

Из-за пределов этого поля битвы, усеянного брошенными трофеями, до него донесся яростный собачий лай. С Йозефинской, двигаясь по дальней ее стороне, показались трое эсэсовцев, один из них удерживал поводок, с которого рвались три огромных полицейских пса. Они втянули своего проводника в дом 41 на Йозефинской, а остальные двое остались ждать на мостовой. Основное внимание Польдека было приковано к собакам. Они походили на помесь далматинского дога и немецкой овчарки. Пфедферберг продолжал считать Краков своим родным городом, полным тепла и добродушия, и эти псы на его улицах выглядели чужаками, словно бы они появились из какого-то другого мира с более жестокими законами. Даже в свой последний час, среди разбросанных вещей, скорчившись за железными воротами, он испытывал любовь к этому городу, и ему хотелось, чтобы неминуемая страшная развязка произошла в другом, не столь родном месте. Но не прошло и полуминуты, как эта мысль покинула его. Худшее, что могло быть, теперь было накрепко связано с Краковом. Сквозь щель он увидел то, что заставило его понять: если и есть в мире воплощение зла, то находится оно не в Тарнуве, Ченстохове, Львове или Варшаве, что бы вы ни думали. Оно явило себя на Йозефинской, в ста пятидесяти шагах от него. Из дома с криком выбежали женщина и ребенок. Один из псов, разорвав в клочья одежду на женщине, вцепился ей в бедро. Эсэсовец, который управлялся с собаками, вырвал из рук у нее ребенка и с размаха ударил его головкой об стену. Звук разлетевшегося черепа заставил Пфедферберга закрыть глаза и он услышал выстрел, который положил конец истерическому крику женщины.

И так же, как Пфедферберг бегло насчитал во дворе больницы от 60 до 70 трупов, он неизменно утверждал, что этому ребенку было два или три годика.

Может быть, еще до того, как голова девочки была размозжена о стенку, не осознавая, что им движет, он поднялся, словно решение было властно продиктовано внутренним голосом, управляющим его действиями. Пфедферберг откинул заиндевевшую металлическую створку ворот, поскольку она все равно не спасла бы его от собак и понял, что находится на открытом пространстве двора. Он сразу же обрел военную подтянутость, которой его научили в польской армии. С деловым видом выйдя с дровяного склада, он, нагибаясь, стал оттаскивать с дороги узлы и чемоданы, складывая их у стены. Он слышал приближение трех эсэсовцев; он чувствовал зловонное дыхание собак и все события вечера сконцентрировались лишь в одной мысли: только бы они не сорвались с поводков. Когда он прикинул, что они шагах в десяти от него, он позволил себе выпрямиться, изображая покорного еврея из какого-то захолустья Европы. В глаза ему бросились голенища сапог, забрызганные кровью, но их владелец отнюдь не испытывал смущения, представ в таком виде перед другим человеком. Офицер, что был между ними, отличался высоким ростом. Ничто в его облике не говорило, что он был убийцей; изящный рисунок рта и крупные черты лица говорили о его эмоциональности.

Несмотря на свой ободранный пиджачок, Пфедферберг попытался в польском стиле шелкнуть сбитыми картонными каблуками и отдал честь высокому эсэсовцу в середине. Он не разбирался в званиях СС и не знал, как обращаться к этому человеку.

– Герр комендант! – сказал он.

Под угрозой смерти его мозг работал с бешеной энергией. И как оказалось, он нашел точные слова, ибо высоким был Амон Гет, которого прошедший день наполнил радостью жизни, полный воодушевления от достигнутых за день успехов, и в той же мере, в какой Польдек Пфедферберг хотел обвести его вокруг пальца, он был полон желания проявить власть.

– Герр комендант, почтительно докладываю, что я получил приказ сложить все это барахло

по одну сторону дороги, чтобы не препятствовать сквозному движению.

Собаки, пытаясь вывернуться из ошейников, тянулись к нему. В силу жестокой дрессировки и после напряженного дня акции, они были полны стремления вцепиться в руки и промежность Пфефферберга. Их рычание было полно не просто ярости, а пугающей уверенности в неизбежном исходе и дело было только в том, хватит ли у герра коменданта и эсэсовца силы удержать их на поводках. Пфефферберг не ждал ничего хорошего. Он бы не удивился, если бы псы стали его рвать и их ярость утихомирилась бы только после пули ему в голову. Если мольбы матери не разжалобили их, что ему может дать эта выдумка с узлами, с расчисткой улицы, по которой никому из людей не ходить.

Но Пфеффербергу удалось привлечь внимание коменданта в большей степени, чем несчастной матери. Он был типичным *Ghettomensch*, изображающим солдата в присутствии трех чинов СС, к которым он испытывает раболепие, если не преклонение. Но кроме того, его манеры ничем не напоминают поведение жертвы. При всех великих свершениях этого дня, никто еще не пытался щелкнуть каблуками. Поэтому герр комендант испытал чисто королевское желание проявить непонятное и неожиданное великодушие. Голова его откинулась назад и он громко и искренне расхохотался, а его спутники, улыбаясь, в удивлении покачивали головами.

Своим выразительным баритоном гауптштурмфюрер Гет сказал:

– Мы сами во всем разберемся.

Последняя группа покинула гетто. *Verschwinde!* – То есть, убирайся, польский оловянный солдатик!

Пфефферберг, не оглядываясь, кинулся бежать, не удивившись, если бы его сбил с ног бросок сзади на спину. Не сбавляя шага он оказался у угла Вегерской и повернул на нее, миновав больничный двор, где несколько часов назад он был свидетелем бойни. Когда он очутился около ворот, окончательно спустилась тьма, скрадывая очертания последних знакомых улиц гетто. На площади Подгоже стояли последние группки заключенных, окруженные редкой цепочкой эсэсовцев и украинских полицейских.

– Я должен выйти отсюда живым, – сказал он людям в толпе.

* * *

Если и не он, то таковым должен был стать ювелир Вулкан с женой и сыном. Все эти месяцы Вулкан работал на «Прогрессе» и, по опыту догадываясь, что должно произойти, явился к инспектору Анкельбаху с массивным алмазным ожерельем, которое два года хранилось, зашитое в подкладке пальто.

– Герр Анкельбах, – сказал он инспектору. – Я готов отправиться всюду, куда меня пошлют, но моя жена не может вынести все эти ужасы насилия.

Вулкану, его жене и сыну была предоставлена возможность провести этот день в полицейском участке под присмотром знакомого из ОД и где-то в течение дня, скорее всего, явится лично герр Анкельбах, который в целостности и сохранности препроводит их в Плачув.

Так что с самого утра они расположились в маленькой комнатке в стенах участка, но ожидание было не столь пугающим, словно бы они оставались у себя на кухне; мальчик то пугался, то, утомленный, засыпал, а жена не переставала шепотом укорять его. Где же он? Да явится ли он вообще? О, эти люди, эти люди! В первой половине дня Анкельбах в самом деле явился, заскочив в участок, чтобы посетить его туалет и попить кофе. Вулкан, выйдя из кабинета в котором сидел в ожидании, увидел Анкельбаха в таком виде, в котором никогда прежде не знал его: облаченный в мундир унтер-офицера СС, он курил и непринужденно болтал с другими эсэсовцами; одной рукой держа кружку, из которой жадно отхлебывал кофе, он то и дело глубоко затягивался сигаретой или, отложив ее, отрывал куски хлеба, в то же время не снимая левой руки с автомата, который, подобно отдыхающему животному, лежал рядом с ним на столе; темные потоки крови виднелись у него на груди форменной рубашки. Уставившись на Вулкана, он не узнал ювелира. Вулкан сразу же понял, что Анкельбах не отказывается от сделки, но он просто забыл о ней. Человек был пьян и не только от алкоголя. Если Вулкан обратится к нему, он просто уставится на него, ничего не понимая. После чего, возможно, случится и что-то более худшее.

Отказавшись от своего намерения. Вулкан вернулся к жене. Она продолжала втолковывать ему: «Почему ты не поговорил с ним? Я сама обращаюсь к нему, если он еще здесь!» Но тут она

увидела, какими глазами Вулкан смотрит на нее и бросила взгляд через щелку в двери. Анкельбах уже собирался уходить. Она увидела незнакомую форму и кровь тех мелких торговцев и их жен, которая заливала ее. Подавив вскрик, она вернулась на свое место.

Как и ее муж, она впала в отчаяние, для которого были все основания, но ждать стало как-то легче. Присутствие знакомого еврейского полицейского заставляло их метаться от надежды к отчаянию. Он сказал им, что всех их из службы порядка, кроме преторианцев Спиры, к шести вечера выведут из гетто и по улице Велички они направятся в Плачув. Он позаботится, чтобы семью Вулкана погрузили на одну из машин.

После того, как сгустились сумерки и Пфедферберг миновал Вегерскую, после того, как последняя группа заключенных собралась у ворот на площади в Подгоже, а доктор Х. и его жена пробирались в восточную часть города в компании и под защитой пьяных поляков; в то время, когда группы зондеркоманды отдыхали и перекуривали перед последним обходом домов, к дверям полицейского участка подъехали два фургона на конской тяге. Семья Вулкана с помощью знакомого полицейского нашла убежище под грудями коробок с бумагами и тюками одежды. Симху Спиры и его компанию нигде не было видно – то ли они были заняты делами на улицах, то ли пили кофе в компании эсэсовцев, радуясь тому, что система продолжает испытывать в них нужду.

Но прежде чем фургон выехал за ворота гетто, Вулкан, распластанный на полу, услышал шквал автоматных очередей и пушечных выстрелов, раздававшихся со всех улиц, которые оставались позади. Они говорили о том, что Амон Гет и Вилли Хаас, Альберт Хайар, Хорст Пиларцик и несколько сот других поливали огнем чердачные перекрытия, ложные потолки и стены, погреба и ниши, находя тех, кто весь день пытался хранить спасительное молчание.

В течение ночи таким образом было обнаружено больше четырех тысяч человек, и все они были расстреляны прямо на улицах. В течение последующих двух дней их тела на открытых платформах свозили в Плачув, где им предстояло быть захороненными в двух общих могилах в лесопосадках под новым лагерем.

Глава 22

Нам не довелось узнать, в каком состоянии души Оскар провел день 13-го марта, последний и самый страшный день гетто. Но к тому времени, когда охрана доставила его рабочих из Плачува, он уже был в состоянии собрать данные и факты, чтобы передать их доктору Седлачеку во время очередного визита дантиста. От заключенных из *Zwangsarbeitslager* Плачув – как его окрестили чиновники из СС – он узнал, что в его пределах царят отнюдь не законы здравого смысла. Гет как-то разразился, таким взрывом ярости, что позволил охране избить техника Зигмунда Грюнберга до бессознательного состояния и его с таким опозданием доставили в клинику рядом с женским лагерем, что его смерть была неизбежной. От заключенных, которые днем поглощали на ДЭФе свой сытный суп, Оскар услышал, что Плачув используется не просто как рабочий лагерь, но с не меньшим успехом, как место казней. Но, хотя слышали о них все, свидетелями их было лишь несколько человек.

Например, М.⁵ у которого до войны была в Кракове контора по отделке домов. В первые же дни существования лагеря он получил указание заняться отделкой помещений для СС, которые представляли собой несколько небольших сельских домиков на краю поляны в северной части лагеря. Как и любой художник, представлявший собой определенную ценность, он обладал несколько большей свободой передвижений и как-то весенним днем направлялся от виллы унтерштурмфюрера Леона Йона по тропке к холму Чуйова Гурка, на вершине которого стоял австрийский форт. Едва только он собрался спускаться по склону на фабричный двор, ему пришлось остановиться, чтобы пропустить мимо себя несколько армейских грузовиков. М. заметил под брезентовыми пологам кузовов женщин, охраняемых украинцами в полевых комбине зонах. Спрятавшись за штабелем бревен, он успел мельком увидеть, как женщин скидывали с машин и гнали внутрь форта, а они отказывались снимать с себя одежду. Человеком, выкрикивавшим приказы, был эсэсовец Эдмунд Строевски. Украинцы-рядовые подгоняли женщин, избивая их плетками. М. предположил, что они были еврейками, может быть, даже с документами об арийском происхождении,

⁵ В данное время проживает в Вене, по его просьбе мы не указываем его настоящее имя.

которых доставили сюда из тюрьмы Монтелюпич. Некоторые плакали под ударами, а другие молчали, словно не хотели доставлять удовольствие истязавшим их украинцам. Одна из них затянула «Шема Исроэль» и остальные подхватили. Их голоса мощно вознеслись над холмом, словно эти девушки – которые еще до вчерашнего дня считались чистокровными арийками – скинули со своих плеч груз притворства, обрели свободу кинуть в лицо Строевскому и украинцам: да, мы другой крови! Они стояли, тесно прижавшись друг к другу, и все были расстреляны выстрелами в упор. Ночью украинцы погрузили трупы на тележки и закопали в лесу у дальнего склона горки.

Обитатели лагеря внизу также слышали звуки выстрелов в ходе первой экзекуции, после которой холм получил богохульное название «Х...вая горка». Кое-кто пытался убеждать себя, что там наверху были расстреляны партизаны, несгибаемые марксисты или сумасшедшие националисты. Их не касается, что происходит там наверху. Если вы повинуетесь приказам и распорядку дня в пределах колючей проволоки, вы там никогда не окажетесь. Но более здравомыслящие из рабочих Шиндлера, проходя по улице Велички мимо кабельной фабрики и поднимаясь в Заблоче к ДЭФ, – они-то знали, почему заключенных из тюрьмы расстреливают именно под стенами старого австрийского форта на холме, почему эсэсовцев волнует, попадутся ли кому-нибудь на глаза грузовики, услышат ли выстрелы в Плачуве. Причина была в том, что СС не рассматривало население лагеря как возможных свидетелей. Если бы они задумались, что когда-нибудь может состояться суд над ними, что появятся в будущем свидетельские показания, они бы завели женщин подальше в лес. И можно сделать единственный вывод, решил Оскар: Чуйова Гурка представляет собой органическую часть Плачува, и все они – и те, кого доставляют на нее в грузовиках, и те, что обитают за проволокой у подножья холма, – всем им вынесен один и тот же приговор.

В то первое утро, когда комендант Гет, выйдя из дверей своей резиденции, убил случайно попавшегося ему на глаза заключенного, еще имело место тенденция считать и это, подобно первому расстрелу на Чуйовой Гурке, единичным случаем, не имеющим ничего общего с упорядоченной жизнью лагеря. На деле, конечно, расстрелы на вершине холма скоро стали привычным явлением, как и утренний ритуал Амона.

В рубашке, галифе и сапогах, на которые вестовой наводил ослепительный глянец, он появлялся на ступенях своей временной резиденции. (На другом конце лагеря уже возводилась новая и лучшая.) Если позволяла погода, он был без рубашки, ибо комендант любил солнечные лучи. Но в данный момент он стоял в той же рубашке, в которой поглощал завтрак, с биноклем в одной руке и снайперской винтовкой в другой. Он неторопливо осматривал район лагеря, работы в каменоломне, заключенных, толкающих и тянущих вагонетки по рельсам, которые проходили недалеко от его дверей. Тот, кто осмеливался поднимать взгляд, успевал увидеть дымок сигареты, которую он держал зажатой в губах, как свойственно человеку, чьи руки заняты подготовкой рабочего инструмента к работе. Через первые же несколько дней существования лагеря он, появившись в дверях, пристрелил заключенного, который, как ему показалось, недостаточно активно толкал вагонетку с камнем. Но никто не мог понять, почему Амон выбрал именно этого заключенного – комендант отнюдь не собирался письменно излагать мотивы своих действий. Выстрел с порога вырывал человека из группы, которая тянула или толкала вагонетку, отбрасывая его на обочину. Остальные, конечно, застывали на месте, с мышцами, которые в ожидании неминуемой бойни сводили судороги. Но Амон, хмурясь, махал им рукой, как бы давая понять, что в данный момент он удовлетворен качеством работы, которого ему удалось добиться от них.

Кроме подобного обращения с заключенными, Амон также нарушил одно из обещаний, которое он дал предпринимателям. Оскару позвонил Мадритч, хотевший, чтобы они оба выступили с совместной жалобой. Амон сказал, что не будет вмешиваться в дела предприятий. Формально он действительно не вмешивался в них. Но он срывал работу одной смены за другой, часами держа всю массу заключенных на *Appelplatz* в ходе проверки. Мадритч упомянул случай, когда в одном из барачков была найдена картофелина, и всех обитателей его подвергли публичной порке перед всеми заключенными. А когда несколькими сотням человек приходится спускать штаны и нижнее белье, задирают рубашки и получают по двадцать пять ударов кнутом каждому, можно представить, сколько это отнимает времени. К тому же, по правилам, введенным Гетом, каждый заключенный должен был сам считать количество ударов, которые ему наносил один из украинцев-надзирателей. Если жертва сбивалась со счета, все начиналось сначала. И проверка на *Appelplatz* коменданта Гета была полна таких номеров, отнимавших кучу времени.

Таким образом, очередная смена являлась на швейную фабрику Мадритча с опозданием на

несколько часов, не говоря уже о Липовой, на которой стояло предприятие Оскара. К тому же они прибывали в совершенном потрясении, неспособные собраться, шепотом излагая друг другу, что сегодня сделал Амон, или Шейдт, или Йон. Оскар обратился с жалобой к знакомому из инспекции по делам армии. К шефу полиции обращаться не имеет смысла, сказал тот. Они ведут совсем другую войну, чем мы. Но я должен, сказал Оскар, побережь своих людей. Чтобы они жили в моем собственном лагере.

Эта идея развеселила собеседника.

– Куда вы засунете их, старина? – спросил он. – У вас же нет столько места.

– Если я смогу раздобыть площадь, – сказал Оскар, – вы подпишете письмо в поддержку этой идеи?

Получив согласие, Оскар позвонил пожилой паре Бельских, который жили на Страдомской. Он поинтересовался, не согласятся ли они выслушать некое предложение касательно участка земли, примыкающего к его фабрике. Он готов приехать за реку, чтобы повидаться с ними. Они были очарованы его манерами. Поскольку его всегда утомлял ритуал торговли, он начал с того, что сразу же предложил им предельную цену. Они угостили его чаем и, не в силах прийти в себя от восторга, позвонили адвокату, чтобы тот поскорее подготовил бумаги, пока Оскар не передумал. Покинув их апартаменты, Оскар по-приятельски заскочил к Амону и сказал, что собирается поставить в Плачuve некий дополнительный лагерь на своем собственном фабричном дворе. Амон был полностью захвачен этой идеей.

– Если генералы СС согласятся, – сказал он, – можешь всецело рассчитывать на мое сотрудничество. Если только ты не захочешь стянуть моих музыкантов и мою горничную.

На следующий день на Поморской состоялась встреча с оберфюрером Шернером, где были поставлены все точки над «i». И Амон и генерал Шернер не сомневались, что Оскар может оплатить все счета для сооружения нового лагеря. Их убедило в этом замечание чисто производственного характера: «Я хочу создать моим рабочим такие условия, чтобы полностью использовать их как рабочую силу» – тем самым он дал понять, что за расходами не постоит. Они воспринимали его как хорошего парня, которому свойственно легкое вирусное заболевание в виде симпатии к евреям. Это мнение в полной мере соответствовало теории СС, что еврейское влияние настолько опутало весь мир, что может добиваться удивительных результатов – вот и герр Оскар Шиндлер достоин жалости, как принц, превращенный в лягушку. Но свою болезнь он обязан оплатить.

Распоряжения обергруппенфюрера Фридриха-Вильгельма Крюгера, шефа полиции генерал-губернаторства и начальника Шернера и Чурды, основывались на правилах, сформулированных отделом концентрационных лагерей генерала Освальда Пола из Главного административно-хозяйственного управления СС, хотя лагерь в Плачuve не подчинялся непосредственно отделу Пола. Основные условия к подобным дополнительным трудовым лагерям СС заключались в возведении ограды не менее девяти футов в высоту, сторожевых вышек на определенных интервалах друг от друга в зависимости от периметра ограды, и туалетов, барачков амбулатории, зубоврачебного кабинета, душевой и вошебойки, парикмахерской, продуктового склада, прачечной, административного помещения, казармы для охраны, конструкция которой должна быть лучше, чем у барачков и прочих дополнительных строений. Амон, Шернер и Чурда пришли к выводу, что Оскар пойдет на такие расходы из чисто экономических мотивов... или в силу каббалистического заклятия, под властью которого он находится.

И даже в этом случае предложение Оскара устраивало их. По-прежнему существовало гетто в Тарнуве в сорока пяти милях к востоку и в случае его ликвидации население придется размещать в Плачuve. А сюда и без того уже прибывали тысячи евреев из *shtetls* южной Польши. Дополнительный лагерь на Липовой позволит снизить уровень напряжения.

Кроме того, Амон понимал, хотя и не считал нужным поставить в известность шефа полиции, что не будет острой необходимости снабжать лагерь на Липовой в полном соответствии с тем минимумом питания, который предписывался директивами генерала Пола. Амон, стрелявший в людей с порога дома, не предполагая услышать ни слова протеста, который во всяком случае не сомневался в существовании официальной точки зрения, что определенный уровень истощения должен иметь место в Плачuve – Амон уже спускал некоторую часть пищевого рациона на рынке в Кракове через своего агента, еврея Вилека Чиловича, поддерживавшем связи с управляющими предприятий, купцами и даже с ресторанами в Кракове.

Доктор Александр Биберштейн, ныне сам узник Плачuve, подсчитал, что ежедневный раци-

он колебался в пределах от 700 до 1.000 калорий. К завтраку заключенные получали пол-литра черного «эрзац-кофе», отдающего желудевой горечью, и кусок хлеба грубого помола весом в 175 граммов, восьмую часть круглой буханки, которую каждый день дежурный приносил в барак из пекарни. «Кому этот кусок? А кому этот кусок?» В полдень полагался суп – морковка, свекла, заменитель саго. Порой он бывал чуть погуще, день на день не приходился. Несколько лучшая пища прибывала в лагерь с рабочими партиями, которые возвращались каждый вечер. Маленького цыпленка можно было спрятать под курткой, французскую булку засунуть в штанину. Тем не менее, Амон старался предотвратить контрабанду, заставляя охрану обыскивать каждую рабочую партию, что в сумерках выстраивалась перед административным корпусом. Он не хотел ни того, чтобы какие-то посторонние силы мешали естественному исхуданию контингента, ни дуновения идеологических ветров, которые могли бы помешать его сделкам, проворачиваемым через Чиловича. Он не баловал своих заключенных и считал, что если Оскар в самом деле заберет тысячу евреев, то пусть уж кормит их за свой собственный счет, не рассчитывая на регулярную поставку припасов со складов Плачува.

Этой весной Оскару пришлось переговорить не только с шефом краковской полиции. Прогулываясь по двору он прикидывал, как убедить соседей. Между двумя щелястыми хижинами, сооруженными из пиломатериалов Иеретца, он направился к заводу радиаторов, которым управлял Курт Ходерман. У того работала целая толпа поляков и примерно 100 заключенных из Плачува. С другой стороны была упаковочная фабрика Иеретца, с немецким инженером Кунпастом в роли инспектора. Поскольку обитатели Плачува составляли незначительное количество их штата и тот и другой восприняли идею без особого энтузиазма, но и не возражали против нее. Ибо Оскар все же предлагал разместить их евреев в 50 метрах от работы, а не в пяти километрах.

Наконец Оскар, расставшись с соседями, направился поговорить с инженером Шмелевски из управления хозяйством гарнизона, что располагалось в нескольких улицах отсюда. На него тоже работал отряд заключенных из Плачува. Возражений у Шмелевски не было. Его имя, а так же Кунпаст и Ходерман были упомянуты в приложении к документам, которые Шиндлер представил на Поморскую.

Наблюдатели из СС посетили «Эмалию», дабы проконсультироваться с топографом Штейнхаузером из инспекции, старым приятелем Оскара. Слушая его разъяснения, они с серьезным видом осматривали участок, задавая вопросы о дренаже. Затем Оскар пригласил их в свой кабинет на чашку утреннего кофе с коньяком, и все разошлись дружески расположенные друг к другу. Через несколько дней прошение об организации дополнительного трудового лагеря на заднем дворе предприятия было удовлетворено.

В этом году ДЭФ получила доход в 15,8 миллиона рейхсмарок. Можно предположить, что Оскар выложил за стройматериалы для лагеря не меньше 300 тысяч рейхсмарок; переплата была значительной, но не смертельной. Истина же заключалась в том, что он только начал платить.

* * *

Оскар обратился с просьбой в *Bauleitung* или в строительный отдел в Плачуве с просьбой отрядить ему в помощь молодого инженера Адама Гарде. Он все еще работал на возведении барачков в лагере Амона и оставив инструкции для строителей под персональной охраной отправился из Плачува на Липовую, чтобы наблюдать за закладкой лагеря Оскара. Когда он впервые оказался на месте, то обнаружил две примитивные хижины, в которых находили приют около 400 заключенных. Вокруг их ограды прохаживалась охрана СС, но заключенные рассказали Гарде, что Оскар не пускает эсэсовцев за ограждение и на территорию завода, не считая, конечно, тех случаев, когда с инспекцией являются высокие чины. Оскар, рассказали они, все время подпаивает небольшой гарнизон СС у «Эмалии» и те счастливы нести тут караул. Гарде все же видел, что заключенные с трудом размещаются в их шатких строениях, мужчины и женщины вместе. Они уже стали называть себя *Schindlerjuden*, давая понять этим выражением, что могут быть благодарны судьбе и самим себе, подобно тому, как человек, оправившийся от инфаркта, может назвать себя счастливым.

Они по-прежнему копали примитивные выгребные ямы, запах которых чувствовался уже у входа на предприятие, а мылись под колонкой во дворе фабрики.

Оскар попросил его подняться в контору и бросить взгляд на чертеж. Шесть барачков при-

мерно на 1200 человек. В одном конце кухня, а казармы СС – Оскар временно расположил их на территории предприятия – рядом с оградой в другом конце. Я хочу поставить первоклассную душевую и большую прачечную, сказал ему Оскар. У меня есть сварщики, которые по вашим указаниям сделают все, что угодно. Тиф, криво усмехаясь, пробурчал он Гарде. Никому из нас не нужен тиф. В Плачuve есть только вошебойка. А мы собираемся кипятить одежду.

Адам Гарде с удовольствием каждое утро отправлялся на Липовую. Двое дипломированных инженеров уже подвергались наказанию в Плачuve, но на ДЭФе специалист по-прежнему считался специалистом. Как-то утром, когда он в сопровождении охранника шагал по улице Велички, откуда-то возник черный лимузин, который остановился перед их носом. Из него вышел унтерштурм-фюрер, вперив в него немигающий взгляд.

Итак, охранник для одного заключенного, заметил он. Что это значит? Украинец доложил герру коменданту, что у него есть приказ каждое утро сопровождать данного заключенного на «Эмалию» герра Оскара Шиндлера. Оба они, и украинец, и Гарде, надеялись, что упоминание имени Оскара обезопасит их. Один охранник, один заключенный? – снова переспросил комендант, но вроде успокоился и вернулся в машину, не попытавшись разрешить ситуацию каким-то радикальным образом. Позже днем он вызвал к себе Вилека Чиловича, который, кроме того, что был его агентом, числился также шефом еврейской лагерной полиции – или «пожарником», как их называли. Симха Спира, в недавнем прошлом. Наполеон гетто, продолжал жить на его территории, наблюдая за розысками и раскопками спрятанных камней, золота и денег, некогда принадлежавших тем людям, чей пепел ныне был рассыпан среди сосновых игл Бельзеца. Тем не менее в Плачuve Спира не пользовался никаким влиянием, ибо за тюремной оградой вся власть принадлежала Чиловичу. Никто не знал, где ее истоки. Может, Вилли Кунде упомянул его имя Амон; может, комендант, присмотревшись к нему, оценил его манеру командовать. Но как бы там ни было, он считался командиром пожарников в Плачuve, для поддержания авторитета которых в этом убогом царстве им было позволено носить специальные фуражки и нарукавные повязки и у которых, подобно Симхе, хватало сообразительности, чтобы не покушаться на властные функции верховного властителя.

Встретившись с Чиловичем, Гет сказал, что он предпочел бы вообще передать Гарде Шиндлеру и покончить с этим. Инженеров у нас хватает, с отвращением сказал Гет. Он имел в виду, что многие евреи предпочитали получать инженерное образование, потому что учиться на медицинских факультетах польских университетов им не разрешалось. Хотя первым делом, сказал Амон, прежде, чем отправиться на «Эмалию», он должен завершить возведение моего концертного зала.

Новость дошла до Адама Гарде, когда он находился в своем отсеке на четырех человек в 21-м бараке. Выполнив это требование, он будет переведен в Заблоче. Но ему придется заниматься строительством неподалеку от задних дверей дома Гета, и Рейтер с Грюгбергом намекнули ему, что там может произойти все, что угодно.

Когда эта работа была наполовину завершена, предстояло поднять наверх на конек крыши массивный брус. Во время работы Адам Гарде слышал лай двух собак коменданта, названных в честь героев газетных рисунков Рольф и Ральф – и видел, как на прошлой неделе Амон разрешил им вцепиться в грудь женщине, заподозренной в небрежности. Сам Амон, получивший начатки технического образования, возвращался на строительную площадку снова и снова и, пытаясь подменить собой профессионалов, наблюдал, как по направляющим поднимают брус. Когда брус уже должен был лечь на место, он начал задавать вопросы, стоя у другого конца массивной сосновой балки. На таком расстоянии Адам Гарде не мог разобрать слов и приложил руку к уху. Гет снова задал вопрос, но Адам не только не услышал его, а к тому же что было еще хуже, не понял его.

– Не понимаю, герр комендант, – пришлось признаться ему. Амон схватил длинными пальцами обеих рук висящий на таях брус, оттянул его торец и пустил его в инженера. Гарде, увидев, как толстое бревно приближается к его голове, успел понять, насколько это смертельное оружие. Он вскинул правую руку, которая приняла на себя удар, раздробивший запястье и фаланги пальцев; от толчка он полетел на землю. Когда рассеялась туманная пелена боли и забытья, Гарде увидел, как Амон, повернувшись, покинул площадку. Может, он появится и завтра, чтобы получить удовлетворительный ответ...

Поскольку он меньше всего хотел, чтобы его видели в таком состоянии, по пути в *Krankenstube* (лазарет) инженер Гарде шел, небрежно опустив поломанную руку и даже чуть помахивая ею, хотя с трудом переносил мучительную боль. Доктор Хильфштейн дал понять, что

придется наложить гипсовый бандаж. В таком виде ему придется продолжить возведение концертного зала для Амона и каждый день ходить в «Эмалию» на работу, надеясь, что длинный рукав пальто поможет скрыть его повязку. В сомнительных ситуациях он будет снимать ее, освобождая руку – пусть даже она срастется неправильно и он останется колчерику. Он не хотел упустить возможности перебраться в лагерь Шиндлера из-за того, что его могут счесть калекой.

Через неделю, с узелком, в котором была рубашка и несколько книг, он наконец был доставлен на Липовую.

Глава 23

Среди заключенных, осведомленных о строящемся новом лагере, началось соперничество за право очутиться на «Эмалии». Заключенный Долек Горовитц, отвечавший за снабжение в пределах Плачува, понимал, что ему самому не удастся попасть к Шиндлеру. Но у него была жена и двое детей.

Малыш Рихард этим весенним утром проснулся рано: земля оттаивала от последним зимних заморозков, курясь легким парком. Он сполз с койки матери, вместе с которой спал в женском бараке и побежал по склону холма в мужской сектор лагеря, видя перед собой тот кусок грубого хлеба, который выдавался по утрам. На утренней поверке на аппельплаце он должен быть рядом со своим отцом. Тропка провела его мимо поста еврейской полиции Чиловича, и несмотря на утренний туман, он попался на глаза часовым на вышках. Но он чувствовал себя в безопасности, потому что его знали. Он был ребенком Горовитца. Его отец представлял собой большую ценность для герра Боша, который, в свою очередь, был собутыльником коменданта. Та свобода передвижений, которой неосознанно пользовался Рихард, была результатом известности его отца; он спокойно прошел под взглядами патрульных на вышках, нашел барак отца и, забравшись к нему на койку, разбудил его вопросами. Почему туман только по утрам, а днем его нет? А грузовики проедут? Долго сегодня будет поверка на аппельплаце? А бить будут?

Отвечая на утренние вопросы Рихарда, Долек Горовитц не мог не думать, что Плачув – неподходящее место для детей, даже пользующихся некоторыми привилегиями. Может, он смог бы как-то связаться с Шиндлером – бывая по делам в административном корпусе, он заходил и в мастерские, где оставлял небольшие подарки и делились новостями с такими старыми знакомыми, как герр Штерн, Роман Гинтер и Польдек Пфедферберг. Поскольку Долек не входил в их число, ему пришлось в голову, что, может быть, на Шиндлера удастся выйти через Боша. Долек прикинул, что они, конечно же, должны встречаться. Может, и не очень часто, но скорее всего, в городских учреждениях или на приемах и вечеринках. Вряд ли они были приятелями, но у них были общие дела, взаимные интересы.

Долек хотел, чтобы в лагерь к Шиндлеру попал не только и не столько Рихард. Интерес к окружающему миру и масса вопросов не позволяют Рихарду ощутить царящий вокруг страх. А вот его десятилетняя дочь Нюся больше не задавала вопросов. Она была одной из тех худых изможденных детей, которые забыли, что такое искренность и открытость; из окна щеточной мастерской, где на верстаке она подравнивала щетину, девочка видела ежедневные вереницы грузовиков, направлявшихся к австрийскому форту на холме – каждый день они переполняли ее ужасом, и она не могла, как любой ребенок, прикинуть к родительской груди и избавиться от страхов. Чтобы заглушить постоянно грызущее ее чувство голода, Нюся приспособилась курить высушенную луковую шелуху в самокрутках из газетной бумаги. Ходили упорные слухи, что на «Эмалии» не будет необходимости таким образом слишком рано становиться взрослыми.

Во время одного из визитов Боша на склад готовой одежды Долек обратился к нему. «Раньше герр Бош был так любезен к нему, – сказал он, – что он осмеливается попросить его переговорить с герром Шиндлером». Он повторил свою просьбу и несколько раз назвал имена детей, чтобы Бош, чья память была основательно подточена шнапсом, запомнил их. «Герра Шиндлера можно считать моим лучшим другом, – сказал Бош. – Он сделает для меня все, что угодно».

Долек ничего не ждал от этого разговора. Его жена Регина не имела ровно никакого опыта в штамповке заготовок и покрытии их эмалью. Сам Бош никогда больше не упомянул о его просьбе. Тем не менее, всего через неделю они отправились на «Эмалию», оказавшись в списке, который комендант Гет подмахнул в обмен на небольшую толику драгоценностей. В женских бараках на «Эмалии» и худенькая миниатюрная женщина, и Рихард быстро освоились, и скоро все знали его

и в цехе боеприпасов и на участке эмалировки; даже охрана признавала его. Регина все ждала, что Шиндлер подойдет к ней на эмалировке и скажет: «Значит, вы жена Долека Горовитца?» И этот вопрос позволил бы ей выразить свою благодарность. Но он так и не подошел. Она с радостью обнаружилась, что на Липовой ни на нее, ни на дочку никто не обращает внимания. Она догадывалась что Оскар знает, кто она такая, потому что он не раз подзывал Рихарда по имени и болтал с ним. По изменившемуся характеру вопросов Рихарда она понимала, какая на их долю выпала удача.

В лагере «Эмалии» не было коменданта, тиранившего заключенных. Не было и постоянного состава охраны. Гарнизон менялся каждые два дня. Пара грузовиков доставляла из Плачува в Заблоче эсэсовцев и украинцев, которые и брали под свою охрану лагерь. Они были только рады, когда им выпадал случай нести вахту на «Эмалии». У герра директора, пусть оборудование кухни и было попроще, чем в Плачуве, кормили не в пример лучше. Поскольку герр директор гневался и начинал тут же звонить оберфюреру Шернеру, если охранники вместо того, чтобы патрулировать вдоль внешнего периметра лагеря, заходили в его пределы, стража держалась по другую сторону изгороди. Дежурить в Заблоче было хотя и скучновато, но приятно.

Если не считать появления с инспекцией старших чинов СС, заключенные, работавшие на ДЭФ, редко попадались на глаза своим охранникам. Один затянутый колючей проволокой проход вел заключенных на эмалировочную фабрику, по другому они добирались до участка боеприпасов. Тех евреев с «Эмалии», которые работали на упаковочной фабрике на заводе радиаторов, в управлении гарнизона, на работу отводили и доставляли обратно украинцы – каждый второй день их команда менялась и никто из охранников не успевал почувствовать особую неприязнь к кому-нибудь из узников.

И хотя каждый эсэсовец мог пристрелить любого из тех, кого доставляли на «Эмалию», Оскар продолжал поддерживать создавшуюся обстановку, которая, несмотря на всю свою хрупкость, продолжала вносить хоть какую-то стабильность в жизнь. Здесь не было сторожевых псов. Не было избиений. И суп, и порции хлеба были и лучшего качества и их было побольше, чем в Плачуве: примерно 2000 калорий в день – в соответствии с рекомендациями врача, который тоже работал в одном из цехов «Эмалии». Смены длились долго, порой по двенадцать часов, ибо Оскар продолжал оставаться деловым человеком, которому надо было выполнять военные контракты, да и кроме того, он с удовольствием получал доходы. Тем не менее, надо сказать, что смены не были потогонными и изматывающими, да и в то время многие заключенные понимали, что их труд в определенной мере способствует их существованию. В соответствии с расчетами, которые Оскар представил после войны в «Джойнт», он потратил 1.800.000 злотых (360.000 долларов) на питание заключенных «Эмалии». Подобные же статьи расходов можно найти в документах «Фарбениндустри» и Круппа – хотя никогда они и близко не приближались к тому проценту от доходов, который тратил Оскар. Истина заключается в том, что на «Эмалии» никто не стал инвалидом и не скончался от непосильной работы, от избиений и голода. В то время как только на предприятии «Буна» концерна «И.Г. Фарбен» из 35 тысяч человек рабочей силы погибло 25 тысяч заключенных.

И уже много времени спустя те, кто трудились на «Эмалии», называли лагерь Шиндлера настоящим раем. И поскольку в это время они уже жили в самых разных местах, нельзя даже предположить, что они договорились задним числом. Тем более что эта оценка могла иметь для них значение только, когда они были на «Эмалии». Конечно, рай тут был относительный, лишь по сравнению с Плачувом. Его обитателей больше всего поражало почти нереальное ощущение свободы и раскованности, нечто невероятное, к чему они даже не хотели слишком внимательно присматриваться из-за опасений что оно может исчезнуть, испариться. Новые рабочие знали об Оскаре только по рассказам. Они старались не попадаться герру директору на глаза, не осмеливались заговорить с ним. Им требовалось время прийти в себя и освоиться с необычной тюремной системой Шиндлера.

Вот взять, например, девушку, которую звали Люся. Ее мужа недавно вместе с другими отделили от толпы заключенных на аппельплаце и отправили в Маутхаузен. И хотя подобные события давно стали привычной реальностью, она с тоской и печалью ощутила себя вдовой. В этом состоянии она и оказалась на «Эмалии». В ее обязанности входило переносить покрытые эмалью заготовки из ванн в печи для обжига. На их раскаленной поверхности разрешалось подогревать воду, да и вообще в цехе было тепло. Лично для нее наличие на «Эмалии» горячей воды было основным ее достоинством.

Впервые она увидела Оскара, когда его высокая фигура двигалась по проходу между пресами вдоль конвейерных линий. В его облике не было ничего пугающего. Она боялась, что если на нее обратят внимание, ей придется расстаться с этим местом, где никого не били, где было вдоволь пищи, отсутствовала внутрилагерная охрана. Она хотела оставаться незамеченной во время работы, после которой по проходу из колючей проволоки она могла добраться до своего барака, до своей койки.

Но некоторое время спустя она поймала себя на том, что утвердительно кивает Оскару в ответ на какой-то вопрос и даже говорит ему: «Да, спасибо, герр директор, я отлично чувствую себя». Однажды он даже дал ей несколько сигарет, которые ценились чуть ли не на вес золота в обменных операциях с польскими рабочими. С тех пор как она узнала, как легко исчезают друзья, она опасалась его дружеского расположения; она хотела, чтобы он продолжал существовать в образе таинственного и могучего покровителя. Рай, которым управляет тот, кого можно назвать другом, слишком хрупок и ненадежен. И чтобы свод небес не рухнул, его должен поддерживать кто-то более мужественный и более таинственный, чей он.

Многие из заключенных «Эмалии» думали точно так же.

В то время, когда лагерь на предприятии Оскара начал свое существование, в Кракове по поддельным документам одной из южноамериканских стран жила девушка, которую на самом деле звали Регина Перльман. Ее смуглая внешность соответствовала данным из документов, по которым у нее было арийское происхождение, и с их помощью она устроилась в управление одной из фабрик в Подгоже. Она была бы в куда большей безопасности от шантажистов, если бы переехала в Варшаву, Лодзь или Гданьск. Но в Плачuve находились ее родители, и она жила по подложным документам и рисковала ради них, чтобы передавать им пищу и лекарства. По дням, проведенным в гетто, она знала, что в еврейской мифологии Кракова есть поговорка – мол, с герром Шиндлером можно вынести все что угодно. До нее также доходили слухи о положении в Плачuve, о каменоломне, о выходящем на балкон коменданте. Она должна была что-то сделать и решила, что лучше всего, если бы ее родители оказались в лагере на дворе предприятия Шиндлера.

В первый раз придя на ДЭФ, она надела скромное платье в цветочек и пришла без чулок. Полный стражник в воротах позвонил наверх в контору герра Шиндлера, и она увидела, что он рассматривает ее через окно. Она не произвела на него никакого впечатления – обыкновенная дешевая девчонка с одной из соседних фабрик. Как и все, жившие по поддельным документам, она испытывала нормальные страхи, что кому-то из недоброжелательно настроенных поляков бросится в глаза ее еврейство. Этот, у ворот, был не расположен к ней.

«Впрочем, неважно», – сказала она ему, когда охранник вернулся, отрицательно качая головой. Она хотела как-то ввести его в заблуждение. Но поляк даже не старался что-то соврать ей.

– Он не может принять вас, – сказал он.

Во дворе завода был виден блестящий капот БМВ, который мог принадлежать только герру Шиндлеру. Он был на месте, но не хотел принимать посетительницу, которая позволила себе явиться к нему без чулок. Она удалилась, с трудом сдерживаясь, чтобы не пуститься в бегство. Во всяком случае, ей не придется излагать герру Шиндлеру признание, о котором ей было страшно подумать даже во сне.

Лишь через неделю у нее опять выдалось свободное время. Она провела не меньше половины дня, продумывая свой внешний облик и манеры. Приняв ванну, она натянула чулки, купленные на черном рынке. У одной из своих немногочисленных подруг – девушка, которая является арийской только по документам, не может себе позволить иметь много подруг – она одолжила блузку. У нее была великолепная жакетка, и кроме того она купила шляпку из лакированной соломки с вуалеткой. Она продуманно наложила косметику, создав образ женщины, жизни которой ничего не угрожает. В зеркале она увидела себя такой, какой была до войны, элегантную краковянку экзотического смешения кровей: отец – венгерский бизнесмен, а мать из Рио-де-Жанейро.

На этот раз, как она и предполагала, поляк у ворот не узнал ее. Пропустив посетительницу, он позвонил Клоновской, секретарше герра директора, которая и соединила его с самим. «Герр директор, – сказал поляк, – тут внизу дама, которая хочет увидеть вас по важному делу». Герр Шиндлер изъявил желание уточнить подробности. «Очень изысканно одетая молодая дама, – сказал поляк и затем, утвердительно кивнув в ее сторону, добавил, – и симпатичная». Словно он был снедаем жаждой поскорее увидеть ее или словно бы она могла раствориться в приемной, Шиндлер встретил ее уже на лестнице. Он улыбнулся, убедившись, что не знает ее. Он весьма польщен

встречей, фрау Родригес. Она поняла, что он испытывает симпатию к красивым женщинам и в его отношении было что-то детское и в то же время присутствовала немалая искушенность. Жестом актера, любимца публики и женщин, он дал ей понять, что она должна проследовать за ним наверх. Она хочет побеседовать с ним в доверительной обстановке, с глазу на глаз! Конечно же, какой разговор. Он провел ее мимо Клоновской, которая спокойно восприняла ее появление. Оно могло означать что угодно – и черный рынок, и дела с валютой. Девушка может быть даже принадлежавшей партизанкой. Меньше всего мотивом может послужить страсть. Во всяком случае, столь неглупая девушка, как Клоновска, не предполагала, что может владеть Оскаром, да и он, в свою очередь, не претендовал на безраздельное обладание ею.

Уже в кабинете Шиндлер предложил Регине стул, а сам уселся за письменный стол под ритуальным портретом *Фюрера*. Не желает ли дама сигарету? Может быть, перно или виски? «Нет, – ответила она, – но он, разумеется, может выпить». Он наполнил свой бокал. «Так что же это за серьезное дело?» – спросил он, уже не с той расточительной любезностью, с какой он встретил ее на лестнице. Да и она переменялась, как только захлопнулась наружная дверь в кабинете. Он мог понять, что дело, приведшее ее сюда, достаточно серьезно. Она подалась вперед. На секунду всё это показалось ей забавным, ей, чей отец уплатил 50 тысяч злотых за арийские документы, предстояло выпалить без пауз, выложить всё полуироничному-полузадаченному судетскому немцу с бокалом коньяка в руке. И все же, с какой-то стороны, это была, быть может, самая простая вещь из всех, что ей приходилось делать.

– Я должна сказать вам, герр Шиндлер... Я – не польская арийка. Моя настоящая фамилия Перльман. Мои родители в Плачуве. Они говорят, и я верю им, что оказаться на «Эмалии» – примерно то же самое, что получить *Lebenskarte* – право на жизнь. У меня нет ничего, что бы я могла предложить вам. Я одолжила одежду, чтобы проникнуть на фабрику. Но не могли бы вы взять их сюда просто так, для меня?

Шиндлер отставил бокал и поднялся.

– Вы хотите провернуть секретное дельце? Я не участвую в секретных сделках. То, что вы предлагаете, фройляйн, противозаконно. Здесь, в Заблоче, у меня производство, и единственное, что меня интересует: есть или нет у человека необходимые навыки. Если вы соблаговолите оставить мне ваши арийское имя и адрес, возможно, я и смогу написать вам в определенное время и сообщить, что я нуждаюсь в услугах ваших родителей. Но не теперь и ни на каких других условиях.

– Но они не могут быть квалифицированными рабочими, – возразила фройляйн Перльман. – Мой отец торговец, а не металлист.

– Нам могут пригодиться и служащие, – заявил Шиндлер. – Хотя предпочтительнее рабочие профессии.

Она признала себя побежденной. Полуослепшая от слез, она написала свое вымышленное имя и настоящий адрес. Он может воспользоваться ими, когда и как захочет. И только на улице она опомнилась и воспряла духом. Шиндлер мог подумать, что она провокатор, что она подослана, дабы скомпрометировать его. Понятно, почему он был холоден. Она не усмотрела ни единого двусмысленного, опрометчивого жеста милосердия в том, как он выставил ее из своего кабинета.

Примерно через месяц господин и госпожа Перльманы перебрались из Плачува на «Эмалию». Не сами по себе, как представлялось это Регине Перльман, а в результате проснувшейся в душе Оскара Шиндлера человечности, они попали туда в составе новой бригады из тридцати человек. Иногда она бродила по Липовой улице и, подкупив стражу, проникала на фабрику. Ее отец замешивал эмаль, разгребал уголь, убирал мусор.

– Но он снова заговорил, – сказала госпожа Перльман своей дочери. – В Плачуве он не вымолвил ни слова.

На самом деле, несмотря на насквозь продуваемые бараки, холод, на «Эмалии» существовал некий стойкий дух, хрупкое доверие, несокрушимое постоянство – те самые вещи, о которых она, живя по поддельным бумагам в угрюмом Кракове, и не мечтала в те времена, когда повсеместно творилось безумие.

Госпожа Перльман не осложняла жизнь герру Шиндлеру, забрасывая его офис благодарностями и экспансивными письмами. Но каждый раз, проходя мимо желтых ворот ДЭФа, она испытывала ни с чем не сравнимую истинную зависть к тем, кто находился за ними.

Следующим памятным случаем оказался перевод из Плачува на «Эмалию» раввина Менаши Левертова, скрывавшегося под видом токаря. Левертов был начинающим городским рабби, юным и чернобородым. Он был куда более либерален, нежели его коллеги из многочисленных польских *Shtetls*. Тех, что свято верили в неоспоримое превосходство Шаббата над всем, в том числе и жизнью. Тех, что в течение 1942–1943 годов расстреливали сотнями по вечерам в пятницы за то, что они отказывались работать в лагерях принудительного труда, разбросанных по всей Польше. Он был из тех людей, что и в годы мира учил свою паству тому, что Господь настолько же удовлетворен упорством благочестивых, насколько он благосклонен к гибкости здравомыслящих.

Ицхак Штерн, работавший в конструкторском бюро административного корпуса Амона Гета, был постоянным поклонником Левертова. Еще в блаженные довоенные дни Штерн и Левертов, предаваясь досугу, могли подолгу просиживать в компании друг друга за стаканчиком медленно остывающей *горбаты*, обсуждая влияние Зороастризма на Иудаизм или наоборот, или концепцию истинного мира в Таоизме. Беседы с Левертовым на темы сравнительной религии доставляли Штерну неизъяснимое наслаждение, недостижимое ни при каких обстоятельствах в разговоре с самоуверенным Оскаром Шиндлером, хотя последний и имел неумную страсть потрепаться на ту же тему.

Во время одного из визитов Оскара в Плачув Штерн сказал ему, что, если Левертова не удастся перевести на «Эмалию», Гет непременно пристрелит его, поскольку Левертов попросту бросается в глаза – таков был способ его существования. А Гет как раз равнодушен к подобным людям: они, подобно лентяям, составляют особый класс – мишеней первого сорта. Штерн поведал Оскару о том, как Гет попытался убить Левертова.

В лагере Амона Гета к тому времени содержалось тридцать тысяч человек. Неподалеку от апельплаца, рядом со старым еврейским моргом, ныне превратившимся в конюшню, разместился и лагерь для польских военнопленных, вмещающий одновременно до тысячи двухсот человек. Обергруппенфюрер СС Крюгер был столь удовлетворен результатами инспекции нового быстрорастущего лагеря, что представил коменданта к повышению сразу на две ступеньки по служебной лестнице СС к чину *гауптштурмфюрера*.

Точно так же, как и толпы из Польши, евреев с Востока и Чехословакии сгоняли в Плачув, пока на западе в Аушвице-Биркенау и Гросс-Розене для них готовили новые приемные пункты. Иногда население разрасталось до тридцати пяти тысяч, и на апельплаце яблоку было негде упасть. По этой причине Амон частенько «прореживал» ряды старожилов, дабы освободить пространство для новоприбывших. Оскару был известен эффективный метод коменданта: тот просто приходил в учреждение или цех, выстраивал людей в две шеренги и одну из них выгонял наружу. Там их забирали и отводили то в австрийский форт, где происходили расстрелы, или (с тем же исходом) на станцию Краков-Плачув, или, как это было принято осенью 1943-го, на железнодорожные пути прямо к стенке барачных СС.

Как раз о такой процедуре Штерн и рассказывал Оскару. Несколько дней назад Амон забрел в металлообрабатывающий цех на фабрику. Надзиратели встали перед ним на вытяжку, как солдаты на посту, и коротко отрапортовали о положении дел (одно неверное слово могло стоить им жизни).

– Мне нужно двадцать пять рабочих металлистов, – объявил Амон надсмотрщикам, как только те закончили отчитываться. – Двадцать пять и ни одним больше. Укажите мне тех, что поспоровистей.

Один из надсмотрщиков указал на Левертова, и рабби пришлось присоединиться к шеренге «избранных», хотя он и заметил, что Амон отметил выбор его особым образом. Конечно, никто заранее не знает, какой шеренге придется отправиться вон и куда приведет их дорога, но все же до сих пор вернейшим способом остаться в живых было попасть в число специалистов.

Отбор тем временем продолжался. Левертов отметил, что цех с утра был подозрительно пуст: вероятно, многие рабочие и те, что частенько отирались у ворот, были предупреждены о предстоящем визите Гета и предпочли перебраться на швейную фабрику Мадритча, где теперь прятались меж тюков ткани или изображали ремонтников ткацких машин. А сорок или около того ротозеев задержавшихся на месте, теперь были построены в две шеренги меж скамейками и токарными станками. Все были безумно напуганы, но шеренга покорооче, казалось, попала в совер-

шенно безнадежное положение.

Потом мальчишка неопределенного возраста, что-то между шестнадцатью и девятнадцатью, не выдержал и крикнул из середины меньшей линии:

– Но, герр комендант, я тоже специалист!

– Да, милый? – промурлыкал Амон, извлек свой служебный пистолет и, подойдя к мальчику, разрядил в его голову. С неправдоподобным грохотом и эхом парнишку отбросило к стене. Он мертв, успел понять оглушенный Левертов перед тем, как без сознания рухнуть на пол.

Ставшая еще более короткой шеренга уже маршировала к железнодорожному депо, тело мальчика увезли на тележке на холм, пол был вымыт, и вновь включены токарные станки, а Левертов, обтачивая дверные петли на своем рабочем месте, все еще переваривал те слова, которые он успел прочесть во вспыхнувших на мгновение глазах Амона. Взгляде, который говорил: «Вот он!» Рабби казалось, что мальчик своим внезапным криком лишь на время отвлек Амона от самого Левертова, мишени куда более основательной и желанной.

Прошло несколько дней, рассказывал Шиндлеру Штерн, и Амон вновь пришел в цех к токарям, обнаружил его переполненным и принялся самолично отбирать кандидатов в форт и на транспорт. Затем он подошел к рабочему месту Левертова, чего, собственно, Левертов и ждал. Левертов даже ощутил запах лосьона после бритья, струящийся от Амона. Он видел накрахмаленные манжеты рубашки Амона. Амон обожал роскошные вещи.

– Что ты делаешь? – спросил комендант.

– Герр комендант, – ответил Левертов, – я делаю петли.

– Сделай одну прямо сейчас, – приказал Амон. Он достал из кармана часы и засек время. Левертов мгновенно обточил петлю, его пальцы подгоняли металл, торопили станок. Уверенные, натруженные пальцы, гордые своей сноровкой. Считая про себя секунды, он обточил петлю всего лишь, как ему показалось, за 55 секунд, и позволил готовой детали упасть к его ногам.

– Еще одну, – скомандовал Амон. После первой скоростной попытки рабби чувствовал себя более уверенным и спокойным, и примерно через минуту еще одна готовая петля скатилась к его ногам.

Амон оценил кучку ранее изготовленных деталей.

– Ты работаешь здесь с шести утра, – процедил он, не отрывая глаз от пола. – И ты можешь работать в том темпе, который только что продемонстрировал мне. И при этом ты сделал так мало деталей.

Левертов понял, что только что своими руками он подписал себе смертный приговор. Амон вывел его на открытое место, но ни один из заключенных не потрудился или не осмелился даже оторвать взгляд от рабочего места. Увидеть – что? Тропу смерти. А тропа смерти проходила в Плачuve повсюду.

Снаружи в мерцающем полуденном весеннем воздухе Амон подвел Менашу Левертова к стене цеха, сжал его плечо и достал пистолет, из которого два дня назад был убит мальчик.

Левертов моргал и смотрел, как другие узники торопливо волокли и складывали всевозможные материалы, стремясь как можно скорее скрыться из виду, и краковяне наверняка думали: «Мой Бог! Это судьба Левертова». Про себя он шептал молитву «Шема Исроэль» и слышал, как потрескивает механизм пистолета. Однако за характерным скрипом трущихся друг о друга металлических деталей не последовало ожидаемого грохота, а всего лишь щелкнуло еще раз так, как щелкает бесплодная зажигалка, бессильная породить огонь. И так же, подобно раздосадованному курильщику, именно с тем самым незначительным бытовым раздражением, Амон Гет извлек обойму с патронами из пистолета, вновь вставил ее на место и выстрелил. И хотя голова рабби качнулась в естественном человеческом порыве в ожидании того, что удар пули сомнет и пробьет ее, подобно компостеру, всё, что выдавил из себя пистолет Гета, было еще одним щелчком.

Гет прозаически выругался:

– *Donnerwetter! Zum Teufel!*

Левертову показалось, что в любую секунду Амон пойдет почем зря крыть паршивую современную индустрию так, словно они два торговца, не сумевшие добиться от товара самого простого эффекта, то есть как: раскурить трубку, просверлить дырку в стене. Амон сунул провинившийся пистолет обратно в кобуру и извлек из кармана пиджака револьвер с перламутровой ручкой того типа, о котором рабби Левертов только читал в каких-то вестернах. "Ясно, – думал он, – никакой скидки и надежды на техническое несовершенство. Он не отступится. Я буду убит

из ковбойского револьвера, но даже в том случае, если все эти стреляющие штучки окажутся бессильными, гауптштурмфюрер Гет не преминет воспользоваться и более примитивным оружием”.

Как говорил Шиндлеру Штерн, когда Гет предпринял еще одну попытку и снова нажал на курок, Менаша Левертов уже стал озираться по сторонам в поисках чего-то поблизости, что могло бы оказаться полезным не менее чем фантастические осечки служебного пистолета Гета. У угла стены была навалена горка угля, впрочем, сама по себе ничего не значащая.

– Герр комендант, – начал было Левертов, но он уже ясно слышал негромкие, но смертоносные шорохи и скрежеты, производимые соприкасающимися частями спускового механизма револьвера. И еще один шелчок дефективной зажигалки. Амон, казалось, готов был выдрать бесполезное дуло из его гнезда.

Теперь рабби Левертов прибег к тактике, которой частенько пользовались надзиратели в цехе.

– Герр комендант. Осмелюсь доложить вам, что количество петель, выработанное мной, оказалось столь неудовлетворительным, потому что с утра мой станок находился на профилактике. И поэтому, вместо того, чтобы точить детали, я был вынужден разгрести вот этот уголь.

Левертову показалось, что он нарушил правила игры, в которую были втянуты они оба. Игры, долженствующей завершиться закономерной смертью Левертова столь же несомненно, как шахматная партия завершается матом. Так, будто бы рабби спрятал короля и игра потеряла всякий смысл. Амон ударил его в лицо свободной левой рукой, и Левертов почувствовал вкус крови, капнувшей на язык с достоверностью охранной грамоты.

После этого гауптштурмфюрер Гет просто оставил Левертова у стены. Таким образом, как наверняка могли бы сказать и Левертов, и Штерн, партия была отложена.

Штерн прошептал сие повествование на ухо Оскару в строительном управлении Плачува. Сутулый, с закотившимися глазами, с ладонями, сложенными как для молитвы, Штерн был как всегда многословен и скрупулезен в деталях.

– Нет проблем, – промурлыкал Оскар. Ему нравилось дразнить Штерна. – Зачем так много слов? На «Эмалии» всегда отыщется место для того, кто способен изготовить петлю быстрее, чем за минуту.

А когда Левертов с женой прибыл в лагерь фабрики «Эмалия», ему выпало пережить еще и то, что первоначально показалось ему не очень удачной религиозной шуткой Шиндлера. Как-то днем в пятницу в военном цехе ДЭФа, где Левертов трудился за токарным станком, Шиндлер объявил ему:

– Что вы здесь делаете, рабби? Вы должны готовиться к Шаббату.

Но когда Оскар передал ему бутылку вина для церемониальных целей, Левертов осознал, что *герр директор* вовсе не шутил. По пятницам, накануне сумерек, рабби оставлял рабочее место и уходил в свой барак за колючую проволоку в глубине ДЭФ. Там, под веревками с подсыхающим стираным бельем, меж громоздящихся под потолок многоярусных нар он мог цитировать «Киддуш» над чашей с вином. Разумеется, под тенью наблюдателя СС.

Глава 24

Оскар Шиндлер, который в эти дни во время верховых прогулок заезжал на фабричный двор «Эмалии», по-прежнему сохранял вид классического магната. Полный обаяния, он несколько напоминал кинозвезд Георга Сандерса и Курта Юргенса, с которыми его постоянно сравнивали. Облегающий сюртук и бриджи отличались изысканным покроем; сапоги были начищены до нестерпимого блеска. Он выглядел как человек, доходы которого не оставляют желать лучшего.

Тем не менее, вернувшись с прогулки по сельским просторам и поднявшись наверх, он столкнулся со счетами, которые были чем-то новеньким в истории даже такого необычного предприятия, как ДЭФ.

Поставки хлеба из пекарни в Плачуве на Липовую в Заблоче, представляли собой несколько сот буханок, доставлявшихся дважды в неделю – и время от времени полкузова корнеплодов. Эти скромные поставки, которых практически не было видно из-за высоких бортов грузовика, конечно же, проходя по финансовым документам коменданта Гета многократно увеличивались и такие его доверенные лица, как Чилович, продавали разницу между тем, что поступало на Липовую и фан-

тастическим богатством, каковым оно выглядело в документах, кладя в карман герра гауптштурмфюрер солидные суммы. Если бы Оскар целиком полагался на Амона, кормившего его лагерь, 900 заключенных получали бы лишь раз в неделю 750 граммов хлеба и суп каждый третий день. Самолично и через своего управляющего, Оскар тратил каждый месяц 50 тысяч злотых на питание, приобретаемое на черном рынке. Случались недели, когда ему приходилось обеспечивать поставку более чем трех тысяч буханок хлеба. В городе ему пришлось переговорить с немецкими инспекторами нескольких крупных пекарен, для чего он прихватил с собой полный бумажник рейхсмарок и две или три бутылки коньяка.

Похоже, Оскар не представлял себе, что этим летом 1943 года во всей Польше никто не мог сравниться с ним в деле незаконного подкармливания заключенных. В соответствии с политикой СС, зловещая волна голода, нависла и над огромными фабриками смерти и над такими маленькими лагерями за колючей проволокой, что стоял на Липовой и смертельная опасность ее не подлежала сомнению.

Этим летом произошло несколько инцидентов, которые стали частью мифологических сказаний о Шиндлере, вызывая почти религиозное преклонение перед ним среди многих обитателей Плачува и всего населения «Эмалии» – как бы ни были плохи дела, Оскар будет их кормильцем и спасителем.

Когда такие дополнительные лагеря только начинали свое существование, им должен был наносить визит старший офицер из головного лагеря или Лады, дабы убедиться, что из рабов выжимают всю энергию самыми радикальными и передовыми методами. Точно неизвестно кто именно из высшего руководства Плачува посетил «Эмалию», но кое-кто из заключенных, да и сам Оскар всегда утверждали, что одним из них был сам Гет. А если не он, то Лео Йон или Шейдт. Или же Йозеф Нейшел, один из любимчиков Гета. Имеются все основания упоминать их имена в связи с «самыми радикальными и передовыми методами». Все из них остались в истории Плачува как исполнители или организаторы самых жестоких акций. И сейчас, посетив «Эмалию», они обратили внимание на заключенного Ламуса, который, по их мнению, слишком медленно толкал тачку по заводскому двору. Оскар потом утверждал, что в тот день прибыл сам Гет, который и обратил внимание на Ламуса, после чего повернулся к молодому эсэсовцу Грюну – бывший борец, тот был еще одним из любимчиков Гета, его телохранителем. И Грюну было приказано казнить Ламуса.

Итак, Грюн задержал его, а инспекция двинулась дальше по заводу. Кто-то из механической мастерской влетел в кабинет герра директора и предупредил Шиндлера. Оскар с грохотом слетел по лестнице, еще быстрее, чем в день визита Регины Перльман и выскочил во двор, где Грюн уже ставил Ламуса к стене.

Оскар заорал:

– Здесь у вас нет прав! Я не могу заставить своих людей работать, если вы начнете тут стрельбу. Я выполняю военные контракты высшей степени срочности – и так далее. Этот подход был привычным аргументом Шиндлера, дополненный упоминанием имен генералов, которым тут же будет доложено о Грюне, если тот сорвет выпуск продукции на «Эмалии».

Грюн был человеком хитрым. Он знал, что инспекция углубилась в цеха, где грохот прессов и шум станков перекрывает любые звуки, исходящие – или не исходящие – от него. Ламус был такой мелкой сошкой для Гета и Йона, что никакого последующего расследования проводиться не будет.

– А что я за это получу? – спросил эсэсовец Оскара.

– Водка устроит? – сказал Оскар.

Цена более чем устраивала Грюна. За полные дни стрельбы из пулеметов во время акций, за ежедневные массовые казни на Востоке, когда людей расстреливали сотнями, команде карателей полагалось по пол-литра водки. Парни из взвода скидывались и все разливалось за ужином. А тут герр директор предлагает ему втрое больше за небольшое отступление от приказа.

– Не вижу бутылки, – сказал он. Герр Шиндлер уже оттащил Ламуса от стенки и толчком отправил его подальше.

– Проваливай! – рявкнул Грюн незадачливому тачечнику.

– В конце проверки вы получите бутылку в моем кабинете, – сказал Оскар.

Оскар сделал нечто подобное, когда гестапо проводило обыск в поисках поддельных документов и среди законченных и полужаконченных нашло фальшивые свидетельства об арийском

происхождении на целую семью Волфейлеров – мать, отца и троих взрослых детей, всех работавших на «Эмалии». Двое гестаповцев явились на Липовую, чтобы забрать семью для допросов, после которых из тюрьмы они напрямиком отправились бы на Чуйову Гурку. По истечении трех часов, проведенных в кабинете Оскара, оба они с трудом спустились по лестнице, хватаясь за перила, полные благодущия после основательной порции коньяка и, как всем стало известно, получив приличную сумму наличными. Изъятые документы теперь лежали на столе у Оскара, который, порвав их бросил в огонь.

Следующими были братья Данцигеры, в одну из пятниц случайно поломавшие пресс. Донельзя смущенные искренние ребята смотрели честными местечковыми глазами на машину, которая только что с громким треском остановилась. Герр директор был в отлучке по делам и кто-то – заводской соглядатай, как всегда говорил Оскар – сообщил о Данцигерах администрации Плачува. Братьев забрали с «Эмалии» и было оповещено, что завтра утром на утренней переключке их повесят на апельплаце в Плачуве. «Сегодня вечером (так было объявлено) обитатели Плачува станут свидетелями казни двух саботажников». В распоряжении Данцигеров, ждавших казни, остались только ортодоксальные верования.

Оскар вернулся из деловой поездки в Сосновец только к трем часам дня в субботу за три часа до обещанной казни. Сообщение о приговоре уже лежало у него на столе. Он сразу же поехал в Плачув, прихватив с собой коньяк и несколько вязок сосисок. Припарковавшись около административного корпуса, он нашел Гета в его кабинете и выразил удовлетворение тем, что не пришлось отрывать коменданта от послеобеденного сна. Никто не знал, какая сделка этим днем состоялась в кабинете Гета, этого ближайшего родственника Торквемады, в кабинете, в стенку которого был вделан рым-болт. К нему привязывали заключенных для экзекуций, в ходе которых они получали инструкции, как себя следует вести. Тем не менее трудно поверить, что Амон удовлетворился только коньяком и сосисками. Во всяком случае, его возмущение из-за поломки принадлежащего рейху пресса после разговора несколько стихло, и к шести часам, когда должна была состояться их казнь, братья Данцигеры, разместившиеся на бархатных сидениях лимузина Оскара, вернулись в долгожданную скученность «Эмалии».

Конечно, все эти победы носили случайный характер. Оскар понимал, что обладая он даже красноречием Цицерона, он не мог бы справиться с иррациональностью некоторых приговоров. Эмиль Краутвирт в те дни работал инженером на фабрике радиаторов и как заключенный СС обитал в лагере Оскара. Он был еще молод, свой диплом он получил только в конце тридцатых годов. Краутвирт, как остальные на «Эмалии», называл это место лагерем Шиндлера, но когда Краутвирта забрали в Плачув для показательной казни, СС дало понять, кому на самом деле принадлежит лагерь, пусть и не в полной мере.

Для части обитателей Плачува, до той поры жившей относительно спокойно, несмотря на пережитые ими страдания, казнь инженера Краутвирта стала первым зрелищем, о котором они могли вспоминать. СС сэкономило даже на своих эшафотах, и виселицы в Плачуве напоминали всего лишь ряд столбов с перекладинами, которым катастрофически не хватало величественности исторических виселиц, гильотин Революции, плах елизаветинских времен, строгой торжественности тюремных виселиц на заднем дворе шерифства. Дожившие до нашего времени виселицы Плачува и Аушвица поражают не своим мрачным величием, а обыденностью. Но многие матери с детьми убедились в Плачуве, что даже столь невзрачные сооружения дали возможность пятилетним заключенным в изобилии наблюдать неоднократные казни у апельплаца. Вместе с Краутвиртом повесили шестнадцатилетнего мальчишку Хаубенштока. Краутвирт был приговорен за несколько писем, которые он написал подозрительным людям в Кракове. А Хаубенштока застали распеваящим «Волга, Волга, мать родная», «Калинка-малинка моя» и другие запрещенные русские песни, с явным намерением, как было сказано в приговоре, склонить украинскую охрану на сторону большевизма.

Правила проведения казней в Плачуве включали в себя требование полного молчания. Не в пример шумной обстановке прежних времен ныне обряд должен был совершаться в полной тишине. Заключенные стояли в плотных колоннах под присмотром мужчин и женщин, которые знали, какой властью они обладают: Хайара и Йона, Шейдта и Грюна, эсэсовцев Лансдорфера, Амтора, Гримма и Шрейбера, а также эсэсовок-надзирательниц, недавно появившихся в Плачуве – Алисы Орловски и Луизы Данц. Под их надзором приговор осужденным был зачитан в полной тишине.

Инженер Краутвирт был настолько ошеломлен, что не смог выдать из себя ни слова, но

мальчишка, не переставая, говорил. Срывающимся голосом он обращался к гауптштурмфюреру, который стоял рядом с виселицей: «Я не коммунист, герр комендант. Я ненавижу коммунизм. Это были всего лишь песни. Обыкновенные песни». Палач, еврей-мясник из Кракова, помилованный за совершенное ранее преступление на условии, что он возьмет на себя обязанности палача, заставил Хаубенштока подняться на табуретку и накинул ему петлю на шею. Амон хотел, чтобы мальчишку повесили первым, положив конец его мольбам. Когда мясник вышиб подпорку из под его ног, веревка порвалась, и мальчишка, багровый от прилива крови, кашляя и задыхаясь, с обрывком петли на шее, пополз на четвереньках к Гету, продолжая молить его; он приник головой к лодыжкам коменданта, обнимая его за ноги. Он был воплощением покорности, и Гету представилась возможность явить свою королевскую милость, какую он позволял себе несколько раз в течение этих сумасшедших месяцев. Из толпы людей на аппельплаце, стоящих с разинутыми ртами, не раздалось ни слова, а только свистящий шепот, шорох, производимый ветром, пролетающим над песчаными дюнами, и Амон, выхватив из кобуры пистолет, отшвырнул мальчишку и прострелил ему голову.

Когда бедный инженер Краутвирт стал свидетелем этого ужаса, он вытащил бритвенное лезвие, спрятанное в кармане и перерезал себе вены на обеих руках. Заключение, стоявшие в первых рядах, видели, что Краутвирт нанес себе смертельное ранение. Но Амон приказал палачу в любом случае продолжить казнь и, залитые кровью, хлеставшей из зияющих ран на руках Краутвирта, двое украинцев подняли его на табуретку под виселицей, где, в потоках крови, лившейся из обеих рук, он дергаясь и повис перед толпой евреев из южной Польши.

* * *

Совершенно естественно, если бы в каком-то закоулке мозга появилась мысль, что такая варварская сцена должна быть последней, что даже Амон должен изменить свои методы и подходы, а если не он, то кто-то из невидимых высоких чинов, пребывающих в высоких кабинетах с широкими окнами и навощенными полами, взгляду которых открывается площадь со старухами, торгующими цветами, должны будут оценить хоть половину того, что происходит в Плачuve и положить этому конец.

Во время второго визита доктора Седлачека из Будапешта в Краков, Оскар и дантист разработали схему, которая более сдержанному, чем Оскар, человеку могла бы показаться наивной. Оскар выложил Седлачеку предположение, что, возможно, одной из причин, по которой Амон Гет ведет себя, подобно дикарю, являются плохие напитки, которые он поглощает, галлоны местного так называемого коньяка, сводящими на нет и без того смутное представление Амона о грядущих последствиях его действий. Из определенной суммы рейхсмарок, которые доктор Седлачек доставил на «Эмалию» и вручил Оскару, часть была потрачена на первосортный коньяк – что было далеко не просто и не дешево в Польше после Сталинграда. Оскар поставит его Амону и в ходе разговора даст понять, что так или иначе, рано или поздно война закончится, а после нее будет расследование действий отдельных лиц. И может быть, даже друзья Амона не смогут забыть его рвения.

Натуре Оскара была свойственна глубокая убежденность, что стоит выпить с дьяволом, и после очередной рюмки коньяка удастся уговорить его не злобствовать. И не потому, что он боялся более радикальных методов. Они просто не приходили ему в голову. Он всегда был склонен к переговорам и компромиссам.

Вахтмейстер Боско, с самого начала охранявший ограду гетто, был, по контрасту с Оскаром, человеком другого склада. Для него стало невыносимо работать по приказам СС, рассовывать то туда, то сюда и взятки, и поддельные документы, прикрывать авторитетом своего звания дюжину-другую ребят, когда сотни других проходят через ворота гетто.

Боско ушел из полицейского участка в Подгоже и исчез в партизанских лесах в Неполомице. В Армии Людовой он старался искупить тот энтузиазм, с которым по неопытности служил нацизму с лета 1938 года. В одежде польского крестьянина его в конце концов опознали в деревушке к западу от Кракова, и он был расстрелян за государственную измену. Так Боско стал мучеником.

Боско ушел в лес, потому что у него не было иного выбора. Он не обладал финансовыми ресурсами, которыми Оскар подмазывал систему. Но оба они делали все что могли – один, пользуясь своим званием и мундиром, а второй – пуская в ход наличность и товары. И нет смысла превозно-

сильно Боско или уничтожать Шиндлера, ибо кто-то сказал, что если даже Оскара и внесут в сонм мучеников, это произойдет по чистому недоразумению, потому что, якобы, любое дело, за которое он брался, у него не получалось. Но существуют люди, которые до сих пор могут дышать и жить – Вольфайлеры, братья Данцигеры, Ламус – именно потому, что Оскар не боялся действовать. И лишь в силу его стараний на «Эмалии» продолжал существовать лагерь, в котором тысяча людей день за днем находила себе спасение, а эсэсовцы не переступали черты ограды. Здесь никто не подвергался избиениям, а суп был достаточно сытным, чтобы можно было существовать. И как подобало их натурам, оба члена партии испытывали к ней моральное отвращение, и тут Боско и Шиндлер были равны, хотя Боско продемонстрировал свое отношение к ней, оставив форму на вешалке в Подгоже, пока Оскар, нацепив броский партийный значок, ехал с грузом отличного коньяка в гости к сумасшедшему Амону Гету в Плачув.

* * *

День уже пошел на вторую половину, когда Оскар и Гет расположились в гостиной белой виллы Гета. Здесь же присутствовала и подружка Гета Майола, хрупкая женщина, работавшая секретаршей на предприятии Вагнера в городе. Она не хотела постоянно пребывать среди эсэсовцев в Плачуве. У нее были изящные манеры, в силу которых прошел слух, что Майола угрожала отлучить Амона от постели, если он будет продолжать свои грубые выходки, стреляя в людей. Но никто не знал, было ли это правдой или одной из тех успокаивающих выдумок, что рождаются в умах заключенных, которым нет места на земле.

Майола провела не так много времени с Амоном и Оскаром сегодня днем. Она сказала, что тут будет простая пьянка. Хелен Хирш, бледная девушка в черном, исполнявшая роль горничной Амона, принесла им все необходимое – пирожные, бутерброды, сосиски. Ее качало от утомления. Прошлым вечером Амон избил ее за то, что она приготовила еду для Майолы, не спросив у него разрешения; утром он заставил ее бегом подниматься и спускаться по трем лестничным маршам виллы не меньше пятидесяти раз за то, что заметил отложенное мухой пятнышко на одной из картин в коридоре. До нее доходили кое-какие слухи о герре Шиндлере, но ей не доводилось видеть его. И днем лицезрение этих двух крупных мужчин в полном согласии рассевшихся в дружеской беседе вокруг низкого столика, не принесло ей успокоения. Ее уже больше ничего не интересовало, ибо она была убеждена, что смерть не заставит себя долго ждать. Она думала только о том, как бы помочь выжить младшей сестре, работавшей на главной кухне лагеря. Она припрятала некоторую сумму денег в надежде, что они помогут сестре выжить. Но никакая сумма, была уверена она, никакая сделка не поможет ей спастись.

Они пили, пока на лагерь не спустились сумерки, не наступила темнота. И много позже, после того, как «Колыбельная» Брамса, наигранная заключенной Тосей Либерман, принесла умиротворение в женский лагерь, а потом затихла, затерялась между деревянных строений мужского, два крупных человека все еще сидели друг против друга. Их увеличившиеся печени прокачивали через себя горячительные напитки. Выбрав соответствующую минуту, Оскар облокотился на стол, подавив приступ недружелюбия, который, как он надеялся, не отразился на его лице, несмотря на выпитое количество коньяка... Итак, Оскар наклонился к Амону и, подобно змию, стал искушать его, несмотря на сопротивление собеседника.

Амон наконец поддался. Оскару показалось, его захватила мысль, что он может позволить себе проявить сдержанность – таковая слабость позволена лишь императору. Амон ярко представил себе рабов, тянущих вагонетки; заключенных, возвращающихся с кабельной фабрики, еле передвигающих ноги, волочащих вязанки дров, которые у них все равно отберут у тюремных ворот. Фантастическая мысль, что он может позволить себе помиловать всех этих незадачливых увальней, теплом разлилась в животе Амона. Как Калигула, может, испытывал искушение предстать Калигулой Милостивым, так и образ Амона Милостивого на какое-то время овладел воображением коменданта. В сущности, у него всегда была такая слабость. Сегодня, когда в жилах у него вместо крови тек золотой ручей коньяка, и весь лагерь спал у его ног, Амон был куда более склонен поддаться чувству милосердия, чем страху перед будущим наказанием. Но к утру он припомнил предупреждения Оскара и связал их с ежедневной сводкой новостей, что русские пытаются прорвать фронт под Киевом. Сталинград был невообразимо далеко от Плачува. Но расстояние до Киева уже нетрудно было себе представить.

Через несколько дней после пьянки Оскара с Амоном, до «Эмалии» дошли сведения, что уговоры и намеки оказали на коменданта свое воздействие. Доктор Седлачек по возвращении в Будапешт сможет доложить Сему Шпрингману, что Амон, наконец, хоть на время прекратил развлекаться случайными убийствами. И мягкий сдержанный Сем, в списке забот и бед которого были лагеря от Дахау и Дранси на западе до Собибора и Бельзеца на востоке, испытает надежду, что дыру в Плачуве удалось хоть на время заткнуть.

Но надежда эта быстро испарилась. Передышка длилась недолго, и тем, кому удалось пережить эти дни в Плачуве, даже не заметили ее. В их восприятии массовые казни никогда не прекращались. Если Амон в то или другое утро не показывался на балконе дома, это отнюдь не означало, что его не будет в следующее утро. И требовалось гораздо больше, чем временное отсутствие Амона с ружьем, чтобы вселить в недоверчивых узников веру в кардинальное изменение характера коменданта. Ибо время от времени он появлялся на ступенях в австрийской шляпе с пером, которую надевал во время убийств, высматривая в бинокль очередного несчастного.

* * *

Доктор Седлачек возвращался в Будапешт не только с радостно обнадеживающими вестями о перемене в Амоне, но и с гораздо более важными данными о лагере в Плачуве. Как-то днем охранник с «Эмалии» явился в Плачув, чтобы доставить в Заблоче Штерна. Едва только тот появился у ворот, его сразу же препроводили наверх в новые апартаменты Оскара. Здесь он представил его двум людям в отлично сшитых костюмах. Одним из них был Седлачек, а другим – еврей, имеющий при себе швейцарский паспорт, – представился Бабаром.

– Мой дорогой друг, – сказал Оскар Штерну. – Я бы хотел, чтобы вы написали полный отчет о ситуации в Плачуве – сколько вам удастся сделать за день. – Штерн никогда раньше не видел Седлачека и Бабара и решил, что Оскар ведет себя исключительно неосторожно. Склонившись под тяжестью руки, лежащей на плече, он пробормотал, что, прежде чем взяться за подобную задачу, он хотел бы в частном порядке переговорить с герром директором.

Оскар уже привык к тому, что Ицхак Штерн просто не в состоянии дать конкретный ответ или ответить на просьбу, пока не прибегнет к нескольким сентенциям из Талмуда, что было для него очистительным обрядом. Но сейчас он сразу же перешел к делу.

– Скажите, пожалуйста, герр Шиндлер, – вам не кажется, что это исключительно рискованно, решить такую задачу?

Оскар взорвался. Прежде чем он взял себя в руки, незнакомцам в другой комнате был слышен его громкий голос.

– Неужели вы считаете, что я стал бы просить вас, будь тут хоть какой-то риск? – успокоившись, он продолжил. – Риск всегда существует, и вы знаете об этом лучше меня. Но не со стороны этих двух человек. На них можно положиться.

В конце концов, Штерн провел весь день за отчетом. Он был ученым и привык к сухой и точной прозе. Спасательная организация в Будапеште, сионисты в Стамбуле получают от Штерна отчет, на который можно всецело положиться. Если распространить данные Штерна на 1.700 больших и малых лагерей по всей Польше, то предстанет картина, которая потрясет весь мир!

Но Седлачек и Шиндлер хотели от Штерна гораздо большего. На следующее утро после кутежа Оскар со своей стоической печенью притащился обратно в Плачув еще до того, как начала работать администрация лагеря. Между уговорами проявить терпимость, которыми Оскар всю ночь доставал Амона, он привез с собой письменное разрешение на посещение двумя «братьями-промышленниками» столь образцового предприятия, каковым является Плачув. Этим же утром Оскар пригласил с собой двух гостей в серое мрачное административное здание и потребовал, чтоб в экскурсии по лагерю их сопровождал *haftling* (заключенный) Ицхак Штерн. У приятеля Седлачека Бабара было нечто вроде миниатюрной камеры, но он носил ее открыто, держа в руках. Можно было поверить, что если его остановит какой-то эсэсовец, он будет только рад возможности задержаться и поболтать с ним, похваставшись игрушкой, которую приобрел во время недавней деловой поездки в Брюссель или в Стокгольм.

Когда Оскар и гости из Будапешта вышли из административного корпуса, Оскар взял за плечи худого сдержанного Штерна. Его друзья будут рады ознакомиться с цехами и жилым сектором, сказал Оскар. Но если Штерн решит, что они обязаны на что-то обратить внимание, он должен

просто остановиться и нагнувшись, завязывать шнурки от ботинок.

По главной дороге Гета, вымощенной раздробленными надгробьями, они двинулись мимо казармы СС. Почти сразу у заключенного Штерна развязались шнурки. Спутник Седлачека шелкнул камерой, засняв группы заключенных, которые волочили вагонетки с камнем из каменоломни, пока Штерн бормотал: «Прошу прощения, господа». Тем не менее он так старательно приводил обувь в порядок, что они смогли, опустив глаза, прочесть отрывки надгробных надписей. Здесь были надгробия Блюмы Гемейнеровой (1859–1927), Матильды Либескинд, умершей в 1912 году в возрасте 90 лет, Хелены Вашберг, которая скончалась при рождении ребенка в 1911 году, Розы Гродер, тринадцати лет, которая ушла в мир иной в 1931-м, Софи Рознер и Адольфа Готлиба, скончавшимися в правление Франца-Иосифа. Штерн хотел, чтобы они увидели имена уважаемых покойников, ныне ставите брусчаткой мостовой.

Двинувшись дальше, они прошли мимо *Puffkaus'a*, борделя для СС и украинцев, обслуживаемого польскими девушками, а затем вышли к каменоломне, где дробили известняковые глыбы. Шнурки на ботинках Штерна окончательно запутались и ему потребовалось много времени, чтобы развязать узел. Люди уничтожали скальное вкрапление, работая клиньями и молотами. Никто из утомленных каменщиков не обратил внимания на двух утренних посетителей. Охранял заключенных Иван, украинский шофер Амона Гета, а надсмотрщиком был длинноголовый Эрик, немец-уголовник. Эрик продемонстрировал свою способность убивать семьи, отправив на тот свет свою мать, отца и сестер. Его ждала петля или пожизненное заключение в одиночке, если бы СС не осознало, что есть худшие преступления, чем отцеубийство, и Эрику стоит дать в руки хлыст, чтобы избивать таких преступников. Как Штерн упомянул в своем отчете, сюда был отправлен краковский врач Эдвард Гольдблатт – стараниями врача-эсэсовца Бланке и его еврейского подопечного доктора Леона Гросса. Эрику нравилось встречать у входа в каменоломню людей культурных и интеллектуальных профессий, которые неумело брались за работу, и Гольдблатта он стал избивать сразу же, как только стало ясно, что тот не умеет управляться с кувалдой и клиньями. Каждый день Эрик и команда из СС и украинцев избивали Гольдблатта. Врачу приходилось работать с вдвое распухшим лицом, с заплывшим глазом. Никто не знал, какая именно ошибка доктора Гольдблатта позволит Эрику прикончить его. Лишь когда он длительное время провалился без сознания, Эрик позволил отнести его в *Krankenstube* (санчасть), где врач Леон Гросс отказался принять Гольдблатта. Получив санкцию медицины, Эрик и дежурные эсэсовцы продолжали избивать умирающего Гольдблатта на пороге больницы в которой ему было отказано в приеме.

Нагнувшись, Штерн долго завязывал шнурки у каменоломни, ибо он, как и Оскар и кое-кто еще в Плачуве, верил в будущего судью, который может спросить: «Где еще – на свете – могло – случиться – такое?»

Оскар мог предоставить своим коллегам возможность бросить общий взгляд на лагерь с Чуйовой Гурки и от австрийского форта, откуда на окровавленных тачках по проложенной колее отвозили трупы в лес, невозмутимо высившийся у входа в лагерь. Уже тысячи мертвецов были захоронены в братских могилах на опушке соснового леса. И когда с востока пришли русские, им пришлось миновать этот лес, полный жертв, прежде, чем перед ними предстал полуживой умирающий Плачув.

Будь Плачув в самом деле индустриальным районом, он бы серьезно разочаровал любого серьезного наблюдателя. Амон, Бош, Лео, Йон, Йозеф Нейшел и другие – все считали его образцовым на том основании, что он обогащал их. Они испытали бы потрясение, доведись им узнать, что одна из причин, по которой их лавочка продолжала существовать, было нежелание инспекции по делам армии серьезно иметь дело с тем экономическим чудом, которое они создали.

На деле же, единственным экономическим чудом, связанным с Плачувом, было личное благосостояние Амона и его клики. Любой непредвзятый наблюдатель искренне удивился бы, узнай он, что в мастерские Плачува поступали военные контракты, учитывая, какое в них стояло убогое, старое оборудование. Но один из заключенных, умный сионист из Плачува, убеждал таких людей со стороны, как Оскар и Мадритч, а те, в свою очередь, оказывали давление на Инспекторат. Исходя из того, что голод и спорадические убийства в Плачуве все же лучше, чем гарантированное поголовное уничтожение в Аушвице и Бельзеце, Оскар был готов убивать время с офицерами по закупкам из инспекции по делам вооруженных сил генерала Шиндлера. Они корчили гримасы, говоря: «Да бросьте, Оскар! Неужели вы серьезно?» Но в конце концов находили какие-то контракты для лагеря Амона Гета, заказывая лопаты, которые производились из металлолома, собранного

на заводском дворе фабрики Оскара на Липовой, а также дымовые трубы, гнутые из обрезков жести. Шансы, что вермахт постоянно будет заказывать лопаты и черенки к ним, были не велики.

Многие друзья Оскара из состава Инспектората понимали смысл своих действий – продление существования лагеря рабского труда в Плачuve равнялось продлению жизни населявших его рабов. Кое-кто из них был возмущен до глубины души, и они прекрасно понимали, каким жуликом является Гет, и их старомодный патриотизм отвергал сибаритское существование Амона на лоне природы.

Божественная ирония лагеря в Плачuve заключалась в том, что некоторые заключенные, способствуя укреплению владычества Амона, преследовали свои собственные цели, в чем можно убедиться на примере в истории с Романом Гинтером. Гинтер, бывший предприниматель, а ныне один из мастеров в механической мастерской, откуда недавно удалось вытащить рабби Левертова, как-то утром был вызван в кабинет Гета и, едва только закрыв двери, тот обрушил на него первый из ударов. Избивая Гинтера, Амон что-то невнятно орал. Затем он вытащил свою жертву за дверь и, спустив по ступенькам, поставил к стенке у входа.

– Могу я задать вам вопрос? – прижимаясь к стене и выплевывая два зуба, спросил ошеломленный Гинтер – пусть даже Амон воспринимает его как актера, старающегося вызвать к себе жалость.

– Ты подонок, – заорал Амон, – ты не поставил заказанные мною наручники! У меня все записано в календаре, свинья задница!

– Но, герр комендант, – возразил Гинтер, – хочу сообщить вам, что приказ о наручниках был выполнен уже вчера. Я спросил герра обершарфюрера Нойшела, что мне с ними делать, и он приказал доставить их к вам, что и было выполнено.

Амон притащил обливающегося кровью Гинтера обратно к себе в кабинет и приказал вызвать к себе Нойшела. Ну да, так и есть, сказал молодой Нойшел. Загляните во второй ящик слева вашего письменного стола, герр комендант. Амон в самом деле нашел там ручные кандалы. Я чуть не пришиб его, пожаловался он своему молодому и наивному протеже из Вены.

Этот же Роман Гинтер, который, взывая к жалости, выплевывал свои зубы у стены серого административного корпуса Амона Гета, это еврейское ничтожество, чуть не убив которого, Амону пришлось ругать Нойшела – этот Гинтер был тем самым человеком, который и ходил на ДЭФ герра Шиндлера договариваться о поставках металлолома, ибо без него, не имея материала для работы, вся команда металлистов прямоком отправилась бы в Аушвиц. Иными словами, хотя размахивающий пистолетом Амон был убежден, что Плачув управляется только силой его административного гения, им руководили заключенные, которым то и дело пускали кровь.

Глава 25

Кое-кто теперь считал, что Оскар ведет себя, как бесшабашный игрок. Даже из того немногого, что было известно о нем, заключенные чувствовали, что, в случае необходимости, он ради них доведет себя до краха. Потом уже – не сразу, потому что они принимали его благодеяния с той же непосредственностью, с которой ребенок под Рождество получает подарки от родителей – они говорили: слава Богу, что он был верен нам больше, чем своей жене. И подобно заключенным, некоторые официальные лица тоже догадывались, какие страсти владеют Оскаром и в какие игры он играет.

Один из них, доктор Сопп, врач в тюрьме СС в Кракове и медик суда СС на Поморской, через польского посыльного дал герру Шиндлеру знать, что у него есть к нему дело. В тюрьме Монтелюпич находилась некая женщина, фрау Хелен Шиндлер. Доктор Сопп знал, что она не была родственницей Оскара, но ее муж вложил деньги в «Эмалию». Ее допрашивали о происхождении документов об арийском происхождении. Доктору Соппу не было необходимости уточнять, что миссис Шиндлер может оказаться в грузовике, который доставит ее на Чуйову Гурку. Но если Оскар готов выложить определенную сумму, дал понять Сопп, то он как медик готов выдать свидетельство, в котором будет сказано, что, учитывая состояние ее здоровья, миссис Шиндлер нуждается в лечении в Мариенбаде, в Богемии.

Оскар явился в кабинет к Соппу, где и выяснил, что за данный документ врач хочет получить 50 тысяч злотых. Спорить не имело смысла. После трех лет подобной практики, любой врач с точностью до одного злотого мог подсчитать сумму, которую хотел бы получить за свое одолже-

ние. В течение дня Оскар собрал эту сумму. Сопп знал, что это ему под силу, знал, что Оскар получает доходы с черного рынка, которые не оставляют по себе никаких следов.

Прежде, чем расплатиться, Оскар поставил несколько условий. Он отправится в тюрьму вместе с доктором Соппом и лично заберет женщину из камеры. Он сам лично доставит ее к общим друзьям в городе. Сопп не возражал. Под резким светом электрической лампочки в промерзших стенах Монтелюпича миссис Шиндлер получила в руки свой драгоценный документ.

Человек, действовавший более продуманно, человек с бухгалтерским складом ума, вполне обоснованно мог бы компенсировать свои расходы и тревоги из тех денег, что Седлачек доставлял из Будапешта. Вкупе Оскару было вручено около 150.000 рейхсмарок, которые доставлялись под двойным дном чемодана и зашитые в подкладку. Но Оскар, то ли в силу того, что он вообще небрежно относился к деньгам (получаемым и отдаваемым), то ли в силу обостренного чувства чести, вручал своим еврейским связным все деньги, получаемые им от Седлачека, не считая тех, что были потрачены на коньяк для Амона.

Это было далеко не простым делом. Когда летом 1943-го года Седлачек доставил в Краков 50.000 рейхсмарок, сионисты в Плачуве, которым Оскар предложил эту наличность, выразили опасение, что это может быть ловушкой.

Первым делом Оскар обратился к Манделю, сварщику в механической мастерской Плачува и члену «*Hitach Dut*», сионистского рабочего молодежного движения. Мандель даже не хотел притрагиваться к этим деньгам. Послушай, сказал Шиндлер, к ним приложено письмо на иврите, письмо из Палестины. Но, конечно же, если это ловушка, если Оскар сам под подозрением и его используют вслепую, тут и *должно* быть письмо из Палестины.

Но в ситуации, когда порой не хватает хлеба на завтрак, предлагаемая сумма была более, чем внушительной: 50 тысяч рейхсмарок равнялись 100.000 злотых. И тратить их можно было по собственному усмотрению. Это было просто невероятно.

Затем Шиндлер попытался передать находящиеся у него деньги, доставленные в багажнике своей машины в Плачув, другому члену «*Hitach Dut*», женщине, которую звали Алта Рубнер. Через заключенных, которых водили на работу на кабельный завод, через кое-каких поляков в тюрьме у нее были связи с подпольем в Сосновце. Может быть, сказала она Манделю, лучше всего поручить все это дело подполью, и пусть они там разбираются в происхождении денег, которые предлагает герр Оскар Шиндлер.

Продолжая свои попытки убедить ее, Оскар даже как-то повысил на Алту голос, когда их беседу заглушал шум и стрекот швейных машин Мадритча: «От всей души заверяю, что это не ловушка!» От всей души. Как раз те самые эмоции, которые и должны быть свойственны агенту-провокатору!

Все же после того, как Оскар удалился, Мандель переговорил со Штерном, подтвердившим аутентичность письма и посоветовавшимся с девушкой, было решено взять деньги. Теперь они хотя бы знали, что Оскар не подведет их. Мандель зашел к Марселю Гольдбергу в административный корпус. Гольдберг тоже был членом «*Hitach Dut*», но после того, как он стал составлять списки – на работу, на транспортировку, списки живых и мертвых – начал брать взятки. Хотя Мандель довольно решительно поговорил с ним. Один из списков, который составлял Гольдберг – или, в крайнем случае, мог его дополнить – был перечень тех, кто направлялся на «Эмалию» для сбора металлолома, используемого в Плачуве. Не излагая причины, по которой ему надо было попасть на «Эмалию», и напомнив о старых временах, Мандель попал в этот список.

Но, оказавшись в Заблоче и прошмыгнув между грудями металлолома, чтобы пройти к Оскару, он был остановлен перед кабинетом Банкером. Герр Шиндлер очень занят, сказал Банкер.

Через неделю Мандель повторил свою попытку. И снова Банкер не пропустил его поговорить с Оскаром. На третий раз Банкер был достаточно откровенен: «Вы хотите получить те сионистские деньги? Раньше вы их не хотели. А теперь хотите. Ну, так вы не сможете их получить. Такова жизнь, господин Мандель!»

Кивнув, Мандель ушел. Он ошибочно предположил, что Банкер уже наложил лапу хотя бы на часть этой наличности. На деле же Банкер просто осторожничал. В конечном итоге деньги все же попали в руки сионистов, заключенных в Плачуве, ибо расписка Алты Рубнер в их получении была доставлена Седлачком в Будапешт.

Можно предположить, что немалая часть этой суммы была потрачена на поддержку евреев, прибывших в Краков из других мест, у которых не было никаких источников помощи.

Были ли средства, переданные Оскаром, потрачены, главным образом, на питание, как предположил Штерн или же пошли на поддержку подпольного сопротивления, на покупку пропусков и оружия, – этим вопросом Оскар никогда не задавался. Тем не менее, чтобы выкупить из тюрьмы миссис Шиндлер или спасти братьев Данцингер не было потрачено ни копейки из этих денег. Деньги Седлачека не пошли и на то, чтобы как-то компенсировать потери от 30 тонн эмалированной посуды, ушедшей в виде взяток, которые Оскару пришлось вручать большим и малым чинам СС в течение всего 1943-го года, чтобы удержать их от намерений закрыть лагерь на «Эмалии».

Не были они потрачены и на приобретение гинекологического инструментария ценой в 16 тысяч злотых, который Оскару пришлось покупать на черном рынке, когда одна из девушек на «Эмалии» забеременела – а беременность, без сомнения, означала прямой билет в Аушвиц. Не были они использованы и на покупку подержанного поломанного «Мерседеса» у унтерштурмфюрера Йона. Тот предложил ему купить машину, как раз когда Оскар обратился с просьбой, чтобы тридцать узников Плачува были переведены на «Эмалию». Машина, за которую Оскар выложил 12 тысяч злотых, на другой же день была реквизирована коллегой Йона и его приятелем, унтерштурмфюрером Шейдтом, чтобы обслуживать охрану лагеря. Может, в его багажнике развозят кормежку на посты, разозлился Оскар на Ингрид за обеденным столом. Позже, комментируя этот инцидент, Оскар сказал, что был только рад услужить обоим господам.

Глава 26

Раймонд Титч производил платежи самого разного характера. Он был тихим аккуратным католиком из Австрии, и его хромоту кое-кто объяснял ранением, полученным в Первой мировой войне, а другие – несчастным случаем в детстве. Он был лет на десять или больше того старше Амона и Оскара. В Плачуве он управлял фабрикой форменной одежды Юлиуса Мадритча, на которой было занято примерно 3.000 швей и механиков.

Одним из способов выкладывания денег были шахматные матчи с Амоном Гетом. Административный корпус соединяла с предприятием Мадритча телефонная линия, и Амон часто звонил Титчу, приглашая его к себе поиграть в шахматы. В первый раз игра кончилась через полчаса и отнюдь не в пользу гауптштурмфюрера. Приговор «Мат!», который Титч без особого восторга готовился произнести, замер у него на губах, когда он изумлением увидел, в какую ярость пришел Амон. Рванув воротник, он расстегнул и отбросил портупею и надвинул фуражку на лоб. Пораженному Раймонду Титчу показалось, что Амон готов выскочить к трамвайной линии в поисках заключенного, которому предстоит расстаться с жизнью, за его – Раймонда Титча – так легко одержанную победу. Теперь он позволял себе взять верх над комендантом не раньше, чем через три часа. И когда сотрудники административного управления видели, как Титч хромает по Иерусалимской, чтобы занять вахту у шахматной доски, они знали, что их ждет спокойный день. Чувство безопасности распространялось по мастерским и доходило даже до тех несчастных, что тащили вагонетки.

Но Раймонд Титч пускал в ход не только свои шахматные таланты. Независимо от доктора Седлачека и того человека с портативной камерой, которых Оскар привел в Плачув, Титч тоже начал фотографировать. Порой из окна своего кабинета, порой из угла мастерской, он снимал заключенных в полосатой форме, тянущих груз по узкоколейке, раздачу убогих порций супа с хлебом, копку канав и закладку фундаментов. Несколько снимков Титча, можно предположить, изображают тайную доставку хлеба в мастерские Мадритча. Без сомнения, круглые коричневые буханки приобретались Титчем с согласия и на деньги Мадритча; они доставлялись в Плачув на грузовиках под грудами обрезков и кипами одежды. Титч фотографировал, как круглые буханки торопливо перекидывались из рук в руки на склад Мадритча с той стороны, которая не была видна с вышек, и вид на подъездную дорогу к которой перекрывался производственным корпусом.

Он снимал эсэсовцев и украинских охранников в движении: за играми и на работе. Он снимал группу рабочих под надзором мастера, инженера Карпа, который вскоре стал жертвой собак-убийц, вырвавших ему гениталии и разодравших на ногах мясо до костей. Во время долгих прогулок по Плачуву он запечатлевал на пленке его строения, полные тоски и запустения. И похоже, именно он увековечил Амона, развалившегося в шезлонге на веранде, вид грузной туши которого заставил новоназначенного врача СС, доктора Бланке, сказать ему: «Хватит, Амон, ты должен сбрасывать вес». Титч фотографировал бегающих и играющих псов Рольфа и Ральфа, и Майолу,

которая держала одного из них за ошейник, делая вид, что ей это страшно нравится. Так же он запечатлел Амона во всем величии на крупной белой лошади.

Отсняв пленки, Титч не проявлял их. В виде роликов было надежнее и безопаснее хранить их в архиве. Он складывал их в металлический ящик в своей краковской квартире. Здесь же он хранил некоторые ценности евреев Мадритча. Даже в Плачуве встречались люди, которым удалось сохранить при себе некоторые ценные вещи; то, что можно было бы предложить – в моменты предельной опасности – как выкуп: скажем, тому, кто составлял списки, тому, кто открывал и закрывал двери теплушек. Титч понимал, что только самые отчаявшиеся доверяли ему свое добро. Та небольшая часть заключенных, у которых еще были при себе кольца, часы и ювелирные изделия не нуждались в нем. Они регулярно пускали их в ход, выторговывая себе небольшие поблажки и удобства. Но в том же тайнике вместе с фотографиями Титча хранились последние ресурсы дюжины семей – брошка тети Янки, часы дяди Мордки.

Даже когда режим в Плачуве прекратил свое существование, когда исчезли Шернер и Чурда, когда Главное хозяйственно-административное управление СС, погрузившись на машины, куда-то исчезло, Титч не стал проявлять и печатать снимки – и для этого были основания. В списках ОДЕССы, послевоенного тайного образования бывших эсэсовцев он числился как предатель. Люди, работавшие у Мадритча, при его содействии получили в общей сложности больше тридцати тысяч буханок хлеба, много цыплят, несколько килограммов масла, и израильское правительство высоко оценило его гуманное отношение, о чем появились сообщения в прессе. После них кое-кто высказывал угрозы в его адрес и шипел ему вслед, когда он проходил по улицам Вены: «Обожатель евреев!» Так что пленкам из Плачува пришлось около двадцати лет лежать в земле небольшого парка в предместье Вены и на высыхающей в темноте эмульсии были запечатлены образы Майолы, любовницы Амона, его собак-убийц и безымянных рабов. И для выживших в Плачуве стало триумфом, когда в ноябре 1963 года один из спасенных Шиндлером (Леопольд Пфедферберг) втайне купил ящик и его содержимое за 500 долларов у Раймонда Титча, в то время уже был неизлечимо больного сердечной слабостью. Но даже и сейчас Раймонд Титч не хотел, чтобы снимки появились на свет до его кончины. Безымянные тени ОДЕССы пугали его больше, чем имена Амона Гета, Шернера, больше, чем Аушвиц и дни в Плачуве.

После его похорон пленки были проявлены. Почти все снимки сохранились.

* * *

Никто из небольшого количества заключенных Плачува, переживших и Амона и само существование лагеря, не мог бросить никакого обвинения в адрес Раймонда Титча. Но он никогда не принадлежал к тому типу людей, вокруг имени которых возникают легенды. А вот Оскар был таковым. С конца 1943 года истории о Шиндлере ходили среди тех, кто еще оставался в живых, наполняя их радостным возбуждением мифа. Ибо не так важно, является ли то правдой или нет, да миф и не должен быть подлинной правдой, ибо он более истинен, чем сама правда. И слушая эти истории, нетрудно было убедиться, что для обитателей Плачува Титч был, скорее всего, добрым отшельником, а Оскар стал неким божком, суля им освобождение; двуликим – как у древних греков – подобно любому из подобных не самых главных богов, отягощенным всеми свойственными человеку пороками, многоруким, но не так уж и всемогущим, склонным к бескорыстию и сулящим спасение.

Одна из историй относится к тому времени, когда шеф полиции СС был серьезно настроен закрыть Плачув, ибо Инспекция по делам вооруженных сил весьма невысоко оценивала его вклад в дело венных усилий. Хелен Хирш, горничная Амона нередко встречала собиравшихся к обеду гостей, которые, сокрушенно покачивая головами, то прогуливались по холлу, то заглядывали на кухню виллы, чтобы хоть немного отдохнуть от Амона. Офицер СС по фамилии Трибитч, как-то оказавшись на кухне, неожиданно сказал Хелен: «Неужели он не понимает, что люди отдают свои жизни?» Он, конечно, имел в виду Восточный фронт, а не захолустье Плачува. Но эти офицеры не были так уж склонны отдавать свои жизни, тем более что лицемерие обстановки виллы Амона вызывало у них раздражение или, что было более опасным, зависть.

И как гласила легенда, как-то воскресным вечером заявился сам генерал Шиндлер, дабы решить, имеет ли смысл для военных усилий само существование лагеря. Крупный чиновник выбрал странное время для посещения, но, может быть, инспекция по делам армии в преддверии суровой

зимы, уже надвигавшейся на Восточный фронт, работала в последних отчаянных усилиях, не покладая рук. Обходу предшествовал обед на «Эмалии», где вино и коньяк лились рекой под руководством Оскара, исполнявшего роль Бахуса на пиру у Диониса.

В силу затянувшегося обеда, инспекция, отправившаяся в «Мерседесах» обозреть Плачув, была явно не в состоянии делать профессиональные выводы. Но повествование игнорирует тот факт, что Шиндлер и его сопровождение имели за плечами почти четыре года оценки качества продукции и производственных площадей. Хотя Оскара меньше всего мог бы смутить этот факт.

Проверка началась с пошивочной фабрики Мадритча, которая являлась витриной Плачува. В течение всего 1943 года она производила ежемесячно больше двадцати тысяч комплектов униформы. Но вопрос стоял следующим образом: может, герру Мадритчу было бы лучше расстаться с Плачувом, переведя свой капитал в более эффективные и лучше снабжающиеся польские предприятия в Подгоже и Тарнуве. Ветхое состояние фабрики в Плачуве не позволяет ни Мадритчу, ни другим инвесторам ставить тут то оснащение, кого требует современное производство.

Осмотр мастерских компания официальных лиц начала при полном свете, и вдруг он потух – один из друзей Штерна в щитовой Плачува устроил короткое замыкание. Благодушие как результат обилия блюд и напитков, поставленных Оскаром, вступило в противоречие с тусклым светом. Инспекция двинулась дальше при слабом мерцании карманных фонариков среди рядов замолчавших станков, лишивших строгих судей возможности проявить свои профессиональные навыки.

Пока генерал Шиндлер, прищурившись, пытался в луче фонарика оценить состояние прессов и станков в механических мастерских, 30 тысяч обитателей Плачува, съжившись на своих нарах, ожидали его приговора.

Даже при загрузке линий восточной железной дороги, через несколько часов они будут отданы во власть мощной техники Аушвица. Но они понимали, что данный факт не может вызвать ни капли сочувствия у генерала Шиндлера. Его специальностью была продукция. Для него *продукция* обладала первейшей и неоспоримой ценностью.

Из-за обильного обеда у Оскара и отключившегося освещения, гласила легенда, обитатели Плачува были спасены. Это волшебная сказка, потому что в действительности до освобождения лишь десятая часть заключенных Плачува. Но история позже была рассказана Штерном и другими, и большинство ее подробностей соответствует истине. Потому что Оскар всегда выставлял на стол обилие выпивки, когда приходилось принимать официальных лиц, и ему мог бы понравиться такой номер, как оставить их в темноте.

– Вы должны помнить, – сказал юноша, которого впоследствии спас Оскар, – что в нем, кроме немецкой крови, был и чешская. Он был этакий бравый солдат Швейк. Он любил дурачить систему, подложить ей свинью.

«Было бы неблагородно по отношению к легенде задаваться вопросом, что произошло на самом деле», – подумал Амон, когда погас свет. Может быть, если речь шла бы о создании литературного повествования, его можно было сделать вдребезги пьяным или обожравшимся. Вопрос заключается в том, выжил ли Плачув лишь потому, что на настроении генерала Шиндлера сказалось тусклое освещение и обилие выпитого – или он продолжал существовать лишь потому, что был отличным перевалочным центром – отстойником в те недели, когда даже могучие мощности Аушвица-Биркенау работали с перегрузкой. Но история наделила Оскара большими достоинствами, чем он проявил на деле для спасения Плачува и большинства его обитателей от печального конца.

* * *

Пока СС и Инспекция обсуждали будущее Плачува, Иосифа Бау – молодого художника из Кракова, которому ближе к концу войны довелось хорошо узнать Оскара – угораздило влюбиться в некую девушку Ребекку Танненбаум, для чего не было ни места, ни условий. Бау работал в строительном отделе чертежником. Он был серьезным мальчиком с чисто художественным стремлением к совершенству. Он, так сказать, убежал в Плачув, потому что у него никогда не было соответствующих для жизни в гетто документов. Поскольку у него не было профессии, которая могла бы пригодиться на каком-то предприятии в гетто, ему приходилось прятаться при содействии матери и друзей. Во время ликвидации в марте 1943 года он выбрался из-за стенки и успел пристроиться в хвост рабочей колонне, направлявшейся в Плачув. Ибо в Плачуве были новые воз-

можности, не существовавшие в гетто. Например, строительство. В том же самом мрачном здании, раскинувшем оба крыла, где был и кабинет Амона, Иосиф Бау имел дело с синьками. Ему покровительствовал Ицхак Штерн, который упомянул о нем Оскару как о хорошем чертежнике, который в будущем, может быть, сможет искусно подделывать документы.

Иосифу повезло, что ему не пришлось часто сталкиваться с Амоном, ибо он производил впечатление такой трогательной открытости, что Амон, встретив его, сразу же вытащил бы револьвер. Мастерская Бау была в самом дальнем от Амона конце здания. Часть заключенных работала на первом этаже, неподалеку от кабинета коменданта. Среди них были снабженцы, клерки, стенограф Метек Пемпер. Их ежедневно подстерегал риск и неожиданно получить пулю, и нарваться на взрыв начальственной ярости. Например, Мундек Корн, который до войны был поставщиком одного из дочерних предприятий Ротшильда, а теперь закупал для тюремных мастерских ткань, морские водоросли, пиломатериалы и металл, был вынужден работать не только в том же самом административном корпусе, но и в том же крыле, где размещался кабинет Амона. Как-то утром Корн поднял глаза от стола и увидел на той стороне Иерусалимской, рядом с казармой СС, мальчика лет двадцати, которого он знал по Кракову; тот мочился под прикрытием одного из штабелей досок. В то же самое время он увидел белый рукав рубашки и две мясистые кисти, мелькнувшие в окне ванной в этом же крыле. Правая рука держала револьвер. Раздались два выстрела, один за другим, и по крайней мере один из них поразил мальчишку в голову, отбросив его на штабель досок. Когда Корн снова поднял глаза к окну ванной, то заметил лишь руку в белом рукаве, закрывавшую створку.

Еще утром на стол Корна легла заявка, коряво и неразборчиво подписанная Амоном. Взгляд его скользнул от подписи к трупу, который с расстегнутой ширинкой валялся у груды досок. Он не удивлялся тому, что ему пришлось увидеть. Он видел ту соблазнительную легкость, с которой Амон решал все проблемы. То есть он испытывал желание поставить на одну доску визит в ванную и убийство, ничем не отличавшееся от небрежного росчерка на листе бумаги, да и вообще, может быть, любую смерть – что бы она с собой ни несла – надо воспринимать как рутинный факт бытия.

Но Иосифу Бау не хотелось бы становиться жертвой таких взглядов. Ему удалось избежать чистки административного штата, который состоялся в центре здания и его правом крыле. Она началась, когда Йозеф Нейшел, любимчик Гета, пожаловался коменданту, что девушка из конторы воспользовалась кожей от копченой грудинки. Амон в ярости вылетел из кабинета и помчался по коридору.

– Вы все толстеете! – орал он.

Затем он разделил всех работников на две шеренги Корну показалось, что перед ним разворачивается сцена из быта старших классов школы в Подгоже: девушки в другом ряду все были знакомы ему, дочери тех семей рядом с которыми он рос, семей из Подгоже. Все действие напоминало учительское деление, когда определялось что вот эти пойдут к монументу Костюшко, а эти – в музей в Вавель. На деле же девушки из второго ряда из-за своих столов были отправлены на Чуйову Гурку, где за любовь к шкурке от копченой грудинки с ними рассчитался карательный взвод Пиларчика.

Хотя Иосиф Бау не имел отношения к суматохе, воцарившейся в конторе, никто из обитателей Плачува не мог бы сказать, что у него спокойная жизнь. Но все же она несла в себе меньше опасностей, чем увлечение девушкой, которому он не мог противостоять. Ребекка Таннебаум была сиротой, но поскольку среди еврейской общины Кракова действовали клановые законы, у нее не было недостатка в добрых тетях и дядях, опекавших ее. Ей было девятнадцать лет, у нее было милое личико и изящная фигурка. Она хорошо говорила по-немецки и могла поддерживать интересный и доброжелательный разговор. Недавно она стала работать в конторе Штерна, расположенной за административным корпусом, избавленная от опасности внезапно столкнуться с комендантом, охваченным припадком ярости. Но ее обязанности в отделе занимали лишь половину рабочего дня. Она была еще и маникюршей. Ежедневно она обслуживала Амона; она ухаживала за руками унтерштурмфюрера Лео Йона, а также доктора Бланке и его любовницы, грубой и жестокой Алис Орловски. Впервые увидев перед собой руку Амона, она сочла, что у него длинные пальцы хорошей формы – отнюдь не как у располневшего человека и конечно же, не как у дикаря.

Когда к ней впервые пришел какой-то заключенный и сказал, что ее хочет видеть герр комендант, она кинулась бежать, петляя мимо столов – и вниз по лестнице. Заключенный бежал за

ней, крича ей вслед:

– Ради Бога, не надо! Он меня накажет, если я не приведу тебя.

Так что ей пришлось последовать за посланцем на виллу Гета. Но прежде чем войти в гостиную, она успела побывать в душном зловонном погребе – первой резиденции Гета – он был выкопан на краю древнего еврейского кладбища. И там, едва ли не заживо похороненная среди пластов кладбищенской земли, ее подруга Хелен Хирш сидела вся избитая и в синяках. «Да, у тебя возникли проблемы», – признала Хелен. – «Но просто делай свою работу и присматривайся. Кое у кого ему нравится профессиональный подход к делу, а кое у кого – нет. Когда ты будешь уходить, я смогу дать тебе кусок пирога и сосиску. Но только не бери сама; сначала спроси меня. Случалось, что кое-кто брал сам и я не знала, как мне выкручиваться».

Амон оценил профессиональную сноровку Ребекки, которая, обрабатывая его руки, болтала по-немецки. Все было, словно она снова сидела в отеле «Краковия», а Амон был несколько расплывшим, молодым немецким магнатом в крахмальной рубашке, прибывшим в Краков продавать текстиль, металл или химикалии. Но в их общении были две детали, которые не позволяли ей всецело погрузиться в столь милое прошлое. Под правой рукой комендант постоянно держал свой служебный револьвер и время от времени в салон заходила подремать одна из его собак. Она видела, как на апельплаце они рвали плоть инженера Карпа. И все же порой, когда собаки мирно посапывали во сне, а они с Амоном обменивались воспоминаниями о довоенных поездках на воды в Карлсбад, ужас, царящий на переключках, уплывал куда-то вдаль и в него было трудно поверить. Как-то она осмелилась спросить его, почему он всегда держит при себе револьвер. От его ответа у нее побежали мурашки по спине и она лишь склонилась к его руке.

– На тот случай, если ты порежешь меня, – сказал он ей.

Если ей нужны были доказательства, что Амон может столь же легко, как болтать о поездках на курорт, впадать в бешенство, она их получила в тот день, когда вошла в холл и увидела, как он за волосы выволакивает из комнаты ее подругу Хелен Хирш – та отчаянно старалась сохранить равновесие, хотя он с корнем вырывал пучки волос, а Амон, едва на секунду ослабевала хватка, тотчас же перехватывал волосы огромной ухоженной кистью. Очередное доказательство представило в тот вечер, когда она вошла в гостиную и внезапно один из псов, прыгнул на нее, положил ей лапы на плечи и, разинув пасть, был готов вцепиться ей в грудь. Бросив взгляд через комнату, она увидела, что Амон, улыбаясь, лежит на софе.

– Перестань трястись, глупая девчонка, – сказал он, – или я не смогу спасти тебя от моего зверя.

За то время, что она ухаживала за руками коменданта, он успел пристрелить мальчишку, чистившего ему сапоги за плохую работу, приказать подвесить к вделанному в стенку кабинета кольцу своего пятнадцатилетнего денщика Польдека Дересевича за найденную на одной из собак блоху и предать казни своего слугу Лизека за то, что он запряг в дрожку лошадей для Боша, не испросив предварительно его разрешения.

Она встретила Иосифа Бау серым осенним утром, когда он, стоя в коридоре, тащил рулон синек на тусклое осеннее солнце. Его худая фигура, казалось, гнулась под этой ношей. Ребекка спросила, не может ли она помочь ему.

– Нет, – сказал он. – Мне просто надо дождаться солнца.

– Почему? – спросила она.

Он объяснил, что его чертежи нового здания были переведены на синьки и под воздействием прямого солнечного света начнутся таинственные химические реакции и они окончательно провяжутся. А потом он сказал:

– Почему бы вам не стать моим волшебным солнцем?

В Плачуве хорошенькие девушки не привыкли к столь деликатному обращению со стороны ребят. Чувственность все равно проявлялась со всей силой, несмотря на звуки очередей с Чуйовой Гурки, на казни на апельплаце. Но для начала, представьте себе, к примеру, день, когда у рабочей партии, возвращающейся с кабельного завода, был найден цыпленок. Амон бушевал на апельплаце, потому что спрятанный в мешок цыпленок был найден у ворот гетто во время обыска. Чей это мешок? – хотел знать Амон. Чей цыпленок? Поскольку никто на апельплаце не хотел ничего признавать, Амон выхватил ружье у стоящего рядом эсэсовца и застрелил заключенного, стоящего в начале шеренги. Пуля, пройдя через его тело, поразила и того, который стоял сзади.

– Как вы любите друг друга! – орал Амон, готовясь пристрелить следующего.

Мальчик лет четырнадцати сделал шаг вперед. Его сотрясала дрожь, и он плакал. Он может сказать, кто спрятал цыпленка, сказал он герру коменданту.

– Так кто?

Мальчик показал на одного из двух мертвых.

– Вот этот! – заплакал он. Амон изумил весь апельплац, поверив мальчишке. Откинув голову, он расхохотался. Ну и люди... как только они не могут понять, что их ждет?

В такие вечера, когда от семи до девяти часов узникам разрешалось свободно передвигаться, многие понимали, что времена неторопливых ухаживаний остались в прошлом. Вши, терзающие зудом подмышки и промежность превращали вежливость в издевательство. Молодые люди без церемоний оседлывали девушек. В женском лагере пели песни, в которых вопрошались девственницы – почему они держат себя в такой чистоте и для кого они берегут себя.

На «Эмалии» атмосфера не была такой уж безнадежной. На участке эмалировки среди станков стояли укрытия, которые позволяли любовникам долгое время быть в обществе друг друга. В переполненных бараках разделение существовало только теоретически. Отсутствие каждодневных страхов, относительно сытный рацион вносил какое-то спокойствие. Кроме того, Оскар продолжал утверждать, что не позволит эсэсовцам показаться в пределах лагеря без его разрешения.

Один из заключенных припомнил, что в кабинете Оскара была установлена специальная линия связи на тот случай, если руководство СС потребует доступа в бараки. И пока эсэсовцы будут на пути к ним, Оскар успеет нажать кнопку, включающую сигнал тревоги в лагере. Первым делом он предупредит мужчин и женщин, что необходимо спрятать запрещенные сигареты, которые Оскар ежедневно доставлял в лагерь («Иди ко мне в кабинет, – едва ли не каждый день говорил он кому-то в цехе, – и набей портсигар»). И при этом многозначительно подмигивал.) Сигнал же предупреждал заключенных, чтобы они заняли свои места.

Встреча с юношей, который обратился к ней с такой изысканной вежливостью, словно они сидели на веранде кафе, стала для Ребекки потрясением, воспоминанием об исчезнувшей культуре.

На другое утро, когда она спускалась из кабинета Штерна, Иосиф показал ей свое рабочее место. Он готовил чертежи дополнительных барачков. «Какой номер вашего барака и кто в нем староста?» С вежливой сдержанностью она дала ему понять, откуда она. Она видела, как Хелен Хирш волочили за волосы, и ее самое ждет смерть, если она случайно защемит заусеницу на пальце Амона. И все же этот юноша смог вызвать в ней воспоминания о девичестве и о застенчивости. «Я приду поговорить с вашей матерью», – пообещал он. «У меня нет матери», – сказала Ребекка. «Тогда я поговорю со старостой».

Вот так и началось ухаживание – с разрешения старших, словно в самом деле в их распоряжении был весь мир и вдоволь времени. Поскольку он был до удивления церемонен, они даже не целовались. В сущности, в первый раз они обнялись под крышей дома Амона. Это произошло после сеанса маникюра. Ребекка, согрев у Хелен воды и получив от нее кусочек мыла, поднялась наверх, в комнатку, предназначенную для ремонта, где собиралась постирать блузку и смену нижнего белья. Стирать ей пришлось в миске, из которой она завтра будет есть суп.

Она трудилась в хлопьях мыльной пены, когда появился Иосиф.

– Что ты здесь делаешь? – спросила она его.

– Я должен снять размеры, – сказал он, – для ремонта. А почему ты сама здесь?

– Можешь догадаться, – сказала она ему. – И, пожалуйста, не говори так громко.

Он легко двигался по комнате, быстро прикладывая метр к плитусам.

– Осторожнее, – предупредила она его, беспокоясь, как бы Амон не счел его поведение нарушением установленных правил.

– Коль скоро я уже здесь, – сказал он ей, – могу и с тебя снять размеры.

Он смерил длину ее руки и расстояние от ямочки на затылке до талии. Она не возражала, когда его пальцы касались ее. Но после того, как, обнявшись, они на несколько секунд застыли в объятиях, она приказала ему уходить. Тут было не то место, чтобы нежиться среди бела дня.

В Плачуве встречались и другие удивительные увлечения, даже среди эсэсовцев, но они, конечно же, не были пронизаны таким солнечным светом, как этот роман, который по всем правилам развивался между Иосифом Бау и маникюршей. Например, обершарфюрер Альбери Хайар, который убил врача гетто Розалию Блау и пристрелил Диану Рейтер, когда осел фундамент одного из барачков, влюбился в еврейку-заключенную. Дочка Мадритча была буквально очарована еврей-

ским мальчиком из Гарнува – он, естественно, работал на фабрике Мадритча в Тарнуве до тех пор, пока в конце лета сюда не прибыл специалист по ликвидации гетто Амон Гет, чтобы предать Тарнув такой же судьбе, на которую он обрек Краков. Теперь этот мальчик оказался на фабрике Мадритча в Плачуве, и девушка могла его тут навещать. Но из этого ничего не могло получиться. У самих же заключенных были убежища и укрытия, в которых могли встречаться супруги и любовники. Но все – и законы рейха, и собственный кодекс поведения среди заключенных – препятствовало роману между фройляйн Мадритч и ее молодым человеком. Точно так же произошло, когда честный и достойный Раймонд Титч влюбился в одну из своих машинисток, испытывая к ней нежное, страстное, но совершенно безнадежное чувство. Что же касается обершарфюрера Хайара, то Амон лично приказал ему не валять дурака. Поэтому Альберт, пойдя со своей девушкой на прогулку в лесок, с чувством искреннего сожаления пустил ей пулю в затылок.

В сущности, смерть осеняла своими крылами и страсти среди СС. И Генри Рознер, скрипач, и его брат, аккордеонист Леопольд, радовавшие венскими мелодиями гостей собиравшихся за обеденным столом у Амона, хорошо знали об этом. Как-то вечером на обеде у Амона оказался высокий стройный мрачноватый офицер Ваффен СС и, подвыпив, стал просить братьев Рознеров исполнить венгерскую песню «Печальное воскресенье». Она представляла собой эмоциональный выплеск, страдания юноши, который кончает с собой из-за любви. Такие чувства, как заметил Генри, были свойственны и эсэсовцам, когда они предавались отдыху. В Венгрии, Польше и Чехословакии стоял вопрос о запрещении этой песни, что говорило о той популярности, какой она пользовалась в тридцатые годы – во всяком случае, принято было думать, что она была причиной нескольких самоубийств из-за несчастной любви. Молодые люди, прежде чем разнести себе голову, оставляли в предсмертных записках несколько строк из этой песни. И еще в давние времена эта песня была внесена в проскрипционные списки Министерства пропаганды рейха. И вот теперь этот высокий элегантный гость, у которого в его возрасте уже должны быть дети-подростки, охваченный приступом каких-то странных дурацких воспоминаний, подошел к Рознерам и сказал: «Сыграйте „Печальное воскресенье“». И хотя доктор Геббельс не разрешал ее исполнение, никто в этом заброшенном углу южной Польши не осмелился бы спорить с боевым офицером СС, полным печали о своей прошедшей любви.

Гости потребовали исполнить песню раза четыре или пять, и мрачное предчувствие охватило Генри Рознера. Как гласили заветы его племени, музыка всегда обладала магическим воздействием. И никто в Европе лучше такого краковского еврея, как Генри Рознер, не знал, какой мощью воздействия обладают звуки скрипки, ибо он был родом из семьи, где умение играть на скрипке было не столько усвоено, сколько унаследовано, как статус «Кохена», наследственного служителя религии. И как он потом вспоминал, именно в эти секунды в голове у Генри мелькнула мысль: «Господи, если у меня есть такая власть, может, этот сукин сын покончит с собой».

Запрещенная музыка «Печального воскресенья» обрела законное существование в столовой Амона, где была повторена четыре или пять раз; Леопольд аккомпанировал ему, глядя на него взглядом, полным грустной меланхоличности, которую внушил им этот симпатичный офицер.

Генри обливался потом, не сомневаясь, что его исполнение явственно предвещает смерть офицера и в любой момент Амон обратит на него внимание и выволочет к задней стенке виллы, где и пристрелит. Для Генри было неважно, хорошо или плохо его исполнение. Он был захвачен им. И только один человек, этот офицер, все видел и понимал; не обращая внимания на пьяную болтовню Боша и Шернера, Чурды и Амона, он продолжал со своего места смотреть прямо в глаза Генри, словно был готов в любую секунду вскочить и сказать: «Именно так, господа. Скрипач совершенно прав. Нет никакого смысла выносить такую тоску».

Рознеры продолжали бесконечно повторять мелодию, на что Амон в нормальных условиях давно бы рыкнул: «Хватит!» Наконец гости, поднявшись, вышли на балкон. Генри сразу же понял: все, что он мог сделать для этого человека, он выполнил. Он с братом перешел на легкие мелодии фон Суппе и Легара, исполняя чуть ли не все оперетты целиком. Из всех гостей на балконе остался только один и примерно через полчаса вечеринка была прервана выстрелом, которым он разнес себе голову.

Таковы были любовь и секс в Плачуве. Блохи, вши и тревоги за колючей оградой, убийства и бред за ее пределами. И в средоточии этого бытия Иосиф Бау и Ребекка Танненбаум плели изящные фигуры своего брачного танца.

В сплошных снегопадах этого года Плачув претерпел изменение своего статуса, которое

коснулось всех влюбленных в пределах, очерченных колючей проволокой. В самые первые дни 1944 года все *Konzentrationslager* (концентрационные лагеря) были переведены под руководство Главного административно-хозяйственного управления СС генерала Пола в Ораниенбурге, предместье Берлине. И такие добавочные лагеря, как «Эмалия» Оскара Шиндлера, тоже перешли под контроль Ораниенбурга. Полицейское начальство в лице Шернера и Чурды потеряло всякую власть над ними. И выплаты за рабочую силу заключенных, которых использовали Оскар и Мадритч, шли больше не на Поморскую, а в контору генерала Рихарда Глюка, главы секции «D» «Концентрационные лагеря» в ведомстве Пола. И теперь, если Оскару что-то понадобится, ему придется ехать не на Поморскую или ублажать Амона, не просто приглашать к обеду генерала Шернера, но выходить на связь с определенными официальными лицами в огромном бюрократическом комплексе Ораниенбурга.

Оскар сразу воспользовался возможностью съездить в Берлин и встретиться с людьми, которые должны были иметь с ним дело. Ораниенбург начинал свое существование как концентрационный лагерь. Теперь он превратился в скопище административных строений. В кабинетах тщательно регулировался каждый аспект жизни и смерти в тюрьмах и лагерях. Рихард Глюк после консультаций с Полом взял на себя ответственность устанавливать баланс между рабочей силой и кандидатами в газовые камеры, решая уравнение, в котором «икс» обозначал рабов, а «игрек» – тех, кого ждала смерть.

Глюк установил порядок процедур на каждый случай, из его департамента выходили памятные записки, чей невыразительный сухой жаргон выдавал знатоков своего дела.

Главное административно-хозяйственное управление СС

Управление секции D (концентрационные лагеря)

Dr-AZ:14ft-Ot-S GEN TGB № 453-44

Комендантам концентрационных лагерей Дахау, Заксенхаузен, Бухенвальд, Майданек, Аушвиц I–III, Гросс-Розен, Штутгоф, Равенсбрюк

Группенлейтеру района Риги

Группенлейтеру района Кракова (Плачув)

Количество заявлений комендантов лагерей по поводу наказаний кнутом в случае саботажа выпуска военной продукции со стороны заключенных продолжает возрастать.

Я считаю, что в будущем во всех доказанных случаях саботажа (должен быть приложен рапорт управляющего) необходимо карать их повешением. Эзекуция должна иметь место в присутствии всего наличного состава рабочей силы. Причина казни, которая служит средством устрашения, должна быть широко объявлена.

(Подпись)

Оберштурмфюрер СС

В этой удивительной канцелярии учитывалось даже, какова должна быть длина волос заключенных прежде, чем они будут изъяты с целью использования в экономике для производства «ворсистых носков для команд подводных лодок, а также стелек для обуви служащих железных дорог Рейха»; другие же чиновники дебатировали, нужно ли рассылать «свидетельства о смерти» во все восемь департаментов или же просто ставить индекс и присовокуплять к тому или иному личному делу. И вот здесь-то герру Оскару Шиндлеру из Кракова пришлось объяснять положение дел в своем маленьком промышленном комплексе в Заблоче. Для него нашелся лишь какой-то чиновник среднего ранга, ведающий личным составом.

Оскара это не расстроило. Есть пользователи еврейской рабочей силы, куда более крупные, чем он. Настоящие гиганты, как, конечно, Крупп или «И.Г. Фарбен индустри». Или взять кабельный завод в Кракове. Вальтер Ц. Тоббенс, варшавский промышленник, которого Гиммлер хотел засунуть в вермахт, использует рабочую силу в куда больших размерах, чем герр Шиндлер. Существовало сталеплавильное производство в Сталевой Воле, авиационные заводы в Будзыне и Закопане, предприятие Штайер-Даймлер-Патч в Радоме.

У чиновника средней руки на столе лежал план «Эмалии». «Я надеюсь, – вежливо сказал он, – вы не собираетесь расширять пределы своего лагеря. Это невозможно без опасности вызвать эпидемию тифа».

От этого предположения Оскар отмахнулся. Он заинтересован лишь в неизменности состава рабочей силы. На эту тему, сообщил он чиновнику, он переговорил со своим приятелем, полковником Эрихом Ланге. Это имя, как знал Оскар, кое-что значило в СС. Оскар представил письмо от

полковника, и чиновник погрузился в его чтение. В кабинете было тихо – из других помещений доносился лишь скрип перьев, шелест бумаг и тихие серьезные разговоры, словно никто из присутствующих не догадывался, что за ними последуют потоки слез и рыданий.

Полковник Ланге был достаточно влиятельным человеком: руководитель штаба инспекции по делам вооруженных сил в штаб-квартире армии в Берлине. Оскар встретился с ним на приеме у генерала Шиндлера в Кракове. Они сразу прониклись симпатией друг к другу. Порой на таких приемах случалось, что кто-то, как ему казалось, чувствовал в другом какое-то неприятие режима и тогда они уединялись в уголке, чтобы проверить друг друга и, может, завязать дружеские отношения. Эрих Ланге испытал потрясение при виде лагерей при предприятиях в Польше – например, производство «ИГ Фарбен» в Буне, где надсмотрщики не знали иных слов, кроме рожденных в СС требований «работать быстро!» и заставляли заключенных бегом носить мешки с цементом, а трупы скончавшихся от голода, надорвавшихся на работе скидывали в траншеи, выкопанные для прокладки кабелей и вместе с последними заливали цементом. «Вы здесь не для того, чтобы жить, а чтобыдохнуть в цементе», – говорил новичкам управляющий, и, услышав эти слова, Ланге почувствовал, что и на нем лежит проклятие.

Его письму в Ораниенбург предшествовали несколько телефонных звонков, которые, вкуче с письмом, имели цель создать определенное представление: герр Шиндлер, производя котелки и полевые кухни, а также 45-миллиметровые противотанковые снаряды, пользуется в Инспекторате репутацией неутомимого борца за наше национальное выживание. Он создал вокруг себя коллектив высококвалифицированных специалистов, и ни в коем случае нельзя позволить нанести урон той работе, которая ведется под руководством герра Шиндлера.

На чиновника письмо произвело впечатление, и он сказал, что хотел бы откровенно поговорить с герром Шиндлером. Пока нет планов менять статус или состав населения лагеря в Заблоче. Тем не менее, герр директор должен понимать, что ситуация с евреями, даже опытными производителями вооружения, всегда чревата риском. Взять, например, наши собственные предприятия СС. «Остиндустри», компания СС, использует заключенных на торфоразработках, на щеточной фабрике, на плавильном производстве в Люблине, на заводе по производству оборудования в Радоме, на скорняжном в Травниках. Но остальные подразделения СС постоянно ведут расстрел рабочей силы, и с практической точки зрения «Ости» не в состоянии поддерживать производство. Точно так же в центрах уничтожения администрация никак не может добиться выделения соответствующего процента от числа заключенных для работ непосредственно по обслуживанию предприятия. Ситуация влечет за собой оживленную переписку, но с этой публикой буквально ничего нельзя поделаться.

– Конечно, – сказал чиновник, барабанив по письму, – постараюсь сделать для вас все, что в моих силах.

– Я понимаю ваши проблемы, – с сияющей улыбкой Оскар посмотрел на эсэсовца. – И если я могу каким-то образом выразить свою благодарность...

В конечном итоге Оскар покинул Ораниенбург, заручившись хоть какой-то гарантией, что его лагерь на заводском дворе продолжит свое существование.

Новый статус Плачува ударил по любящим тем, что теперь, как в тюрьме, мужчины были отделены от женщин, – как и предписывалось рядом памятных записок главного административно-хозяйственного Управления СС. Заграждения между мужской и женской секциями, круговая ограда, заграждения вокруг промышленного сектора – все было электрифицировано. И уровень напряжения, и промежутки между проводами, и количество изоляторов – все было предписано директивами Главного Управления. Амон и его офицеры не замедлили отметить преимущества нового порядка вещей для поддержания дисциплины. Теперь в любое время суток человека можно было ставить навтыжку в пространство между электрифицированной внешней оградой и внутренней, не под током. Если наказанных начинало качать от усталости, они помнили, что в паре дюймов от их спин течет ток в несколько сот вольт. Например, Мундеку Корну пришлось, вернувшись домой вместе с рабочей партией, из которой исчез один заключенный, стоять в этом узком пространстве целые сутки.

Но, может быть, больше, чем риск коснуться проволоки с высоким напряжением, заключенных мучила невозможность от конца вечерней переключки до утреннего пробуждения, преодолеть это препятствие разделяющее мужчин и женщин. Время общения было сведено до короткого промежутка общей толкотни на апельсиплаце, до того, как прозвучит резкая команда строиться. Каж-

дая пара изобретала свой собственный сигнал и высвистывала его среди толпы, стараясь уловить ответ в мешанине сходных звуков. Такую тайную мелодию придумала и Ребекка Танненбаум. Распоряжение Главного Управления СС генерала Пола заставило заключенных прибегнуть к птичьей стратегии общения. И роман Ребекки и Иосифа стал набирать обороты.

Каким-то образом Иосиф раздобыл на складе одежду скончавшейся женщины. И часто, после окончания переключки среди мужского состава, он, забравшись в туалет, торопливо натягивал длинное платье и водружал на голову парик, предписываемый ортодоксами. Затем, выходя, он пристраивался к женщинам. Его короткие волосы не привлекали внимания СС, потому что многие женщины были коротко острижены из-за паразитов. Вкупе с другими 13 тысячами женщин он проходил за ограду женского лагеря, где проводил ночи, сидя у 37-го барака в обществе Ребекки.

В бараке Ребекки пожилые кумушки продолжали обсуждать Иосифа. Коль скоро Иосиф предпочитал традиционную процедуру ухаживания, они взяли на себя столь же традиционную роль дуэний. Тем не менее, Иосиф производил на них самое хорошее впечатление, и они одобряли его церемонное поведение, которое было в ходу ДО войны. С высоких четырехэтажных нар они смотрели на этих двух детей, пока не отходили ко сну. И если кто-то из них думал, что не стоит быть слишком привередливым к молодежи, которой в эти времена не так часто выпадают такие ночи, вслух это не говорилось. Просто двое из пожилых женщин пристраивались рядом, чтобы освободить Иосифу место для сна. И неудобства, и запах других тел, и опасения, что на тебя переползет вошь с другого, – все это было неважно по сравнению с самоуважением, вытекавшим из чувства, что ухаживание развивается, как и положено по правилам.

В конце зимы Иосиф, на рукаве которого была повязка работника строительного отдела, вооружившись металлическим метром, вышел на полосу до странности девственного снега между внутренней оградой и барьером под током и под взглядами охранников на вышках сделал вид что его привела на ничейную полосу профессиональная необходимость.

У основания бетонного столба, поддерживавшего вязку фаянсовых изоляторов, появилось несколько первых в этом году цветочков. Используя металлический штырь, он подтянул их к себе, сорвал и засунул под куртку. Цветы он пронес через весь лагерь до Иерусалимской.

Он проходил мимо виллы Амона, держа их на груди, когда в дверях появилась сама башнеобразная фигура хозяина, спускавшегося по ступенькам. Иосиф Бау остановился. Это было самым опасным – столкнуться с Амоном, когда он был в таком настроении. И, притормозив, он оцепенел. Его охватил ужас при мысли, что сердце, которое он с такой искренностью и страстью отдал осиротевшей Ребекке, станет очередной мишенью для револьвера Амона.

Но Амон прошел мимо, не обратив внимания ни на него, ни на бесполезный метр, который он держал в руках. Иосиф Бау понял, что пока ему как-то повезло. Никто не мог избежать внимания Амона, если он ставил его себе целью. Как-то в форме для стрелковых упражнений Амон неожиданно вошел в лагерь через задние ворота и обнаружил девочку по фамилии Варенхаупт, которая, забравшись в лимузин в гараже, смотрелась в зеркало заднего вида. Стекла машины, которые ей предстояло почистить, все еще были грязными. За это он ее и убил. Такая же судьба постигла и мать с дочерью, которых Амон заметил через окно кухни. Они слишком медленно чистили картошку. Облокотившись на подоконник, он пристрелил обоих. Но сейчас, когда на глаза ему попался ненавистный еврей-чертежник, застывший столбом с железным метром в руках, Амон прошел мимо. Бау ощутил прилив необыкновенного счастья и желания отметить удачу каким-то необыкновенным, возвышенным поступком. Женитьба, без сомнения, будет самым возвышенным из всех.

Вернувшись в административный корпус, он взлетел по ступенькам и, ворвавшись в кабинет Штерна, где нашел Ребекку, попросил ее выйти за него замуж. И как можно скорее, что к своей радости услышала Ребекка.

Этим же вечером в облачении покойной женщины он нанес визит своей матери и совету дуэний в 37-м бараке. Они ждали только появления рабби. Но если раввины и оказывались здесь, то всего через несколько дней они отправлялись в Аушвиц – не так много для людей, желающих по всем правилам соблюсти обряды *kiddushin* и *nissuin* перед тем, как, отдав дань святым понятиям, завершить свой путь в пылающих топках.

Иосиф женился на Ребекке воскресным вечером, когда стояли жуткие февральские холода. Вели церемонию госпожа Бау, мать Иосифа. Они были родом из евреев-реформаторов, так что обошлись без обряда *ketubbah*, который следовало произносить на арамейском языке. В мастер-

ской Вулкана ювелир как-то ухитрился изготовить им два кольца из серебряной ложки, которую миссис Бау смогла укрыть под стропилами крыши. В бараке Ребекка семь раз обошла вокруг Иосифа, а тот раздавил пяткой стекло – то есть перегоревшую лампочку, позаимствованную из строительного отдела.

Паре отвели место на самом верху яруса коек. Чтобы обеспечить им какое-то уединение, оно было закрыто одеялами. В темноте, сопровождаемые грубоватыми шуточками, Иосиф и Ребекка вскарабкались к себе. На всех свадьбах в Польше наступало время, когда можно было позубоскалить по поводу неопытных влюбленных. Если приглашенные на свадьбу гости сомневались, справятся ли они с этой обязанностью, то по традиции приглашали профессионального шута и весельчака. Женщины, которые в двадцатых и тридцатых годах, сидя на свадьбах, смущались, слушая рискованные шуточки затейника и видя покатывающиеся от хохота мужчин, сейчас и здесь, постарев, позволили себе от души повеселиться, беря на себя обязанности отсутствующих и убитых свадебных шутов по всей южной Польше.

Иосиф и Ребекка пробыли рядом не больше десяти минут на верхнем ярусе, когда в бараке зажегся свет. Глянув в щель между одеялами, Иосиф увидел в проходе Унтерштурмфюрера Шейдта. То же самое старое чувство надвигающегося рока охватило Иосифа. Они, конечно, обнаружили, что он исчез из своего барака, и вот теперь самый худший из всех надзирателей явился разыскивать его в бараке матери. Амон сегодня не обратил на него внимания у виллы лишь для того, чтобы Шейдт, который, не медля, нажимал на курок, явился и убил его в свадебную ночь!

Он знал также, что подвергает опасности всех женщин – свою мать, свою невесту, свидетельниц, которые только что отпускали раскованные шуточки. Он начал бормотать извинения, моля о прощении. Ребекка цыкнула на него, чтобы он промолчал. Она успела сдернуть полог из одеял. В это ночное время, прикинула она, Шейдт не будет влезать на верхний ярус, если его к тому не спровоцируют. Обитательницы нижних коек передали ей наверх свои тощие соломенные матрасы. Иосиф ухаживал за ней, как настоящий мужчина, но сейчас он был в роли ребенка, которого предстояло спрятать. Ребекка решительно затолкала его в самый угол и завалила матрасами. Шейдт прошел и исчез в задних дверях, провожаемый ее взглядом. Свет потух. В наступившей темноте до них донеслось несколько соленых шуточек, и супруги Бау опять оказались наедине друг с другом.

Через несколько минут взвыли сирены. Все повскакали с мест в темноте. Их рев однозначно дал понять Бау – да, они окончательно решили не дать свершиться его брачной ночи. Да, они таки нашли его пустые нары в мужском блоке и теперь серьезно взялись искать его.

Внизу, в темном проходе, взволнованно металась женщины. Они тоже понимали, в чем дело. На верхний ярус до него доносились их разговоры. Его старомодная любовь убьет их всех. Старосту барака, которая так благородно пошла им навстречу, расстреляют первой, когда загорится свет и найдут новобрачного, обряженного в женские лохмотья.

Иосиф Бау собрал свое облачение. Торопливо поцеловав жену, он спустился на пол и выскользнул из барака. Снаружи стояла тьма, пронизанная воем сирен. Меся грязный снег, он побежал, держа под мышкой свою куртку. Когда вспыхнет свет, его увидят с вышек. Но он был одержим идеей, что успеет проникнуть за ограждение, что как-то пролезет сквозь него. А уж очутившись в мужском бараке, он что-то сочинит о поносе, из-за которого ему приходится бегать в туалет – а там он поскользнулся на полу, ударился головой и пришел в себя только от воя сирен.

И на бегу он понимал, что если даже его поразит ток, это избавит его от необходимости признаваться, кого из женщин он посещал. У него выпало из памяти, что если даже он, обуглившись, повиснет на проводах, на апельплаце будет проведено показательное учение, в результате которого, так или иначе, но Ребекке придется выйти из строя.

На всем протяжении ограды между мужским и женским секторами лагеря в Плачuve было протянуто девять проводов под током. Иосиф Бау прикинул, что должен найти опору для ног где-то в районе третьего снизу и со стремительностью крысы проскользнуть между ними. На деле же он замешкался. Ему показалось, что холод металла, обжегший пальцы – это первый импульс поразившего его напряжения. Но тока в ограде не было. Освещение вырубилось. Иосиф Бау, распростертый по ограде, не пытался понять, причин, по которым отсутствовало напряжение. Перевалившись наконец через верх, он свалился на территорию мужского лагеря. «Ты женатый человек», – сказал он себе. Он добрался до туалета у душевой. «Ужасный понос, герр обершарфюрер». Он стоял, окруженный зловонием и с трудом переводил дыхание. Невнимание Амона в день,

когда он нес цветы... брачная церемония, окончания которой он едва дождался и после которой им дважды помешали... Шейдт и сирены... – приходя в себя и откашливаясь, он задавал себе вопрос, сможет ли он и дальше выносить неопределенность этого существования. Как и остальные, он жаждал, чтобы наконец к нему пришло избавление.

Он успел одним из последних примкнуть к шеренге, выстроившейся перед баракком. Его колотило, но он не сомневался, что староста успеет прикрыть его. «Да, герр унтерштурмфюрер, я дал заключенному Бау разрешение отлучиться в туалет».

Но они искали вовсе не его. А трех молодых сионистов, которые совершили побег на грузовике с продукцией обойной фабрики, где они набивали морской травой чехлы матрасов для вермахта.

Глава 27

28 апреля 1944 года Оскар, бросив взгляд на себя в зеркало, был вынужден признать, что к тридцать шестому дню рождения он несколько раздался в талии. Но, по крайней мере, сегодня, когда он обнимал девушек, никто не осмелился бы обвинить его. Должно быть, информатор из числа немецких техников был обескуражен, увидев, что СС отпустило Оскара и с Поморской и из тюрьмы Монтелюпич, хотя считалось, что и то, и другое заведение не поддаются ничьему влиянию.

Отмечая этот день, Эмили прислала обычное поздравление из Чехословакии, а Ингрид и Клоновска преподнесли ему подарки. Его существование почти не претерпело изменений за те четыре с половиной года, что он провел в Кракове. Ингрид по-прежнему исполняла роль наперсницы, Клоновска была подружкой, а Эмили, ясно, – отсутствующей женой. Страдания, которые испытывала каждая из них, так и остались неизвестными, но не подлежало сомнению, что, вступая в свой тридцать седьмой год, Оскар столкнулся с некоторым охлаждением отношений с Ингрид; что Клоновска, продолжавшая оставаться преданным другом, соглашалась лишь на отдельные случайные встречи и что Эмили продолжала считать, что их брак носит неразрывный характер. Пока же все они продолжали получать от него подарки, а он – прислушиваться к их советам.

В праздновании приняли участие и многие другие. Амон разрешил Генри Рознеру, прихватив с собой скрипку, отправиться вечером на Липовую в сопровождении охранника из украинцев, который обладал лучшим из всего гарнизона баритоном. Амон продолжал оставаться более чем довольным, развитием их отношений с Шиндлером. В возмещение своей неизменной поддержки лагеря на «Эмалии» Амон недавно попросил и тут же получил разрешение постоянно пользоваться «Мерседесом» Оскара – не той развалиной, которую Оскар приобрел у Йона и которая была в его распоряжении всего лишь день, а самой шикарной машиной из гаража «Эмалии».

Сольный концерт имел место в кабинете Оскара. Он доставил всем удовольствие, кроме, казалось, Оскара. Создавалось впечатление, словно он устал от общества. Когда украинец отправился в туалет, Оскар излил Генри причины своей подавленности. Его беспокоят военные известия. За его днем рождения последует всеобщее смятение. Русские армии остановились пока в припятских болотах и фронт уже недалеко от Львова. Опасения Оскара удивили Генри.

– Да неужели ты не понимаешь, – удивился Оскар, – что если русских не остановят, это будет означать конец всему?

– Я часто просил Амона, чтобы он разрешил тебе переселиться сюда, – сообщил Оскар Рознеру. – Тебе, твоей жене и ребенку. Он и слышать об этом не хочет. Он тебя очень ценит. Но рано или поздно...

Генри был благодарен. Но он должен уточнить, что в Плачуве его семья пользуется относительной безопасностью. Вот, например, его золовку Гет застал, когда она курила за работой и приказал казнить ее. Но один из рядовых эсэсовцев позволил себе обратить внимание герра коменданта, что эта женщина – миссис Рознер, жена Рознера-аккордеониста.

– Ага, – сказал Амон, даруя ей прощенье.

– Но помни, девочка, что я не разрешаю курить за работой.

Тем вечером Генри рассказал Оскару, что именно такое отношение Амона – что Рознеры находятся под защитой их музыкальных талантов – и заставило его с женой забрать в лагерь их восьмилетнего сына Олека. Он скрывался у друзей в Кракове, но с каждым днем это становилось все более и более опасным. Внутри же лагеря Олек затерялся среди группы ребяташек, многие из

которых даже не числились в тюремных списках, на их присутствие смотрели сквозь пальцы и к нему терпимо относился младший персонал лагеря. Тем не менее, доставить Олека оказалось рискованным делом. Польдек Пфедферберг, который должен был на грузовике привезти из города инструменты, взялся тайно провезти мальчишку в лагерь. Он едва не попался на глаза украинской охране у ворот, за пределами которых он был правонарушителем, и его существование нарушало правила межрасового объединения, установленные в генерал-губернаторстве Рейха. Ноги Олека торчали из ящика, лежавшего на полу между лодыжками Польдека.

– Господин Пфедферберг, господин Пфедферберг, – услышал Польдек, пока украинец обыскивал кузов, – у меня ноги вылезли.

Теперь Генри мог и посмеяться над этой историей, хотя в его голосе еще слышалось беспокойство. Но реакция Шиндлера была полна возмущения, и яростная жестикуляция сменила ту легкую алкогольную меланхоличность, которая владела им весь вечер. Он схватил кресло за спинку и вознес его над головой, примеряясь к портрету Гитлера. Долю секунды казалось, что он готов расколотить икону. Но, качнувшись на пятках, он аккуратно поставил кресло обратно на все четыре ножки и, примерившись, так пустил его по ковру, что оно врезалось в стенку.

Затем он сказал:

– Они там принялись сжигать трупы, не так ли?

Генри сморщился, словно зловоние наполнило комнату.

– Они уже начали, – признал он.

* * *

Ныне Плачув стал – если пользоваться чиновничьей лексикой – концентрационным лагерем, и его обитатели обнаружили, что встречи с Амоном уже не несут в себе такой опасности. Руководство в Ораниенбурге не поощряло массовые казни. Дни, когда за нерадивую чистку картошки убивали на месте, вроде бы миновали. Теперь казнь должна была быть результатом соответствующей процедуры. Отчет о слушании в трех экземплярах пересылался в Ораниенбург. Приговор должен быть утвержден не только генералом Глюком, но и департаментом W (экономики) генерала Пола. Ибо если комендант приговаривал к смерти существенно нужных для производства рабочих, департаменту приходилось выплачивать компенсацию. Например, предприятие по выпуску фарфоровых изделий в Мюнхене использовало труд рабов из Дахау, и недавно оно выставило требование на выплату 31.800 рейхсмарок, потому что «в результате эпидемии тифа, которая длилась с января 1943 года, в наше распоряжение не поступала рабочая сила из числа заключенных с 26 января 1943 года до 3 марта 1943 года. Исходя из вышесказанного, нам полагается компенсация в соответствии со ст. 2 Уложения о возмещении производственных затрат...»

Департамент с особой неохотой выкладывал компенсацию, если недостаток рабочей силы объяснялся излишним рвением эсэсовцев, всегда готовых открыть огонь.

И чтобы избежать бумажной волокиты и осложнений в департаменте, Амон большую часть времени теперь держал руки за спиной. Те, кто в нарушение распорядка и правил попадался ему на глаза весной и в начале лета 1944 года, как-то поняли, что им дарована несколько большая безопасность, хотя, конечно, они ничего не знали ни о департаменте W, ни о генералах Поле и Глюке. Это ослабление напряжения казалось столь же загадочным, как и припадки бешенства у Амона.

Тем не менее, как Оскар сказал Генри Рознеру, теперь им приходилось заниматься захоронением трупов в Плачуве. Готовясь к русскому наступлению, СС вынуждено было упразднить свои структуры на Востоке. Треблинка, Собхбор были эвакуированы еще прошлой осенью. Ваффен СС, которые осуществляли их перемещение, получили приказ взорвать все газовые камеры и крематории, не оставив от них ни малейшего следа, после чего их части перебросили в Италию преследовать партизан. Огромный комплекс в Аушвице, который вкуче выполнял на Востоке великую цель, был обречен – его крематорий предполагалось сровнять с землей. Когда от него не останется и следа, свидетельства мертвых станут лишь шепотом ветерка, посыпающего серым пеплом осинные листья.

В Плачуве дела обстояли куда сложнее, ибо его мертвые были раскиданы повсеместно. В силу рьяного исполнения обязанностей весной 1943 года, тела – главным образом тела тех, кто был убит в гетто в последние два дня – редко сбрасывали в общие могилы в лесу. И теперь отдел D

приказал Амону найти их всех.

Оценка количества трупов колебалась в широких пределах. Польские публикации, основанные на трудах Главной Комиссии по расследованию нацистских преступлений в Польше и на других источниках, утверждали, что через Плачув и его пять дополнительных лагерей прошло до 150 тысяч заключенных, многих из которых переправляли в другие места. Исходя из этой цифры, поляки считали, что тут погибло около 80 000 человек, главным образом, в ходе массовых казней на Чуйовой Гурке или же от эпидемий.

Эти цифры сбили с толку тех выживших заключенных Плачува, которые помнили ужасающую работу по сжиганию мертвецов. Они рассказывали, что количество эксгумированных трупов колебалось от восьми до десяти тысяч – количество, пугающее само по себе – и извлекать их было сомнительным удовольствием. Разрыв между двумя оценками сужается, если учесть, что казни поляков, цыган и евреев продолжались и на Чуйовой Гурке и в других местах вокруг Плачува большую часть года и что сами эсэсовцы практиковали обычай сразу же сжигать трупы после массовых казней у австрийского форта. Кроме того, Амону не удалось добиться успеха по вывозу всех тел из окружающих лесных посадок. Несколько тысяч было найдено в ходе послевоенных раскопок, да и сегодня в пригородах Кракова близ Плачува, нет-нет, да и находят кости в котлованах под фундаментами.

Оскар видел ряд кострищ, разложенных на гребне холма над мастерскими, когда в день своего рождения посетил лагерь. Когда через неделю он снова очутился в нем, бурная активность продолжала набирать обороты. Мужчины-заключенные, прикрывая рты самодельными масками, кашляя и задыхаясь, продолжали выкапывать трупы. Их тащили на одеялах и досках, везли на тачках и укладывали на пылающие бревна. Когда кострище, слой за слоем, было сложено, достигая высоты плеча взрослого человека, его поливали горючим и поджигали. Пфедферберг не мог скрыть ужаса, видя, как в треске пламени оживали мертвецы, когда их тела, содрогаясь, принимали сидячее положение, отбрасывая горящие поленья – они простирали конечности и в последнем отчаянном крике открывали рты. Молодой эсэовец из команды вошебойки метался среди костров, размахивая пистолетом и выкрикивая какие-то сумасшедшие приказы.

Прах сгоревших трупов оседал на волосах и на одежде, черным слоем опускался на листья в саду виллы младших офицеров. Оскар был поражен, убедившись, что личный состав воспринимал пепел, висевший в воздухе и скрипевший на зубах, как нечто вроде неизбежных промышленных осадков. Амон вместе с Майолой разъезжал верхом среди погребальных костров и оба они, возвышаясь в седлах, демонстрировали невозмутимое спокойствие. Лео Йон взял с собой двенадцатилетнего сына, который, пока отец был занят делом, ловил головастика в лужах на заболоченных полянках в лесу. Треск пламени и зловоние отнюдь не мешали им вести повседневную жизнь.

Оскар, откинувшись на спинку сидения за рулем своего БМВ, подняв стекла и прижимая ко рту и носу платок, думал, что, должно быть, они сожгли, как и остальных, Спиру с его командой. Он был удивлен, когда в прошлое рождество были уничтожены все полицейские гетто вместе с семьями, как только Симха Спира закончил помогать очистке гетто. Всех их, вместе с женами и детьми доставили сюда на исходе холодного дня, и к закату солнца все были расстреляны. Уничтожены были и самые преданные (Спира и Зеллингер) и самые подозрительные. И Спира, и застенчивая миссис Спира, и туповатые дети Спиры, которых так терпеливо обучал Пфедферберг – теперь все они, обнаженные, очутились под дулами винтовок, сотрясаемые дрожью и прижимаясь друг к другу, а наполеоновская форма Спиры, валявшаяся у входа в форт, теперь была всего лишь кучей лохмотьев, которым предстояло отправиться на переработку. И Спира все еще продолжал уверять остальных, что этого не может быть.

Эта экзекуция поразила Оскара еще и тем, что он убедился – ни покорность, ни раболепие, ничто не может гарантировать евреям, что они останутся в живых. И теперь они сжигали семейство Спиры столь же равнодушно, не отличая от всех прочих, как и расстреляли их.

И даже Гаттерсов! Это произошло после обеда у Амона год назад. Оскар уехал с него пораньше, но потом услышал, что было после его отъезда. Йон и Нейшел стали подтрунивать над Бошем. Они считали его трусишкой и нытиком. И пусть не треплется, что он, мол, ветеран – он только и умеет, что рыть окопы, этим и занимался всю жизнь – тоже мне, ветеран. Они никогда не видели, чтобы он кого-нибудь расстрелял. Эти издевательства продолжались несколько часов – типичные шутки в подпитии. В конце концов, Бош приказал доставить их из барака Давида Гаттера с сыном и притащить из другого барака его жену с девчонкой. Давид Гаттер был последним

президентом юденрата и оказывал немцам содействие буквально во всем – он никогда не показывался на Поморской с жалобами по поводу размаха последней акции или наполнения транспортов в Бельзец. Гаттер подписывал все что угодно и любое требование он считал разумным и обоснованным. Кроме того, Бош использовал Гаттера в качестве своего агента внутри и вне Плачува, посылая его в Краков с грузами заново обтянутой мебели или с карманами, полными драгоценностей, которые предстояло спустить на черном рынке. И Гаттер послушно исполнял все указания, потому что он был подонком по природе, но, главным образом, потому, что считал – его покорность обезопасит жену и детей.

В два часа стылой ночи, еврейский полицейский Заудер, приятель Пфедферберга и Штерна, позднее пристреленный Пиларциком в ходе одной из офицерских пьянок, а тогда стоявший на страже у ворот женского лагеря, услышал, как Бош приказал Гаттерам улечься наземь около ворот. Дети плакали и молили его, но Давид Гаттер и его жена держались спокойно, понимая, что сказать им нечего. И теперь Оскар наблюдал, как все свидетельства – Гаттеры, семья Спиры, бунтовщики, священники, дети, красивые девушки с бумагами об арийском происхождении – все превращалось в огромные кучи пепла, которые предстояло развеять по ветру на тот случай, если русские займут Плачув и найдут, что его тут слишком большое количество.

Позаботьтесь, было сказано Амону в инструкции из Ораниенбурга, об уничтожении в будущем всех трупов, с каковой целью к вам выезжает представитель инженерно-строительной фирмы из Гамбурга, чтобы определить место для возведения крематория. К тому времени оставшиеся трупы должны складироваться, ожидая своей очереди, в специально отмеченных могильниках.

Когда во время второго визита Оскар увидел обилие костров, полыхающих на Чуйовой Гурке, первым его желанием было не вылезать из машины, надежной и здоровой немецкой машины, а ехать домой. Вместо этого он пошел проведать друзей в мастерских, а потом заглянул в кабинет Штерна. Ему казалось, что видя, как прах мертвых в виде пепла оседал на все окна, все обитатели Плачува, вне всякого сомнения, должны кончать с собой. Но, похоже, он единственный был в таком подавленном состоянии. Он не стал задавать ни одного из своих обычных вопросов, как, например: «Итак, герр Штерн, если Бог создал человека по своему образу и подобию, какая раса больше всего напоминает его? Походят ли на него поляки больше, чем чехи?» Сегодня он не позволял себе дурачиться. Вместо этого он пробурчал: «Что вы тут все думаете?» Штерн ответил ему, что заключенные ведут себя, как и полагается заключенным. Делают свое дело и надеются, что останутся в живых.

– Я собираюсь вытащить вас отсюда, – наконец буркнул Оскар и ударил сжатым кулаком по столу. – И собираюсь вытащить всех!

– Всех? – переспросил Штерн.

Он ничего не мог с собой поделать. Массовое спасение, подобно тому, что описывалось в Библии, как-то не вписывалось в эту эру.

– Во всяком случае, вас, – сказал Оскар. – Вас.

Глава 28

В административном корпусе в распоряжении Амона было два человека, печатавших на машинке. Одной была молодая немка фрау Кохман; другим – старательный юный заключенный Метек Пемпер. В свое время Пемпер станет секретарем у Оскара, но летом 44-го года он работал у Амона, и как и любой, оказавшийся на этом месте, без особых надежд оценивал свои шансы остаться в живых.

Близкие контакты с Амоном у него установились столь же случайно, как и у Хелен Хирш, его горничной. Пемпер попал к нему после того, как кто-то отрекомендовал его коменданту. Молодой заключенный в прошлом был студентом экономического факультета, отлично печатал на машинке и мог стенографировать на польском и немецком. Особо надо упомянуть, что у него была необыкновенная память. Обладая такими способностями, он и оказался в главном управлении Плачува в распоряжении Амона и порой даже являлся к нему на виллу, чтобы писать под диктовку.

Ирония судьбы заключалась в том, что фотографическая память Пемпера куда в большей степени, чем показания других заключенных, способствовала тому, что Амона повесили в Кракове. Но Пемпер не мог себе представить, что наступит такое время. В 1944 году он мог только при-

кидывать, кто окажется жертвой на ближайшей переключке, и не исключалось, что ею может стать он сам, Метек Пемпер.

За машинку его усаживали печатать в последнюю очередь. Для документов конфиденциального характера Амон использовал фрау Кохман, хотя она была далеко не столь опытна, как Метек и куда медленнее записывала под диктовку. Порой Амону приходилось нарушать свои правила и звать Метека. И даже когда он сидел напротив Амона с блокнотом на коленях, он не мог отделаться от противоречивых подозрений, раздиравших его. Первое заключалось в том, что все документы внутреннего характера и памятные записки, которые он запоминал до мельчайших подробностей, сделают из него лучшего свидетеля, когда он, явившись в суд, увидит Амона перед трибуналом. С другой стороны, он подозревал, что в конечном итоге Амон избавится от него, как от использованной копирки.

Тем не менее каждое утро Метек готовил дюжину наборов писчей бумаги и копирок не только для себя, но и для немецкой коллеги. После того, как девушка заканчивала печатать, Метеку предписывалось уничтожать копировальную бумагу, но на деле он сохранял ее и перечитывал тексты. Записей он не делал, но еще со школьных дней знал, на что способна его память. И не сомневался, что если когда-нибудь его пригласят в трибунал, где он встретится с Амоном перед лицом суда, то удивит коменданта точной датировкой всех свидетельств.

Пемперу довелось увидеть несколько поистине удивительных закрытых документов. Например, он прочел памятную записку, касающуюся наказаний женщин плетьюми. Руководству лагерей напоминалось, что наказание должно производить максимальный эффект. Привлечение к нему персонала СС унижало его достоинство, и посему чешские женщины должны были наказывать словацких, а те, в свою очередь, чешек. Русских и полячек предлагалось использовать в том же порядке. Комендантам предписывалось пускать в ход воображение, дабы использовать на пользу делу все культурные и национальные различия.

Другой бюллетень напоминал, что комендант лагеря не имеет права возлагать на себя решение вопроса о смертном приговоре. Комендант должен получить подтверждение принятого решения телеграммой или письмом из Главного управления безопасности рейха. Амон так и поступил этой весной по отношению к двум евреям, которые сбежали из лагеря в Величке и которых он решил повесить. Из Берлина пришла телеграмма с разрешением, подписанная, как отметил Пемпер, доктором Эрнстом Кальтенбруннером, главой службы безопасности рейха.

А в апреле Пемпер прочитал меморандум, пришедший от генерала Маурера, шефа отдела по распределению рабочей силы секции «D» генерала Глюка. Маурер хотел получить от Амона сведения, сколько венгров в данный момент содержится в Плачуве. Их предписывалось незамедлительно направить на завод вооружений, дочернее предприятие Круппа, производящее взрывчатку для артиллерийских снарядов в огромном комплексе строений Аушвица. Учитывая, что Венгрия только недавно стала германским протекторатом, эти венгерские евреи и противники режима были в лучшем состоянии, чем те, что провели уже несколько лет в гетто и тюремных условиях. Тем не менее, им предстояло исчезнуть в мясорубке Аушвица. К сожалению, предприятие еще не было готово принять их и если комендант Плачува сможет создать соответствующие условия для временного содержания 7.000 заключенных, секция «D» будет ему искренне благодарна.

Ответ Гета, который Пемперу довелось увидеть и перепечатывать, заключался в том, что Плачув переполнен до предела и в его границах нет места для возведения новых строений. Тем не менее, Амон готов принять до 10 000 транзитных заключенных, если: а) ему будет разрешено ликвидировать непродуктивные элементы в пределах лагеря и б) он сможет вдвое уплотнить имеющуюся кубатуру. Маурер написал в ответ, что двойное уплотнение в преддверии лета не может быть разрешено из-за опасений эпидемии тифа, и что в идеале, в соответствии с правилами, на каждого заключенного должно быть не менее 3 кубических метров воздуха. Но он склонен одобрить первое предложение Гета. Секция «D» посоветует Аушвицу-Биркенау – точнее, его отделу, занимающемуся уничтожением – подготовиться к приему большой партии отбракованных заключенных из Плачува. В то же время *Ostbahn*, конечно, обеспечит своевременную подачу вагонов из-под скота прямо к воротам Плачува. Амон же должен провести селекцию в пределах лагеря. С благословения Маурера и секции «D» он сможет за день уничтожить больше жизней, чем Оскар Шиндлер, напрягая все свои усилия и прибегая к изощренным хитростям, продолжал содержать в «Эмалии». Амон дал селекции название *Die Gesundheitaktion*, Акция Здоровья.

Он организовал ее в виде веселой сельской ярмарки. Когда она началась утром 7 мая, в вос-

кресенье, над апельсиплацем висел плакат: «Каждому заключенному – соответствующую работу!» Из динамиков лились звуки баллад, песен Штрауса и любовных мелодий. Под громкоговорителями стоял стол, за которым сидел доктор Бланке, эсэсовский врач, вместе с доктором Леоном Гроссом и рядом чиновников. Представление Бланке о «здоровье» было столь же изуверским, как и у любого врача СС. Он освободил тюремную больницу от хронических больных, впрыскивая им бензин в вены. В любом смысле эту процедуру нельзя было назвать убийством из милосердия. Пациенты умирали в конвульсиях, заходясь в судорожном кашле, который длился четверть часа. Марек Биберштейн, который когда-то возглавлял юденрат и после двухлетнего заключения в тюрьме Монтелюпич, стал гражданином Плачува, с приступами сердечной слабости был доставлен в *Krankenstube*. Прежде, чем доктор Бланке со шприцем, полным бензина, доктор Идек Шиндель, дядя девочки Гени, чья фигурка, в отдалении появившаяся на улице два года назад привлекла внимание Шиндлера, вместе с коллегами оказался у постели Биберштейна. Из милосердия он успел впрыснуть ему дозу цианида.

Сегодня, положив рядом груды личных дел узников, Бланке одним махом решал судьбы обитателей целого барака и, покончив с одной кипой карточек, откладывал ее и принимался за другую.

Заключенным, выгнанным на апельсиплац, было приказано раздеться. Построившись в голом виде, они подчинились приказу пройти взад и вперед перед врачами. Бланке и Леон Гросс, еврейский врач, сотрудничавший с немцами, делая отметки в карточках, окликали заключенного, чтобы он подтвердил свое имя. Наконец заключенных заставили бегать, а врачи подмечали признаки усталости или мышечной слабости. Это была гнусная и унижительная процедура. Мужчины со смещенными спинными позвонками (как например, Пфедферберг, которого Хайар ударил по спине ударом хлыста), женщины с хроническим истощением, натиравшие огрызками морковки щеки, чтобы придать им румянец, – все бегали, ибо понимали, что от этого зависит их жизнь. Молодая госпожа Кинстлингер, которая стартовала в спринте за команду Польши на Олимпийских играх в Берлине понимала, что все это всего лишь игра. Пусть у тебя выворачивается желудок и не хватает дыхания, ты бежишь под звуки лживой музыки словно тебя ждет блеск золота.

Никто из заключенных не знал результатов селекции, когда на следующее воскресенье под тем же лозунгом и под теми же звуками музыки их опять собрали всей массой. Названные по именам, те, кому было отказано в прохождении *Gesundheitaktion*, отправлялись в восточную часть площадки, откуда доносились вопли ярости и возмущения. Амон, ожидая бунта, обратился за помощью к гарнизону вермахта в Кракове, который привел себя в боевую готовность на случай восстания заключенных. В предыдущее воскресенье было отобрано более 3000 детей, которых сейчас должны были увозить, и протесты, смешанные с рыданиями, обрели такую силу, что большая часть гарнизона совместно с полицией безопасности, вызванные из Кракова, вынуждена была силой отделять две группы друг от друга. Противостояние длилось несколько часов, и охране приходилось силой отбрасывать рвущихся к детям родителей и привычной ложью останавливать тех, у кого были родственники отбракованных. Ничего не сообщалось, но все понимали, что в той группе собраны те, кто не прошел испытаний, и что будущего у них нет. Перекрывая звуки вальсов и веселых песенок из громкоговорителей из одной группы до другой доносились слова, полные страданий и слез. Генри Рознеру, раздираемому страданиями и его сыну Олеку, который скрывался где-то в пределах лагеря, как ни странно, довелось увидеть молодого эсэсовца со слезами на глазах, который, не в силах вынести подобного зрелища, молил отправить его на восточный фронт. Офицер гаркнул, что если заключенные и дальше не будут подчиняться, он прикажет своим людям открыть огонь. Может, Амон надеялся, что если появится повод для массового расстрела, он поможет избавиться от перенаселенности лагеря.

В завершение мероприятия к восточному краю апельсиплаца под угрозой оружия были оттеснены 1400 взрослых и 268 детей, тут им предстояло дожидаться транспорта на Аушвиц. Пемперу довелось увидеть и запомнить данные, которые Амон считал разочаровывающими. Хотя они и не отвечали его ожиданиям, селекция все же помогла освободить кое-какое место для временного размещения венгров.

В наборе карточек доктора Бланке дети Плачува не были зарегистрированы с той же скрупулезностью, как взрослые. Многим из них удалось оба воскресенья прятаться в укрытиях, ибо и они и их родители инстинктивно понимали, что и возраст, и отсутствие их имен в лагерной документации неизбежно обрекают детей на роль жертв селекции.

Во второе воскресенье Олек Рознер прятался за потолочными балками барака. Весь день на стропилах вместе с ним лежали еще двое ребят, и весь день они послушно хранили молчание, подавляя мучительное желание опорожнить переполненные мочевые пузыри в окружении крыс и блох, ползавших по их узелкам с небогатым тюремным скарбом. Как и все взрослые, дети отлично знали, что эсэсовцы и украинская охрана осведомлены о наличии пустого пространства под потолком. Но они опасались заразиться тифом, потому что доктор Бланке предупредил их, что достаточно одного укуса тифозной блохи – и заражение неминуемо. Некоторые из детей Плачува месяцами прятались в тюремном бараке, на котором было крупно написано: «Внимание – тиф!»

В это воскресенье «Акция здоровья» Амона Гета была для Олека Рознера куда опаснее, чем опасность встречи с тифозной блохой. Часть же ребят, которые попали в число 268-ми, тоже встретили начало акции в укрытиях. Все дети в Плачуве обрели недетскую проницательность, и у каждого было свое излюбленное убежище. Кто-то предпочитал залезать под пол бараков, другие прятались в прачечной или в гараже. Многие из убежищ были обнаружены или в первое воскресенье или в последующее и не могли больше скрывать беглецов.

В предыдущее воскресенье тринадцатилетний мальчишка-сирота решил, что он спасся, потому что во время переключки сошел за взрослого, затерявшись в их рядах. Но, обнаруженный, он уже не смог скрыть своего детского телосложения. Ему было приказано одеться и занять место среди детей. И пока родители с другого конца апельплаца что-то кричали своим детям, окруженным охраной, пока громкоговорители надрывались в сентиментальных песенках типа «*Mammi, kauf mir ein Pferdchen*» («Мамочка, купи мне лошадку»), мальчишка просто перешел из одной группы в другую, движимый тем безошибочным инстинктом, который в свое время был отмечен действиями девочки в красной шапочке на площади Мира. И подобно Красной Шапочке, никто не обратил на него внимания. Под звуки ненавистной музыки, чувствуя, как сердце у него колотится о ребра, он влился в толпу взрослых и растворился в ней. Затем, изобразив приступ поноса, попросил стражника отпустить его в уборную.

Ее длинное низкое строение располагалось за мужскими бараками и, оказавшись в нем, мальчик перелез через планку, на которую, испражняясь, сидел человек. Опираясь раскинутыми руками в обе стенки ямы, он стал опускаться в нее, стараясь кончиками ног наконец коснуться ее дна. Зловоние заставило его зажмуриться, и тучи мух залепили рот, уши и ноздри. Погрузившись почти по горло и почувствовав наконец дно ямы, сквозь гул бесчисленного скопища мух, он услышал голоса, которые показались ему бредом воображения. «Куда ты лезешь?» – сказал один голос. А другой добавил: «Черт возьми, это наше место!»

В яме вместе с ним было еще десять детей.

В отчете Амона использовался термин *Sonderbehandlung* – специальное обращение. Термин этот стал широко известен в последующие годы, но Пемпер в первый раз столкнулся с ним. Естественно, он имел успокаивающее, едва ли не медицинское значение, но теперь-то Метек мог утверждать, что медициной тут и не пахло.

Телеграмма, которую Амон продиктовал этим утром для отправки в Аушвиц, достаточно убедительно свидетельствовала об этом. Амон объяснил, что с целью избежать дополнительных осложнений он настоял, чтобы состав группы, отобранной для «специального обращения», в ходе погрузки оставался в своей привычной одежде, которая у них имелась и что в полосатую тюремную форму их следует переодеть по окончании погрузки. Поскольку в Плачуве наличествует нехватка подобной формы, полосатые одеяния, в которых придут из Плачува кандидаты на «специальное обращение», должны быть возвращены из Аушвица для повторного использования.

Все дети, оставшиеся в Плачуве, и среди них большая часть тех, кто скрывались в уборной вместе с высоким подростком, продолжали прятаться среди взрослых, пока не были обнаружены в ходе последующих обысков и проверок, после чего их ждали томительные 60 километров до Аушвица. В это жаркое лето теплушки непрерывно были в ходу, перебрасывая войска и вооружения к линии фронта, проходившей под Львовом, а на обратном пути им приходилось терять время на боковых путях, пока эсэсовские врачи рассматривали тянущиеся перед ними вереницы отчаявшихся обнаженных людей.

Глава 29

Сидя у открытого окна в кабинете Амона, сквозь которое проникал душный летний воздух,

Оскар с самого начала не мог отделаться от впечатления, что встреча носила какой-то двусмысленный характер. Может, Мадритч и Бош чувствовали то же самое, ибо, избегая встречаться взглядами с Амоном, упорно разглядывали за окном ползущие по узкоколейке вагонетки с камнем. Лишь унтерштурмфюрер Лео Йон, который вел запись встречи, недвижимо сидел за столом, застегнутый на все пуговицы.

Амон сообщил, что встреча носит характер совещания по вопросам безопасности. Хотя фронт в настоящее время стабилизировался, появление русских отрядов в предместьях Варшавы заставило партизан усилить свою активность во всем генерал-губернаторстве. Евреи, до которых дошли эти слухи, осмеливаются на попытки бегства. Они, конечно, не подозревают, указал Амон, что им куда безопаснее находиться за колючей проволокой чем сталкиваться с убийцами евреев, которых вдоволь среди польских партизан. В любом случае, каждый должен опасаться возможности атаки партизан извне, а, более того, непредвиденных контактов между партизанами и заключенными.

Оскар попытался представить картину нападения партизан на Плачув, в результате которого смешавшаяся толпа евреев и поляков сразу же станет армией. Но это было только мечтой наяву, и кто мог поверить в нее? Перед ними стоял Амон, который старался убедить всех, что он-то в это верит. Он преследует какую-то цель. Оскар в этом не сомневался.

Бош сказал:

– Если партизаны явятся к тебе, Амон, я надеюсь, это произойдет не в тот вечер, когда я буду у тебя в гостях.

– Аминь, аминь, – пробормотал Шиндлер. – Да будет так.

После встречи, что бы она ни означала, Оскар пригласил Амона в свою машину, стоящую у административного корпуса. Он открыл багажник. В нем лежало седло, богато украшенное узорами, характерными для Закопане, горного района к югу от Кракова. Оскару было необходимо преподнести Амону такой подарок, ибо теперь оплата за рабочую силу для ДЭФ шла больше не через гауптштурмфюрера Гета, а направлялась прямо в Краков, представителю ораниенбургской штаб-квартиры генерала Пола.

Оскар предложил подвезти и Амона и его седло до виллы коменданта.

В такой душный жаркий день вагонетки ползли по колее несколько медленнее, чем предписывалось. Но преподнесенное шикарное седло смягчило Амона, да и вообще он больше не мог позволить себе выскочить из машины и тут же расстрелять нерадивых работников. Машина миновала казармы гарнизона и поехала вдоль боковых путей, на которых стоял ряд теплушек. По дрожащим струйкам раскаленного воздуха, которые, колыхаясь, поднимались от крыш теплушек, Оскар мог предположить, что они были набиты до отказа. Даже шум двигателя не мог заглушить доносящиеся из них стоны и мольбы о воде.

Остановив машину, Оскар прислушался. Учитывая, что в багажнике лежало великолепное дорогое седло, он не встретил возражений. Амон снисходительно улыбнулся сентиментальности своего приятеля.

– Часть пассажиров, – сказал он, – люди из Плачува, а часть – из трудового лагеря в Щебне. И еще поляки и евреи из Монтелюпич. Держат курс на Матхаузен, – с ухмылкой добавил Амон. – Они жалуются. Ну так они еще не знают, на что им придется жаловаться...

Крыши теплушек от жары отливала бронзой.

– У тебя нет возражений, – спросил Оскар, – если я вызову пожарную бригаду?

Амон хмыкнул с выражением «что-тебе-еще-придет-в-голову?» Он дал понять, что никому бы не позволил вызывать пожарников, разве что Оскару, потому что Оскар такой уж парень, да и вообще вся история станет поводом для хорошего послеобеденного анекдота.

Но когда Оскар в самом деле послал украинского охранника ударить в колокол, созывающий еврейскую пожарную команду, Амон несколько смутился. Он не сомневался – Оскар знал, что такое Матхаузен. Если людям в теплушках подадут воду из шлангов, у них появятся надежды на будущее. И не является ли доподлинной жестокостью таким образом давать им какие-то обещания? Пока Амон мялся, прикидывая, не изобразить ли все происходящее веселой шуткой, успели подключить и развернуть шланги, из которых на раскаленные крыши теплушек хлынули потоки воды. Нейшел, выйдя из конторы, только качал головой и улыбался, слушая, как люди в вагонах стонали и кричали от удовольствия. Грюн, телохранитель Амона, стоял, болтая с унтерштурмфюрером Йоном, отряхивая мундир от случайных капель. Но оставленные шланги, даже вытянутые во всю

длину, доставали едва до середины состава. Оскар попросил Амона еще об одном одолжении: пусть несколько украинцев подъедут в Заблоче и привезут дополнительные шланги. Они длиной в 200 метров, сказал Оскар. Амон почему-то счел это донельзя уморительным.

Конечно, разрешаю, – покатываясь от хохота, сказал Амон. Он был готов пойти на что угодно ради хорошей комедийной ситуации.

Оскар дал украинцам записку к Банкеру и Гарде. Когда они уехали, Амон настолько преисполнился духом разыгрываемого представления, что разрешил раздвинуть двери теплушек и передать в них ведра с водой, а также вынести трупы с розовыми распухшими лицами. На железнодорожных путях стояли удивленные эсэсовцы, офицеры и рядовые.

– Он думает, что спасет их?

Когда с ДЭФ прибыли длинные шланги и все теплушки были облиты водой, шутка обрела новый поворот. В записке Банкеру Оскар приказал управляющему зайти к нему в кабинет и набить целый ящик выпивкой, сигаретами, добротным сыром, сосисками и так далее. Теперь Оскар передал этот ящик эсэсовцу на задней площадке вагона. Передача состоялась у всех на глазах, и солдат смутился при виде столь щедрого подношения и быстро спрятал его в вагоне на тот случай, если кто-то из руководства лагеря в Плачuve перехватит дар. Но поскольку Оскар, как ни странно, был в столь добрых отношениях с комендантом, весь рядовой состав относился к нему с уважением.

– Когда вы остановитесь около станции, – сказал Оскар, – вы сможете открыть двери вагонов?

Через много лет двое оставшихся в живых из этого транспорта – врачи Рубинштейн и Фельдштейн дали Оскару знать, что эсэсовцы часто открывали двери и регулярно снабжали их ведрами с водой в ходе утомительного пути до Матхаузена. Из всего обилия транспортов в этом, конечно же, люди ехали на смерть с наибольшими удобствами.

Пока Оскар, сопровождаемый дружным смехом эсэсовцев, двигался вдоль вереницы вагонов в своем тщетном стремлении как-то помочь находившимся в нем людям, можно было заметить, что его действиями руководит не столько безрассудство, сколько одержимость и настойчивость. Даже Амон сказал, что его приятель переключился на какую-то другую скорость. Вся эта стремительность, с которой тянули шланги к самым дальним теплушкам, затем подношение взятки на глазах всего гарнизона СС – все это придало новые нотки веселью Шейдта, Йона или Хайара, ибо когда против Оскара будет выдвинут ряд обвинений, на эту информацию гестапо не сможет не обратить внимания. После чего Оскар может оказаться в Монтелюпиче и, учитывая, что против него будет выдвинуто обвинение в расовом преступлении, отправиться в Аушвиц. Поэтому Амон был в конце концов не на шутку испуган настойчивостью, с которой Оскар требовал обращаться с этими живыми мертвецами, словно они были бедными родственниками, вынужденными добираться к месту назначения в вагоне третьего класса.

Минуло два часа пополудни, и, пока скатывали доставленные шланги, локомотив потащил унылую вереницу теплушек к главным путям. Шиндлер подвез Амона с седлом к его вилле. Амон видел, что Оскар по-прежнему погружен в свои мысли, и в первый раз за время их знакомства позволил себе дать приятелю житейский совет. Тебе надо расслабиться, сказал Амон. Ты не можешь провожать каждый состав, который уходит отсюда.

* * *

Адам Гарде, инженер и заключенный с «Эмалии», тоже обратил внимание на следы изменений, происшедших в Оскаре. Ночью 20 июля в барак к Гарде пришел эсэсовец и поднял его. Герр директор позвонил в сторожку и сказал, что ему по профессиональной надобности срочно нужен инженер Гарде.

Тот нашел Оскара прикившим к приемнику; лицо его покраснелось, а на столе перед ним стояла бутылка и два стакана. В эти дни над его столом появилась рельефная карта Европы. Во времена, когда немцы маршировали по Европе, ее здесь не было, но теперь Оскар, казалось, испытывал острый интерес к сокращающимся фронтам немецкой армии. Сегодня вечером радио было настроено на волну *Deutschlandsender*, а не, как обычно, на Би-Би-Си. Доносились звуки серьезной музыки, что обычно предшествовало важным сообщениям.

Оскар жадно ловил каждое слово. Когда вошел Гарде, он встал и толкнул молодого инжене-

ра в кресло. Налив стакан коньяка, он торопливо пододвинул его по столу к нему.

– Состоялось покушение на жизнь Гитлера, – сказал Оскар. – О нем было объявлено в начале вечера, но говорилось, что Гитлер пережил его. Обещано, что скоро состоится его обращение к немецкому народу. Но до сих пор его нет. Час идет за часом, но он так и не появился в эфире. И продолжает звучать Бетховен, как было в дни падения Сталинграда.

Несколько часов Оскар и Гарде сидели бок о бок. Умиротворяющая сцена, когда немец и еврей рядом слушают – если необходимо, они будут сидеть так всю ночь – убит ли фюрер. Адам Гарде, конечно, тоже был захвачен волной надежды, от которой у него сперло дыхание. Он заметил, что Оскар буквально обмяк, словно мысль, что вождь мертв, заставила расслабиться все его мышцы. Он непрестанно пил и заставлял Гарде пить с ним на пару. «Если это правда, – сказал Оскар, – то немцы, простые немцы, вот как он, могут начать возрождаться к нормальной жизни». Оставалось лишь надеяться, что у кого-то из окружения Гитлера в самом деле хватило мозгов стереть его с лица земли. «Это конец СС, – сказал Оскар. – К утру Гиммлер будет в тюрьме».

Он выпустил клуб дыма. «О господи, – сказал он, – какое счастье видеть, что этой системе приходит конец!»

В десять часов новости не сообщили ничего нового – лишь то, что уже было известно. Состоялась попытка покушения на жизнь фюрера, но она провалилась, и через несколько минут фюрер выступит по радио. Но когда прошел час, а Гитлер так и не появился, Оскар предался фантазиям, которые были в ходу среди многих немцев, когда война близилась к концу.

– Нашим бедам приходит конец, – сказал он. – Мир снова стал здоров. И Германия может объединиться с Западом и выступить против русских.

Надежды Гарде носили более скромный характер. В худшем случае, предполагал он, гетто обретет тот же вид, который оно имело при старом императоре Франце-Иосифе.

Пока они пили под звуки торжественной музыки, им становилось все более и более ясно, что в эту ночь Европа узнает о той смерти, которая была так важна для ее существования. Они снова становятся гражданами континента; они ныне не заключенный и герр директор. По радио то и дело повторялось, что фюрер вот-вот обратится к народу с посланием, каждый раз Оскар раздражался недоверчивым смехом.

Когда наступила полночь, они уже не обращали никакого внимания на эти обещания. С каждым вдохом им становилось легче набирать в грудь воздух в том Кракове, которым он стал после фюрера. К утру, как они предположили, все будут танцевать на каждом углу и никого за это не покарают. Вермахт арестует Франка в Вавельском замке и окружит комплекс зданий СС на Поморской.

Незадолго до часа ночи Гитлер выступил из своей ставки в Растенберге. Оскар был настолько убежден, что уж этого-то голоса ему никогда больше не придется слышать, что в течение нескольких секунд он не мог опознать его, несмотря на знакомые интонации. Он был убежден, что это речь очередного партийного оратора. Но с первых же слов Гарде узнал, чей это голос.

Мои немецкие товарищи! начал Гитлер. Если я обращаюсь сегодня к вам, то первым делом лишь потому, что вы должны услышать мой голос и убедиться, что я здоров и не ранен и, вторых, потому, что вы должны узнать о преступлении, не имеющем себе равных в истории Германии.

Речь кончилась через четыре минуты упоминанием о заговорщиках.

И пришло время предъявить им счет как это привыкли делать мы, национал-социалисты.

Адам Гарде так и не поддался на фантазии, которые Оскар лелеял весь вечер. Ибо Гитлер был не только человек; он был олицетворением системы. Если бы даже он погиб, не было никакой гарантии, что система изменит свой характер. Кроме того, такое создание, как Гитлер, не могло просто за один вечер исчезнуть без следа.

Но в течение этих нескольких часов Оскар отчаянно верил в его смерть, и когда выяснилось, что она была лишь иллюзией, молодому Гарде пришлось взять на себя обязанность утешать его, ибо Оскар впал в неизбежную печаль.

– Все наши надежды оказались тщетными, – сказал он. Налив по очередному стакану коньяка для них обоих, он оттолкнул бутылку и открыл портсигар. – Бери бутылку, сигареты и отправляйся спать, – сказал он. – Придется подождать еще немного, прежде чем придет наша свобода.

Под воздействием коньяка, обрушившихся на них известий, которые так резко сменили свой характер в течение часа, Гарде не обратил внимания, насколько странными были слова Оскара,

сказавшего о «нашей свободе», словно они оба в равной степени нуждались в ней, оба были заключенными, которым оставалось лишь пассивно дожидаться, пока их освободят. Но, вернувшись к себе на койку, Гарде не мог не подумать, до чего удивительно, что герр директор позволил себе говорить таким образом и что он так быстро перешел от полета фантазии к подавленности. Ведь обычно он так прагматичен.

* * *

На Поморской и в лагерях вокруг Кракова стали распространяться слухи, что в конце лета заключенных ждут неминуемые изменения. Эти слухи волновали и Оскара в Заблоче и в Плачуве. Амон получил неофициальное заверение, что лагерь будет расформирован.

И на деле та встреча, посвященная вопросам безопасности, не имела отношения к спасению Плачува от партизан и касалась грядущего закрытия лагеря. Амон из Плачува позвонил Мадритчу, Оскару и Бошу и пригласил на встречу, чтобы придать ей такую защитную окраску. Теперь ему было ясно, что надо ехать в Краков и связываться с Вильгельмом Коппе, новым главой полиции СС в генерал-губернаторстве. При встрече Амон изображая на лице ложную озабоченность, сидел в дальнем торце стола и хрустел суставами пальцев, якобы переживая из-за грядущей судьбы осужденного Плачува. Он выложил Коппе ту же историю, которую рассказал Оскару и остальным – что подпольная организация проникла в лагерь, что сионисты из-за огады установили связь с радикальными элементами Армии Людовой и еврейской боевой организации. И обергруппенфюрер должен понять, что такого рода связь трудно перехватить – послания с воли поступают в буханках хлеба. Но при первых же признаках активного неповиновения он – Амон Гет – как комендант должен иметь право применить соответствующие ответные действия. И вопрос, который Амон собирается задать, заключается в том, что если он откроет огонь первым и оформит в бумагах для Ораниенбурга свои действия задним числом, поддержит ли его уважаемый обергруппенфюрер?

Никаких проблем, сказал Коппе. Он сам терпеть не может бюрократию. В недавнем прошлом, будучи шефом полиции в Вартланде, он командовал целым караваном душегубок, в которых вывозили за город «унтерменшей», по пути они глотали выхлопные газы, которые поступали в герметически закрытые пространства кузова. Это тоже происходило в порядке импровизации, где не было места бумажной волоките. Конечно, вы вправе сами принимать решение, заверил он Амона. И в таком случае можете рассчитывать на мою поддержку.

Еще в ходе встречи Оскар почувствовал, что партизаны не особенно беспокоят Амона. Знай он, что Плачув подлежит ликвидации, он бы лучше понял смысл представления, устроенного Амоном. Амона главным образом беспокоил Вилек Чилович, шеф еврейской лагерной полиции. Амон часто использовал Чиловича в качестве своего агента на черном рынке. Чилович отлично знал Краков. Он знал, где можно выгодно продать муку, рис, масло, которые комендант выдавал ему из лагерных запасов. Он знал дельцов, которые проявляли интерес к продукции ювелирной мастерской, организованной такими заключенными, как Вулкан. Амона беспокоила и компания Чиловича; в нее входили Марыся Чилович, пользовавшаяся привилегиями как его жена. Метек Финкельштейн, его помощник, и сестра Чиловича мадам Фербер с мужем. И если в пределах Плачува была аристократия, то ими были Чиловичи. Они обладали властью над заключенными, но их информированность имела и оборотную сторону: о делах Амона они знали не меньше, чем о самом последнем механике на фабрике Мадритча. И если Плачув будет закрыт, Амон понимал, что, переправленные в другой лагерь, они пустят в ход свои знания, чтобы шантажировать его, едва они поймут, что им угрожает опасность. Или, скорее всего, как только проголодаются.

Конечно, Чилович был настороже, и по его поведению Амон видел, что он сомневается, удастся ли ему покинуть Плачув. Амон решил воспользоваться этими настроениями Чиловича. Он подозвал к себе Совински из вспомогательного состава СС, призванного из Высоких Татр в Чехословакии, в свой кабинет, чтобы посоветоваться. Совински встретился с Чиловичем и намекнул, что есть шанс организовать ему бегство. Амон не сомневался, что Чилович пойдет на эту сделку.

Совински справился с задачей. Он сказал Чиловичу, что может вывезти из лагеря всю его команду в одной из больших газогенераторных машин. В ней может рассестся до полудюжины человек. Чилович заинтересовался предложением. Совински, конечно, должен передать записку своим друзьям с той стороны, которые обеспечат машину. Затем он сообщит, где их будет ждать грузовик. Чилович выразил желание расплатиться драгоценными камнями. И к тому же, сказал

Чирович, чтобы доказать серьезность их устного договора. Совински должен обеспечить его и оружием.

Совински сообщил о встрече коменданту, и Амон дал ему пистолет 38-го калибра с подпленным бойком. Оружие было передано Чировичу, у которого, естественно, не было возможности проверить его исправность. Но теперь Амон мог поклясться и Коппе, и в Ораниенбурге, что у заключенного было найдено оружие.

То был воскресный день в середине августа, когда Совински встретился с Чировичами на дровяном складе и помог им укрыться в грузовике. Затем они по Иерусалимской двинулись к воротам. Здесь предстояла рутинная формальность осмотра, после чего грузовик мог ехать в сельскую местность. Прижавшись друг к другу в пустой топке для дров, беглецы сдерживали лихорадочное сердцебиение, лелея немислимую надежду наконец ускользнуть от Амона.

Тем не менее у ворот машину встречали Амон с Амтуром и Хайаром и украинец Иван Шаруев. Она была небрежно обыскана. С усмешками осматривая кузов, эсэсовцы приберегли топку напоследок. Они изобразили несказанное удивление, когда в его пространстве обнаружили запуганных Чировичей, тесно, как сардинки в банке, прижатых друг к другу. Когда Чировича выволокли наружу, Амон «нашел» у него пистолет, засунутый в сапог. Карманы Чировича были набиты драгоценными камнями, которые ему в виде взяток вручали отчаявшиеся обитатели лагеря.

В этот день заключенные услышали, что Чирович был расстрелян около ворот. Новость вызвала то же самое удивление, то же смятение чувств, которые охватили всех в ту ночь год назад, когда казнили Симху Спиру и его полицию. И мало кто не понял, какая судьба его ждет.

Чировича и его спутников расстреляли на месте из пистолетов. Амон, желтый от приступа печеночных колик, уже заметно раздобревший, с хрипом, как старик, перевел дыхание, ткнув дулом в затылок Чировича. Позже трупы были выставлены на аппельплаце с прищипленными на груди надписями: «ТЕХ, КТО НАРУШАЕТ УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКОНЫ, ЖДЕТ ТА ЖЕ СМЕРТЬ».

Но и из этого зрелища заключенные Плачува, конечно, извлекли, совсем другую мораль.

* * *

Весь остаток дня Амон провел, составляя два длинных отчета – один для Коппе, другой в секцию «D» генерала Глюка, объясняя, как он сразу же пресек попытку ворваться в Плачув – точнее, перехватив группу главных заговорщиков, которые пытались выскользнуть из лагеря – казнив руководителя заговора.

До одиннадцати часов ему не удалось кончить составление отчетов. Фрау Кохман была слишком медлительна для такой поздней работы, и поэтому комендант приказал поднять в бараке Метека Пемпера и прислать его на виллу. Встретив его, Амон сразу же уверенно заявил, что он, Пемпер, помогал Чировичу сбежать. Изумившись, молодой человек не знал даже, что ответить. Озираясь в поисках найти какое-то оправдание, он увидел разодранный шов на брюках.

– Как в таком тряпье я мог показаться за воротами? – спросил он.

Сочетание в его ответе откровенности и отчаяния удовлетворило Амона. Он приказал ему сесть и объяснил, что предстоит печатать и как нумеровать страницы. Амон ткнул в бумагу пальцем.

– Я хочу, чтобы работа была первоклассной.

И Пемпер подумал: «Вот так оно все и идет – я мог погибнуть при попытке к бегству, могу и потом, потому что стал свидетелем того, как Амон оправдывается».

Когда Пемпер с черновиками в руках покидал виллу, Амон, последовав за ним, отдал последний приказ.

– Когда ты будешь печатать список казненных нападавших, – дружелюбно сказал Амон, – я хочу, чтобы ты над моей подписью оставил место для еще одной фамилии.

Пемпер кивнул, спокойный и собранный, как подобает профессиональному секретарю. Он застыл лишь на долю секунды в поисках доводов, которые могли бы заставить Амона отменить свое указание о лишней строчке. Она предназначалась для его имени. «Метек Пемпер». Но в этой душной угрожающей духоте, которая в тот вечер стояла над Иерусалимской, в голову ему не пришло ничего толкового.

– Да, герр комендант, – только и сказал Пемпер.

Когда, спотыкаясь, он покинул административный корпус, то вспомнил письмо, которое в начале лета Амон дал ему печатать. Оно было адресовано отцу Амона, венскому издателю, и было полно сыновнего сочувствия по поводу аллергии, которая мучила его отца каждую весну. Причина, по которой Пемпер вспомнил именно это письмо из всех прочих, заключалось в том, что за полчаса до того, как ему была поручена эта работа, Амон выволок во двор девушку из регистратуры и пристрелил ее. Сопоставление письма и казни дало Пемперу понять, что аллергия и чья-то смерть имеют в глазах Амона примерно одно и то же значение. И если послушному стенографу сказано оставить место для его имени, не стоит и сомневаться, что он подчинится.

Пемпер сидел за машинкой больше часа, но в конце концов оставил место, где предстояло появиться его имени. Хотя такой исход не являлся для него фатальной неожиданностью. Среди друзей Штерна ходили осторожные разговоры, что Шиндлер прикидывает, как тем или иным образом переместить отсюда побольше людей, но сегодня вечером слухи из Заблоче больше не имели для него значения. Метек печатал; в каждом отчете он оставил место для своей собственной смерти. И все эти воспоминания о преступных копирках коменданта, которые он старательно берег в памяти – все пошло прахом из-за пустой строчки, которую ему пришлось оставить.

Когда оба текста были выверены до последнего слова, он вернулся на виллу. Амон заставил его ждать у высокого окна, пока сидя перечитывал документы. Пемпер прикидывал, какая надпись появится на его трупе: «Так умирают еврейские большевики!»?

Наконец Амон подошел к окну.

– Можешь идти спать, – сказал он.

– Герр комендант?

– Я сказал, можешь идти спать.

Пемпер ушел. Он стал чувствовать почву под ногами. После того, что ему довелось увидеть, Амон не должен был оставлять его в живых. Но может быть, комендант утомился и решил покончить с ним попозже. А тем временем день жизни – все равно жизнь.

Пустое место, как потом выяснилось, было отведено для одного старика-заключенного, который по глупости своей попытался договориться с такими людьми, как Йон и Хайар, дав им знать, что у него есть кошелек с драгоценными камнями, спрятанными где-то вне лагеря. Когда измотанный Пемпер засыпал в своем бараке, Амон, пригласив старика на виллу, предложил ему жизнь в обмен на алмазы, а после того, как старик показал место их хранения, его, конечно же, тут же расстреляли, и его имя было вписано в отчеты Коппе и в Ораниенбург, где стало известно, как решительно была подавлена искра бунта.

Глава 30

Приказы, исходящие из ОКН (Верховного командования армии) продолжали ложиться на стол к Оскару. В силу складывающейся военной ситуации, как сообщил Оскару начальник отдела боеприпасов, концлагерь Плачув и соответственно его отделение на «Эмалии» нуждаются в перемещении. Заключенных с «Эмалии» следует вернуть в Плачув, где они будут ожидать соответствующего распоряжения. Самому Оскару предписывалось, как можно скорее свернуть свою производственную деятельность в Заблоче, оставив лишь необходимое количество технического персонала, чтобы законсервировать предприятие. Для получения дальнейших инструкций ему следует обращаться в эвакуационный отдел ОКН, в Берлин.

Первой реакцией Оскара была холодная ярость. Он представил себе некоего молодого чиновника, который пытается препятствовать его замыслам – какой-то человек в Берлине, не догадывающийся, что хлеб с черного рынка связал воедино Оскара и его заключенных, думает, что владелец завода может просто открыть ворота предприятия, позволив, чтобы у него забрали всех рабочих. Но больше всего его вывело из себя уклончивое выражение «перемещение». Генерал-губернатор Франк в этом смысле куда честнее, он дал откровенно понять это в своем недавнем выступлении. «Когда мы одержим окончательную победу в войне, я убежден, что поляки, украинцы и весь тот мусор, что сейчас болтается под ногами, будет превращен в котлетный фарш; словом, мы поступим с ними, как нам заблагорассудится». Франк, по крайней мере, имел смелость называть вещи своими именами. В Берлине же писали «перемещение» и считали, что умыли руки.

Амон отлично знал, какой в нем заключен смысл, и во время очередного визита Оскара в Плачув, откровенно поведал ему об этом. Все мужчины Плачува будут переведены в Гросс-Розен,

женщины – в Аушвиц. Гросс-Розен представлял собой обширный район каменоломен в Нижней Силезии. Компания «Германские земляные и каменные работы», предприятие СС с отделениями по всей Польше, Германии и на завоеванных территориях, использовала заключенных из Гросс-Розена. Процессы же в Аушвице подчинялись более простым и современным схемам.

Когда новости о закрытии дошли до завода и стали обсуждаться в бараках, кое-кто из людей Шиндлера понял, что пришел конец их спасительному убежищу.

Перльманы, чья дочь рискнула своими арийскими документами, чтобы попросить за них, связывали уже узлы из одеял, с философским спокойствием разговаривали со своими соседями по бараку. «Эмалия» дала им год покоя год сытной еды, год нормального существования. Может, этого более чем достаточно. И теперь их ждет смерть, от которой некуда деться. Эта обреченность ясно чувствовалась в тоне их голосов.

Спокойно воспринимал все происходящее и рабби Левертов. Дела его с Амоном не были закончены – и наконец тот добрался до него. Эдит Либгольд, которую в первые же дни гетто Банкер определил в ночную смену, обратила внимание, что хотя Оскар продолжает часами вести серьезные разговоры со своими еврейскими мастерами, он уже не общается с рабочими и не дает головокружительных обещаний. Может, приказы из Берлина расстроили и обескуражили его, как и всех прочих. Так что он больше не мог играть роль пророка, которым он был во время их первой встречи три года назад.

Ближе к концу лета, когда заключенные продолжали увязывать свои вещи, готовясь отправляться в Плачув, между ними стали ходить слухи, что, мол, Оскар ведет переговоры о выкупе их всех. Он упомянул об этом Гарде; он сказал Банкеру. Да, некоторым и самим почудилось нечто подобное в его спокойной уверенности, в его манере невнятно, по-стариковски бурчать. Но когда вы поднимались по Иерусалимской, мимо административного корпуса, с изумлением новичка встречая команды бурлаков из каменоломни, воспоминания об обещаниях очередным грузом ложились на душу.

Вернулась в Плачув и семья Горовитцев. Их отец, Долек, в прошлом году перетащил их на «Эмалию», но все вернулось на круги своя и для шестилетнего Рихарда, и для его матери Регины. Нюся, которой минуло уже одиннадцать лет, принялась опять подравнивать щетину для щеток, и из окна она видела вереницы грузовиков, ползущих на горку с австрийским фортотом и жирный черный дым крематория, тянущийся над холмом. В Плачuve все было как и год назад, когда они покинули его. И она была не в состоянии представить, что когда-нибудь ему придет конец.

Но ее отец верил, что Оскар составляет список своих людей, который поможет извлечь их отсюда. Список Оскара, как многие считали, был уже не просто перечислением имен. Это был СПИСОК. Он был волшебной колесницей, полог которой укроет их.

Обдумав идею, как бы вместе с ними забрать и евреев из Кракова, Оскар как-то вечером заявился на виллу Амона. Стояла тихая спокойная ночь последних недель лета. Амон был обрадован встрече с ним. Из-за состояния здоровья Амона – оба врача, и Бланке и Гросс, предупреждали его: если он не ограничит себя в еде и питье, его ждет смерть – в последнее время гости реже стали бывать на вилле.

Они, как встарь, уселись бок о бок, хотя теперь Амону приходилось пить более умеренно. Оскар изложил ему свое новое намерение. Он обещается перевести свое предприятие в Чехословакию. И хотел бы взять с собой квалифицированный рабочий коллектив. Ему нужно набрать еще толковых рабочих из числа обитателей Плачува. В поисках подходящего места он обратится за содействием к эвакуационному отделу; он предполагает разместиться где-то в Моравии и *Ostbahn* поможет ему переместиться на юго-запад от Кракова. Он хочет поставить Амона в известность, что был бы весьма благодарен ему за поддержку. Упоминание о благодарности всегда возбуждающе действовало на Амона. Да, сказал он, если Оскар получит одобрение своего намерения от соответствующих отделов, Амон рассмотрит представленный список.

Когда все было обговорено, Амон изъявил желание перекинуться в карты. Он предпочитал французский вариант «блэк джека». Игра была непростым испытанием для младших офицеров, которым приходилось поддаваться, стараясь делать это не очень заметно. Одним низкопоклонством тут было не обойтись. Это был настоящий спорт, и Амон предпочитал именно в нем пробовать силы. Но в этот вечер Оскар не был заинтересован в проигрыше. Он и так выложит Амону более, чем достаточно за этот список.

Комендант начал со скромной ставки в 100 злотых, ибо врачи советовали ему проявлять

умеренность и в этом увлечении. Тем не менее, он стал повышать ставки и когда начальная поднялась до 500 злотых, Оскар выложил комбинацию из туза и валета, из чего следовало, что Амону придется выплатить ему двойную ставку.

Амон был раздосадован, но не вышел из себя. Он позвал Хелен Хирш, чтобы та принесла кофе. Она вошла, напоминая собой пародию на вышколенную прислугу джентльмена, хотя и в аккуратном черном платье, но правый глаз у нее опух и заплыл. Она была столь маленькой и хрупкой, что Амону пришлось отказаться от удовольствия постоянно избивать ее. Девушка теперь уже была знакома с Оскаром, но не поднимала на него глаз. Прошло около года с того дня, когда он обещал вытащить ее отсюда. Когда бы Оскар не появлялся на вилле, он старался заглянуть в кухню и осведомиться, как она себя чувствует. Его внимание трогало ее, но сути жизни не меняло. Например, несколько недель назад, когда она подала на стол недостаточно горячий суп, – Амон был придирчив относительно температуры еды, мушиных точек в коридоре, блох у собак – комендант вызвал Ивана и Петра и приказал поставить ее у березы и расстрелять. Он наблюдал из высокого окна, как она шла под дулом маузера Петра и, сдерживая слезы, молила молодого украинского парня: «Петя, кого ты собираешься убивать? Я же Хелен. Та Хелен, которая кормила тебя пирожными. Ведь ты же не можешь погубить меня, верно?» И Петр, у которого тоже стоял комок в горле отвечал ей сквозь стиснутые зубы: «Я знаю, Хелен. Я сам не хочу. Но если я не послушаюсь, он убьет меня». Она прислонилась головой к шершавому стволу березы. Когда Амон потом часто спрашивал себя, почему он не убил ее, он приходил к выводу, что его остановила ее покорность, ее желание умереть. Но этого он не мог ей позволить. Ее была такая дрожь, что и он заметил ее. У нее даже ноги подергивались. И тут она услышала окрик Амона из окна.

– Тащи эту сучку обратно. Еще успеет пристрелить ее, времени хватит. Может, еще удастся чему-то научить ее.

В перерывах между дикими вспышками, говорившими о его душевном нездоровье, были редкие моменты, когда он пытался играть роль великодушного хозяина. Как-то утром он сказал ей: «Ты в самом деле отличная прислуга. Если после войны тебе понадобится рекомендация, я с удовольствием дам ее тебе». Она знала, что это была всего лишь болтовня, бред наяву. Она плохо слышала на одно ухо, потому что он ударом кулака порвал ей барабанную перепонку. Она не сомневалась, что рано или поздно станет жертвой его вспышки ярости.

При той жизни, что она вела, улыбка одного из гостей была лишь минутным утешением. Сегодня вечером она принесла и поставила рядом с герром комендантом большой кофейник – он по прежнему пил кофе, обильно засыпая в него сахар, – и, выполнив указание, покинула гостиную.

Через час, когда Амон был уже должен Оскару 3.700 злотых и мрачно сетовал на свое невезение, Оскар предложил ему другой вариант ставки. Когда он переберется в Чехословакию, сказал он, в Моравии ему понадобится горничная. Таких толковых и вымуштрованных, как Хелен Хирш, там не раздобыть – все сплошь сельские девки. Таким образом, Оскар предложил Амону удвоить ставку – все или ничего. Если Амон выиграет, Оскар выплачивает ему 7.400 злотых. Если Амон с ходу бьет его, то сумма повышается до 14.800 злотых. «Но если выиграю я, – сказал Оскар, – то ты включаешь Хелен Хирш в мой список».

Амон дал понять, что хотел бы обдумать предложение. «Да брось ты, – сказал Оскар, – ей так и так отправляться в Аушвиц». Но он привык к ней. Хелен ему стала необходима, он не может вот так запросто расстаться с ней. Когда он размышлял, какой конец ее постигнет, то всегда испытывал желание прикончить ее собственными руками в приступе страсти. Если он поставит ее на кон и проиграет, он лишится удовольствия лично придушить ее.

Когда история Плачува только начиналась, Шиндлер несколько раз просил, чтобы Хелен переехала на «Эмалию». Но Амон неизменно отказывал ему. Всего год назад казалось, что Плачув будет существовать десятилетиями, и что комендант и его горничная будут стареть бок о бок, по крайней мере, пока какая-нибудь ошибка со стороны Хелен не положит конец этой странной связи. В то время никому не могло прийти в голову, что их отношениям может придти конец, потому что русские еще стояли под Львовом. Что же до Оскара, он легко и не задумываясь сделал это предложение. Ему не пришло в голову, что, торгуясь с Амоном, они напоминают Бога и Сатану, играющих в карты на человеческие души. Он не задавался вопросом, есть ли у него право ставить на карту судьбу девушки. Если он проиграет, его шансы каким-то иным образом вытащить ее сойдут практически на нет. Но в этом году все шансы были достаточно смутными. Даже его собственные.

Поднявшись, Оскар стал расхаживать по комнате в поисках клочка бумаги, на котором можно набросать официальную расписку. Он составил ее текст, который Амону предстояло подписать в случае проигрыша: «Настоящим подтверждаю, что имя заключенной Хелены Хирш будет внесено в любой список квалифицированных рабочих, перемещаемых вместе с предприятием „ДФ“ герра Оскара Шиндлера».

Амон сдавал, и Оскар получил восьмерку и пятерку. Оскар попросил прикуп. Он получил пятерку и туза. Могло сработать. Затем Амон принялся сдавать себе. Пришла четверка и король.

– Боже небесный! – сказал Амон. В данном случае он ругался подобно джентльмену, будучи слишком утонченным, чтобы за карточным столом позволять себе грубые ругательства. – Я вылетаю. – Он издал короткий смешок, но вроде не был особенно раздосадован. – Первая сдача у меня, – объяснил он, – состояла из тройки и пятерки. С четверкой я был бы опасен, но свалился еще тот чертов король.

В конечном итоге он подписал обязательство. Оскар собрал фишки, которые выиграл у Амона в этот вечер и вернул ему проигрыш. «Так что пусть пока моя девушка будет на твоём попечении, – сказал он, – пока не придет время расставаться».

Сидя у себя на кухне, Хелен Хирш не подозревала, что карты спасли ее.

Может, потому что Оскар рассказал Штерну об этом вечере у Амона, слухи о планах Оскара дошли до административного корпуса и распространились даже по цехам. Речь шла о *списке Шиндлера*. И все должны были попасть в него.

Глава 31

Когда в ходе воспоминаний о Шиндлере разговор доходил до этого места, выжившие друзья герра директора смущенно щурились, качали головами, начиная едва ли не математические вычисления мотивов его поступков. Одним из наиболее распространенных выражений, которое можно было услышать от «евреев Шиндлера», было: «Понятия не имею, почему он это делал». Могло начаться со слов, что Оскар был вообще азартным человеком, что он был чувствительным человеком, любившим ясность в жизни и испытывал стремление творить добро; что Оскар по темпераменту был анархистом, который любил издеваться над системой; что под его душевной чувствительностью лежала способность решительно противостоять человеческой дикости, пресекать ее, не страшась поражения. Но никто из них, как бы они ни старались вообразить себе, не мог объяснить то отчаянное упорство и собачью цепкость, с которыми осенью 1944 года он приступил к организации последнего убежища для узников «Эмалии».

И не только для них. В первых числах сентября он нанес визит Мадритчу в Подгоже, у которого в настоящий момент на фабрике форменного обмундирования работало больше 3.000 заключенных. Ныне предприятие подлежало закрытию и расформированию. Мадритчу предстояло избавиться от своих швейных машин, а его рабочим – исчезнуть. Если мы возьмемся за дело на пару, сказал Оскар, нам удастся вытащить более четырех тысяч человек. И моих и ваших. Переместив, мы как-то спасем их. В Моравии.

Выжившие работники Мадритча всегда относились к нему со справедливым уважением. За те порции хлеба и цыплят, которые тайком проносили на фабрику, он платил из собственного кармана, подвергаясь постоянному риску. Пожалуй, он был надежен даже более, чем Оскар. Он был не столь вызывающе ярок, не столь одержим страстями. Ему не пришлось пережить арест. Но, не предавая принципов гуманизма, он все же был достаточно осторожен, и не обладай он такой проницательностью и энергией, завершил бы свои дни в Аушвице.

И теперь Оскар разворачивал перед ним картину совместного предприятия «Мадритч-Шиндлер», расположенного где-то в верхних Есениках – пусть и маленькие и не очень броские, но надежные корпуса.

Мадритч заинтересовался идеей, но не торопился сказать «да». Он понимал, что хотя война и проиграна, система СС не собирается сдаваться, а наоборот, лишь укрепит свои позиции. Он был прав в своем предположении, что, к сожалению, в течение ближайших месяцев заключенных Плачува отправят в лагеря смерти на запад. Ибо как бы ни был Оскар упоен и одержим своей идеей, не уступят ни главное начальство СС, ни его отделения на местах, ни коменданты концентрационных лагерей.

Тем не менее, он не сказал и «нет». Ему потребуется какое-то время все обдумать. И хотя он

не дал понять этого Оскару, но откровенно побаивался вручить судьбу своего завода в руки такого одержимого страстями человека, как герр Шиндлер.

Так и не получив от Мадритча ясного ответа, Оскар пустился в дорогу. Прибыв в Берлин, он устроил званый обед для полковника Эриха Ланге. Мне придется совершенно прекратить производство снарядов, сказал Оскар Ланге. Но я могу перебазировать свое тяжелое оборудование.

Решающее слово оставалось за Ланге. Он мог гарантировать получение контрактов, он мог написать убедительную рекомендацию, в которой нуждался Оскар, дабы предъявить ее и в отделе эвакуации, и немецким властям в Моравии.

Позже Оскар подтвердил, что получал постоянную помощь от этого скромного штабного офицера. Ланге тоже был в состоянии подобного отчаяния и морального отвращения, свойственного многим, работавшим внутри данной системы, но далеко не всегда на нее. Мы сможем это проверить, сказал Ланге, но потребуются деньги. Не для меня. Для других.

Через Ланге он вышел на офицера из эвакуационного отдела штаба верховного командования на Бендлерштрассе. Вполне возможно, сказал тот, что такой план эвакуации в принципе будет одобрен. Но существует главное препятствие. Губернатор, он же гауляйтер Моравии, правящий ею из замка в Либереце, придерживается политики, по которой еврейские трудовые лагеря должны размещаться не в его провинции. И пока ни СС, ни Инспекции по делам вооруженных сил не удалось его уговорить изменить свою точку зрения. Самый толковый человек, с которым можно обсудить данную ситуацию, сказал ему офицер, это инженер вермахта, человек средних лет, из инспекции по делам вооруженных сил, чья контора размещается в Троппау; фамилия его Зюссмут. Оскар может прикинуть с ним, какое место наиболее подходит для размещения предприятия в Моравии. В таком случае, герр Шиндлер может рассчитывать и на поддержку руководства эвакуационного отдела.

– Но вы должны понимать, что с точки зрения того давления, которому они подвергаются, учитывая те лишения, которые им принес ход войны, они тем охотнее и быстрее дадут вам ответ, чем убедительнее вы сможете воздействовать на них. Нам, бедным горожанам, не хватает ветчины, сигарет, напитков, одежды, кофе... и тому подобного.

Собеседник, очевидно, решил, что Оскар был в состоянии прихватить с собой половину довоенной продукции всей Польши. Вместо того, чтобы привезти с собой подношения для господ из управления, Оскару пришлось приобретать вещи на черном рынке в Берлине. Старик портье за стойкой отеля «Адлон» смог обеспечить герра Шиндлера запасом превосходного шнапса по сниженной цене в 80 рейхсмарок за бутылку. А столь уважаемым лицам из управления невозможно преподнести меньше, чем дюжину. Кофе шло наравне с золотом, а цены на гаванские сигары были вообще невыносимыми. Но Оскар все же закупил их и снабдил ими пакет с подношениями. Да, приходится попытаться, если хочешь объехать по кривой губернатора Моравии.

Пока Оскар вел переговоры, Амона Гета арестовали.

* * *

Должно быть, кто-то донес на него. Кто-то из ревностных младших офицеров или уважаемый житель города, который, посетив виллу, был поражен сибаритским стилем жизни Амона. Старший следователь СС Эккерт начал расследовать финансовые делишки Амона. Расстрелы, которыми Амон увлекался с балкона, не имели существенного значения для расследования Эккерта. Но вот растраты и дела на черном рынке, а также то, что следовало из жалоб его подчиненных – вот к этим обвинениям он отнесся с полной серьезностью.

Амон был в отпуске в Вене и жил у своего отца, издателя, когда СС арестовало его. Также был проведен обыск в городских апартаментах гауптштурмфюрера Гета, где обнаружили бумажник с деньгами, около 80 тысяч рейхсмарок, происхождение которых он не смог им удовлетворительно объяснить. Кроме того, за потолочными перекрытиями был найден тайник, в котором хранилось до миллиона сигарет. Венская квартира Амона, как стало ясно, служила, скорее, складом, чем семейным гнездышком.

С первого взгляда могло показаться странным и удивительным, что СС – или точнее, офицеры 5-го бюро Главного управления безопасности рейха – решили арестовать столь ревностного служаку, как гауптштурмфюрер Гет. Но на их долю уже пришлось расследование непорядков в Бухенвальде, где они попытались привлечь к ответственности даже коменданта Коха. Они пыта-

лись найти основания для ареста и столь уважаемой личности как Рудольф Гесс и допрашивали некую венскую еврейку, которая, как они предполагали, была беременна от этого светоча лагерной системы. Так что Амон, возмущавшийся в своей квартире, пока ее обыскивали, отнюдь не мог рассчитывать на снисходительность.

Его доставили в Бреслау и сунули в камеру в тюрьме СС, где ему придется ждать окончания расследования и суда. В плане любовных связей его невиновность была доказана, когда по прибытии в Плачув следователи стали допрашивать Хелен Хирш, подозревая, что она имеет отношение к свинствам Амона. Дважды за последние месяцы ее доставляли в камеру за баракком гарнизона СС в Плачуве, где и допрашивали. Раз за разом в нее выстреливали вопросы относительно контактов Амона с черным рынком – кто были его агенты, как он организовал работу ювелирной и портняжной мастерских в Плачуве, что он имел с обойной фабрики. Никто не бил ее и ей не угрожали. Но Хелен мучило ощущение, что ее считают сообщницей Амона. Если Хелен когда-нибудь и мечтала о спасении, которое свалится на нее как благодеяние Небес, то она и представить себе не могла, что Амона арестуют его же собственные соратники. Но в комнате для допросов она чувствовала, что сходит с ума, когда они пытались связать ее с Амоном.

– Вам бы мог помочь Чилович, – сказала она следователям. – Но Чилович мертв.

Они были профессиональными полицейскими, криминалистами, и спустя некоторое время поняли, что из нее больше ничего не выжать, кроме малозначительной информации о меню обедов на вилле Гета. Они могли бы поинтересоваться о происхождении ее шрамов, но она понимала, что они не собираются привлекать Амона по обвинению в садизме. Если бы они стали фиксировать подобные случаи, скажем, в Заксенхаузене, то пришлось бы отдать под суд всю вооруженную охрану. Вот в Бухенвальде они нашли стоящего свидетеля, унтер-офицера, который был согласен дать показания против коменданта, но информатор был найден мертвым в своей камере. Глава группы следователей приказала, чтобы яд, образец которого был найден в желудке покойного, был дан четырем русским заключенным. Понаблюдав, как они умирают, он получил доказательства против коменданта лагеря и лагерного врача. Хотя против них было выдвинуто обвинение в убийстве и садистском обращении, эта справедливость носила странный характер. Во всяком случае, она заставила персонал лагеря сплотить ряды, и от них не удалось получить ни одного показания. Так что люди из 5-го бюро не собирались спрашивать Хелен Хирш о ее ранах. Их интересовали только растраты, и в конце концов они оставили ее в покое.

Допрашивали они и Метека Пемпера. У него хватило ума особо не распространяться относительно Амона, во всяком случае, не о его преступлениях против человечности. О прегрешениях Амона он не знает ничего, кроме слухов. Он играл роль постороннего, хорошо воспитанного стенографа и машинистки, которого допускали лишь к несекретным материалам.

– Герр комендант никогда при мне не обсуждал подобные темы, – продолжал повторять он. Но при всей своей убедительности, он, как и Хелен Хирш, чувствовал испытываемое к нему злое недоверие. И если хоть что-то могло гарантировать ему право на жизнь, то только арест Амона. Более надежной гарантии у него не было: когда русские приближались в Гарнуву, Амон, продиктовав последнее письмо, застрелил машинистку. Метека беспокоило лишь то, чтобы они не слишком быстро освободили Амона.

Но их интересовал вопрос не только о разговорах Амона. Судья СС, который допрашивал Метека, слышал от обершарфюрера Лоренца Лансдорфера, что гауптштурмфюрер Гет диктует своему еврейскому стенографу планы действий гарнизона Плачува в случае нападения партизан. Как явствовало из показаний Пемпера, ему было доверено печатать такие планы, Амон просто дал ему сходные указания, касающиеся других концентрационных лагерей. Судья был настолько обеспокоен расшифровкой столь секретных документов перед еврейским заключенным, что приказал арестовать Пемпера.

Метек провел две ужасных недели в камере СС. Его не били, но он подвергался постоянным допросам, которые вели несколько следователей СС и два эсэсовских судьи. Ему казалось, что он читает в их глазах убеждение, что самым простым и надежным исходом было бы просто расстрелять его. Как-то в ходе допроса, касавшегося планов обороны Плачува, Пемпер спросил своих следователей: «Почему вы меня тут держите? Тюрьма есть тюрьма. А я и так обречен на пожизненное заключение». За этим доводом должно было последовать решение: то ли наградить его пулей, то ли освободить из камеры. После допроса Пемпер провел в камере несколько тревожных часов, но дверь ее наконец распахнулась. Его выставили и он вернулся в свой барак в лагере. Тем

не менее, его не в последний раз допрашивали по вопросам, имевшим отношение к коменданту Гету.

Похоже, что после ареста Амона его подчиненные не торопились характеризовать его самым лучшим образом. Они проявляли осторожность. Ждали. Бош, который выпил на пару с Гетом несметное количество алкоголя, намекнул унтерштурмфюреру Йону, что слишком опасно совать взятку этим упертым следователям. Что же до начальства Амона, то Шернер отбыл охотиться на партизан и, в конечном итоге, погиб в партизанской засаде в лесах под Неполомицей. Амон продолжал находиться в руках людей из Ораниенбурга, которые никогда не обедали в *Goethhaus* – в таком случае, они были бы поражены или же преисполнились бы зависти.

После освобождения из камеры СС, Хелен Хирш стала обслуживать нового коменданта, гауптштурмфюрера Бюхнера. Она получила дружескую записку от Амона, который просил ее передать ему несколько смен белья, несколько романов и детективов и еще пару бутылок выпивки, чтобы он комфортнее чувствовал себя в камере. Текст был такой, подумала она, словно ей пишет близкий родственник. «Не будешь ли ты так любезна прислать мне нижеследующее, – говорилось в ней и заканчивалось пожеланием: „Надеюсь, что в ближайшее время увидимся“».

* * *

Тем временем Оскар обшаривал рыночную площадь в Троппау, где ему предстояло встретиться с инженером Зюссмутом. Он прихватил с собой напитки и камешки, но выяснилось, что в данном случае они не понадобятся. Зюссмут рассказал Оскару, что уже сам предложил, чтобы небольшие еврейские рабочие лагеря должны быть расположены в пограничных городках Моравии, где будут производить товары для нужд инспекции по делам армии. Такие лагеря, конечно, будут под общим контролем Аушвица или Гросс-Розена, ибо район влияния столь больших концентрационных комплексов захватывает и границу Польши с Чехословакией. Но в таких малых лагерях заключенные будут чувствовать себя в большей безопасности, чем в огромных некрополях, как, например, Аушвиц. Зюссмут, увы, не может предложить ничего конкретного. Либерецкий замок отвергает все предложения. И у него нет способа воздействия на него. Оскар – точнее, поддержка, полученная им от полковника Ланге и эвакуационного отдела, – имеет в руках такой способ.

В кабинете Зюссмута он ознакомился со списком мест для размещения предприятий, эвакуируемых из зоны военных действий. Неподалеку от родного городка Оскара Цвиттау, на окраине деревни Бринлитц было большое текстильное предприятие, принадлежащее двум братьям Гофман из Вены. В своем родном городе они катались как сыр в масле, но прибыли в *Sudetenland* вслед за легионами захватчиков (как и сам Оскар появился в Кракове) и стали текстильными магнатами. Одно крыло их предприятия практически не использовалось, служа складом для вышедших из строя мотальных станков. Здание такого же размера служило железнодорожным депо в Цвиттау, где шурин Оскара командовал грузовым двором. И железная дорога подходила чуть ли не к самым воротам.

– Эти братья умели извлекать прибыль, – улыбаясь, сказал Зюссмут. – Их поддерживает кто-то из местных политических лидеров – и городской совет, и руководитель района у них в кармане. Но за вами полковник Ланге.

Зюссмут пообещал, что тут же письменно свяжется с Берлином и порекомендует использовать пристройки к предприятию Гофманов.

Оскар с самого детства был знаком с деревушкой Бринлитц, населенной немцами. Ее национальный характер сказывался и в том, что жители предпочитали называть ее именно так, ибо чехи именовали ее Брненец. Жители Бринлитца отнюдь не горели желанием увидеть по соседству тысячу евреев. Как и жители Цвиттау, где многие работали на предприятии Гофманов, пусть даже война явно подходила к концу.

Во всяком случае, Оскар подъехал туда, чтобы бросить беглый взгляд на предлагаемое место. Он решил не заглядывать в головную контору братьев Гофманов, потому что старший из них, основатель компании, мог бы кое о чем догадаться. Но ему удалось без помех осмотреть крыло здания. Это было старое промышленное строение в два этажа, за которым простирался огромный двор. Нижний этаж с высокими потолками был заставлен старыми машинами и тюками бракованной пряжи. Верхний этаж можно отвести под контору и поставить там легкое оборудование. Пол верхнего этажа не выдержит давления крупных прессов. Внизу же удастся разместить новые мас-

терские для ДЭФ, кабинеты, а в углу обставить личные апартаменты директора. Наверху же разместятся и заключенные.

Место ему понравилось. Он вернулся в Краков, полный желания скорее взяться за работу, пустить в ход средства – и еще ему надо было снова поговорить с Мадритчем. Ибо Зюсмут мог найти место и для него – может, в том же Бринлитце.

Когда он вернулся, то увидел, что бомбардировщик союзников, сбитый истребителем люфтваффе, рухнул на два крайних барака на тюремном дворе. Мятые обломки его почерневшего обгоревшего фюзеляжа еще торчали среди раздавленных обломков. На «Эмалии» оставалась небольшая группа рабочих, которые упаковывали продукцию и приводили в порядок оборудование. Они видели, как падал самолет, объятый пламенем. В самолете было два человека, тела которых сгорели после падения. Люди из люфтваффе, приехавшие забрать их трупы, сообщили Адаму Гарде, что бомбардировщик был «Стирлингом», а пилоты – австралийцами. Один, который прижимал к груди обуглившуюся Библию, должно быть, так и погиб с нею в руках. Двоим остальным удалось выпрыгнуть с парашютами в пригороде. Один был найден скончавшимся от ран, висящим на подвесной системе. До другого первыми добрались партизаны и сейчас где-то прячут его. Австралийский экипаж сбрасывал партизанам припасы и снаряжение где-то в глухих лесах к востоку от Кракова.

Если Оскар и хотел получить подтверждение своим намерениям, оно было перед ним. Эти люди проделали непредставимо длинный путь из, может быть, маленького городка в Австралии, чтобы найти свой конец в небе над Краковом. Он тут же позвонил одному из начальников депо подвижного состава в конторе *Ostbahn* и пригласил его на обед, в ходе которого необходимо было обговорить количество платформ, которые, возможно, понадобятся ДЭФу.

* * *

Через неделю после разговора Оскара с Зюсмутом, человек из Главного управления вооружений в Берлине сообщил губернатору Моравии, что предприятие по производству боеприпасов Оскара будет размещено в пристройке к ткацкой фабрике Гофманов в Бринлитце. Бюрократы в губернаторстве ничего больше не смогут сделать, сообщил Зюсмут Оскару по телефону, разве что тормозить прохождение бумаг. Но Гофман и другие члены партии в районе Цвиттау, уже успели посоветоваться и выдвигают возражения по поводу вторжения Оскара в Моравию. *Kreisleiter* из Цвиттау отправил в Берлин жалобу, что евреи-заключенные из Польши представляют собой опасность для здоровья и благосостояния моравских немцев. Активная деятельность в этом регионе, которая никогда не была ему свойственна за последний период и появление небольшого производства по выпуску боеприпасов Оскара, несмотря на ее сомнительный вклад в дело военных усилий, может привлечь внимание бомбардировщиков союзников, в результате чего будет разрушено важное предприятие Гофманов. Количество еврейских преступников в предполагаемом месте размещения лагеря Шиндлера, превысит небольшое число достойных граждан Бринлитца и станет раковой опухолью в здоровом организме окрестностей Цвиттау.

Протесты такого рода ни к чему не могли привести, так как поступали прямо в кабинет Эриха Ланге в Берлине. Обращения в Троппау блокировались честным Зюсмутом. Тем не менее, на стене родного дома Оскара появилась надпись: «Долой еврейских преступников!»

Оскар платил безостановочно. Он платил эвакуационной комиссии в Кракове, чтобы ускорить получение разрешения на перевозку техники. Надо было подбодрить экономический отдел в Кракове, чтобы обеспечить незамедлительный перевод банковских счетов. В эти дни деньги потеряли свое значение, так что он платил натурой – килограмм чая, пара кожаной обуви, ковры, кофе, консервы. Он проводил дни на узеньких улочках вокруг рыночной площади Кракова в поисках того, что может устроить чиновников. Он не сомневался, что в противном случае они его промаринуют, пока всех его евреев не погонят в Аушвиц.

Это был Зюсмут, который сообщил ему, что люди из Цвиттау написали в инспекцию по делам вооруженных сил, обвиняя его в операциях на черном рынке. И если они написали мне, сказал Зюсмут, то можете быть уверены, что точно такое же письмо легло на стол к шефу полиции в Моравии, оберштурмфюреру Отто Рашу. Вы должны представиться ему, дабы он увидел, какой вы очаровательный человек.

Оскар знал Раша еще с тех времен, когда тот был шефом полиции в Катовице. По счастливой

случайности, Раш был главой компании «Феррум АГ» в Сосновце, у которого Оскар закупал металл. Но, рванувшись в Брно, чтобы пресечь нежелательные слухи, Оскар решил не полагаться на столь сомнительное основание, как дружеские отношения. Он взял с собой ограненный бриллиант, который смог преподнести во время встречи. И когда драгоценный камень лег перед Рашем на столе, Оскар мог считать, что его позиции в Брно обеспечены.

Потом уже Оскар подсчитал, что потратил 100.000 рейхсмарок – примерно 40.000 долларов – чтобы ускорить переезд в Бринлитц. Кое-кто из выживших благодаря его усилиям считал эту цифру неправдоподобной, хотя были и те, которые, качая головами, говорили: «Нет, гораздо больше! Он выложил куда больше».

* * *

Он составил список, который назвал предварительным и отправил его в административный корпус. В нем было больше тысячи фамилий, в число которых входили все заключенные из лагеря «Эмалии», а также немало новых имен. В список была внесена и Хелен Хирш, и в отсутствие Амона никто не мог оспорить его действий.

Список мог значительно расшириться, если бы Мадритч согласился вместе с ним перебраться в Моравию. Поэтому Оскар продолжал уговаривать Титча, своего союзника, к мнению которого Мадритч прислушивался. Те заключенные Мадритча, которые поддерживали с Титчем близкие отношения, знали, что список продолжает дополняться и могли надеяться, что им удастся попасть в него. Титч недвусмысленно давал им понять это. В царстве бумаг, проходящих через Плачув, двенадцать листиков с фамилиями, составляемых Оскаром, были единственными, за которыми открывалось будущее.

Но Мадритч все не мог решить, хочет ли вступить в союз с Оскаром, что позволило бы расширить список до 3.000 фамилий.

Тут снова появляется неясность, связанная с легендами относительно точной хронологии списка Оскара. Неясность эта не имеет отношения к существованию списка как такового – экземпляр его и сегодня можно увидеть в архивах Йад-Вашема. Нет никакой неопределенности, как мы можем убедиться, что до последней минуты, Оскар и Титч припоминали фамилии и приписывали их к официальному списку. Все фамилии в списке имеют своих подлинных владельцев. Но обстоятельства, при которых составлялся список, рождали легенды. Проблема заключалась в том, что так как список составлялся с лихорадочной торопливостью, в нем, при всем старании авторов, были пробелы. Список был абсолютно добросовестным. Фамилия в списке означала жизнь. Но за пределом его плотно исписанных страниц лежал провал.

Некоторые из тех, чьи имена попали в список, говорили, что на вилле Гета состоялась вечеринка, на которую собрались эсэсовцы и местные предприниматели. Кое-кто даже считал, что тут был сам Гет, но поскольку СС не выпустило его из тюрьмы, это было невозможно. Другие же заверяли, что прием состоялся в апартаментах Оскара над предприятием. В течение более чем двух лет Оскар устраивал там великолепные обеды. Один из заключенных «Эмалии» припомнил, что в первые же часы нового 1944 года, когда он дежурил в цехе, Оскар осторожно, стараясь не скрипнуть ступеньками, спустился к нему и принес с собой два пирожных, двести сигарет и бутылку вина, которую они и распили на пару со сторожем.

Где бы ни состоялся прием, ознаменовавший окончание существования Плачува, на нем присутствовали доктор Бланке, Франц Бош и, по некоторым данным, оберфюрер Юлиан Шернер, который приехал отдохнуть от охоты на партизан. Были тут и Мадритч с Титчем. Потом уже Титч сообщил, что именно тут Мадритч в первый раз сообщил Оскару, что не может перебраться в Моравию вместе с ним. «Я сделал для евреев все, что мог», – сказал ему Мадритч. Он принял окончательное решение, и Титчу не удалось его переубедить.

Но Мадритч был порядочным человеком. За что ему позже было воздано должное. Просто он не верил, что переезд в Моравию удастся. Есть основания считать, что в противном случае он бы сделал эту попытку.

О вечеринке известно еще и то, что проходила она в спешке, потому что список Шиндлера надо было представить в этот же вечер. Но во всех версиях этой истории есть некий общий элемент, который подчеркивают все выжившие. Все, кто рассказывают эту историю, слышали ее непосредственно от Оскара, которому было свойственно стремление к некоторому приукрашиванию

действительности. Но в начале 60-х годов Титч рассказал, как все происходило на самом деле. Скорее всего, новый временный комендант Плачува, гауптштурмфюрер Бюхнер, сказал Оскару: «Кончайте валять дурака, Оскар. Пора прекращать всю эту бумажную волокиту с транспортировкой». Можно предположить, что существовал и другой конечный срок, поставленный железной дорогой, у которой был дефицит подвижного состава.

Тем не менее, перепечатывая окончательный вариант списка Оскара, Титч вписал над подписями имена и заключенных Мадритча. Так было добавлено почти семьдесят фамилий, которые смогли по памяти припомнить Титч и Оскар. Среди них была семья Фейгенбаумов – взрослая дочь, пораженная неизлечимой саркомой кости и подросток Лютек, который якобы был слесарем-наладчиком швейных машин. Под пером Титча они превратились в опытных специалистов по производству боеприпасов. В квартире раздавались громкие песни, разговоры и смех, висели клубы сигаретного дыма, пока, приткнувшись в уголке, Оскар и Титч лихорадочно припоминали фамилии, стараясь без ошибок воспроизвести их польское написание.

В конце концов Оскару пришлось остановить разогнавшуюся руку Титча. «Мы уже перешли все границы, – сказал он. – Они будут орать и из-за того количества, которое у нас уже есть». Титч продолжал втискивать имена на свободное пространство, но утром проснулся, проклиная себя за то, что кое-кто вылетел у него из памяти. Но сейчас он старался выжать из себя все, что мог, чувствуя, что он уже на пределе своих сил. Ему казалось, что он совершает едва ли не богохульство, ибо давал людям право на жизнь, просто припоминая их. Но он не опускал рук. Только ему трудно было дышать в дымном воздухе квартиры Шиндлера.

Но список был еще не завершен, поскольку его еще предстояло просмотреть и сверить регистратору из отдела личного состава Марселю Гольдбергу. Новый комендант, которому предстояло всего лишь покончить с лагерем, не будет лично утруждаться этой работой, проверяя по списку состав – ему надо было представить лишь количество заключенных, вошедших в этот список. То есть, у Гольдберга была возможность подправлять его кое-кого вписывая с краю. Заключенным уже было известно, что Гольдберг берет взятки. Дрезнеры знали об этом. Иуда Дрезнер – дядя Гени, девочки в красном, муж миссис Дрезнер, которой когда-то было отказано в праве на укрытие за стенкой и отец Янека и молодой Данки – Иуда Дрезнер знал это. «Он уплатил Гольдбергу» – просто и откровенно сказала семья, объясняя, как они попали в список Шиндлера. Они так и не узнали, во что ему это обошлось. Таким же образом попали в список ювелир Вулкан, его жена и сын.

Польдек Пфефферберг узнал о списке от рядового эсэсовца Ганса Шрейбера. Шрейбер, молодой человек двадцати с небольшим лет, был в Плачуве таким же воплощением зла, как и остальные эсэсовцы, но Пфефферберг почему-то пользовался его симпатией и, несмотря на требования системы, между ними установились едва ли не дружеские отношения, которые порой возникали между отдельными эсэсовцами и некоторыми заключенными. Начало было положено в тот день, когда Пфеффербергу как старшему своей группы в бараке было поручено помыть окна. Шрейбер проверил стекла и, найдя на одном из них пятно, стал поносить Польдека в стиле, за которым чаще всего следовал расстрел. Польдек возмутился и сказал Шрейберу: оба они знают, что окна вымыты самым тщательным образом, а если Шрейбер только ищет предлог, чтобы расстрелять его, он может не тянуть время. Как ни странно, этот взрыв возмущения только развеселили Шрейбера, который потом, случалось, не раз останавливал Пфефферберга и спрашивал, как он поживает и как дела у его жены, а порой даже давал яблоко для Милы. Летом сорок четвертого года Польдек в отчаянии обратился к нему с просьбой помочь вытащить Милу из транспорта женщин, готового для отправки в дьявольский лагерь Штутгоф на Балтике. Мила уже направлялась в теплушку, когда, помахивая листком бумаги, появился Шрейбер и выкликнул ее фамилию. В другой раз, в воскресенье, он пьяным явился в барак к Пфеффербергу и в присутствии Польдека и других заключенных стал всхлипывать, сетуя о тех «ужасных вещах», что ему приходилось делать в Плачуве. Он хочет, сказал он, просить о переводе на Восточный фронт. Чего он в конце концов и добился.

А теперь он сообщил, что Шиндлер составляет список, и Польдек должен из кожи вон вылезти, чтобы попасть в него. Польдек зашел в административный корпус попросить Гольдберга, чтобы в список внесли и его Милу. За последние полтора года Шиндлер не раз виделся с Польдеком в гараже и неоднократно обещал, что постарается спасти его. Польдек же успел стать столь классным сварщиком, что мастер в гараже, которому ради спасения своей жизни приходилось вы-

давать только высококачественную работу, никогда не отпустил бы его. А теперь список был в руках у Гольдберга – себя-то он туда уже вписал – и вот Польдек старый знакомец Оскара, некогда частый гость в его апартаментах на Страшевского, думал, что он, Гольдберг, растрогавшись, напишет его.

– У тебя какие-нибудь камни есть? – спросил Гольдберг.

– Ты серьезно? – переспросил Польдек.

– За этот список, – сказал Гольдберг, человек, которому в руки случайно попала огромная власть, – платят алмазами.

Теперь, когда любитель венских мелодий гауптштурмфюрер Гет был в тюрьме, братья Рознеры, придворные Музыканты, обрели право оказаться в списке. Долек Горовитц, который раньше смог перетащить свою жену и ребенка на «Эмалию», тоже убеждал Гольдберга, чтобы он внес в список его самого, жену, сына и маленькую дочку. Горовитц всегда работал на центральном складе Плачува, где ему кое-что перепало. И теперь все было выложено Гольдбергу.

Среди тех, кто попал в список, были братья Бейские Ури и Моше, которые официально были представлены как ремонтник и чертежник. Ури разбирался в оружии, а Моше блистательно подделывал документы. Обстоятельства, связанные со списком, столь туманны, что теперь невозможно сказать, были ли они включены за эти таланты или за что-то иное.

Иосиф Бау, который столь изысканно ухаживал за своей женой, на каком-то этапе составления списка попал в него, не подозревая об этом. Такое положение дел позволяло Гольдбергу держать всех в неведении. Зная его натуру, вполне возможно предположить, что если Бау и обратился лично к Гольдбергу, то лишь с просьбой, чтобы в список обязательно были бы включены его мать и жена. И до самой последней минуты он не подозревал, что в списке оказался только он один.

Что же до Штерна, то герр директор включил его одним из первых. Штерн был единственным отцом-исповедником для Оскара и его слова оказывали на него большое влияние. С 1-го октября никому из еврейских узников Плачува не разрешалось выходить из Плачува – ни на кабельную фабрику, ни в любое другое место. В то же самое время особо надежным из польским заключенных была доверена охрана их бараков, чтобы предотвратить попытки евреев выторговать хлеб у поляков. Цена за тайно доставляемый в лагерь хлеб достигла такого уровня, что ее было бессмысленно выражать в злотых. В прошлом можно было приобрести буханку хлеба за лишнее пальто, а кусок в 250 грамм за пару чистого белья. Теперь же – как и в случае с Гольдбергом – приходилось рассчитывать на драгоценностями.

В течение первой недели октября Оскару и Банкеру в силу различных причин приходилось посещать Плачув и, как обычно, они наносили визит Штерну на его рабочем месте. Письменный стол Штерна стоял внизу в холле, рядом с кабинетом исчезнувшего Амона, и теперь тут можно было говорить свободнее, чем раньше. Штерн рассказал Оскару, насколько возросла цена на ржаной хлеб. Оскар повернулся к Банкеру: «Проверьте, чтобы Вейхерт доставил пятьдесят тысяч злотых», – пробормотал Оскар.

Доктор Михаэл Вейхерт был председателем бывшей еврейской организации общинной взаимопомощи. Чтобы создать косметическое впечатление о ее деятельности, контора доктора Вейхерта имела кое-какие ограниченные права, существование которых объяснялось и тем фактом, что у него еще оставались связи с Немецким Красным Крестом. Хотя многие польские евреи в пределах лагеря и относились к нему со вполне понятной подозрительностью, в силу которой он и предстал после войны перед судом – и был реабилитирован – Вейхерт был тем самым человеком, который мог быстро доставить в Плачув 50.000 злотых в качестве уплаты за хлеб.

Штерн и Оскар продолжили разговор. Упоминание о 50.000 злотых было только *obiter dicta*⁶ в их разговоре о наступивших неопределенных временах и о том, как себя должен был чувствовать Амон в своей камере в Бреслау. В конце недели хлеб, закупленный на черном рынке, был тайно доставлен в лагерь под грузом угля или металлолома. И через день цена упала до привычного уровня.

Это был характерный пример молчаливого взаимопонимания между Оскаром и Штерном, о котором можно было только мечтать в других инстанциях.

⁶ *Obiter dicta* (лат.) – попутно, к слову. – Прим. пер.

Глава 32

В конечном итоге один из обитателей «Эмалии», вычеркнутый Гольдбергом, чтобы освободить место для других – родственников, специалистов, сионистов, тех, кто платили – возложил на Оскара ответственность за это.

В 1963 году общество Мартина Бубера получило письмо с претензиями от одного из жителей Нью-Йорка, бывшего заключенного на «Эмалии». Оскар обещал спасти всех с «Эмалии», говорилось в нем. За что люди преумножали его состояние своим трудом. Тем не менее, некоторые не нашли себя в списке. Этот человек считал, что отсутствие его имени в списке было результатом личного предательства по отношению к нему и с яростью обманутого, которому пришлось пройти сквозь все муки ада, расплачиваясь за ложь другого человека – проклинал Оскара за все, что выпало на его долю, и за Гросс-Розен, и за ту ужасную скалу в Матхаузене, с которой сбрасывали узников и, наконец, за тот марш смерти, который пришлось им совершить, когда война уже заканчивалась.

Как ни странно, письмо, пышущее гневом, убедительно доказывало, что список обеспечивал возможность выжить, а жизнь тех, кто не попал в него была трудноописуемой. Но было бы несправедливо возлагать на Оскара вину за те махинации с фамилиями, которыми занимался Гольдберг. В хаосе тех последних дней лагерные власти подписали бы любой список, предложенный Гольдбергом, если его списочный состав не слишком превышал те 1.100 фамилий, обещанных Оскару. Сам Оскар не мог позволить себе часами сидеть рядом с Гольдбергом. Все его дни до предела были посвящены общению с чиновниками и вечерам в их обществе, когда он старался умаслить их.

Например, от старых друзей из конторы генерала Шиндлера он получил разрешение на перевозку своих прессов «Хило» и штамповочных машин; кое-кто из них взял на себя труд просмотреть документацию, обнаружив небольшие неточности, которые могли бы помешать идее Оскара о спасении своих 1.100 человек.

Один из работников инспекции выявил, что станки Оскара для производства боеприпасов должны получить разрешение на вывоз, особенно из Польши, через посредство специального отдела в Берлинском инспекторате и с одобрения его секции лицензирования. Ни один из этих отделов не был оповещен о предполагаемом перемещении в Моравию. Они потребовали бы ввести их в курс дела и разрешения были бы получены не раньше, чем через месяц. Этого месяца у Оскара не было. К концу октября Плачув должен был опустеть; всех его обитателей ждал Гросс-Розен или Аушвиц. В конце концов проблема была решена привычным способом – подарками.

Занимаясь этими делами, Оскару приходилось уделять время следователям СС, арестовавшим Амона. В глубине души он ждал, что его тоже арестуют или – что было тем же самым – будут непрерывно допрашивать о его взаимоотношениях с бывшим комендантом. Он был достаточно умен, чтобы не отрицать их, тем более, что одно из объяснений по поводу 80 тысяч рейхсмарок, найденных в квартире Амона звучало следующим образом: «Их дал мне Оскар Шиндлер, чтобы я был мягче с евреями». В то же время Оскар поддерживал связи со своими друзьями на Поморской, которые и сообщали ему, в каком направлении бюро ведет расследование.

И наконец, поскольку его лагерь в Бринлитце будет находиться под контролем КЛ Гросс-Розена, он успел познакомиться с его комендантом штурмбанфюрером Хассеброком. Стараниями Хассеброка в системе Гросс-Розена отправилось на тот свет 100.000 человек, но пока он договаривался с ним по телефону о встрече и ехал через нижнюю Силезию, он был самой малой из всех забот Оскара. Шиндлер уже привык встречаться с обаятельными убийцами и ему показалось, что Хассеброк даже благодарен ему за то, что теперь его империя простирается до Моравии. Ибо Хассеброк воспринимал свои владения только в этом качестве. Под его контролем находилось сто три дополнительных лагеря. (Бринлитц должен был стать сто четвертым – и со своими более 1.000 заключенных и сложной промышленностью – составить весомое дополнение). Семьдесят шесть лагерей Хассеброка были расположены в Польше, шестнадцать в Чехословакии, десять – в рейхе. Этот кусок сыра был куда больше того, что имелся в распоряжении Амона.

Заваленный обилием дел, встреч, умасливаниями и заполнения бумаг в те недели до закрытия Плачува, Оскар просто не имел времени проверять Гольдберга, если бы даже у него была бы эта возможность. Иными словами, даже в последние дни, полные хаоса и неразберихи, Гольдберг – Владыка Списка – держал его открытым для предложений.

Например, доктор Идек Шиндель посетил Гольдберга, чтобы уговорить его включить в список для отправки в Бринлитц себя и своих двух младших братьев. Гольдберг не дал ему немедленного ответа, и Шиндель находился в неведении до 15 октября, когда мужчин-заключенных стали загонять в теплушки, он понял, что и он, и его братья не были включены в список. И все же он присоединился к людям Шиндлера. Эта сцена была достойна того, чтобы стать воплощением Судного Дня – отторгнутый из числа праведников пытается укрыться в их среде, где его и замечает ангел мщения; роль его на этот раз выполнял обершарфюрер Мюллер, который подошел к доктору с хлыстом в руке и нанес ему удар. По левой щеке, по правой, опять по левой и опять по правой, в то же время насмешливо спрашивая:

– Что ты тут забыл в этом ряду?

Шинделю предстояло остаться с небольшой группой, которая должна была окончательно ликвидировать Плачув, а затем в вагоне для скота вместе с несколькими больными женщинами отправиться в Аушвиц. Там их бросили в барак в отдаленном углу Биркенау и оставили умирать. Тем не менее, большинство из них, засунутые в дальний угол, оказались вне внимания начальства лагеря и выжили. Шинделя самого послали во Флосенбург, где ему, вместе с братьями, пришлось принять участие в марше смерти. Он завершил его живым скелетом, а вот младший Шиндель был застрелен в предпоследний день войны. И таким образом можно оценить события, связанные со списком Шиндлера, хотя Оскар не имел к ним отношения; все это было результат злонамеренной деятельности Гольдберга, который вплоть до последних отчаянных дней октября продолжал поддерживать в выживших ложные надежды.

Каждый по-своему вспоминал о списке. Генри Рознер встал в один ряд с людьми Шиндлера, но эсэсовец заметил его футляр от скрипки и, решив, что Амон ту же потребует музыку, когда его выпустят из тюрьмы, отослал Рознера обратно. Тогда он, пристроив гриф подмышкой, спрятал инструмент под пальто, опять стал в эту очередь и так попал в теплушку. Рознер был одним из тех, кому Шиндлер пообещал спасение, и он всегда был в списке. То же самое произошло с Иеретцами: старый Иеретц с упаковочной фабрики и Хая Иеретц были в списке в роли *Metallarbertierin* – металлистов. В списке старых работников «Эмалии» оказались и супруги Перльман и Леверттов. В сущности, несмотря на все старания Гольдберга, Оскар получил в свое распоряжение большую часть из тех, кого он потребовал, хотя некоторые лица среди них не могли не удивить его. Но столь великодушный человек, как Оскар, не мог возражать, увидев среди обитателей Бринлитца Гольдберга.

Но встречались и более приятные неожиданности. Польдек Пфедферберг, например, представ перед Гольдбергом, был отвергнут им из-за отсутствия у него драгоценностей, хотя и намекнул, что может купить водки – и вообще предпочел бы расплатиться одеждой или хлебом. Раздобыв бутылку, он получил разрешение вместе с ней направиться в казарму на Иерусалимской, где дежурил Шрейбер. Он вручил ему бутылку и попросил его заставить Гольдберга включить его в список вместе с Милой.

– Шиндлер, – сказал он, – если помнит, должен был включить нас.

Польдек не сомневался, что разговор идет о его жизни.

– Да, – согласился Шрейбер. – Вы двое должны попасть в него. – Остается человеческой загадкой, почему такой человек, как Шрейбер, не спросил себя в данный момент: «Если данный человек и его жена достойны спасения, почему его не достойны остальные?»

И когда пришло время, Пфедферберги оказались среди людей Шиндлера. Здесь, к их удивлению, были Хелен Хирш с младшей сестренкой, о спасении которой она все время думала.

* * *

В воскресенье, 15 октября, мужчины из лагеря Шиндлера собрались на боковых путях Плачува. Женщины должны были отправляться через неделю. Хотя первые восемьсот человек держались отдельной группой во время погрузки, ибо для них должны были быть поданы отдельные вагоны, всех загнали в состав, где уже содержалось 1300 других заключенных, направлявшихся в Гросс-Розен. Примерно половина предполагала, что так им не миновать Гросс-Розена по пути в лагерь Шиндлера, но многие считали, что напрямик направятся туда. Они уже подготовились к испытаниям долгого и медленного пути в Моравию, предполагая, что им придется сидеть в вагонах, когда их будут загонять на дополнительные пути и томить на развязках. Не исключено, что в

таком положении им придется ждать по полдня и больше, пропуская грузы первой срочности. В последнюю неделю выпал снег и похолодало. Каждому заключенному на всю дорогу было выдано по 300 грамм хлеба и на вагон – по одному ведру воды. Для отправления естественных надобностей придется использовать угол вагона теплушки или же, если все стоят, тесно прижатые друг к другу, мочиться и испражняться прямо на месте. Но в конце концов, как бы ни было трудно, они опять окажутся в распоряжении Шиндлера. В следующее воскресенье последние 300 женщин списка погрузились в теплушки в том же самом приподнятом настроении.

Заключенные заметили, что Гольдберг пустился в путь налегке, как и большинство из них. Должно быть, у него были связи за пределами Плачува, которым он оставил свои богатства. Те, которые по-прежнему надеялись, что он сможет содействовать дяде, брату или сестре, освободили ему побольше места, чтобы он мог расположиться с удобствами. Остальным пришлось сидеть на корточках, упираясь коленями едва ли не в подбородок. Долек Горовитц держал шестилетнего Рихарда на руках. Генри Рознер, разложив одежду на полу, устроил на ней девятилетнего Олека.

Путешествие заняло три дня. Порой, во время стоянок, их дыхание сверкающей изморозью оседало на стенках. Воздуха не хватало, но когда удавалось набирать его полную грудь, он отдавал ледяной стылостью и зловонием. Наконец, в сумерках неприветливого осеннего дня поезд остановился. Двери отодвинули, и пассажиры стали торопливо выпрыгивать из них. Эсэсовцы подгоняли их, указывая направление и понося за зловоние из вагонов.

– Все снимать с себя! – орали они. – Все на дезинфекцию!

Сложив одежду, все голыми направились в лагерь. К шести вечера ряды голых людей выстроились на мрачном пространстве апельплаца. Сюда ли они стремились? Окрестные леса были занесены снегом; почва на площадке обледенела. Это не был лагерь Шиндлера. Они оказались в Гросс-Розене. Те, кто платил Гольдбергу, найдя его взглядами, угрожали ему смертью, пока эсэсовцы в плащах ходили меж рядов, награждая ударами хлыстов по ягодицам тех, кто не мог сдерживать крупную дрожь.

Людей продержали на апельплаце всю ночь, потому что еще не были готовы бараки для них. Лишь в середине утра следующего дня поступило разрешение укрыться под крышей. Говоря об этих семнадцати часах стояния на пронизывающем холоде, выжившие не упоминали о чьих-то смертях. Может, жизнь под надзором СС и даже пребывание на «Эмалии» дало им сил выдержать такую ночь. Хотя ветер был мягче, чем во все предыдущие дни недели, вынести холод было смертельно тяжело. Но они были настолько преисполнены надежды попасть в Бринлиц, что эта одержимость помогла перенести холод.

Позже Оскару приходилось встречать заключенных, которые вынесли и еще более долгие испытания холодом, от которых у них остались следы обморожения. Даже пожилой Гарде, отец Адама Гарде, пережил эту ночь, как и малыши Олек Рознер и Рихард Горовитц.

К одиннадцати утра всех погнали под душ. Польдек Пфедферберг, стиснутый в толпе, с подозрением присмотрелся к рожкам над головой, прикидывая, что пойдет из них – вода или газ. Оказалось, вода; но прежде, чем она хлынула, по рядам двинулись украинцы, исполнявшие роль парикмахеров, сбывая растительность на головах, лобках и подмышками. Приходилось стоять по стойке смирно, глядя перед собой, пока украинец тупой бритвой обрабатывал заключенного. Один из них пожаловался на это.

– Ничего подобного, – сказал украинец и полоснул его по ноге для доказательства остроты лезвия.

После душа всем выдали полосатую тюремную форму и загнали в бараки. Эсэсовцы усадили их в длинные ряды, подобно рабам на галерах, когда спина одного располагалась между раскинутыми ногами того, кто был сзади, а его собственные ноги служили опорой переднему. Таким методом в трех бараках удалось разместить 2000 человек. Немецкие *капо*, вооруженные дубинками, наблюдали за порядком, расположившись на стульях у стен. Люди были столь тесно прижаты друг к другу, на пространстве пола не оставалось ни одного свободного дюйма – что, направляясь в туалет, даже с разрешения капо, приходилось передвигаться буквально по головам, выслушивая проклятья.

В центре одного из барачков стояла полевая кухня, в которой варили суп из репы. Возвращаясь из уборной, Польдек Пфедферберг обнаружил, что за кухней присматривает унтер польской армии, которого он знал еще с первых дней войны. Унтер дал Польдеку немного хлеба и позволил ему на ночь расположиться рядом с горячей кухней. Остальным же пришлось провести ночь в

тесных рядах на полу.

Каждый день их выгоняли на аппельплац, где им приходилось стоять в молчании не меньше десяти часов. Вечерами, после скудной похлебки, разрешалось гулять вокруг бараков, беседа друг с другом. В девять вечера раздавался свисток, предписывавший занять на ночь то же неудобное положение, что и раньше.

На второй день на аппельплац явился офицер СС в поисках того, кто составлял список Шиндлера. Похоже, что его так и не прислали из Плачува. Гольдберга, которого в его грубой тюремной форме сотрясала дрожь, привели в контору и потребовали, чтобы он по памяти восстановил его. К концу дня эту работу он не закончил и по возвращении в барак был окружен теми, кто отчаянно молил его о включении в список. Здесь, в этой душной тьме, его дергали и теребили со всех сторон, хотя все его старания привели их лишь в Гросс-Розен. Пемпер и еще несколько человек, протолкавшись к Гольдбергу, стали убеждать его впечатать утром в список имя доктора Александра Биберштейна, брата Марека Биберштейна, который первым стал достойным председателем юденрата в Кракове. В начале этой недели Гольдберг обрадовал Биберштейна, сообщив ему, что он включен в список. И только когда все начали грузиться в теплушки, доктор выяснил, что его нет среди людей Шиндлера. Даже в таком месте, как Гросс-Розен, Метек был настолько уверен в будущем, что угрожал Гольдбергу – после войны с ним рассчитаются, если Биберштейна не окажется в списке.

Наконец, на третий день, сверяясь с восстановленным списком, от всех прочих отделили 800 человек из группы Шиндлера; после посещения вошебойки для очередной помывки, им разрешили посидеть несколько часов перед своими бараками, болтая подобно деревенским кумушкам на завалинках; затем их снова погнали на запасные пути. Получив каждый по куску хлеба, они расположились в теплушках. Никто из охраны, наблюдавшей за погрузкой, не говорил, куда их повезут. Как и предписывалось, все снова расселись на корточках на полу. Все стали по памяти восстанавливать карту Центральной Европы и прикидывать направление пути, судя по косым лучам солнца, которые пробивались на ходу в вентиляторные отверстия у самой крыши. Разместившись на чьих-то плечах, Олек Рознер смог выглянуть в отверстие и сказал, что видит леса и горы. Самые осведомленные стали утверждать, что поезд движется главным образом на юго-запад. Это говорило о том, что они направляются к чехам, но никто не мог утверждать твердо.

Путешествие заняло почти два дня; когда отодвинулись двери, было раннее утро второго дня. Они оказались на станции Цвиттау. Построившись, колонна двинулась через еще спящий городок, жизнь в котором продолжала оставаться на уровне конца тридцатых годов. Даже надписи на стенах «Евреев – вон из Бринлитца» – как ни странно, отдавали чем-то довоенным. Они явились из мира, где с трудом давался каждый вздох. И протесты жителей Цвиттау казались им просто наивными.

Через три мили, следуя вдоль узкоколейки, они втянулись в долинку между холмами, где располагался производственный район Бринлитца, и в утреннем свете увидели перед собой массивные очертания крыла здания Гофманов, преобразованного в *Arbeitslager* (рабочий лагерь) Бринлитц, с вышками из колючей проволоки, с казармами охраны в пределах лагеря, а за воротами предприятия располагались бараки для заключенных.

И когда, пропуская их, ворота распахнулись, во дворе предприятия появился Оскар в тирольской шляпе.

Глава 33

Этот лагерь, как и «Эмалия», был выстроен на деньги Оскара. Как вытекало из чиновничьих установок, все лагеря при предприятиях должны были возводиться за счет владельцев. Предполагалось, что промышленники получают такие доходы за счет использования дешевой рабочей силы, что смогут позволить небольшие затраты на колючую проволоку и стройматериалы. На деле же наиболее знаменитые промышленные фирмы Германии, такие как Крупна и «ИГ Фаббен», возводили свои лагеря из материалов, пожертвованных СС и за счет предоставляемой им бесплатной рабочей силы. Оскар не пользовался таким благоволением, и у него ничего не было. Ему удалось выторговать у Боша несколько вагонов цемента, за которые тот взял с него по ценам черного рынка. Из этого же самого источника он получил от двух до трех тонн бензина и мазута, необходимых для поставок продукции. Колючую проволоку для лагеря он привез с «Эмалии».

В его распоряжении были только голые стены пристройки, и ему пришлось возводить высокую изгородь, копать выгребные ямы, ставить казармы на сто человек личного состава СС, лазарет и кухни. В добавление к этим расходам, штурмбанфюрер Хассеброк уже заехал к нему из Гросс-Розена для проверки и отбыл с грузом коньяка и фарфора плюс еще подношение, которое Оскар описал как «не меньше килограмма чая». Хассеброк также прихватил с собой гонорар за инспекцию и обязательный набор «Зимней помощи» предписанный распоряжениями отдела «D» – конечно, не оставив никаких расписок. «Машина его как раз и была предназначена для таких грузов», – позже сообщит Оскар. Осенью, в октябре 1944 года, он не сомневался, что Хассеброк уже подделывает отчеты по Бринлиццу.

Инспекторы, прибывающие непосредственно из Ораниенбурга, тоже уезжали удовлетворенные. Для перевозки всего оборудования и запасов сырья с ДЭФ, большая часть которых была еще в пути, требовалось в общей сложности порядка 250 грузовых платформ. «Просто удивительно, – говорил Оскар, – как в государстве на грани краха чиновники из управления Восточной железной дороги, если правильно простимулировать их, могут обеспечить потребное количество грузовых платформ».

Самым удивительным во всей этой ситуации, да и в самом Оскаре, которому тирольская шляпа придавала столь живописный вид на обледенелом фабричном дворе, было в том, что не в пример Круппу, хозяевам «ИГ Фаббен» и другим предпринимателям, которые пользовались трудом еврейских рабов, Оскар отнюдь не собирался серьезно разворачивать производство. Он не питал надежд, что ему удастся выпускать продукцию и не держал в голове цифр предполагаемых поставок. Хотя четыре года назад он прибыл в Краков с твердым желанием разбогатеть, больше таких амбиций у него не было.

Производственная обстановка в Бринлицце носила лихорадочный характер. Большая часть прессов и станков еще не прибыла, а цементным покрытиям полов еще предстояло долго просыхать, прежде чем они смогут принять на себя груз. Крыло по-прежнему было забито старыми машинами Гофманов. За 800 человек, якобы занятых на производстве боеприпасов, Оскару приходилось ежедневно выкладывать те же 7,50 РМ за квалифицированного специалиста и в РМ просто за рабочего. Мужская рабочая сила обходилась ему примерно в 14 000 долларов каждую неделю; когда же появятся женщины, счет возрастет до 18 000. С деловой точки зрения это было полным идиотством, но Оскар отпраздновал свое решение, водрузив на голову тирольскую шляпу с перышком.

В определенной мере изменилось и личное положение Оскара. Из Цвиттау прибыла Эмили Шиндлер, чтобы жить с ним в квартире на нижнем этаже здания. Бринлицц – не то, что Краков: он был так близок от дома, что их раздельное существование становилось недопустимым. И как добрая католичка она считала, что надо или признать разрыв меж ними свершившимся фактом или снова начинать совместную жизнь. Во всяком случае они относились друг к другу терпимо и со взаимным уважением. С первого взгляда могло показаться, что Эмили не играет никакой роли в супружестве, брошенная жена, которая не знает, как себя вести. Кое-кто пытался представить, что она могла бы подумать, в первый раз увидев, какого рода предприятие возводит Оскар, какой лагерь. Тогда еще никто не знал, что даже на обложке «Эмалии» сказался и ее скрытый вклад, который базировался на покорном следовании указаниям мужа, а не ее собственных идеях.

Ингрид прибыла с Оскаром, чтобы работать на новом заводе в Бринлицце, но сняла квартиру вне пределов лагеря и бывала на месте только в рабочие часы. В их отношениях наступило определенное охлаждение, и она никогда больше не жила с Оскаром под одной крышей. Но она не испытывала к нему никакой враждебности, и за прошедшие несколько месяцев Оскар нередко навещал Ингрид в ее квартире. Пикантная Клоновска, убежденная польская патриотка, осталась в Кракове, но опять-таки сохранила с ним хорошие отношения. Оскар навещал ее во время визитов в Краков, а она, в свою очередь, смогла помочь ему, когда СС стало причинять ему неприятности. Надо признать, что его отношения с Ингрид и Клоновской сошли на нет самым лучшим образом, без обид и горечи, но было бы ошибкой считать, что он стал семейным человеком.

В день, когда в лагере появились мужчины, он доверительно сообщил им, что ждет появления и женщин. Он предполагал, что задержка в пути у них будет несколько большей, чем у мужчин. Тем не менее, путешествие женщин обрело иной характер. Продолав недолгий путь из Плачува, локомотив протаскил их состав, в котором было несколько сотен и других женщин из Плачува, сквозь арку ворот Аушвица-Биркенау. Когда раздвинулись двери теплушек, они очути-

лись на огромном пустом плацу, по обе стороны от которого лежали пространства лагеря, в окружении опытных эсэсовцев, мужчин и женщин, которые спокойно обращаясь к ним, стали сортировать новоприбывших. Селекция проходила с наводящей ужас деловитой отрешенностью. Когда женщины медлили, их подгоняли дубинками, но удары наносились без всякой личной озлобленности. Они были всего лишь средством для подсчета и наведения порядка. Для отдела СС на железнодорожной станции Биркенау, такое поведение входило в их привычные рабочие обязанности. Они уже вдоволь наслушались молений и убеждений. И знали все уловки, которыми их пытались отвлечь.

Стоя в лучах прожекторов, женщины подавленно спрашивали друг друга, что все это может означать. Но даже при этой растерянности, когда они не замечали, что их обувь была полна грязи – неотъемлемого элемента существования в Биркенау – они обратили внимание, что одна из надзирательниц СС, показывая на них, сказала врачу без военной формы, который проявил к ним интерес: «*Schindlergruppe!*» После чего щеголеватый молодой врач отошел, оставив их на какое-то время.

Волоча ноги, они добрались до вошебойки, где по приказу строгой молодой эсэсовки с дубинкой им пришлось раздеться. Мила Пфедферберг была напугана слухами, которые к тому времени довелось слышать многим заключенным рейха – что сейчас из некоторых рожков в душевой пойдет смертоносный газ. Но она была рада убедиться, что хлынула всего лишь холодная вода.

Многие предполагали, что после помывки им нанесут татуировку. Они были отлично осведомлены об этом правиле Аушвица. СС наносило татуировку на руку, если собиралось использовать человека. Если же тебе предстояло быть перемолотым машиной, то они не утруждали себя. С тем же самым поездом, который доставил женщин из списка, прибыло еще 2.000 женщин, которые, не относясь к *Schindlerfrauen*, прошли обычную селекцию. Ребекка Бау, которая не попала в список Шиндлера, миновала ее и получила свой номер, и крепкая сильная мать Иосифа Бау также вытянула номер в убийственной лотерее Биркенау. Еще одна девочка из Плачува, пятнадцати лет, рассматривая полученную татуировку, радовалась, что ей выпали две пятерки, тройка и две семерки – цифры освященные еврейским календарем. С татуировкой вы покидаете Биркенау и следуете в один из рабочих лагерей Аушвица, где существует хоть какой-то шанс остаться в живых.

Но женщинам из списка Шиндлера, оставшимся без татуировок, было приказано одеться и направиться в барак без окон в женской части лагеря. Здесь в центре помещения на кирпичач стояла склепанная из железных листов буржуйка. Она была единственным удобством в бараке. Нар тут не было. *Schindlerfrauen* пришлось спать по двое и по трое, прижимаясь друг к другу на тощих соломенных матрасах. Глиняный пол был в подтеках воды, и порой она поднималась снизу, смачивая и матрасы и рваные одеяла. Это был дом смерти в центре Биркенау. Окоченевшие, они лежали тут, стараясь забыться в тревожном сне, в окружении залитых грязью пространств.

Представления о месте окончательного прибытия, о деревушке в Моравии спутались и сбились. Они оказались в огромном фантастическом городе. Сегодня в нем на краткое время пребывало более четверти миллиона поляков, цыган и евреев. Многие тысячи были в Аушвице-1, более малом, но первом возникшем тут лагере, в котором жил и комендант Рудольф Гесс. А в огромном промышленном районе, именовавшемся Аушвиц-3, пока окончательно не выбивались из сил, работало несколько десятков тысяч человек. Женщины Шиндлера были не в курсе статистических данных об империи Биркенау и его герцогства Аушвиц. Хотя сквозь березовые стволы, окаймлявшие западный край поселения, они видели дымы, постоянно тянувшиеся из четырех труб крематориев и бесчисленные кострища. Они не сомневались, что оказались на этом берегу по воле волн, и доставивший их сюда прилив отхлынул. Но даже уже будучи знакомыми с жизнью за колючей проволокой, со слухами о здешних порядках, они не могли представить, сколько людей за день погибало здесь, отравленных газом. Это количество доходило – по данным Гесса – до девяти тысяч в день.

В той же мере женщины не подозревали, что оказались в Аушвице в то время, когда ход войны и некоторые тайные переговоры между Гиммлером и шведским графом Фольке Бернадоттом внесли изменения в порядок вещей. Существование этого центра уничтожения уже не было секретом, потому что русские произвели раскопки в лагере под Люблином и нашли печи с остатками человеческих костей, а также более пятисот банок с «Циклоном Б». Весть об этом разошлась по всему миру, и Гиммлер, который серьезно предполагал, что после войны его будут воспринимать как наследника фюрера, был полон желания заверить союзников, что практике уничтожения

евреев газом положен конец. Тем не менее, приказ на эту тему не был отдан до конца октября – точно дату определить не удалось. Один экземпляр приказа поступил к генералу Полу в Ораниенбург, другой к Кальтенбруннеру, шефу службы безопасности рейха. Оба они, как и Адольф Эйхман, проигнорировали директиву. Еще в середине ноября евреев из Плачува, Терезиенштадта и Италии продолжали уничтожать газом. Хотя принято считать, что последняя селекция в газовые камеры произошла 30 октября.

Первые восемь дней пребывания в Аушвице женщинам Шиндлера в полной мере угрожала опасность закончить свой путь в газовых камерах. И даже после того, как последние жертвы в ноябре совершили свой скорбный путь к камерам, расположенным в западном конце Биркенау, а печи и костры превратили их тела в обугленные останки, они не заметили, что жизнь в лагере как-то изменила свой характер. Их тревоги имели под собой весомые основания, ибо все, спасшиеся от газовых камер были расстреляны – или их оставили умирать от голода.

Во всяком случае, женщины подвергались массовым медицинским обследованиям и в октябре и в ноябре. Некоторых из них отделили от прочих в первый же день по прибытии и отослали в бараки для безнадежно больных. Доктора из Аушвица – Йозеф Менгеле, Фриц Клейн, доктора Кониг и Тило – исполняли свои обязанности не только на платформе вокзала, но и ходили по лагерю и врывались в душевые, с улыбкой осведомляясь:

«Сколько тебе лет, мамаша?» Клару Штернберг поселили в бараке с пожилыми женщинами. Шестидесятилетнюю Лору Крумгольц тоже выделили из состава *Schindlerfrauen* и перевели в барак для престарелых, где им и предстояло умирать, не вводя администрацию лагеря ни в какие расходы. Миссис Горовитц, будучи уверенной, что ее хрупкая одиннадцатилетняя дочь не переживет инспекции перед «душевой», спрятала ее в пустой котел в бане. Одна из эсэсовок, которые были приставлены к женщинам Шиндлера – симпатичная блондинка – увидела ее, но позволила девочке остаться на месте. Она легко раздавала удары и быстро выходила из себя и позже потребовала взятку за свое молчание, получив брошь, которую Регине как-то удалось сохранить. Регина рассталась с ней с философским спокойствием. Были и другие надзирательницы, с которыми было куда труднее иметь дело, потому что они отличались лесбийскими наклонностями и требовали, чтобы с ними расплачивались натурой.

Порой на переключке перед бараками появлялся тот или другой врач. Видя, что приближается медик, женщины старались обломками кирпича натирать щеки, чтобы они хоть немного порозовели. Во время одного из таких осмотров Регина заставила свою дочь Нюсю стать на камень, а светловолосый молодой доктор Менгеле, подойдя к ней, сладким голосом спросил, сколько лет ее дочери, и избил за вранье. Охране было приказано поднять свалившуюся в полубессознательном состоянии женщину, подтащить ее к ограде под током и бросить на нее. На полпути Регина очнулась и стала молить не поджаривать ее живьем, а позволить ей вернуться в строй. Ее отпустили, и когда она доползла до своего ряда, то ее оцепеневшая, похожая на птичку дочь продолжала безмолвно стоять на том же камне.

Проверка могла состояться в любой час. Женщин Шиндлера выгоняли по ночам, заставляя стоять в грязи, пока шел обыск в их бараках. Миссис Дрезнер, которую когда-то спас впоследствии исчезнувший юноша из службы порядка, выходила рядом со своей высокой дочерью-подростком, Данкой. Они стояли в окружении невообразимого мира Аушвица в грязи, которая почему-то замерзала в последнюю очередь – после дорог, корней деревьев и самих людей.

И сама Данка и ее мать оставили Плачув еще летом лишь в том, что на них было. На Данке была только рубашка, легкая курточка и темная юбка. Поскольку этим вечером пошел первый снег, мать предложила, чтобы Данка разорвала одеяло и обмоталась обрывками под юбкой. И в ходе обыска эсэсовцы обнаружили испорченное имущество.

Офицер, стоя перед строем женщин Шиндлера, вызвал старосту барака – женщину из Дании, которую до вчерашнего дня еще никто не знал – и сказал, что она будет расстреляна вместе с той заключенной, у которой под одеждой будут найдены обрывки одеяла.

Миссис Дрезнер торопливо стала шептать Данке: «Все снимай, и я закину обрывки обратно в барак». Это можно было сделать. Барак стоял на уровне земли, и в него не вели ступеньки. Женщины из заднего ряда могла проскользнуть в него. Так же, как раньше Данка послушалась своей матери и укрылась за стенкой на Дабровской в Кракове, она подчинилась ей и сейчас и извлекла из-под одежды обрывки самого тощего в Европе одеяла. И действительно, пока ее мать была в бараке, проходивший мимо офицер СС вывел из строя женщину примерно тех же лет – скорее всего,

ее фамилия была Штернберг – и приказал отвести ее в самую худшую часть лагеря, где уже не было никаких иллюзий относительно Моравии.

Может быть, остальные женщины в строю не дали себе труда понять, что означал этот недвусмысленный акт пропалывания. На деле же никакая из групп так называемых «промышленных заключенных» не может чувствовать себя в Аушвице в безопасности. Никакие выкрики «*Schindlerfrauen!*» не могут надолго спасти их. Были и другие группы «промышленных заключенных», которые исчезли в Аушвице. Отдел из ведомства генерала Пола год тому назад прислал из Берлина несколько транспортов опытных еврейских рабочих. «ИГ Фаббен» нуждалась в рабочей силе и попросила отдел «D» отобрать нужных работников из этих транспортов. И действительно, коменданту Гессу было направлено распоряжение, чтобы эти транспорты после разгрузки были направлены на работу в «ИГ Фаббен», подальше от района крематориев Аушвиц-Биркенау. Из 1750 заключенных первого транспорта, все мужчины, 1000 человек были немедленно отравлены газом. Из 4000 следующего 2500 были сразу же отправлены в «душевые». Если администрация Аушвица позволяла себе ослушаться указаний «ИГ Фаббен» и соответствующего отдела, чего ради им волноваться из-за баб какого-то мелкого немецкого горшечника.

Жизнь в таком бараке, в котором поселили женщин Шиндлера, напоминала существование на открытом воздухе. В окнах не было стекол, и они служили лишь для того, чтобы чуть смирять порывы холодного ветра из России. Большая часть девушек маялась дизентерией. Корчась от спазм в желудке, они в своих деревянных башмаках добирались до пустого жестяного ведра, стоявшего в грязи. Женщины, выносившие его, получали лишнюю миску супа. Как-то вечером Мила Пфедферберг добралась до него, но дежурившая рядом с ним женщина – неплохой человек, которую Мила знала еще девочкой – стала настаивать, чтобы та не использовала его, а дождалась, пока появится другая девушка, с помощью которой она вынесет ведро и попользуется им снаружи. Мила заспорила, но ей не удалось переубедить женщину. Обслуживание этого примитивного устройства стало чуть ли не профессией среди тех, у кого от голода мутилось в глазах, и их стараниями появились определенные правила. Пользуясь ведром как предлогом, эти женщины старались убедить и себя, и других, что можно добиться и порядка, и гигиены, и здоровья.

Тяжело переводя дыхание, рядом с Милой наконец появилась согнутая от спазм девушка. Она тоже была молода, и в мирные дни в Лодзи женщина, дежурившая у ведра, знавала ее юной новобрачной. Двум девушкам пришлось подчиниться и триста метров тащить по грязи свой груз. Девушка, которая несла его на пару с Милой, спросила: «Где сейчас может быть Шиндлер?»

Никто из обитательниц барака не задавал этот вопрос, во всяком случае, не вкладывал в эти слова столько неприязни. Люся, молодая вдова с «Эмалии», двадцати двух лет, говорила: «Вот увидите, в конце концов все наладится. Будет и тепло и в руках миска супа от Шиндлера». Она и сама не понимала, почему все время повторяет эти слова. Во время пребывания на «Эмалии» она никогда не строила никаких планов. Она отработывала свою смену, съедала суп и ложилась спать. Она никогда не предсказывала грандиозных событий. Прожила день – и достаточно. Теперь она болела и не было никаких оснований предполагать, что она займется пророчествами. Холод и постоянное чувство голода довели ее до полного истощения, и у нее не было сил сопротивляться грызущему ее чувству голода. И все же она подбадривала себя, повторяя обещания, данные Оскаром.

Позже, во время пребывания в Аушвице, когда их перевели в барак неподалеку от крематория и всякий раз не было известно, куда их ведут, то ли на самом деле в душ, то ли в газовые камеры, Люся продолжала стоять на своем. И даже когда они чувствовали, что вот-вот исчезнут с лица земли в этом полном отчаяния мире, женщины Шиндлера оставались верны себе, продолжая обмениваться рецептами довоенной кухни, о которой они могли только мечтать.

Бринлитц, когда туда прибыли мужчины, представлял собой только внешнюю оболочку укрытий. Нары еще не были сколочены; спальни наверху представляли собой лишь разбросанные по полу охапки соломы. Но было тепло, потому что паровые котлы уже работали на всю мощь. В первый день повар еще не приступил к работе. Вокруг будущей кухни были навалены мешки с корнеплодами, и люди предпочитали их есть в сыром виде. Позже удалось сварить суп, испечь хлеб, и инженер Финдер начал распределять работу. Но с самого начала, пока за их ходом наблюдали эсэсовцы, они разворачивались неторопливо. Оставалось загадкой, каким образом коллектив заключенных понял, что герр директор больше не принимает участия в военных усилиях. Работали в Бринлитце медленно и без напряжения. Поскольку Оскар не ставил вопрос о количестве про-

дукции, эта неторопливость стала для заключенных их способом мести, с помощью которой они заявляли о себе.

Придерживаться такого темпа работы было нелегко. По всей Европе рабы, получая по 600 калорий в день, выбивались из сил, надеясь произвести на надсмотрщиков самое лучшее впечатление и оттянуть день отправки в лагерь смерти. Но здесь в Бринлитце всеми владело опьяняющее чувство свободы, при котором лопаты лишь чуть ковыряли землю – и тем не менее, все оставались в живых.

В первые дни эта подсознательная политика не давала о себе знать. По-прежнему многие заключенные беспокоились о судьбе своих женщин. У Долека Горовитца в Аушвице были жена и дочь. У братьев Рознеров – жены. Пфефферберг не мог оправиться от потрясения, узнав, что Мила оказалась в Аушвице. Яков Штернберг и его десятилетний сын были поглощены мыслями о судьбе Клары Штернберг. Пфефферберг помнил, как вокруг Шиндлера в цехах толпились люди и снова спросил его, когда придут женщины.

– Я их вытащу оттуда, – пробурчал Шиндлер.

Он не стал вдаваться в объяснения. Он не мог публично сообщать, что эсэсовцам в Аушвице, возможно, потребуется вручать взятки. Он не сказал, что послал список женщин полковнику Эриху Ланге и что они с ним на пару стараются доставить всех поименованных в списке женщин в Бринлитц. Он не стал ни о чем упоминать. Только: «Я их вытащу оттуда».

Гарнизон СС, который в эти дни прибыл в Бринлитц, вселил в Оскара кое-какие надежды. Он состоял из резервистов средних лет призванных, чтобы сменить молодых эсэсовцев, посланных на линию фронта. Среди них не было так много психов, как в Плачуве, и Оскар всегда мог рассчитывать на их расположение, подкармливая из своей кухни – пусть пища не отличалась изысканностью, но ее было вдоволь. Посещая их казарму, он, как всегда, заводил речь об уникальной квалификации его заключенных, о том, как важно, чтобы они с полной отдачей работали на производстве. Противотанковые снаряды и гильзы, объяснял он, по-прежнему находятся в секретном списке первоочередной продукции. Он давал понять, что со стороны гарнизона не должно быть никакого вмешательства в производственную деятельность, ибо это будет мешать рабочим.

По глазам слушателей он ясно понимал, что их более чем устраивает пребывание в этом тихом городке. Они надеялись, что им удастся пережить здесь все катаклизмы. Они не собирались врываться в мастерские, подобно Гету или Хайару. Меньше всего они хотели, чтобы герр директор жаловался на них.

Комендант гарнизона еще не прибыл. Он сдавал предыдущую должность в рабочем лагере в Будзыне, где до недавнего русского наступления производились запасные части для бомбардировщиков «Хейнкель». Оскар знал, что командир гарнизона молод и напорист. И скорее всего, он отвергнет требование держаться подальше от лагеря.

Занятый хлопотами по заливке бетонных фундаментов, пробивая дыры в крыше, чтобы установить массивные прессы «Хило», уговаривая эсэсовцев, с трудом привыкая к семейной жизни с Эмили, Оскар был арестован в третий раз.

Гестапо явилось во время обеденного перерыва. Оскара не было в кабинете, так как он с самого утра поехал в Брно по каким-то делам. Только что из Кракова прибыл грузовик, нагруженный добром для герра директора – сигаретами, ящиками с водкой, коньяком, шампанским. Позже кто-то утверждал, что добро принадлежало Гету, и Оскар, передавший его Гету в обмен на поддержку переезда в Бринлитц, забрал все себе обратно. Так как Гет, вот уже месяц сидевший в заключении, не пользовался больше никакой властью, содержимое кузова могло пригодиться Оскару.

Мужчины, отряженные на разгрузку, тоже так считали, но они заволновались, увидев во дворе гестаповцев.

Поскольку они, как механики, пользовались определенными привилегиями, то отогнали машину вниз по склону, где протекала речка, и опустили в воду ящики с бутылками. Двести тысяч сигарет нашли себе более надежное укрытие под большой трансформаторной будкой на силовой подстанции.

Важно отметить, что такое количество сигарет и выпивки в кузове говорило, что Оскар, который всегда предпочитал пускать в ход натуральные продукты, уже подумывал о деятельности на черном рынке.

Они пригнали грузовик обратно в гараж, когда взвыла сирена, оповещающая об обеденном

перерыве. Герр директор обычно ел вместе с заключенными, и механики надеялись, что увидят его и смогут объяснить, какая судьба постигла столь дорогостоящий груз.

И действительно, он довольно быстро возвратился из Брно, но у въездных ворот жестом вскинутой руки его остановил гестаповец и приказал ему тут же покинуть машину.

– Это мой завод! – как услышал один из заключенных, рывкнул на него Оскар. – Если хотите поговорить со мной, будьте любезны сесть в машину. В противном случае следуйте в мой кабинет.

Он въехал во двор, и двое гестаповцев рысцой сопровождали его машину по обеим сторонам.

Оказавшись в кабинете, они стали задавать ему вопросы о его связях с Гетом и о его хищениях. «Я в самом деле привез сюда несколько чемоданов, – сказал он им. – Они принадлежат герру Гету, и он попросил меня позаботиться о них до его освобождения». Гестаповцы выразили желание заглянуть в них, и Оскар провел их в квартиру. С холодной сдержанностью он представил фрау Шиндлер людей из Пятого управления. Затем он вытащил чемоданы и открыл их. Они были набиты костюмами Амона и образцами старой униформы, когда Амон был еще юным унтером СС. Перерыв их и ничего не найдя, они объявили, что арестовывают Оскара.

Эмили агрессивно накинулись на них. У них нет никаких прав, заявила она, забирать ее мужа, пока они не сообщат, какие против него выдвинуты обвинения. «Нашим друзьям в Берлине это категорически не понравится», – сказала она.

Оскар посоветовал ей умерить пыл и помолчать. «Но тебе придется позвонить моей помощнице Клоновской и отменить назначенные встречи».

Эмили знала, что это значит. Клоновска в который раз повторит свой трюк с обзваниванием: она известит Мартина Плате в Бреслау, людей генерала Шиндлера и всех остальных шишек. Один из служащих Пятого управления извлек наручники и защелкнул их на запястьях Оскара. Они усадили пленника в автомобиль, доставили на станцию в Цвиттау и сопроводили на поезде в Краков.

Впечатления от последнего ареста напугали его более, чем два предыдущих вместе взятых. Уже не было любвеобильных излиятий полковников СС, деливших с ним камеру и распивавших его водку. Тем не менее, позднее Оскару удалось восстановить многие детали. После того, как люди из Пятого управления провели его сквозь огромный неоклассический зал центрального вокзала Кракова, человек по имени Хут подошел к ним. Он служил вольнонаемным инженером в Плачuve. Он всегда раболепствовал перед Амоном, но имел репутацию человека со многими тайными пристрастиями. Эта встреча могла быть совершенно случайной, но можно и предположить, что Хут работал в паре с Клоновской. Хут упорно пытался пожать скованную руку Оскара. Один из людей из Пятого управления запротестовал. «Вам что, на самом деле не удается подержать за руку арестованного?» – спросил он Хута. Тот в ответ разразился заздравной речью в адрес Шиндлера: «Это же сам герр директор Шиндлер, человек глубоко почитаемый всем Краковом, важный промышленник».

– Я не могу и представить его в роли заключенного, – заявил Хут.

Что бы ни значила эта встреча, Оскара усадили в автомобиль и вновь по знакомому маршруту повезли на Поморскую улицу. Его поместили в комнату, подобную той, где он коротал время в течение первого ареста, в комнату с кроватью и креслом, ванной, но с зарешеченными окнами. Ему было не сладко, хотя и вел он себя с медвежьим спокойствием. В 1942 году, когда его арестовали на следующий день после тридцать четвертого дня рождения, слухи о том, что Поморская оборудована пыточными камерами, были хоть и устрашающими, но неопределенными. Теперь же всякая неопределенность исчезла. Он был уверен, что Пятое управление не погнушается никакими пытками, если Амон всерьез занимает их.

В этот вечер герр Хут посетил узника, принеся с собой кастрюльку с обедом и бутылку вина. Хут поговорил с Клоновской, и Шиндлер так до конца и не разобрался, причастна ли Клоновска к той самой «случайной встрече». Как бы то ни было, Хут оповестил его, что Клоновска подключает его старых друзей.

На следующий день он подвергся перекрестному допросу двенадцати следователей СС, один из которых самолично был судьей. Оскар отрицал, что давал какие-либо деньги, чтобы убедить коменданта (в вольном изложении показаний Амона) «полегче наезжать на евреев». «Я мог дать ему деньги взаймы», – согласился однажды Оскар. «Почему вы давали ему взаймы?» – поинтересовались они. «У меня серьезное военное производство, – завел старую песню Оскар. – У меня штат профессиональных рабочих. Травма любого из них обходится мне в копейку, и не только

мне, но и Инспекторату по делам вооружений, и всем нашим военным усилиям. Если я находил среди контингента заключенных в Плачuve квалифицированных мастеров того сорта, что требовались мне на производстве, тогда, разумеется, я просил за них герра коменданта. Они были нужны мне как можно скорее, в целости и сохранности. Мое дело – производство, только его ценю я и Инспекторат по делам вооружений. Именно с этой целью, для того, чтобы герр комендант оказал мне содействие, я и давал ему взаймы».

Такая позиция содержала некий оттенок обвинения в адрес старого приятеля, Амона. Но Оскар особо не переживал по этому поводу. Его глаза излучали непогрешимую искренность, голос его звучал тихо, то и дело прерывался. Оскар, не затратив на это ни единого лишнего слова, дал понять своим следователям, что деньги у него попросту вымогали. Впрочем, это не возымело никакого действия. Его вновь заперли в камеру.

Допросы продолжались на второй, третий и четвертый дни. Никто не угрожал ему, но допрашивали с пристрастием. В конце концов, ему пришлось полностью отречься от дружеских отношений с Амоном. Дело было не столь уж серьезным: он и на самом деле испытывал отвращение к этому человеку. «Я не волшебник», – заметил он джентльмену из Пятого управления, пересказывая слухи, которые ему довелось услышать о Гете и его молодых прихлебателях.

Амон так никогда и не понял, что Оскар презирал его и охотно помогал следствию по делу, возбужденному Пятым управлением против него. Амон частенько обманывался по поводу дружбы. Предавшись сентиментальным настроениям, он искренне верил в то, что Метек Пемпер и Хелен Хирш души в нем не чаяли. Следователи, вероятно, и не сообщили ему о том, что Оскар пребывал на Поморской, и терпеливо выслушивали доверительные заявления Амона:

– Пригласите моего старого друга Шиндлера. Он уж постоит за меня.

Но что более всего пригодилось Оскару в ходе встреч со следователями, это то, что он лишь пару раз имел легальные дела с обвиняемым. Хотя изредка он и помогал Амону и словом, и делом, но ни разу не заключил с ним ни одной сделки, ни злотого не заработал на торговле лагерными пайками на черном рынке, кольцами из ювелирной мастерской, одеждой с швейной фабрики, мебелью из обивочного цеха. Наверняка еще ему помогло и то, что ложь его была способна обезоружить даже полицейского, а правда из его уст текла медовой рекой. Он никому не давал понять, что благодарен за то, что ему верят. К примеру, когда джентльмены из Пятого управления в итоге смирились с мыслью, что пресловутые 80 тысяч рейхсмарок не более чем «заем», предмет вымогательства, Оскар с обескураживающей простотой осведомился, когда же, наконец, эти деньги возвратят ему, *герру директору* Шиндлеру, безупречному промышленнику.

Третье очко в пользу Оскара заработали его поручители. Полковник Эрих Ланге, отвечая на звонок из Пятого управления, подчеркнул тот непреходящий вклад, какой Шиндлер лично внес в ход войны. Зюссмут, дозвонившийся из Троппау, намекнул, что производство Шиндлера непосредственно связано с разработкой «секретного оружия». Насколько нам известно, в этом не было ни грана правды. Но, грубо говоря, заявление обезоруживало и приобретало непредсказуемую значимость, поскольку *Фюрер* пообещал «секретное оружие». Словосочетание само по себе приобрело сакральный смысл и теперь оберегало Шиндлера. Против словосочетания «секретное оружие» никакие словесные россыпи протестов бюргеров Цвиттау не стоили ни гроша.

Но для Оскара это вовсе не означало, что заключение протекало без осложнений. Где-то на четвертый день один из следователей посетил его не для допроса, а чтобы просто плюнуть в него. Плевок расплылся по пиджаку, а следователь пустился во все тяжкие. Он обозвал Шиндлера жидолюбом и соблазнителем жидовок. Это было прямое отступление от странного официоза хода следствия. Но Оскар сомневался, что все произошло спонтанно и не явилось отзвуком истинных настроений следователей.

Прошла неделя заключения, и Оскар через Хута и Клоновскую передал записку для обершарфюрера Шернера. Пятое управление навалилось на него с такой силой, сообщалось в записке, что он не уверен, сможет ли он в дальнейшем выгораживать шефа полиции. Шернер оставил свою антиповстанческую работу (которая вскорости и добьет его) и на следующий же день прибыл в узилище Оскара. «Кошмар, что они себе позволяют!» – сокрушался Шернер. «А как там Амон?» – Оскар ответил, предполагая, что Шернер помянет кошмар и по этому поводу. «Он заслужил всё, что получил», – заметил Шернер. Похоже, все отказались от Амона. «Не беспокойся, – сказал Шернер напоследок, – мы постараемся вытащить тебя отсюда».

На утро восьмого дня Оскара выпустили на улицу. Оскар не стал оттягивать освобождение,

но на этот раз машину не попросил. Ему вполне хватило и холодного тротуара. На трамвае он пересек Краков и добрался до своей старой фабрики в Заблоче. Несколько поляков-сторожей несли еще свою службу, и, поднявшись по лестнице в свой офис, он позвонил в Бринлитц и сообщил Эмили, что освобожден.

Моше Бейски, ремесленник из Бринлитца, вспоминает оцепенение тех дней, когда Оскар находился под арестом. Все только говорили и шептались о том, что это значит. Но Штерн и Морис Финдер, Адам Гарде и другие проконсультировали Эмили насчет еды, организации работы, устройства жилья. Тогда им впервые открылось, что Эмили не просто порхала по жизни. Она была несчастной женщиной, и ее несчастья усугублялись тем, что Пятое управление арестовало Оскара. Ей казалось жестоким, что СС вторглось в ее личную жизнь как раз тогда, когда желаемое воссоединение вот-вот должно было начаться. И Штерну, и другим было ясно, что это было вовсе не ее призванием – содержать в порядке маленькую квартирку на первом этаже, полностью отказавшись от своих супружеских обязанностей. В этом было нечто такое, что можно было бы назвать идейным жертвоприношением. Изображение Иисуса с пылающим сердцем висело на стене ее квартирки. Штерну доводилось видеть нечто подобное в домах поляков-католиков. Но ничего похожего он не встречал ни в одной из краковских квартир Оскара. Иисус с пылающим сердцем не всегда взывал к смирению, когда встречался на польских кухнях. Тем не менее в квартирке Эмили он висел как символ обета. Совершенно личного. Эмили.

В начале ноября ее муж вернулся на поезде. Он был небрит и пах тюремной камерой. Он был ошарашен известием о том, что женщины всё еще находятся в Аушвице-Биркенау.

* * *

На планете Аушвиц, по которой женщины Шиндлера ступали столь же осторожно, столь же неуверенно, как ступал бы по ней пришелец, правил Рудольф Гесс. Правил как создатель, основоположник, неоспоримый гений. Читатели романа Уильяма Стайрона «Выбор Софи» узнали его в роли хозяина Софи. Хозяина совсем другого толка, не такого, каким был Амон для Хелен Хирш. Этаким здравомыслящий, манерный, уверенный в себе господин. И в то же время неустанный жрец провинции каннибалов. Хотя в 1920 году он и убил школьного учителя в Руре за донос на немецких национал-активистов и даже отсидел свое за преступление, он не убил ни одного заключенного Аушвица своими руками. В собственных глазах он выглядел ученым. Первопроходцем «Циклона-Б» – синильной кислоты, испускающей запах в соединении с обычным воздухом. Он вступил в долгий личный и научный спор со своим соперником и конкурентом господином *Kriminalkommissar* Кристианом Виртом, возглавлявшим школу угарного газа, а заодно и лагерь Бельзец. По свидетельству офицера-химика Курта Герштейна, в один из ужасных дней в Бельцеце методика господина *Kommissar* Вирта привела к тому, что целых три часа были угроблены на одну лишь горстку евреев мужского пола, «приглашенных» в газовые камеры. Технология Гесса была куда более эффективной, что, в конечном итоге, и привело к непрерывному процветанию Аушвица и бесславному закату Бельцеца.

К 1943 году, когда Рудольф Гесс оставил Аушвиц, дабы возглавить секцию «D» в Ораниенбурге, вотчина его давно уже перестала быть просто лагерем. Ее уже нельзя было назвать даже удивительной организацией. Это был феномен. Цивилизация морали полностью утратила здесь свои полномочия. Мир перевернулся, обратившись в некое подобие черной дыры, под давлением вселенской универсальной человеческой злобы. И история, и обычаи просто всосались в них и испарились. То же произошло и с языком. Подземные камеры смерти именовались «отсеками дезинфекции», наземные камеры – «душевыми», а обершарфюрер Моля, в чьи обязанности входило внедрение голубых кристаллов в крыши «отсеков» и стены «душевых», обычно покрикивал своим подчиненным:

– Ну-ка, ребята, подкиньте им чего-нибудь для размышления.

Гесс вернулся в Аушвиц в мае 1944 и взял все бразды правления в свои руки примерно тогда же, когда женщины Шиндлера были втиснуты в бараки Биркенау в непосредственной близости от эксцентричного обершарфюрера Моля. Согласно мифу о Шиндлере, Оскару пришлось скрестить клинки с самим Гессом по поводу судьбы его трехсот женщин. Наверняка, Оскару доводилось говорить с Гессом по телефону и иметь с ним какие-то коммерческие дела. Но ему также пришлось общаться и с штурмбанфюрером Фрицем Хартъенштейном, комендантом Аушвица-2, то есть,

Аушвица-Биркенау, и с унтершарфюрером Францем Хёсслером, молодым человеком, отвечавшим в сием великом граде скорби за судьбу женщин.

Не подлежит сомнению, что именно тогда Оскар послал девушку с чемоданом, набитым алкоголем, ветчиной и бриллиантами на переговоры с упомянутыми функционерами. Некоторые утверждают, что позднее Оскар вслед за девушкой посетил их сам, захватив с собою за компанию влиятельного офицера из SA (*Sturmabteilung* – Штурмовые бригады) штандартенфюрера Пельце, который, как впоследствии Оскар говорил своим друзьям, был британским агентом. Другие же настаивали на том, что Оскар избегал личных контактов с Аушвицем из стратегических соображений, а вместо этого отправился в Ораниенбург и в Берлин в Инспекторат по делам вооружений, чтобы постараться оказать воздействие на Гесса и его сподвижников с другого конца.

Дальнейшие события, согласно тому, как изложил их много лет спустя Штерн в публичном выступлении в Тель-Авиве, разворачивались так. После освобождения Оскара из тюрьмы, Штерн явился к Шиндлеру и («под давлением некоторых моих друзей») попросил Оскара предпринять решительные шаги, дабы разрешить судьбу женщин, застрявших в Аушвице. Во время беседы вошла одна из секретарш Оскара (Штерн не сказал кто именно). Шиндлер представил девушку и указал на один из своих пальцев, который украшал большой перстень с бриллиантом. Он спросил девушку, как ей нравится это гипертрофированное ювелирное изделие. Штерн утверждает, что девушка пришла в совершеннейший восторг. Далее Штерн дословно цитирует Оскара: «Возьми список женщин, набей чемодан лучшей едой и напитками, какие ты найдешь на моей кухне; затем поезжай в Аушвиц. Знай, что комендант крайне неравнодушен к хорошеньким женщинам. Если ты доставишь женщин сюда, получишь этот перстень. И даже больше».

Эта сцена, эта речь весьма напоминает один из фрагментов Ветхого Завета, в которой, ради блага племени, женщину предлагают захватчику. К тому же это и типично центрально-европейская ситуация с неправдоподобно крупными бриллиантами и предполагаемой расплатой «натурой».

Согласно Штерну, секретарша поехала. А когда через два дня она не вернулась назад, Шиндлер лично вкупе с безвестным Пельце отправился ей на выручку.

Миф о Шиндлере гласит: Оскар *посылал* свою подружку, дабы та переспала с комендантом, будь то Гесс, Хартгенштейн или Хёсслер, и оставила бриллиант на подушке. Одни, подобно Штерну, упоминают «одну из секретарш», другие называют имя Ауфзеер, милую блондинку из войск СС, несомненную любовницу Оскара, служившую в гарнизоне Бринлитца. Эта девушка, как представляется, должна была всё еще находиться в Аушвице вместе с *Schindlerfrauen* (женщинами Шиндлера).

Сама Эмили Шиндлер говорила, что в роли эмиссара отправилась девушка лет двадцати двух-двадцати трех. Она была уроженкой Цвиттау, и ее отец дружил с семейством Шиндлеров. Она недавно вернулась с оккупированных территорий России, где служила секретаршей в немецкой администрации. Она была приятельницей Эмили и сама вызвалась на поездку. Не совсем правдоподобно, чтобы Оскар принес в сексуальную жертву близкую подругу семьи. Хоть сам он и слыл сексуальным разбойником, эта часть истории – несомненный миф. Неизвестно доподлинно, приходилось ли девушке вступать в интимные контакты с кем-либо из офицеров Аушвица. Зато совершенно ясно, что она проникла в империю страха и действовала там самоотверженно.

Оскар позже рассказывал, что в его собственных беседах с правителем некрополя Аушвиц ему приходилось преодолевать старые искушения. Женщины уже провели там несколько недель. Теперь они почти бесполезны для производства. «Почему бы тебе не позабыть об этих трех сотнях? Мы отберем специально для тебя другие три сотни из этого бесконечного стада».

В 1942 году каратели СС на станции Прокочим вколачивали те же мысли в голову Оскара.

«Зачем вам конкретные фамилии, *герр директор*».

Теперь, как и в Прокочима, Оскар придерживался своей обычной линии.

«Они незаменимые, квалифицированные, отборные работницы. Я лично обучал их в течение нескольких лет. Они владеют ремеслом настолько, что я не в силах их быстро заменить. Я знаю тех, кого на самом деле знаю».

«Минуточку, – ответил его искуситель. – Я вижу, тут упоминается девятилетняя дочь некой Филы Рат. Я вижу одиннадцатилетнюю дочь некой Регины Горовитц. Вы будете утверждать, что эти девяти и одиннадцатилетние тоже квалифицированные отборные работницы?»

«Они обтачивают изнутри сорокапятимиллиметровые гильзы, – ответил Оскар. – Они были

отобраны за свои длинные пальцы, поскольку способны проникать так глубоко внутрь детали, как ни один взрослый».

Такой разговор в поддержку девочки, бывшей приятельницей семьи, имел место, срежиссированный Оскаром, либо лично, либо по телефону. Оскар сообщал новости о ходе переговоров узкому кругу заключенных, а от них информация распространялась по всему производству. Заявление Оскара, что он нуждается в детях для обработки внутренностей противотанковых снарядов, было очевидной чепухой. Но он уже не раз прибегал к этому приему. Сирота Анита Лампель была однажды ночью 1943 года вызвана на аппельплац в Плачuve и застала там Оскара спорящим с дамкой средних лет – *Altest* – старостой женского лагеря. *Altest* произносила нечто более или менее напоминающее то, что Гесс/Хёсслер позже произнес в Аушвице. «Не говорите мне, что на „Эмалии“ вам нужны четырнадцатилетние. Не говорите мне, что комендант Гет позволил вам внести четырнадцатилетних в наряды на „Эмалию“». (Староста, разумеется, опасалась, что, если список для «Эмалии» будет тщательно проверен, ей придется отвечать за это.) Той ночью 1943-го Анита Лампель изумленно услышала, как Оскар, человек, никогда ранее не видевший ее рук, утверждал, что она была выбрана за производственную ценность ее длинных пальцев и только поэтому герр комендант дал свое согласие.

Но и Анита Лампель теперь была в Аушвице, правда, она уже подросла и более не нуждалась в легенде о длинных пальцах. Поэтому история транспонировалась на дочерей фрау Горовитц и фрау Рат.

Собеседник Шиндлера был прав, утверждая, что женщины утратили почти полностью производственную ценность. На поверку, молодые женщины вроде Милы Пфедферберг, Хелены Хирш и ее сестры уже перестали сопротивляться приступам дизентерии и понемногу тряслись и сгибались. Госпожа Дрезнер напрочь потеряла аппетит. Ее не волновал даже эрзац суп. Данка не могла принудить мать согреть свое горло хоть каплей этого варева. Это означало, что вскоре ей предстояло обратиться в *мусульманина*. Так на лагерном слэнге, основанном на воспоминаниях о новостях из довоенных газет, повествующих о голоде в мусульманских странах, назывались заключенные, переступившие тот порог, что отделял прожорливых живых от покорных полумертвцов.

Клару Штернберг, женщину, только что разменявшую пятый десяток, отселили от основной группы Шиндлера в помещение, которое можно было бы описать как приют *мусульман*. Здесь каждое утро умирающих женщин выстраивали возле ворот и производили отбор. Иногда в твою сторону направлялся сам доктор Менгеле. Из пятиста женщин, попавших туда вместе с Klarой, сто были «отобраны» в то же утро. На следующее – пятьдесят. А ты румянишь себя аушвицкой глиной, а ты держишь прямо спину, будто бы это может помочь. И ты задыхаешься от необходимости стоять быстрее, чем от удушающего кашля.

После такого отбора Клара окончательно поняла, что больше она уже не сможет ждать, рисковать ежедневно и ежечасно. У нее были муж и сын-подросток в Бринлитце, но теперь они казались еще более недостижимыми, чем каналы Марса. Она не могла представить ни Бринлитц, ни их в нем. Она бродила по женскому лагерю, ища глазами проволоку под током. Когда их только привезли сюда, ей казалось, что она повсюду. Теперь, когда она понадобилась, Клара не могла найти ее. Каждый поворот приводил ее на очередную раскисшую улицу и ужасал видом однообразных нищенских бараков. Когда она заметила женщину, знакомую по Плачуву, такую же краковянку, как и она сама, она кинулась к ней.

– Где здесь изгородь под током? – спросила она эту женщину.

В том состоянии, в котором она находилась, это был самый естественный вопрос, и Клара не сомневалась, что подруга, если у нее есть хоть капля сострадания к ней, тут же укажет ей путь. Ответ женщины был таким же сумасшедшим, но, по крайней мере, в нем присутствовала более здоровая точка зрения, на которую можно было опереться в этом бредовом мире.

– Не надо кончать с собой на изгороди, Клара, – предупредила ее женщина. – В таком случае ты никогда не узнаешь, что с тобой может быть.

Эти слова всегда служили самым убедительным ответом на попытку самоубийства. Покончи с собой – и ты никогда не узнаешь, чем все кончится. Клару уже совершенно не интересовало, чем завершится сюжет ее жизни. И все же, какая-то нотка в этих словах заставила ее изменить свое намерение. Она повернулась. Снова оказавшись в бараке, она почувствовала, что ею владеет еще большее беспокойство, чем когда она двинулась на поиски изгороди. Но ее краковская подруга

своими словами как-то переубедила ее, что выхода в самоубийстве нет.

Определенные неприятности свалились и на Бринлитц. Оскар, который не переставая мотался по Моравии, был в отлучке. По всему краю он покупал кухонную утварь и драгоценности, напитки и сигареты. Порой бизнес его приобретал довольно опасный характер. Биберштейн говорил, что в лазарет в Бринлитце поступали лекарства и медицинский инструментарий, которые не были предметом обычных торговых сделок. Оскар, должно быть, как-то доставал лекарства в учреждениях вермахта или, может быть, на аптечных складах одного из больших госпиталей в Брно.

Какова бы ни была причина его отсутствия, его не было на месте, когда явился проверяющий из Гросс-Розена и в сопровождении унтерштурмфюрера Иосифа Липольда, нового коменданта, который был только рад вторгнуться в пределы предприятия, прошелся по цехам.

Приказ инспектора, полученный из Ораниенбурга, гласил, что все лагеря, имеющие отношение к Гросс-Розену, должны быть очищены от детей, необходимых для использования в ходе медицинских экспериментов доктора Менгеле в Аушвице. Олека Рознера и его младшего братишку Рихард Горовитца, которые считали, что тут-то у них нет необходимости обзаводиться укрытиями, заметили, когда они носились по пристройке и догоняли друг друга, бегая среди заброшенной техники. Здесь же был и сын доктора Леопольда Гросса, не так давно вылечившего Амона от диабета, который помогал доктору Бланке проводить «Акцию здоровья» и у кого на совести были и другие преступления, за которые ему еще предстояло ответить. Инспектор заметил унтерштурмфюреру Липольду, что вот эти-то дети точно не участвуют в производстве боеприпасов. Липольд, невысокий, темноволосый и не такой псих, как Амон, был, тем не менее, истово предан делу СС и не видел необходимости заступаться за это отродье.

В ходе дальнейшего осмотра на глаза попался и девятилетний сын Романа Гинтера. Гинтер знал Оскара еще со времен основания гетто и обеспечивал мастерские в Плачуве металлоломом, собираемым на ДЭФе. Но инспектор и унтерштурмфюрер Липольд не признавали никаких особых отношений. Ребенок Гинтера под охраной был направлен к воротам в компании других ребят. Францу, сыну Спиры, было десять с половиной лет, но он был высок, и по документам проходил как четырнадцатилетний. В этот день он стоял на верхней ступеньке длинной лестницы, протирая высокие окна. Ему удалось пережить этот рейд.

Приказ предписывал отправить вместе с детьми и их родителей, ибо в противном случае существовала опасность, что обездоленные родители могут поднять бунт в лагере. Таким образом, под стражей оказались скрипач Рознер, Горовитц и Роман Гинтер. Доктор Леон Гросс прибежал из клиники, чтобы договориться с СС. Он кипел возмущением. Он старался убедить инспектора из Гросс-Розена, что он относится к тому сорту заключенных, которые пользуются полным доверием, он искренний сторонник системы. Его усилия ни к чему не привели. Унтершарфюреру СС, вооруженному автоматом было поручено доставить их в Аушвиц.

Из Цвиттау до Катовице в Верхней Силезии группа отцов с детьми добиралась на обыкновенном пассажирском поезде. Генри Рознер предполагал, что остальные пассажиры будут враждебно относиться к ним. Вместо этого одна женщина, сочувственно глядя на них, прошла по проходу и дала Опеку и другим по ломтю хлеба и яблоку и посмотрела унтеру прямо в лицо, ожидая его реакции. Тем не менее, унтершарфюрер лишь вежливо кивнул женщине. Позже, когда поезд остановился на станции Усти, он, оставив арестованных под присмотром своего помощника, зашел в пристанционное кафе и принес оттуда кофе и бисквиты, уплатив за них из своего кармана. Рознер и Горовитц вступили с ним в разговор. Чем дольше он длился, тем меньше унтершарфюрер походил на таких своих коллег из тех же формирований, как Амон, Хайар, Йон и другие.

– Я везу вас в Аушвиц, – сказал он, – где я должен забрать женщин и доставить их обратно в Бринлитц.

Так, по иронии судьбы, первыми мужчинами из Бринлитца, узнавшими, что женщин удастся спасти из Аушвица, стали Рознер и Горовитц, сами направлявшиеся туда.

И тот, и другой пришли в восторг. Они сказали своим детям: «Этот хороший человек привезет маму в Бринлитц». Рознер спросил унтершарфюрера, может ли он передать с ним письмо Манси, и Горовитц обратился к нему с той же просьбой, собираясь написать Регине. На клочках бумаги, которые нашел для них унтершарфюрер, были нацарапаны два письма – на тех же листах бумаги, на которых унтершарфюрер писал и своей жене. В своем послании Рознер дал Манси адрес в Подгоже, где они должны встретиться после войны, если оба уцелеют.

Когда Рознер и Горовитц кончили писать, унтершарфюрер спрятал оба их письма в карман

мундира. «Кем же ты был все эти годы? – подумал Рознер. – Неужели ты тоже начинал, как фанатик? И ты тоже приветствовал слова, которые твои боги провозглашали с трибун: „Евреи – наше несчастье“?»

Олек уткнулся рукой в сгиб локтя Генри и стал плакать. Сначала он не хотел говорить отцу, в чем дело. Когда наконец он смог выдавить из себя несколько слов, он сказал, что чувствует себя виноватым, потому что из-за него отец попал в Аушвиц.

– Ты умрешь из-за меня, сказал он.

Генри мог утешить его, что-то соврав, но у него не было на это сил. Все дети знали, что такое газ. И они обижались, когда их пытались обманывать.

Унтершарфюрер наклонился к ним. Конечно же, он не слышал слов, но в глазах у него стояли слезы. Олек удивился, увидев их – как удивился бы другой ребенок, увидев кувыркающуюся на арене животное. Он уставился на охранника. Его поразило, что такие же слезы он видел в глазах своего отца, словно все они были друзьями по несчастью.

– Я знаю, что будет, – сказал унтершарфюрер. – Мы проиграем войну. А вам нанесут татуировки. Вы будете жить.

У Генри создалось впечатление, что этот человек обещанием старается успокоить не столько ребенка, сколько самого себя.

На другой день после своей попытки кинуться на проволоку под током Клара Штернберг услышала со стороны бараков, где размещались *Schindlerfrauen*, смех и голоса, выкликающие женщин по именам. Она выползла из своего сырого укрытия и увидела, что женщины Шиндлера выстраиваются в шеренгу вдоль внутренней ограды женского лагеря. Многие из них были только в рубашках и длинных штанах. Они исхудали до состояния скелетов и шансов выжить у них не было. Но сейчас они болтали и веселились как дети. Даже светловолосая эсэсовка не скрывала удовольствия, чувствуя, что ее служба в Аушвице подходит к концу.

– *Schindlergruppe*, – объявила она, – вам предстоит отправиться в баню, а потом на поезд. – Похоже, она понимала уникальность этого события.

Мрачные женщины, высыпавшие из окрестных бараков, молча смотрели на это оживленное сборище. Они привлекали внимание, эти женщины из списка, ибо их судьба явилась внезапным исключением в жизни этого поселения. Конечно, оно ничего не означало для остальных. Оно было чем-то из ряда вон выходящим, это необычное событие; жизни большинства предстояло и дальше длиться в этом воздухе, затянутом дымом из труб крематориев.

Но для Клары Штернберг это зрелище было невыносимым. Как и для шестидесятилетней Крумгольц, которая уже была на грани смерти в бараке, предназначенном для пожилых женщин. Она стала спорить с капо, стоявшей у двери. «Я должна присоединиться ко всем остальным», – сказала она ей. Капо, родом из Дании, пустилась в туманные объяснения невозможности такого поступка. «В конце концов, – сказала она, – здесь вам будет лучше. В дороге вы умрете на полу теплушки. Кроме того, мне придется объяснять, почему вас нет на месте». «Вы можете сказать им, – возразила миссис Крумгольц, – что я одна из списка Шиндлера. Мы все переписаны. И счет должен сойтись. Об этом даже не стоит вопроса».

Так они спорили минут пять и в процессе разговора выяснили, что у их семей есть какие-то общие корни, что и явилось переломным моментом в неумолимой логике разговора. Выяснилось, что фамилия датчанки тоже Крумгольц. Они стали обсуждать истоки той и другой семьи. «Думаю, мой муж в Заксенхаузене», – сказала датская миссис Крумгольц. Краковская миссис Крумгольц сказала, что ее мужа и взрослого сына куда-то увезли. Наверно, в Маутхаузен. «Мне же самой надо добраться до лагеря Шиндлера в Моравии. Вот эти женщины, там, за изгородью, они все туда направляются». «Никуда они не едут, – сказала датская миссис Крумгольц. – Можете мне верить. Никто не едет никуда – разве что в одно-единственном направлении». Краковская собеседница сказала:

– А вот они думают не так. *Прошу вас!*

Пусть даже *Schindlerfrauen* обманывают, миссис Крумгольц из Кракова хотела разделить с ними и это заблуждение. Поняв это, датчанка-капо наконец распахнула перед ней дверь барака, хотя это ничего не могло изменить.

Ибо между этими двумя заключенными, Крумгольц и Штернберг, и всеми остальными теперь высилась изгородь. Она не была под напряжением. Тем не менее, в соответствии с правилами, предписанными секцией «О» на ней было натянута не менее восемнадцати рядов проволоки.

Верхняя часть изгороди была заплетена гуще. Ниже промежутки между проводами достигали примерно шести дюймов. Но кое-где проем растягивался до фута. И как вспоминают свидетели и сами женщины, обоим из них удалось как-то прорваться сквозь колючую оплетку и присоединиться к группе женщин Шиндлера, что бы их впереди ни ожидало. Пролезая через проемы, повисая на колючках проволоки, рвавших одежду и впивавшихся в тело, они вернулись в список Шиндлера. Никто не останавливал их, потому что никто не верил, что их попытка увенчается успехом. Во всяком случае, никто из женщин Аушвица не рискнул бы на такое. Все, кто пытались бежать, одолев одну изгородь, всего лишь сталкивались с другой, а потом еще и со следующей, пока наконец не натыкались на изгородь под напряжением. Этим же женщинам предстояло преодолеть только одну изгородь. Одежда, которая сопровождала их со времен гетто и которую они продолжали чинить и беречь в грязи Плачува, теперь обрывками висела на колючей проволоке. Полуголые и залитые кровью из многочисленных глубоких царапин, они присоединились к женщинам Шиндлера.

Сорокачетырехлетняя Рашель Корн, оказавшаяся в госпитальном бараке, вылезла из его окна с помощью дочери, которая теперь поддерживала ее в строю колонны Шиндлера. Для нее, как и для двух других, этот день был днем второго рождения. И едва ли не все в толпе поздравляли их.

В душевой женщин Шиндлера побрили. Латышки, вооруженные тупыми завшивленными машинками, двигаясь вдоль строя, выбривали им головы, подмышки и растительность на лобках. После душа все голыми направились на склад, где им была выдана одежда, оставшаяся после умерщвленных. Когда все увидели себя в бритом виде и закутанными в невообразимые одеяния, все стали хохотать – неудержимое веселье заставляло думать, что тут собралась одна молодежь. Вид миниатюрной Милы Пфедферберг, которая сейчас весила не больше 70 фунтов, напялившей платье, которое когда-то принадлежало высокой женщине, заставлял их заходиться от хохота. Полумертвые, в лохмотьях, они веселились, прихорашивались и хихикали как школьники.

– Зачем Шиндлеру нужны все эти старухи? – Клара Штернберг услышала, как эсэсовка спросила это у своей напарницы.

– Это никого не касается, – ответила та. – Пусть открывает хоть приют для престарелых, если ему так хочется.

Что бы ни ждало впереди, посадка на поезд всегда внушала ужас. Даже при холодной погоде перехватывало горло от удушья, напряжение усугублялось еще и темнотой. Оказавшись в теплушках, дети, как всегда, тянутся хоть к проблескам света. Так в первое же утро поступила и Нюся Горовитц, пробившись к дальней стенке и прикинув к щели в стене. Глядя в проем, она видела по другую сторону путей витки проволоки, окружавшей мужской лагерь. У проволоки толпилась кучка детей, которые глядя на стоящие теплушки, махали им. В их стремлении привлечь к себе внимание чувствовалась какая-то настойчивость. И показалось, что, как ни странно, один из ребятшек напоминает ее шестилетнего брата, который в безопасности существует в лагере Шиндлера. А мальчик рядом с ним был буквально двойником их двоюродного братишки Опека Рознера. И тут она наконец все поняла. Это в самом деле был Рихард. И Олек.

Разыскав свою мать, она потянула ее за юбку. Присмотревшись, Регина с ужасом узнала мальчиков и заплакала. Дверь в теплушку уже была задраена, в вечерних сумерках их загнали сюда, плотно набив пространство теплушки, и любое неосторожное движение, любой намек на надежду или панику мог вызвать заразительное воздействие. Все остальные присоединились к ее рыданиям. Манси Рознер, оттянув родственницу от щели, заглянула в нее и сама заголосила.

Дверь откатилась в сторону, и приземистый эсэсовец осведомился, чего ради тут шумят. Никто не осмелился выйти вперед, но Манси и Регина все же протолкались сквозь гущу тел.

– Там мой ребенок, – в один голос сказали они. – Мой мальчик, – добавила Манси. – Я хочу дать ему знать, что я жива.

Он приказал им спуститься на платформу. Представ перед ним, они не могли скрыть удивления, пытаясь догадаться, что ему нужно.

– Ваша фамилия? – спросил он у Регины.

Она назвалась и увидела, что сдвинув пояс, он стал рыться в заднем кармане. Она не удивилась бы, увидев, что из-за спины покажется его рука с пистолетом. Но он протянул ей письмо от мужа. Такое же послание было вручено и от Генри Рознера. Он коротко поведал им, как он сопровождал их мужей в поездке из Бринлитца. Манси осведомилась, не позволит ли он им подлезть под вагон, между путями, словно бы они хотят облегчиться. Порой это разрешалось, если поезд долго стоял на путях. Он согласился.

Нырнув под вагон, Манси тут же издала тот особый свист, которым на апельсиплаце в Плачуве давала знать Генри и Опеку, где она. Услышав знакомые позывные, Олек стал размахивать руками. Он повернул голову Рихарда, чтобы и тот увидел свою мать, глядевшую на него из-под вагонных колес.

Кончив возбужденно подпрыгивать, Олек вскинул одну руку и закатал рукав, показывая вспухшую на предплечье татуировку. И, поняв, что это значит, женщины стали махать в ответ и хлопать в ладоши, после чего и маленький Рихард поднял татуированную руку – и ему достались аплодисменты. «Смотрите, – говорили их закатанные рукава. – С нами все в порядке».

Но скорчившиеся под колесами женщины были в ужасе.

– Что с ними случилось? – спрашивали они друг друга. – Ради Бога, что они здесь делают? – Они догадывались, что объяснение всему происшедшему может быть в письмах. Торопливо открыв, они пробежали их глазами и снова разразились рыданиями.

Тут Олек открыл ладошку и показал, что у него есть несколько маленьких, как пилюли, картофелин.

– Вот! – крикнул он, и Манси отчетливо услышала его. – Не волнуйся, я не буду голодным.

– Где отец? – выкрикнула Манси.

– На работе, – ответил Олек. – Он скоро вернется. Я приберег эти картошки для него.

– О, Боже, – без сил пробормотала Манси. То, что он держит в руках, – не еда. Малыш Рихард был более откровенен. – Mamочка, мамочка! – плакал он. – Я такой голодный!

У него тоже была лишь пара крохотных картофелин. Он бережет их для Олека, сказал он. Долек и скрипач Рознер трудились в каменоломне.

Первым появился Генри Рознер. Приникнув к колючей проволоке, он тоже вскинул обнаженную левую руку.

– Татуировка, – радостно объявил он. Тем не менее, она видела, что его колотит дрожь; он одновременно и обливается потом и трясется от холода. Да, существование здесь не сравнить с той относительно спокойной жизнью в Плачуве, где ему было позволено отсыпаться в малярке после ночных часов, когда он отрабатывал Легара. Здесь, в составе оркестра, который порой сопровождал колонны, отправляющиеся в «душевую», Рознер уже не мог играть свои любимые мелодии.

Появившегося в отдалении Долека подтащил к проволоке Рихард. Долек вперился взглядом в хорошенькое осунувшееся лицо женщины, смотревшей на него из-под колес вагона. И он, и Генри больше всего боялись, что женщинам придется остаться здесь. У них не будет возможности обнять своих детей за проволокой мужского лагеря. Пусть пока еще они были на территории Аушвица, но ситуация сулила какую-то надежду, поскольку их уже погрузили в поезд, который до окончания дня должен будет сняться с места. Идея о воссоединении семьи была чисто иллюзорной, но мужчин за колючей проволокой Биркенау страшила мысль, что женщины ради нее предпочтут остаться и умереть здесь. Поэтому Долек и Генри, разговаривая с ними, стали изображать наигранное веселье – подобно отцам, которые в мирное время собираются взять мальчишек на побережье Балтийского моря, а женская часть семьи может сама по себе отправиться в Карлсбад.

– Позаботься о Нюсе, – продолжал обращаться к жене Долек, напоминая ей, что у них есть и другой ребенок, который сейчас находился в теплушке над головой Регины.

Наконец в мужском лагере прозвучала спасительная сирена. И мужчинам и мальчикам теперь предстояло покинуть свою вахту у изгороди. Манси и Регина, едва держась на ногах, взобрались обратно в теплушку и двери задвинули. Ими владело полное оупение. Ничто больше не могло поразить их.

К середине дня поезд снялся с места. Начались обычные разговоры и предположения, куда их везут. Мила Пфедферберг не сомневалась, что если место назначения – не лагерь Шиндлера, то половина женщин, скучившихся в темноте вагона, не доживут до конца следующей недели. Сама она считала, что сил у нее осталось на пару дней, не больше. Девочка Люся горела в жару. Как Данка ни опекала миссис Дрезнер, изможденную приступами дизентерии, та была на грани смерти.

Но в теплушке, где была Нюся Горовитц, сквозь щель в стене женщинам удалось увидеть горную грядку и сосновые леса. Некоторые из них в детстве бывали в этих местах, и даже выглядывая сквозь щели провонявшего вагона, узнавали очертания гор, вызывавшие воспоминания о беззаботных свободных днях.

– Где-то здесь, – обещали девушки, сидя на корточках и не отрываясь, смотрели в щели. Но где? Еще одна ложная надежда в конце концов убьет их.

Утром второго дня, когда занимался холодный рассвет, им было приказано покинуть вагоны. Откуда-то из тумана доносились свистки локомотива. Под вагонами висели грязные наросты сосулек, и воздух пронзительно резал легкие. Но их окружала не душная тяжелая атмосфера Аушвица. Вокруг были деревенские просторы. Они двинулись в путь, еле переступая окоченевшими ногами в деревянных башмаках, и все заходились в сухом кашле. Скоро перед ними предстали большие ворота, а за ними массивное каменное строение, из крыши которого тянулись каменные трубы, как две капли воды походившие на те, что остались в Аушвице. Группа эсэсовцев ждала их у ворот, похлопывая руками для обогрева. И охрана у ворот, и трубы – кошмар продолжался. Девушка рядом с Милой начала всхлипывать.

– Они везли нас всю дорогу, чтобы в конце концов засунуть в печь.

– Нет, – сказала Мила, – они не стали бы тратить на это время. С нами могли бы покончить и в Аушвице.

Тем не менее, ее оптимизм смахивал на убежденность Люси – она не могла сказать, откуда он у нее взялся.

По мере приближения к воротам им стало казаться, что среди эсэсовцев стоит герр Шиндлер. Сначала им бросились в глаза очертания его высокой фигуры, которую было трудно спутать. И теперь под полями тирольской шляпы, которую он надел, чтобы отметить возвращение в родные горы, они увидели черты его лица. Рядом с ним стоял высокий темноволосый офицер СС. Это был комендант Бринлитца, унтерштурмфюрер Липольд. Оскару уже было ясно – и женщины вскоре тоже убедятся в этом – что не в пример своему гарнизону из призывников средних лет, Липольд еще не потерял веру в осуществимость так называемого «Окончательного решения». И хотя именно он, будучи заместителем штурмбанфюрера Хассеброка, осуществлял власть в данном месте, Оскар первым вышел навстречу остановившейся колонне женщин. Они, не веря своим глазам, смотрели на него. Чудо, появившееся из тумана. Лишь несколько лиц расплылись в улыбках. Мила, как и другие девушки, стоявшие рядом, помнила, что это утро было переполнено чувством огромного невыразимого счастья. Годы спустя одна из женщин из этой колонны, сидя перед камерами немецкого телевидения, попыталась передать чувства, обуревавшие их в это утро: «Он был наш отец, он был наша мать, он был нашей единственной верой и надеждой. Он не даст нам погибнуть».

Оскар начал свое обращение к ним. Это была одна из его взволнованных темпераментных речей, полных волнующих обещаний.

– Мы знали, что вы приближаетесь, – сказал он. – Нам позвонили из Цвиттау. В здании вы найдете суп и хлеб, которые уже ждут вас. – И затем, легко и спокойно, с царственной убежденностью, он произнес эти слова:

– Теперь вам больше не о чем беспокоиться. Теперь вы со мной.

Унтер штурмфюрер был бессилен опровергнуть эти слова. Как бы Липольд ни выходил из себя, Оскар был непоколебим. Липольд не мог воздействовать на убежденность герра директора, который вместе с заключенными прошел за ворота.

Ждали их прибытия и мужчины. Они облепили перила балкона их спального корпуса, глядя вниз. Штернберг с сыном искали Клару Штернберг, Фейгенбаум-старший и Лютек Фейгенбаум выискивали Ноху Фейгенбаум с худенькой дочкой рядом. Иуда Дрезнер и его сын Янек, старый Иеретц, рабби Левертов, Гинтер, Гарде, даже Марсель Голдберг – все напрягали зрение в поисках своих женщин. Мундек Корн искал не только свою мать и сестру, но и полную оптимизма Люсю, к которой он всегда испытывал интерес. Бау впал в печаль, от которой он никогда так до конца и не оправился. В первый раз он окончательно понял, что ни его мать, ни жена не появятся в Бринлитце. Но ювелир Вулкан, увидев внизу на фабричном дворе Хаю Вулкан, с изумлением понял, что есть такие люди, которым под силу осуществить спасение, не поддающееся осмыслению.

Приветствуя Милу, Польдек размахивал пакетом, в котором был подарок к ее появлению – большой моток шерсти, вытасенный из одного из оставшихся от Гофманов тюков и стальные спицы, которые он сам отлил и отполировал. Франц, десятилетний сын Спиры, тоже смотрел вниз с балкона. Во дворе было слишком много эсэсовцев и, чтобы удержаться от слез, он засунул себе кулак в рот и прикусил его.

Женщины в обносках из Аушвица осторожно ступали по брусчатке двора. Головы их были

обриты. Некоторые из них настолько исхудали, были в таком болезненном состоянии, что их трудно было узнать. И все же встреча потрясла всех. Потом уже, с годами, пришло удивление от известия, что нигде, ни в одном углу охваченной войной Европы не было такой встречи. Ее не было и не могло быть, потому что из Аушвица не было спасения – ни для кого, кроме них.

Женщин провели в их отдельный спальный корпус. На полу лежали охапки соломы – нары еще не успели поставить. Из большой полевой кухни производства ДЭФы эсэсовка разливала им суп, о котором Оскар сказал у ворот. Он был густой и сытный. Он был наваристый, и в нем плавали пятна жира. Его ароматный запах вселял надежду, что сбудутся и другие невероятные обещания. «Теперь вам больше не о чем беспокоиться».

Но пока еще они не могли встретиться со своими мужчинами, прикоснуться к ним. Женщинам предстояло пройти карантин. Даже Оскар, по совету своих медиков, решил убедиться, что они не привезли с собой из Аушвица никакой заразы.

Тем не менее, существовали три способа нарушить их уединение. Один из них представлял собой выпавший из стенки кирпич под нарами молодого Моше Бейского. Ночами мужчины один за другим, стоя на коленях на матрасе Бейского, переправляли в другое помещение за стенку записки. В стене же цеха было прорезано полукруглое отверстие, за которым открывался проход в женскую раздевалку. Пфедферберг нагромоздил тут ящики, сидя за которыми, можно было обмениваться посланиями. Наконец, рано утром и поздно вечером можно было постоять у проволочного ограждения, отделявшего мужской балкон от женского. Здесь встретила семья Иеретцев: старый Иеретц, из пиломатериалов которого был выстроен первый барак на «Эмалии» и его жена, которой удалось спастись от акций в гетто. Заключенные шутили относительно разговоров между пожилыми супругами. «У тебя был стул, дорогая?» – серьезно осведомлялся старый мистер Иеретц у своей жены, которой удалось выбраться из дизентерийного барака в Биркенау.

В принципе никто не изъявлял желания оказаться на больничной койке. В Плачuve она была самым опасным местом, куда мог явиться доктор Бланке со смертельной дозой бензина в шприце. Даже здесь, в Бринлитце, всегда существовал риск внезапной инспекции, подобно той, после которой увезли ребят. В соответствии с указаниями из Ораниенбурга, лагерная клиника не имела права содержать у себя серьезных больных. Тут вам не благотворительное заведение. Тут лишь оказывают первую помощь при производственных травмах. Но как бы там ни было, клиника в Бринлитце все же оказалась забитой женщинами. Сюда же попала и девочка-подросток Янка Фейгенбаум. Она была поражена саркомой и в любом случае, даже в самой лучшей больнице, должна была умереть. Ей отвели самое удобное место из всех, что были. Здесь же оказалась и миссис Дрезнер, и еще не меньше дюжины женщин, которые или не могли есть или пища не удерживалась у них в организме. Оптимистка Люся и две другие девочки горели в скарлатине, и их нельзя было держать в лазарете. Их койки перенесли в погреб, где от близости парового котла стояла жара. Даже в приступах озноба Люся чувствовала благодетельное тепло.

Эмили безропотно исполняла обязанности медсестры в лазарете. Те, кто уже прижились в Бринлитце, мужчины, разбиравшие машины Гофманов и перетаскивавшие их на склад дальше по дороге, почти не замечали ее. Один из них позже сказал, что она производила впечатление тихой и покорной жены. Впечатление о процветающем Бринлитце создавалось цветистым красноречием Оскара, которому удивительным образом удавалось убеждать всех и каждого. И даже те женщины, за которыми она ухаживала, искренне считали, что все зиждется на магическом влиянии всемогущего Оскара.

Вот, например, Манси Рознер. В поздней истории Бринлитца описан случай, когда Оскар подошел к ее станку, за которым она работала в ночную смену, и протянул ей скрипку Генри. Както, заехав в Гросс-Розен повидаться с Хассеброком, он улучил время зайти на склад и найти инструмент. Чтобы получить его на руки, он выложил 100 рейхсмарок. И вручая ей скрипку, Оскар улыбнулся, давая понять, что наступит время, когда музыкант опять возьмет ее и прижмет к плечу.

– Хороший инструмент, – буркнул он. – Но теперь его придется настраивать.

Так что для Манси, которая волшебным образом получила скрипку из рук Оскара, было трудно увидеть за его спиной спокойную сдержанную жену герра директора. Но умирающие постоянно видели Эмили рядом с собой. Она кормила их манной кашей, которую раздобывала Бог знает где, сама готовила им еду и носила ее в *Krankenstube*. Доктор Александр Биберштейн считал, что миссис Дрезнер не выживет. Эмили семь дней подряд кормила ее с ложки, и дизентерия от-

ступила. И эта история заставляет поверить словам Милы Пфедферберг, что если бы попытка Оскара спасти их из Биркенау не увенчалась успехом, большинство из них не пережило бы следующую неделю.

Эмили старалась выходить и девятнадцатилетнюю Янку Фейгенбаум с костной саркомой. Лютек Фейгенбаум, брат Янки, работавший в цехе, порой замечал, как Эмили выходила из своей квартиры на нижнем этаже здания с кастрюлей горячего супа, который она готовила у себя на кухне специально для умирающей Янки.

– Она подчинилась Оскару, – потом говорил Лютек. – Как и все мы. И тем не менее, она была женщиной, с которой он считался.

Когда у Фейгенбаума разбились очки, она устроила, чтобы их починили. Рецепт был выдан неким доктором из Кракова еще до начала существования гетто. Эмили договорилась с кем-то, кто ехал в Краков: взять с собой рецепт и привезти отремонтированные очки. Молодой Фейгенбаум воспринял ее поступок не просто как обыкновенную любезность, а как вызов системе, которая не обращая никакого внимания на его близорукость, изъяла у всех евреев Европы очки. Существует много историй, как Оскар обеспечивал очками своих заключенных. И можно только удивляться, что эти поступки Эмили не скрылись в сиянии легенд об Оскаре, деяния которого в глазах его робких подопечных порой были сравнимы с подвигами короля Артура или Робин Гуда.

Глава 34

Врачами в *Krankenstube* были доктора Хильфштейн, Гандлер, Левкович и Биберштейн. Они внимательно следили, не появятся ли признаки эпидемии тифа. Ибо это заболевание было не только угрозой здоровью. В соответствии с предписаниями, случай заболевания тифом мог стать предлогом для закрытия Бринлитца, после чего всех тифозных погрузят в теплушки и отправят умирать в бараки Биркенау с надписью на них: «Осторожно! Тиф!» Во время одного из утренних посещений Оскаром лазарета, примерно через неделю после возвращения женщин, Биберштейн сказал ему, что среди них есть два похожих случая. Головная боль, высокая температура, недомогание и боль по всему телу – так все начинается. Биберштейн предполагал, что через несколько дней проявятся характерные тифозные симптомы. В таком случае двух заболевших надо изолировать где-то в пределах предприятия.

Биберштейну не пришлось долго объяснять Оскару, что может значить для их обиталища тиф, который передается укусами блох. Заключенные привезли с собой неисчислимое множество их. Инкубационный период болезни может занимать до двух недель. Так что им, может быть, уже поражены десятки и сотни заключенных. Даже после появления новых ярусов нар, люди все же располагались слишком близко друг к другу. Во время коротких тайных встреч в укромных уголках завода любовники переносили друг на друга заразных насекомых. Тифозные вши постоянно мигрировали с места на место. И казалось, что вот их-то энергия и положила Оскара на лопатки.

Так что, когда Оскар приказал срочно создавать дезинфекционную секцию на втором этаже – душевые, котлы для кипячения одежды, прожарки – это менее всего походило на очередное административное указание. Предстояло из подвала протянуть наверх трубы, по которым подавался горячий пар и кипяток. Сварщики трудились в две смены. Они работали не покладая рук, с напором и желанием, характерным для тайного производства в Бринлитце. Официальный ход работ должны были символизировать огромные прессы «Хило», которых устанавливали на наконец схватившемся бетонном полу цеха. Их монтаж отвечал интересам и заключенных, и Оскара, и позже Моше Бейски отметил, что поставлены они были с соблюдением всех правил, ибо придавали убедительность фронту работ. Но на деле имело значение лишь то производство, которое не получало официального утверждения. Женщины вязали из шерсти, похищенной из оставленных Гофманами тюков. Прекращая свои занятия, они создавали впечатление занятых на производстве, лишь когда через предприятие проходили чины СС или охрана направлялась в кабинет герра директора, или когда из своих конторок показывались Фуш и Шенбрун, бестолковые немецкие инженеры по вольному найму («Нашим они и в подметки не годились») – потом говорили заключенные).

Оскар в Бринлитце был тем же старым Оскаром времен «Эмалии», которым он остался в памяти своих подручных. Типичный бонвиван, человек широкого размаха и бурных страстей. Когда-то вечером по окончании своей смены, Мандель и Пфедферберг, вспотевшие и уставшие после

сварочных работ, поднялись к резервуару с водой над потолком мастерской. К нему вели несколько маршей металлических лестниц. В резервуаре всегда была теплая вода и, поднявшись наверх, вы скрывались из виду. Вскрабавшись, сварщики не без удивления обнаружили, что резервуар уже занят. Отфыркиваясь, в нем плавал огромный голый Оскар. Вместе с ним плескалась голая эсэсовка с пышной грудью, та, которой Регина Горовитц дала взятку в виде брошки. Заметив их присутствие, Оскар снизу вверх уставился на них. Интимная застенчивость, скорее всего, была для него чем-то вроде экзистенциализма: очень интересно, понять трудно, а следовать невыносимо. Сварщики заметили, что обнаженная девушка явно испытывала удовольствие.

Извинившись, они ушли; спускаясь, они покачивали головами и, очутившись внизу, стали хохотать, как мальчишки. У них над головами Оскар продолжал развлекаться с невозмутимой величественностью Зевса.

Когда эпидемия не получила развития в Бринлитце, Биберштейн от всей души поблагодарил рабочую команду. Когда и дизентерия сошла на нет, он мог быть благодарен качеству пищи. Как гласят его свидетельские показания, хранящиеся в Йад-Вашем, Биберштейн утверждал, что с самого основания лагеря дневной рацион превышал 2.000 калорий. На всем измученном континенте, скованном зимой, только евреи в Бринлитце нормально питались. Среди миллионов несчастных, только тысяча узников Шиндлера знали, что такое настоящий суп.

Они получали и вдоволь овсяной каши. Ниже по дороге от лагеря, рядом с ручьем, в который механики Оскара опустили ящики с контрабандной выпивкой, стояла мельница. Имея на руках рабочий пропуск, заключенные могли время от времени ходить на нее, якобы исполняя то или иное поручение одного из отделов ДЭФа. Мундек Корн вспоминает, как он возвращался в лагерь с грузом пищи. На мельнице надо было всего лишь туго подтянуть завязки у лодыжек и распустить пояс. Приятелю оставалось только лопатой засыпать в эти емкости овсянку. Затянув пояс, ты возвращался в лагерь, неторопливо неся с собой бесценное сокровище; аккуратно переставляя ноги, ты проходил мимо охраны. Внутри тебя уже встречали и, распустив завязки, пересыпали овсянку по кастрюлям.

В чертежной Моше Бейски и Иосиф Бау наладили производство поддельных пропусков, разрешавших проход на мельницу. Как-то к ним зашел Оскар и показал документ со штампом отдела пищевого довольства генерал-губернаторства. Оскар продолжал сохранять отличные связи с черным рынком в районе Кракова. Поставки он заказывал по телефону. Но на границе Моравии надо было показывать разрешительные документы из отдела питания и сельского хозяйства генерал-губернаторства. Оскар продемонстрировал им штамп на бумаге, которую он держал в руках.

– Сможете ли сделать такой? – спросил он у Бейского.

Бейски был искусным мастером. Он мог работать без сна и отдыха. Наконец он продемонстрировал Оскару первую из множества официальных печатей, которые впоследствии вышли из под его рук. Орудием производства были бритвенное лезвие и несколько маленьких острых скальпелей. Его штампы создавали впечатление, что в Бринлитце царит неукоснительный бюрократический порядок. Из-под его рук выходили печати генерал-губернаторства и губернатора Моравии; они стояли на фальшивых проездных документах, с которыми заключенные добирались до Брно или Оломоуца, где грузили хлеб или приобретенные на черном рынке керосин, муку, ткань или сигареты. У фармацевта Леона Залпетера, в свое время члена возглавляемого Марекком Биберштейном юденрата, в Бринлитце был склад. Здесь же хранились жалкие запасы, присылаемые Хассеброком из Гросс-Розена, вместе с обилием овощей, муки и злаков, приобретаемых Оскаром, чему способствовали аккуратно изготовленные Моше Бейским штампы, на которых красовались орел и свастика режима.

* * *

«Вы должны помнить, – говорили заключенные лагеря Оскара, – что хотя в Бринлитце было нелегко, по сравнению с остальными местами тут был рай!» Заключенные знали, что питания не хватает повсеместно; даже за пределами лагеря мало кому удавалось испытывать сытость.

– А Оскар? Он тоже урезал свой рацион, чтобы ничем не отличаться от заключенных?

Ответом служил откровенный смех.

– Оскар? Чего ради Оскару было урезать свой рацион? Он был герр директор. И с какой стати нам было обсуждать его меню? – И тут собеседник хмурился, дабы вы не сочли его мнение

слишком раболепным.

– Вы не понимаете. Мы были счастливы оказаться там. Иного места у нас не было.

Как и в первые годы брака, Оскар с удовольствием уезжал из дома, порой довольно долго отсутствуя в Бринлитце. Нередко Штерн, которому надо было получить от него распоряжения на следующий день, долгими вечерами ждал его, просиживая в обществе Эмили. Преданный бухгалтер неизменно находил самые убедительные объяснения отлучек Оскара, разъезжавшего по Моравии. Годы спустя в своем выступлении Штерн сказал: «Он сутками был в дороге – и не только для того, чтобы закупать еду для евреев в Бринлитце, пользуясь поддельными документами, которые делал один из заключенных, – но и приобретал оружие и боеприпасы на тот случай, если эсэсовцы решат перебить всех нас при отступлении». Неутомимость и предусмотрительность герра директора встречала уважение и преданность со стороны Ицхака Штерна. Но и Эмили понимала, что долгие отлучки Оскара связаны не только с необходимостью подкупать официальных лиц.

Во время одного из таких отъездов Оскара девятнадцатилетний Янек Дрезнер был обвинен в саботаже. И действительно, он совершил оплошность в мастерской. В Плачuve он обслуживал душевую, готовя простыни и полотенца для эсэсовцев после душа и бани; кроме того, он прожаривал зашивленную одежду заключенных. (Там он и заболел тифом и спасся лишь потому, что его двоюродный брат, доктор Шиндель, положил его в клинику якобы с ангиной.)

Предполагаемый акт саботажа он совершил лишь потому, что инженер Шенбрун, немецкий мастер, неожиданно перевел Долека с его станка на один из больших прессов для металла. Самому инженеру потребовалось не меньше недели, чтобы наладить пресс, с чем он справился не лучшим образом и едва только Долек нажал кнопку «Пуск», произошло короткое замыкание и один из штампов треснул. Шенбрун разразился градом обвинений в адрес Долека и направился в контору писать рапорт, в котором обвинял его в сознательной поломке. Отпечатанные копии жалобы Шенбруна были направлены в отделы в Ораниенбурге, Хассеброку в Гросс-Розен и унтерштурмфюреру Липольду в его контору у ворот предприятия.

К утру Оскар так и не прибыл домой. И вместо того, чтобы отослать донесение, Штерн изъясил его из мешка с почтой и скрыл. Жалоба, адресованная Липольду, была передана ему лично, но Липольд, по крайней мере, неукоснительно придерживался правил организации, в которой служил и не мог повесить мальчишку, пока не получит санкции из Ораниенбурга и от Хассеброка. Прошло еще два дня, но Оскар все не появлялся. «Должно быть, задержался на какой-то вечеринке!» – посмеивались в цехах. Наконец Шенбрун выяснил, что его письмо продолжает находиться у Штерна. Он устроил скандал, угрожая Штерну, что отчет будет дополнен и его именем. Штерн, обладавший безграничным спокойствием, когда Шенбрун перестал бушевать, сказал, что он изъясил пакет из мешка с почтой, ибо считает, что герр директор должен, хотя бы в виде любезности, быть ознакомлен с сутью послания прежде, чем оно отправится в дорогу. Герр директор, сказал Штерн, конечно, будет поражен, узнав, что один из его заключенных нанес урон машине стоимостью в 10.000 рейхсмарок. Без сомнений, сказал Штерн, герр директор захочет дополнить рапорт и своими замечаниями по этому поводу.

Наконец в воротах показался Оскар. Штерн успел перехватить его и доложить об обвинении Шенбруна. Унтерштурмфюрер был полон желания тут же увидеться с Оскаром и доказать ему, что власть СС распространяется и за ворота предприятия, предложением для чего должна послужить публичная казнь Янека Дрезнера. Я буду председательствовать на слушании дела, сказал Липольд Оскару. Вы же, герр директор, представите письменное заключение о размерах ущерба.

– Минутку, – сказал ему Оскар. – Сломана моя машина. И председательствовать на слушании буду я.

Липольд заспорил, что заключенный находится под юрисдикцией секции.

– Но машина, – возразил Оскар, – под юрисдикцией инспекции по делам вооруженных сил. Кроме того, он в любом случае не может дать разрешения на проведения данного мероприятия в пределах предприятия. Если бы Бринлитц, скажем, выпускал бы какие-то химические товары, то, может быть, сокращение выхода продукции и не имело бы такого значения. Но здесь – производство боевой техники, имеющей отношение к выпуску секретного оружия.

– Я не могу позволить, чтобы мешали моей рабочей силе, – сказал Оскар.

Скорее всего, Оскар одержал верх именно этим аргументом, поскольку Липольд отступил. Унтерштурмфюрер опасался связей Оскара, так что суд состоялся лишь с наступлением вечера в механической мастерской и председательствовал на нем Оскар Шиндлер. Остальными членами

трибунала были герр Шенбрун и герр Фуш. Сбоку от стола сидела молодая немка, которая вела протокол, и когда ввели молодого Дрезнера, он оказался перед составом настоящего суда, который мрачно смотрел на него. В соответствии с указанием секции «D» от 11-го апреля 1944 года, эта инстанция была первой и конечной, которой предстояло, сообщив о заседании Хассеброку и получив ответ из Ораниенбурга, публично повесить преступника на территории предприятия, перед лицом всех обитателей Бринлитца, среди которых были его отец и сестра.

Янек заметил, что в тот вечер на лице Оскара не было и следа той расположенности, к которой все привыкли, когда он бывал в цехах. Герр директор вслух зачитал сообщение Шенбруна об акте саботажа. Янек знал Оскара, главным образом, по рассказам других, особенно по словам отца, и не мог представить себе, что означало строгое выражение лица Оскара, когда он зачитывал обвинение. В самом ли деле Оскар был так возмущен поломкой машины? Или он всего лишь изображал негодование?

Когда с чтением было покончено, герр директор стал задавать вопросы. Дрезнер почти ничего не мог сказать в свое оправдание. Он пытался объяснить, что был незнаком с этим агрегатом. В нем была какая-то неполадка, сказал он. Он слишком волновался и поэтому допустил ошибку. Он заверял герра директора, что у него не было никаких причин для саботажа. Если ты не умеешь работать на производстве боеприпасов, сказал Шенбрун, то тебе здесь нечего делать. Герр директор заверял меня, что все заключенные исключительно опытные специалисты в этой области. А ты, *Hafiling* Дрезнер, проявил полное невежество.

Гневно взмахнув рукой, Шиндлер приказал заключенному подробно изложить все свои действия в вечер аварии. Дрезнер стал рассказывать, как готовил агрегат к запуску, как расположился рядом с ним, как осмотрел контрольную панель, как включил подачу энергии. И тут же станина внезапно содрогнулась и механизм вышел из строя. По мере того, как Дрезнер рассказывал, герр Шиндлер все беспокойнее ерзал на месте и наконец, сорвавшись со стула, стал мерить шагами мастерскую, возмущенно поглядывая на обвиняемого. Дрезнер описывал те изменения, которые он внес в систему управления, чтобы ею было удобнее пользоваться, когда Шиндлер, сжимая мясистые кулаки, с пылающими глазами остановился перед рассказчиком.

– Что ты несешь? – переспросил он юношу. Дрезнер повторил свои слова: – Я приводил в порядок систему управления, герр директор.

Возвышающийся над ним Оскар врезал ему в челюсть.

Голова Дрезнера откинулась, но он был полон счастья, потому что Оскар – стоя спиной к остальным судьям – подмигнул ему с безошибочным выражением лица. Он стал размахивать ручищами, толкая мальчишку к дверям.

– Черт бы вас побрал, до чего все вы бестолковы! – орал он ему вслед. – Просто не могу поверить!

Повернувшись, он обратился к Шенбруну и Фушу, как к своим союзникам.

– Мне бы хотелось, чтобы они были достаточно толковы, чтобы хоть с толком поломать машину. Тогда бы, по крайней мере, у меня была бы, черт побери, возможность спустить с них шкуру! Но что ты можешь делать с этой публикой? С ними только зря время теряешь.

Оскар опять сжал кулаки, и Дрезнер приготовился к еще одной оглушительной плюхе.

– Пошел вон! – заорал Оскар.

Выскакивая за дверь, Дрезнер слышал, как Оскар уговаривал остальных, что лучше всего забить все происшедшее.

– У меня там наверху есть первостатейный «Мартель», – сказал он.

Это невнятное объяснение, должно быть, не удовлетворило Липольда и Шенбруна. Заседание не пришло ни к какому формальному выводу; не было вынесено никакого приговора. Но они не могли принести жалобу, что Оскар устранялся от слушания или провел его спустя рукава.

Когда потом уже Дрезнер рассказывал об этой истории, он предположил, что в Бринлитце для спасения жизни заключенных пускался в ход целый ряд таких номеров, срабатывавших столь стремительно, что они производили впечатление вмешательства чуть ли не магической силы. Хотя, если говорить по правде, весь Бринлитц как место заключения и производства в буквальном смысле слова представлял собой один потрясающий обман с начала до конца.

Ибо предприятие ровным счетом ничего не производило.

– Ни одной гильзы, – будут говорить заключенные Бринлитца, удивленно качая головами. Ни одна из гильз 45-миллиметровых снарядов из делавшихся здесь, не пошла в ход, ни один корпус для ракет. Оскар сам противостоял тому, чтобы данные по Бринлицу хоть как-то соответствовали выпуску продукции на ДЭФе в годы пребывания в Кракове. В Заблоче производилось эмалированной посуды на сумму 16 миллионов рейхсмарок в год. Участок боеприпасов «Эмалии» за то же самое время произвел гильз на полмиллиона рейхсмарок. Оскар объяснял, что Бринлиц, скорее всего, «в результате отказа от выпуска эмалированной посуды» не получает тех доходов, о которых стоило бы говорить и соответственно не может дать соответствующего выхода продукции. Продукция же военного назначения, говорил он, переживает трудности «начального периода». На деле он смог отправить одну машину с «запасными частями для вооружения», стоимостью в 25 тысяч за все месяцы существования Бринлитца.

– Эти детали, – позже рассказывал Оскар, – поступили в Бринлиц уже в виде полуфабрикатов. Представить меньший объем поставок (для военных усилий) было просто невозможно, потому что ссылки на трудности «начального периода» становились все более и более опасными и для меня, и для моих евреев, ибо министр вооружений Альберт Шпеер от месяца к месяцу повышал объем требований.

Опасность политики Оскара, в соответствии с которой он практически не выпускал продукции, заключалась не только в том, что она создавала ему плохую репутацию в Министерстве вооружений. Он вызывал раздражение у целого ряда других предприятий. Ибо система производства была составлена из отдельных фрагментов: одно предприятие производило гильзы, другое детонаторы, третье снабжало снаряд взрывчаткой и собирало воедино все его компоненты. Таким образом, были основания предполагать, что воздушный налет на один из заводов не нанесет невосполнимый урон производству боеприпасов. Гильзы производства Оскара, которые должны были идти дальше по линии предприятий проверялись на месте инженерами, которых Оскар не знал и до которых не мог добраться. На Бринлице же практически отсутствовал контроль качества. Оскар порой демонстрировал письма с рекламациями Штерну или Финдеру, Пемперу или Гарде, сопровождая чтение их текстов оглушительным хохотом, словно бы авторы рекламаций были персонажами из комической оперы.

Тем не менее, в поздней истории лагеря зафиксирована неприятность. Утром 28-го апреля 1945 года в кабинете Оскара оказались Штерн и Метек Пемпер; этим утром все заключенные в напряжении ждали, чем завершится опасное ожидание, поскольку ходили слухи, что указанием штурмбанфюрера Хассеброка все они приговорены к смерти. И сегодня же был день рождения Оскара: ему исполнилось тридцать семь лет и на столе уже стояла открытая бутылка коньяка, которой предстояло отметить это событие. И тут же на столе лежала телеграмма с завода по сборке боеприпасов под Брно. В ней говорилось, что противотанковые снаряды Шиндлера настолько низкого качества, что полностью провалились на проверочных испытаниях. Они неточно откалиброваны и, поскольку закалка проходила вне предписанных температурных пределов в ходе испытаний они разрывались на месте.

Оскар пришел в экстаз, прочитав текст, и протянул телеграмму Штерну и Пемперу. Тот помнил удивительные слова Оскара:

– Это самый лучший подарок ко дню рождения, который я когда-либо получал. Потому что теперь я знаю – моя продукция никого не убьет!

Этот инцидент дал понять о наличии двух взаимоисключающих тенденций – обе из области бреда. Для такого производственника, каким был Оскар, было ненормально радоваться тому, что он не производит продукции. Но было и бесстрашное сумасшествие в поведении немецких технократов, которые, уже зная, что пала Вена, а войска маршала Конева обнимаются с американцами на Эльбе, все же неукоснительно требовали, чтобы заводик, затерянный где-то в горах, в строгом соответствии с расписанием продолжал осуществлять поставки высокого качества, как того требовал порядок и производственная дисциплина.

Но главный вопрос, который был связан с телеграммой, пришедшей в день рождения, заключался в том, как Оскар пережил те семь месяцев, что предшествовали его юбилею.

В памяти обитателей Бринлитца осталась целая серия инспекций и проверок. Представители секции «О» осматривали завод, на каждом шагу сверяясь с порядком проверки. Точно так же вели себя и инженеры из Инспектората по делам вооружений. Оскар, как правило, приглашал этих

официальных представителей к обеду, в ходе которого отличная ветчина и хороший коньяк смягчали их. В рейхе уже не приходилось рассчитывать на столь обильные угощения и сытные меню. На бродивших по заводу инспекторов, отрыгивавших запахи алкоголя и обильного угощения, склонившиеся над станками заключенные, пылающие горны, лязг прессов – все производило соответствующее впечатление. Одна из историй ходивших среди заключенных, гласила, что среди набора официальных лиц попался один, который во всеуслышание заявлял, что уж его-то Оскар не соблазнил ни показным дружелюбием, ни выпивкой, ни закуской. Оскар перехватил его на лесенке, которая вела из жилого корпуса в цех и, как гласит легенда, спустил вниз головой по ступенькам, в результате чего гость проломил себе череп и сломал ногу. Тем не менее, в Бринлитце не были уверены, кто же оказался столь крепким орешком из СС. Кое-кто утверждал, что это был сам Раш, глава СС и всей службы безопасности Моравии. Сам Оскар никогда не распространялся на эту тему. Анекдот этот – одна из тех историй, говорящая, что в глазах многих людей Оскар представлялся провидцем, которого ничто не могло заставить врасплох. И надо признать, что заключенные имели право распространять подобные истории, ибо в основе их лежало стремление к торжеству справедливости. Ибо он существовал на краю гибели. Но если такие сказки могли как-то утешить их, то и расплата за них могла последовать более, чем жестокая.

Одна из причин, по которой все инспекции покидали Бринлитц удовлетворенными, заключалась в том, что искушенные рабочие Оскара неустанно придумывали новые фокусы. Так, данные о температуре печей для обжига изделий фиксировались на температурной шкале. Датчики калибровали таким образом, что когда стрелка показывала нужную температуру, на самом деле она была на сотню градусов ниже.

«Я уже выслал рекламацию производителю», – всегда мог сказать Оскар инспекции. Он безукоризненно играл роль серьезного производственника, озабоченного падением доходов. Он носил и недостатки цеха и неквалифицированных немецких мастеров. Он мог еще раз упомянуть трудности «начального периода», давая понять, что когда с проблемами будет покончено, тонны будущих боеприпасов не заставят себя ждать.

В механических мастерских, у печей обжига все выглядело нормально. Станки, казалось, работают с предельной точностью, на самом деле калибровка их была сдвинута на доли миллиметра. И многие из инспекторов из отдела вооружения покидали предприятие не только с грузом сигарет и коньяка, но и полные теплого сочувствия к этому прекрасному парню, которому приходится справляться со столь сложными проблемами.

Штерн всегда утверждал, что в конце эпопеи Оскар просто закупал ящики со снарядами гильзами от других чешских производителей и во время очередной инспекции выдавал их за свою продукцию. Пфефферберг утверждал то же самое. Во всяком случае, стараниями Оскара, демонстрировавшего ловкость рук, Бринлитц продолжал существовать.

Несколько раз, чтобы снизить уровень враждебности со стороны местных властей, он приглашал их представителей на экскурсию по фабрике, за которой следовал обильный обед. Но каждый раз на заводе оказывались люди, чей опыт не позволял им разбираться в производстве боеприпасов. После того, как герру директору пришлось задержаться на Поморской, Липольд, Гофман, руководитель местного отделения партии, стали писать всем официальным лицам, которые только пришли им в голову, – тут на месте, в провинции, в Берлине, – обвиняя Шиндлера в нарушении моральных норм, в неразборчивых связях, в пренебрежении расовыми законами и так далее. Зюссмут дал ему знать о потоке писем, хлынувшем в Троппау. Оскар пригласил в Бринлитц Эрнста Хана. Хан был вторым по значению человеком в штате бюро главного берлинского управления, обслуживающего семьи эсэсовцев.

– Он был, – сказал Оскар, как всегда не скрывая своего отношения, – тот еще пьяница. Вместе с собой Хан прихватил друга детства Франца Боша. Тот, как Оскар давно его охарактеризовал, был «беспросветный алкоголик». От его руки погибла семья Гаттеров. Тем не менее, Оскар, подавив свое отвращение к гостю, радушно приветствовал их, ибо ему нужно было завоевать симпатии общественности.

Явившись в город, Хан, как Оскар и надеялся, предстал в форме со всеми блестящими регалиями. Она была вся украшена нашивками, фестонами и орденами, ибо Хан принадлежал к разряду «старых борцов», вступивших в СС еще в первые дни ее существования и был овеян славой ее побед. С блистательным штандартенфюрером прибыл не менее ослепительный адъютант.

Липольд жил в арендуемом доме вне стен лагеря и тоже был приглашен на обед. С самого же

начала вечера он был потрясен до глубины души. Ибо Хан громогласно изъяснялся в любви к Оскару, что, впрочем, свойственно всем завзятым пьяницам. Позже Оскар описывал и гостей, и их мундиры как «воплощение помпезности». Наконец Липольд пришел к убеждению, что сколько бы он ни писал жалоб далекому начальству, скорее всего, все они попадут на стол какому-нибудь старому собутыльнику герра директора, что может обернуться для него же самого крупными неприятностями.

Утром Оскар был замечен разъезжающим по Цвиттау, веселясь в компании важного чина из Берлина. Рядовые наци, останавливаясь на тротуарах, отдавали честь, когда мимо них проезжала слава Рейха.

Но Гофмана не удалось столь же легко, как остальных, загнать в угол. Триста женщин в Бринлитце, как признавал сам Оскар, не обладали «способностью к производственной деятельности». Уже упоминалось, что многие из них день за днем только вязали. Зимой 1944 года, когда на многих была только полосатая униформа, вязание было отнюдь не только времяпрепровождением. Гофман, тем не менее, принес в СС официальную жалобу, что женщины Шиндлера занимаются хищениями его имущества, оставленного в пристройке. Он считает такое положение нетерпимым, скандальным, и более того: оно отчетливо показывает, что на самом деле представляет так называемая деятельность Шиндлера по производству боеприпасов.

Когда Оскар нанес визит Гофману, он нашел старика в триумфальном состоянии духа.

– Мы направили в Берлин петицию с требованием сместить вас, – сказал Гофман. – И на этот раз мы присовокупили к ней данные под присягой показания, что на самом деле ваше предприятие нарушает установления экономики и расовые законы. Мы считаем, что, когда ваша фабрика перейдет под управление специалиста из Брно, получившего ранение в рядах вермахта, он сумеет вернуть ему достойный вид.

Выслушав Гофмана, Оскар принес ему свои извинения, стараясь изображать глубокое раскаяние. Затем он позвонил полковнику Эриху Ланге в Берлин и попросил его не давать ходу петиции клики Гофмана из Цвиттау. Чтобы избежать внесудебного разбирательства, Оскару пришлось потратить 8.000 рейхсмарок, и всю зиму власти Цвиттау, городское партийное начальство досаждало ему, то и дело вызывая его в магистрат, дабы ознакомить его с жалобами горожан, то на присутствие его заключенных, то на состояние его водостоков.

* * *

Оптимистке Люсе лично довелось пережить встречу с инспекцией СС, которая отлично характеризовала методы Оскара.

Люся продолжала пребывать в подвальном помещении – она провела тут всю зиму. Остальные девушки стали чувствовать себя лучше и для окончательной поправки были переведены наверх. Но казалось, что пребывание в Биркенау настолько отравило Люсю, что яд никак не хотел покидать ее организма. Приступы лихорадки возвращались снова и снова. Под мышками возникали карбункулы. Когда один прорывался и начинал затягиваться, возникал другой. Доктор Гандлер, несмотря на возражения своего коллеги Биберштейна, порой вскрывал их просто кухонным ножом. Она продолжала лежать в подвале, где ее хорошо кормили, но мертвенная бледность и слабость не покидали ее. На всем огромном пространстве Европы это было единственное место, где она могла существовать. Порой она думала об этом, но надеялась, что все бури века как-то пройдут над ее головой.

Во время пребывания в этой теплой норе дни и ночи у нее смешались. Она вздрогнула, когда дверь на верхней ступеньке с грохотом распахнулась. Она привыкла к тихим посещениям Эмили Шиндлер, а тут, услышав грохот сапог по ступенькам, напряглась на койке. Ей показалось, что вернулись старые времена «акции».

На деле же оказалось, что явился герр директор вместе с двумя офицерами из Гросс-Розена. Их подкованные сапоги цокали по лестнице, словно готовились раздавить ее. Оскар стоял рядом с ними, когда посетители, озираясь в полусумраке бойлерной, увидели ее. Люся поняла, что пришел ее день. День, когда ей придется принести себя в жертву, чтобы они удалились удовлетворенными. Частично ее скрывал котел, но Оскар не только не сделал никакой попытки отвлечь от нее внимания, но наоборот подошел и остановился у нее в ногах. Поскольку двое из СС еще рассматривали окружение, Оскару представилась возможность заговорить с ней. Он сказал ей самые

обычные банальные слова, но она никогда не могла забыть их: «Не волнуйся. Все в порядке». Он стоял вплотную к ней, как бы давая понять инспекторам, что она не заразная больная.

– Еврейская девчонка, – спокойно сказал он. – Я не хотел класть ее в *Krankenstube*. Воспаление суставов. Так и так с ней покончено. Врачи дают ей день-другой. Не больше тридцати шести часов.

Затем он стал показывать, откуда идет горячая вода, а откуда пар – для дезинфекции. Он демонстрировал клапаны, трубы, соединения и цистерны. Он ходил вокруг ее койки, словно ее тут не существовало, словно она была частью механизмов. Люся не представляла, куда ей смотреть, лежать ли ей с открытыми или закрытыми глазами. Она попыталась притвориться, что находится в бессознательном состоянии. Может, она и переигрывала, но в те минуты Люся думала только о том, чтобы эсэсовцы скорее оказались у основания лестницы. Оскар украдкой улыбнулся ей. Она продолжала оставаться здесь еще полгода и вскарабкавшись по лестнице, встретила ту весну 45-го, которая вернула ее к жизни в изменившемся мире.

* * *

В течение зимы Оскар создавал свой независимый арсенал. И снова на этот счет существуют легенды: некоторые говорили, что оружие было закуплено в самом конце зимы у чешского подполья. Но Оскар пользовался репутацией завязтого национал-социалиста еще с 1938-го года и, скорее всего, не рисковал иметь дела с подпольем. Во всяком случае немалая часть оружия поступила из совершенно законных источников, от оберштурмбанфюрера Раша, шефа полиции и СС в Моравии. В небольшом тайном складе оружия были карабины и автоматы, несколько пистолетов и набор ручных гранат. Оскар достаточно небрежно описал, как он создавал арсенал. Оружие он получал, по его словам, «под предлогом защиты своего предприятия, и обошлось оно мне всего лишь в преподнесенное его (Раша) жене брильянтовое кольцо».

Оскар не был щедр на детали того представления, которое он устроил в кабинете Раша в замке Шпильберг в Брно. Хотя его нетрудно себе представить. Герр директор убедительно и красочно описал восстание рабов, которое грядет по мере того, как война приближается к ним; и уж если нападение застигнет его на рабочем месте, он хочет подороже продать свою жизнь, с автоматом в руках, а предварительно он из милосердия убьет свою жену, дабы спасти ее от худшей участи. Герр директор не исключает возможности, что в ворота могут ворваться и русские. Мои достойные инженеры Фуш и Шенбрун, мои преданные техники, моя немка-секретарша – все они полны желания оказать достойное сопротивление. Хотя, конечно, это общие слова. Я бы предпочел говорить на тему, которая ближе вашему сердцу, герр оберштурмбанфюрер. Я знаю ваше увлечение хорошими драгоценностями. Могли ли показать вам некий образец, что попался мне на глаза на прошлой неделе?

И когда на столе перед Рашем появилось кольцо, Оскар пробормотал: «Как только я увидел его, сразу же подумал о фрау Раш».

Как только Оскар получил в свое распоряжение оружие, Ури Бейски, брат того, кто делал резиновые печати и штампы сразу же стал хранителем арсенала. Ури был невысокий живой молодой человек с правильными чертами лица. Люди замечали, что он неоднократно бывает в квартире Оскара словно сын. Он пользовался расположением и Эмили, которая даже дала ему ключи от квартиры. Такие же материнские чувства фрау Шиндлер испытывала и к сыну Спиры, чудом оставшемуся в живых. Она регулярно заводила его на кухню и намазывала ему ломти хлеба толстым слоем маргарина.

Подобрав небольшой отряд заключенных, Ури время от времени собирал их на складе Залпетера, где знакомил с устройством автоматического оружия. Он сформировал три группы командос по пять человек в каждой. Среди учеников Ури были и такие ребята как Лютек Фейгенбаум. Остальными были ветераны польской армии – Польдек Пфедферберг и другие заключенные, которых прибывшие с Шиндлером называли «люди из Буздыни».

Ими были еврейские офицеры и рядовые польской армии. Им удалось выжить во время ликвидации лагеря в Буздыне, который находился под управлением унтерштурмфюрера Липольда. Тот перевел их всей командой в Бринлиц. Их было примерно 50 человек и они работали на кухнях у Оскара, оставшись у всех в памяти как очень политизированная группа. Во время заключения в Буздыне, они спорили о марксизме, и будущую Польшу видели только коммунистической.

Иронией судьбы оказался тот факт, что в Бринлитце они оказались на теплых кухнях самого аполитичного из капиталистов герра Оскара Шиндлера.

Они оценивали, кто среди заключенных, кроме сионистов, которые всего лишь хотели выжить и сохраниться для будущего, может пригодиться в бою. Некоторые из них с помощью Ури Бейского дополнительно изучали автоматическое оружие, потому что в польской армии тридцатых годов они никогда не сталкивались с такими его образцами.

И если фрау Раш в течение самых последних, наполненных событиями дней властвования ее мужа в Брно, иногда – скажем, во время приема, или на музыкальных вечерах в замке, – вглядывалась в глубины драгоценного камня, преподнесенного ей Оскаром Шиндлером, она могла бы увидеть в его мерцании самые страшные кошмары, которые только могли бы привидеться ей и ее фюеру. Вооруженных евреев-марксистов.

Глава 36

Старые собутыльники Оскара, среди которых были и Амон, и Бош, порой воспринимали его как жертву еврейского вируса. Это не было метафорой. Они верили в его существование в буквальном смысле слова и не осуждали тех, кто пострадал от него. Им доводилось видеть, как он поражал и других порядочных людей. Какая-то часть мозга подпадала под власть этой полубактерии, а полу – чего-то непонятного. И задайся они вопросом, заразно ли это заболевание, то ответили бы: да, в высшей степени. Примером тому, как передается эта подозрительная зараза, мог бы стать случай с обер-лейтенантом Зюссмутом.

Ибо всю зиму 1944–1945 годов Оскар и Зюссмут потворствовали тому, чтобы из 3000 женщин в Аушвице вытаскивать группы по 300–500 человек, отправляя их в небольшие лагеря, разбросанные по Моравии. Оскар, пользуясь своим влиянием, заводил разговоры о материальном возмещении и «подмазывал» людей, от которых зависел успешный ход этих операций. Зюссмут же оформлял документы. Поскольку на текстильных предприятиях в Моравии существовала нехватка рабочей силы, их владельцы относились к присутствию евреев далеко не с той нетерпимостью, что проявлял Гофман. По крайней мере пять германских фабрик в Моравии – во Фрейдентале и Ягерндорфе, в Либау, Грюлихе и Траутенау – принимали партии женщин, размещая их в лагерях у себя под боком. В бараках было далеко не райское житье, и СС пользовалось в них такой властью, о которой Липольд не мог и мечтать. Оскар позже вспоминал, что женщины в лагерях «жили в трудновыносимых условиях». Но небольшие размеры этих лагерей при текстильных фабриках были главным условием их выживания, поскольку гарнизоны СС, охранявшие их, состояли из солдат среднего возраста, которые не отличались ни излишним рвением, ни фанатизмом. Порой тут случались вспышки тифа, узниц постоянно терзал голод. Тем не менее эти небольшие, затерянные в глубине страны учреждения давали больше шансов спастись от поголовного уничтожения, которое с весны стало политикой всех больших лагерей.

Но если еврейская зараза лишь слегка коснулась Зюссмута, то Оскар был охвачен ею с головы до ног. Через Зюссмута Оскар потребовал предоставить в его распоряжение еще тридцать металлостов. Не подлежит сомнению, что выпуск продукции его больше не интересовал.

Что не мешало ему понимать: если он хочет, чтобы существование его лагеря сохраняло свою ценность в глазах секции, он должен постоянно подчеркивать, что ему нужны квалифицированные кадры. И если оценить все остальные события этой сумасшедшей зимы, то можно убедиться, что Оскар затребовал себе дополнительно тридцать рабочих не для того, чтобы ставить их к станкам и верстакам, а просто потому, что появилась такая возможность – вытащить еще тридцать человек. И не будет фантастическим допущением сказать, что им владела та же отчаянная страсть, воплощением которой было пылающее сердце Христа, что висело на стенке у Эмили. Но поскольку это повествование старается избегать искушения канонизировать герра директора, мысль о страстях, владевших Оскаром, нуждается в доказательствах.

Один из этих тридцати металлостов, которого звали Моше Хонигман, оставил письменный отчет об их невероятном спасении. Вскоре после Рождества 10 000 заключенных из каменоломен Аушвица III – отсюда же поставлялись рабочие на военные заводы Круппа, на комбинаты по производству искусственного горючего синдиката «ИГ Фарбен», на сборочные авиационные заводы – были построены в колонну, которую погнали в Гросс-Розен. Может быть, организаторы этого марша предполагали, что, прибыв в Нижнюю Силезию, заключенных удастся распределить по

другим лагерям в данном районе. Они не приняли во внимание безжалостный леденящий холод этих дней, их не волновал вопрос питания колонны. Тех, кто еле волоча ноги и задыхаясь от приступов кашля, отставал в начале каждого этапа, просто пристреливали на дороге. Из десяти тысяч, как рассказал Хонигман, осталось в живых не больше 1200 человек. На севере русские дивизии маршала Конева, переправившись через Вислу, вышли к южным окраинам Варшавы и перерезали все дороги, по которым колонна могла бы двигаться на северо-запад. Ее, сильно уменьшившуюся, загнали в какой-то эсэсовский лагерь около Ополе. Комендант опросил заключенных и составил список квалифицированных рабочих. Но селекция проходила каждый день и тех, кто был неспособен двигаться, расстреливали. Человек, которого вызывали из строя, никогда не знал, что его ждет – то ли кусок хлеба, то ли пуля в затылок. Тем не менее, когда выкликнули Хонигмана, его вместе с 30 другими посадили в теплушку и под присмотром эсэсовцев и капо отправили на юг. «Нам даже дали еду в дорогу, – вспоминал Хонигман. – Это было что-то неслыханное».

Хонигман потом говорил, что, прибыв в Бринлиц, он не верил своим глазам: перед ним предстала картина из какой-то другой реальности. «Мы не могли поверить, что в то время существовал лагерь, где вместе работали мужчины и женщины, где не были ни избиений, ни капо». Он несколько преувеличил, потому что в Бринлице все же существовало разделение мужчин и женщин. Случалось также, что светловолосая подружка Оскара позволяла себе отпускать пощечины, а когда Липольду сообщили, что какой-то мальчишка украл с кухни картошку, комендант заставил того весь день простоять на стуле посреди двора; в рот ему была засунута злополучная картофелина, слюни и слезы текли по щекам воришки, а на шее у него висела надпись: «Я украл картофель!»

Но для Хонигмана это были такие мелочи, на которые не стоило даже обращать внимание. «Что можно сказать, – вопрошал он, – когда ты из ада переместился в рай?»

Встретив Оскара, он услышал от него, что ему необходимо окрепнуть. «Сообщишь мастеру, когда ты сможешь работать», – сказал герр директор. И Хонигману, который впервые за годы лагерной жизни столкнулся с подобным отношением, показалось, что он не только обрел тихую пристань, но и вообще попал куда-то в Зазеркалье.

Да, тридцать металлистов были только малой частью десятитысячной колонны, но необходимо еще раз напомнить, что Оскар, спасавший их, пусть и казался им Богом, но был отнюдь не всесилен. Однако владеющий им высокий дух заставлял в равной мере спасать и Гольдерберга, и Хелену Хирш; он пытался взять под свое крыло и доктора Леона Гросса и Олека Рознера. С расточительностью, не считая денег, он заключал дорогостоящие сделки с гестапо в Моравии. Известно, что он продолжал заключать контракты, но мы не знаем, во сколько они ему обходились. Ясно только, что за удачу приходилось платить.

Объектом одной такой сделки стал Беньямин Вроцлавский. В недавнем прошлом он был заключенным лагеря в Гливице. Не в пример лагерю Хонигмана, Гливице не относилось непосредственно к Аушвицу, но располагалось достаточно близко от одного из его дополнительных лагерей. К 12 января, когда Жуков и Конев начали наступление, мрачная империя Гесса со всеми своими спутниками была близка к тому, что ее вот-вот захватит противник. Заключенных из Гливице погрузили в вагоны и отправили в Фернвальд. Каким-то образом Вроцлавскому и его другу Роману Вильнеру удалось выпрыгнуть из теплушки. Наиболее распространенный путь бегства проходил через вентиляционные отверстия под самым потолком вагона. Но в заключенных, которые выбирались таким путем, часто стреляли охранники с крыш теплушек. Во время побега Вильнер был ранен, но мог двигаться, и вместе с Вроцлавским им удалось миновать несколько тихих чистых городков за границей Моравии. В одной из деревушек их наконец арестовали и доставили в отделение гестапо в Троппау.

Когда по прибытии их обыскали и отправили в камеру, туда зашел какой-то чин из гестапо и сказал, что ничего страшного с ними не произойдет. У них не было оснований верить ему. Далее посетитель сказал, что несмотря на рану Вильнера, он не отправит его в больницу, откуда его тут же заберут и запустят обратно в систему.

Вроцлавский и Вильнер сидели взаперти почти две недели. Это время было необходимо, чтобы связаться с Оскаром и договориться о цене. Все это время с ними обращались, словно они находились в предварительном заключении, которому скоро придет конец, но заключенные продолжали считать эту идею абсурдной. Когда дверь камеры наконец распахнулась и их обоих вывели, они не сомневались, что идут на расстрел. Вместо этого их доставили на железнодорожную

станцию, откуда они в сопровождении эсэсовца направились к юго-востоку от Брно.

Для обоих прибытие в Бринлитц было столь же неожиданным, радостным и даже слегка пугающим, как и для Хонигмана. Вильнера тут же положили в лазарет под опеку врачей Гандлера, Левковича, Хильфштейна и Биберштейна. Вроцлавский разместился среди выздоравливающих, помещение для которых – в виду экстраординарных причин, о которых еще пойдет речь, было организовано в углу цеха. Герр директор посетив их, осведомился, как они себя чувствуют. Нелепость этого вопроса испугала Вроцлавского, ибо он знал, что за ним последует. Он боялся, в чем признался год спустя, что «из больницы путь идет прямо на казнь, как это бывало во всех других лагерях». Но его кормили сытной овсяной кашей и он нередко видел Шиндлера. Он долгое время не мог прийти в себя от растерянности, не в силах понять феномен Бринлитца.

В силу договоренности Оскара с местным отделением гестапо еще одиннадцать человек пополнили все уплотняющееся население лагеря. Все они или убегали из колонн на марше или выпрыгивали из поездов. Облаченные в зловонные полосатые обноски, они пытались как-то скрыться. Но, конечно же, их попытки убежать могли закончиться только пулей.

В 1963 году свидетельство доктора Штейнберга из Тель-Авива дало представление, насколько заразительна и необорима была щедрость Оскара, которая не подлежала сомнению. Штейнберг был врачом в маленьком лагере в Судетских горах. Поскольку Силезия должна была оказаться под властью русских, гауляйтер в Либерецах хотел как можно скорее избавиться от рабочих лагерей по всей Моравии. Лагерь Штейнберга был одним из многих новообразований, разбросанных среди гор и возвышенностей этого края. В нем производились некоторые нестандартные детали оборудования для нужд люфтваффе. Обитали в нем четыреста заключенных. Пища была скудной, вспоминает Штейнберг, а рабочая нагрузка не поддавалась описанию.

Когда до него дошли слухи о лагере в Бринлитце, Штейнберг постарался раздобыть пропуск, чтобы на грузовике, позаимствованном на предприятии, добраться до Оскара и повидаться с ним. Он описал ему отчаянные условия существования лагеря люфтваффе. Оскар без возражений согласился поделиться частью запасов Бринлитца. И единственный вопрос, который больше всего беспокоил Оскара, был следующим: на каком основании Штейнберг может регулярно бывать в Бринлитце, чтобы пополнить запасы продовольствия? Было обговорено, что предлогом будет необходимость получения регулярной медицинской помощи от врачей лагерного лазарета.

С тех пор, рассказывает Штейнберг, дважды в неделю он бывал в Бринлитце и возвращался в свой собственный лагерь с грузом хлеба, овсянки, картофеля и сигарет. Если во время погрузки на складе показывался Шиндлер, он поворачивался к Штейнбергу спиной и удалялся.

Штейнберг не мог точно припомнить, сколько пищи было доставлено из Бринлитца, но, как медик, он не сомневается, что если бы не помощь Шиндлера, то самое малое 50 заключенных в лагере люфтваффе не дожили бы до весны.

Кроме выкупа женщин из Аушвица, нельзя не упомянуть о самом удивительном событии из всех – спасении людей из Голечува. Это место представляло собой каменоломню и цементный завод, размещенные в пределах самого Аушвица-3, вотчины принадлежащего СС «Немецкого предприятия земляных и каменных работ». В январе 1945 года феодальным поместьям Аушвица приходил конец, и в середине месяца 120 рабочих каменоломни в Голечуве погрузили в два грузовых вагона. Их путешествие было таким же скорбным, как и у всех остальных; но завершилось оно все же лучше, чем у многих. Имеет смысл упомянуть, что в это время года почти все обитатели тех мест, как и заключенные Голечува, были вынуждены сняться с места. Долека Горовитца отправили в Матхаузен, маленького Рихарда тем не менее оставили вместе с другими малышами. В конце месяца русские найдут его в Аушвице, брошенном эсэсовцами и придут к совершенно правильному выводу, что он, как и другие дети, был предназначен для использования в медицинских экспериментах. Генри Рознера и девятилетнего Олека (в котором для лаборатории почему-то отпала необходимость), пристроив к колонне, погнали из Аушвица на тридцать миль, и тех, кто не мог идти, пристреливали в хвосте шествия. В Сосновце всех погрузили в грузовые теплушки. Охранник эсэсовец, которому было приказано отделять детей от взрослых, в виде особой любезности позволил Олеку остаться с Генри в одном вагоне. Он был так набит, что всем приходилось стоять вплотную друг к другу, но когда люди умирали от холода или жажды, некий человек, которого Генри описал, как «хитрого еврея», предложил подтягивать завернутые в одеяла трупы к высоким крюкам, вделанным в стену. Таким образом освобождалось чуть больше места для живых. Чтобы мальчику было хоть чуть-чуть удобнее, Генри делал то же самое и, укутав Олека в одеяло, подве-

шивал сверток к тем же самым крюкам. Это положение позволяло ребенку не только легче переносить дорогу; когда состав останавливался на станциях или боковых путях, он мог попросить немцев, дежуривших на путях кинуть ему снежок сквозь решетку. Попавший в вагон снег позволял людям ощутить на языке влажность холодных кристаллов.

До Дахау поезд тащился семь дней, и половина обитателей вагона Рознеров скончалась. Когда состав наконец прибыл на место назначения и в вагоне откатили двери, Олек, сразу же свалившийся в снег, пополз, забрался под вагон, отломил наросшую сосульку и стал жадно лизать ее. Так в январе 1945 года выглядело путешествие по Европе.

Но для заключенных из каменоломен Голечува оно носило еще более ужасающий характер. Распоряжение о погрузке их в два грузовых вагона, сохранившееся в архивах Йад-Вашем, свидетельствует, что все десять дней путешествия они оставались без еды, и морозы стояли такие, что стены и двери обледенели. Р., которому было тогда шестнадцать лет, вспоминает, что они соскребали кристаллы льда со стен и увлажняли ими пересохшие рты. Даже при остановке в Биркенау вагоны не стали разгружать. Вплоть до самых последних дней там полным ходом шел процесс уничтожения его обитателей. До прибывших из Голечува просто никому не было дела. Их вагоны продолжали стоять, забытые на путях, пока к ним не подцепили локомотив, который, оттащив на 50 миль, снова бросил их. Их продолжали подвозить к воротам лагерей, коменданты которых отказывались принимать людей из вагонов, потому что они, во-первых, потеряли всякую ценность для нужд производства и потому что им самим не хватало мест и порции питания.

В ранние утренние часы одного из последних дней января их отцепили от поезда и загнали на пути депо в Цвиттау. Один из приятелей Оскара позвонил ему и сообщил, что слышал, как в одном из вагонов скребутся и стонут люди. Мольбы из-за стенок раздавались на многих языках, ибо как явствует из дошедших до нас документов, там были жители Словакии, Польши, Чехии, Германии, Франции, Венгрии, Нидерландов и Сербии. Позвонившим приятелем, скорее всего, был шурин Оскара. Оскар попросил его сразу же перегнать эти вагоны по путям в Бринлитц.

Утро было страшно холодным – минус тридцать градусов по Цельсию, как утверждает Штерн. Даже придерживающийся точности Биберштейн соглашается, что было не выше двадцати. Польдека Пфефферберга подняли с нар и, прихватив свою грелку, он отправился по заснеженным путям вскрывать двери, которые обледенели до твердости стали. Он тоже слышал слабые, как из загробного мира, стоны, доносящиеся изнутри.

Трудно описать, что предстало перед его глазами, когда двери наконец уладилось откатить. Середину каждого вагона занимала пирамида окоченевших трупов с вытянутыми в смертной муке конечностями. От сотни или чуть больше того оставшихся в живых шло ужасающее зловоние; они почернели от холода и напоминали собой живые скелеты. Никто из них не весил больше 75 фунтов.

Оскара на путях не было. Он отдавал распоряжения на заводе, где в углу одного из цехов уже готовились принимать груз из Голечува. Заключенные разбирали остатки техники Гофмана и вытаскивали ее в гаражи. Охалками соломы покрывали пол. Шиндлер же направился к Липольду. Унтерштурмфюрер решительно отказывался принимать заключенных из Голечува, как и все остальные коменданты за последние несколько недель. Липольд резонно заметил, что никому не удастся убедить его, будто эти-то люди могут производить боеприпасы. Признав его правоту, Оскар уточнил, что все они будут внесены в списки, то есть за каждого из них будет вноситься плата по 6 рейхсмарок в день. После того, как они оправятся, я смогу использовать их, – сказал Оскар. В этой ситуации для Липольда представляли интерес два аспекта. Во-первых, он понимал, что Оскара так и так не остановить. Во-вторых, увеличившееся население Бринлитца повлечет за собой увеличение выплат, что не может не обрадовать Хассеброка. Липольд тут же внес заключенных в списки, поставив дату прибытия, так что когда людей из Голечува проносили через ворота лагеря, Оскар сразу же начинал платить за них.

В стенах мастерских их тут же заворачивали в одеяла и укладывали на солому. В сопровождении двух заключенных из квартиры появилась Эмили: они принесли несколько огромных ведер с горячей овсяной кашей. Врачи обратили внимание на многочисленные обморожения, для лечения которых требовалась специальная мазь. Доктор Биберштейн намекнул Оскару, что для выживания пациентов из Голечува необходимы витамины, хотя он не сомневается, что в Моравии их не найти.

К тому времени под навесом уже лежало 16 окоченевших трупов. Взглянув на них, рабби

Левертон понял, что их тела, скованные холодом, будет трудно похоронить в соответствии с ортодоксальными требованиями, которые не допускают каких-либо повреждений тела и тем более вывихнутых костей. Более того, Левертон понимал, что эту проблему предстоит обсудить с комендантом. В числе предписаний из секции «О» Липольд имел указание избавляться от трупов путем предания их огню. В котельной были для этого все условия, жар производственных печей позволял едва ли не испарять плоть мертвых тел. Тем не менее Шиндлер уже дважды отказывал ему в разрешении на подобное использование печей.

В первый раз это произошло, когда в лазарете в Бринлитце умерла Янка Фейгенбаум. Липольд сразу же приказал сжечь ее тело. Узнав от Штерна, что подобное решение привело в ужас и Фейгенбаумов и Левертон, Оскар решительно отверг эту мысль, чему способствовали и остатки католицизма в его душе. Католическая церковь неизменно решительно отвергала идею кремации. Отказав Липольду в праве использования заводских печей, Оскар приказал плотникам сколотить гроб, и самолично заложив лошадь в повозку, позволил Левертону и семье в сопровождении охраны проводить гроб с телом девушки до леса, где она и была похоронена. Фейгенбаум с сыном шли за повозкой, считая шаги от ворот, чтобы по окончании войны найти тело Янки.

Свидетели говорят, что Липольд пришел в ярость, узнав, как Оскар потворствует заключенным. Кое-кто из обитателей Бринлитца даже говорил, что Оскар продемонстрировал по отношению к Фейгенбаумам и Левертону такую деликатность, которой редко удаивалась даже Эмили.

Второй раз Липольду понадобилась печь, когда скончалась старая госпожа Хофштеттер. Оскар, как рассказывал Штерн, приказал подготовить еще один гроб и металлическую пластинку, на которой, будут отмечены даты ее рождения и смерти. Левертону и «миньяну», то есть группе из десяти человек, которым предстояло прочесть «каддиш» над усопшей, было позволено покинуть лагерь чтобы присутствовать при погребении.

Штерн говорит, что кончина мадам Хофштеттер послужила для Оскара предлогом для создания еврейского кладбища в католическом приходе Дойч-Белау в соседней деревне. По его словам Оскар после кончины Хофштеттер как-то в воскресенье явился в приходскую церковь и сделал священнику предложение. Приходский совет тоже удалось быстро уговорить и он согласился продать ему небольшой участок земли как раз рядом с католическим кладбищем. Не дошло никаких сведений, что кто-то из членов совета сопротивлялся предложению, ибо прошло время, когда канонические законы жестко указывали, у кого есть право быть похороненным в освященной земле, а у кого нет на то права.

Другие заключенные столь же уверенно утверждают, что участок земли под еврейское кладбище был куплен Оскаром, скорее всего, когда пришли вагоны с ужасающим сплетением мертвых тел. Позднее Оскар сам признавал, что его побудил купить землю вид мертвых тел из Голечува. По другим рассказам, когда приходский священник указал, что земля за церковной оградой предназначена для погребения самоубийц и осведомился относительно судьбы обитателей Голечува, Оскар ответил, что они не были самоубийцами. Они были жертвами массовых убийств.

Прибытие мертвецов из Голечува и смерть госпожи Хофштеттер в любом случае должны были произойти в одно и то же время, и оба события были отмечены полным ритуальным обрядом на уникальном еврейском кладбище в Дойч-Белау.

Все заключенные Бринлитца говорили, что погребение произвело огромное моральное воздействие в лагере. Изуродованные трупы, выгруженные из вагонов, меньше всего напоминали человеческие тела. Их вид вызывал ужас перед мыслью о непрочности человеческого существования. Было невыносимо трудно даже обмыть их и обрядить. Единственный путь к восстановлению человечности заключался лишь в достойном погребении. И ритуал, истово соблюденный Левертон, грустный речитатив «каддиша» имел для заключенных Бринлитца значение куда большее, чем та же церемония, случавшаяся когда-либо в относительно спокойном довоенном Кракове.

Чтобы еврейское кладбище содержалось в чистоте на случай будущих похорон, Оскар нанял для ухода за ним унтершарфюрера СС средних лет и заплатил ему.

* * *

Эмили Шиндлер была занята своими делами. Получив набор фальшивых документов, вышедших из-под рук Бейского, на машине с грузом водки и сигарет она послала двух заключенных в большой шахтерский город Оставу у границы генерал-губернаторства. Используя многочис-

ленные связи Оскара, она договорилась с одним из военных госпиталей, откуда была получена мазь против обморожения, сульфамидные препараты и витамины, о необходимости которых говорил Биберштейн. Такие поездки Эмили стала совершать регулярно. Она обрела вкус к путешествиям, как и ее муж.

После первых смертей других не последовало. Люди из Голечува дошли до состояния «мусульман» и не подлежало сомнению, что «мусульман» вернуть к жизни невозможно. Но упрямство Эмили не позволяло ей смириться с этим. Она выхаживала их, без остановки готовя им ведра манной каши.

– Среди спасенных из Голечува, – сказал доктор Биберштейн, – не осталось бы в живых ни одного человека, если бы не ее уход. – Люди начинали поправляться, пытались что-то делать, принося пользу в цехе. Как-то кладовщик-еврей попросил одного из них принести в мастерскую ящик с инструментами.

– Ящик весит тридцать пять килограммов, – сказал напарник, – а я тридцать два. Как, черт побери, мне справиться с ним?

Вот в этот цех, заполненный неработающими станками, среди которых бродили привидения, той зимой и явился герр Амон Гет, который после освобождения из заключения решил засвидетельствовать свое почтение Шиндлеру. Суд СС освободил его из тюрьмы в Бреслау из-за диабета. Он был одет в старый, некогда форменный френч со споротыми знаками различия. О сути этого визита ходили разные слухи, которые существуют и до сегодняшнего дня. Кто-то утверждал, что Амон явился за подачкой, другие считали, что Оскар был ему кое-что должен – то ли наличность, то ли товары, оставшиеся от одной из последних сделок Амона в Кракове, в которой Оскар исполнял роль его агента. Те, кто был вхож в кабинет Оскара в Бринлитце, утверждали, что Амон даже просил для себя какую-то руководящую должность в Бринлитце. Никто не взялся бы утверждать, что он не обладал достаточным опытом. В сущности, все три версии о причинах появления Амона в Бринлитце, может быть, и имели под собой какие-то основания, хотя трудно предположить, что Оскар хоть в какой-то мере мог быть доверенным лицом этого человека.

Едва только Амон миновал ворота лагеря, его сразу же узнали и постарались скрыться с его глаз. Стало видно, что тюрьма и лишения заметно изменили его. Лицо его осунулось. Черты его теперь напоминали того Амона, каким он явился в Краков под новый 1943-й год, чтобы ликвидировать гетто, но теперь на них лежала серовато-желтая тень пребывания в камере. И тот, кто осмеливался присмотреться к нему, видел, что во всем его облике появилась какая-то покорность. Тем не менее, некоторые заключенные, провожающие его взглядами из-за станков, видели в его облике кошмарную тень, вставшую из мрачных глубин памяти, пахнувшее из окон и дверей предвестие опасности, когда через заводской двор бывший комендант лагеря направлялся в кабинет герра Шиндлера. Хелену Хирш сотрясала крупная дрожь, и она не желала ничего иного, как только чтобы он исчез. Но другие перешептывались ему вслед и, склоняясь к станкам, плевали на пол. Кое-кто из пожилых женщин с вызовом поднимали перед ним свое вязание. И в их поведении было яростное желание доказать ему, что, несмотря на внушаемый им ужас, Адам по-прежнему пашет, а Ева прядет.

Если Амон хотел получить какую-то работу в Бринлитце – а тут в самом деле было несколько должностей, на которые отставной гауптштурмфюрер мог бы претендовать – Оскар то ли отговорил его от этого намерения, то ли откупился. В определенном смысле их встреча напоминала прежнее общение. Когда в виде любезности герр директор провел Амона по заводу, показал все производственные помещения, реакция на появление гостя была откровенно недвусмысленной. Было слышно, как вернувшись в кабинет Амон разразился требованиями, чтобы Оскар наказал заключенных за проявленное к нему неуважение, а Шиндлер бурчал, что, мол, что-нибудь сделает с этими злокозненными евреями, выражая свое неизменное уважение герру Гету.

Хотя СС выпустило его из тюрьмы, расследование деятельности Гета продолжалось. За последнюю пару недель судья из суда СС несколько раз приезжал в Бринлитц допрашивать Метека Пемпера о методах руководства Амона. До начала допроса комендант Липольд проворчал, что ему лучше быть осторожнее, потому что судья испытывает желание отправить его в Дахау, получив у него всю информацию. И у Пемпера хватило ума убедить судью, что в Плачуве он занимался самыми незначительными делами.

Каким-то образом Амону удалось узнать, что следователи СС проявляют интерес к Пемперу. Вскоре после своего появления в Бринлитце Амон прижал в углу своего бывшего стенографиста и

потребовал от него отчета: какие вопросы задавал судья. Пемпер не без основания увидел во взгляде Амона опасение, что его давний заключенный по-прежнему является живым источником сведений для суда СС. В самом ли деле Амон не обладает здесь никакой властью, поскольку, исхудавший и осунувшийся, в старом пиджаке, он сшивается в кабинете Оскара? В этом нельзя было быть уверенным. Это по-прежнему был тот же самый Амон, в котором сохранилась привычка властвовать. Пемпер сказал ему:

– Судья предупредил меня, что я не должен ни с кем говорить о ходе допросов.

Гет вышел из себя и стал угрожать, что пожалуется герру Шиндлеру. Это, если угодно, было показателем бессилия Амона. Никогда раньше он не предстал бы перед Оскаром с требованием наказать заключенного.

На второй вечер пребывания Амона в лагере женщины почувствовали себя более уверенно. Ни одну из них он не посмел бы тронуть. Они смогли убедить в этом даже Хелен Хирш. Тем не менее, сон ее был беспокоен.

В последний раз Амон промелькнул перед глазами заключенных уже сидящим в машине, которая везла его на станцию в Цвиттау. Раньше он никогда трижды не показывался в одном и том же месте без того, чтобы не изуродовать жизнь какому-нибудь бедолаге. Теперь стало ясно, что власть ушла из его рук. И все же никто не рискнул посмотреть ему в глаза, когда он уезжал. И тридцать лет спустя в сонных видениях старожилы Плачува, рассеянных ныне по всему миру от Буэнос-Айреса до Сиднея, от Нью-Йорка до Кракова, от Лос-Анджелеса до Иерусалима, Амон по-прежнему представлял исчадием ада.

– Когда вы видели Гета, – говорил Польдек Пфедферберг, – вы видели смерть.

И она, по его словам, всегда присутствовала рядом.

Глава 37

Свой тридцать седьмой день рождения Оскар отпраздновал в компании заключенных. Металлисты изготовили и отполировали маленькую шкатулку для хранения запонок, и когда герр директор появился в цехе, двенадцатилетняя Нюся Горовитц протолкнулась к нему и произнесла по-немецки заученную речь.

– Герр директор, – сказала она, и чтобы услышать ее, ему пришлось наклониться. – Все заключенные желают вам большого счастья в ваш день рождения.

Была суббота, шаббат, что пришлось как нельзя кстати, потому что обитатели Бринлитца всегда воспринимали этот день как праздничный. Рано утром, когда Оскар только начал праздновать, выставив в кабинете на стол «Мартель» и размахивая оскорбительной телеграммой от инженера из Брно, во двор въехали два грузовика с белым хлебом. Часть его была передана гарнизону и даже Липольду, в похмельном сне покоящемуся в своем доме в деревне. Это было необходимо, чтобы эсэсовцы не ворчали по поводу того, как, мол, герр директор балует заключенных. Самим заключенным было выдано по 750 граммов хлеба. Они могли или съесть его или сберечь. Ходили разговоры, где Оскару удалось его раздобыть. В определенной мере это могло быть объяснено расположением местного управляющего мельницей Даубека, который отворачивался, когда заключенным из Бринлитца засыпали в штанины овсянку. Но появление этого субботнего хлеба было воспринято как дар Небес, как результат чудотворного деяния.

И хотя этот день всем запомнился своей праздничной атмосферой, строго говоря, для радостных эмоций было мало оснований. На прошлой неделе пришла длинная телеграмма от герра коменданта Гросс-Розена Хассеброка в Бринлитц Липольду – с инструкциями относительно судьбы заключенных в случае приближения русских. «Необходимо будет произвести окончательную селекцию», – гласил текст телеграммы. – «Пожилых и нетранспортабельных следует расстрелять на месте, а здоровых пешим маршем отправить в Матхаузен».

Хотя заключенные на заводе ничего не знали об этой телеграмме, они не могли избавиться от неопределенных опасений подобного исхода. Всю неделю ходили слухи, что поляков заставили копать братские могилы в лесу под Бринлитцем. Появление груза белого хлеба должно было послужить противоядием этим слухам, гарантией на будущее. Тем не менее, все вроде понимали, что опасность сейчас куда отчетливее угрожает им, чем в недавнем прошлом.

Если работники Оскара не знали о телеграмме, то не попала она на глаза и коменданту Липольду. Сначала послание оказалось в руках Метека Пемпера в приемной Липольда. Подержав над

паром, Метек аккуратно распечатал телеграмму и тут же доложил о ее содержании Оскару. Стоя у стола, тот прочел ее и повернулся к Метеку.

– Ну что ж, ладно, – рявкнул Шиндлер, – значит, нам придется попрощаться с унтерштурм-фюрером Липольдом.

Ибо и Оскар, и Пемпер – оба понимали, что Липольд был единственным эсэсовцем в гарнизоне, способным выполнить приказ, отданный в телеграмме. Заместителем коменданта был человек сорока с лишним лет, обершарфюрер СС Мотцек. И хотя он мог, впад в панику, застрелить кого-то, руководить хладнокровным уничтожением 1300 человек было ему не под силу.

За несколько дней до своего дня рождения, Оскар направил Хассеброку ряд конфиденциальных жалоб на выходящее из ряда вон поведение герра коменданта Липольда. Он нанес визит влиятельному шефу полиции в Брно Рашу и выдвинул против Липольда те же обвинения. И Хассеброку, и Рашу он показал копии писем, которые направил в управление генерала Глюка в Ораниенбург. Оскар играл на том, что Хассеброк должен был помнить и последние подношения Оскара, и намеки на будущие дары, чтобы серьезно отнестись к требованию Оскара сместить Липольда, направленному им в Брно и Ораниенбург – и чтобы он перевел куда-нибудь Липольда, не утруждая себя расследованием.

Шиндлер действовал в привычной для себя манере, отшлифованной в карточных сражениях с Амоном. На кону стояли все обитатели Бринлитца от Гирша Кришнера, заключенного номер 68821, сорокавосемилетнего автомеханика, до Иарума Киафа, заключенного номер 77196, неквалифицированного рабочего 27-ми лет, выжившего на пути из Голечува. Сюда же надо было присовокупить всех женщин Бринлитца, от номера 76201, двадцатидевятилетней станочницы Берты Афтергут, до номера 76500 – Енты Цветшеншильд, 36 лет.

Оскар получил основания для дальнейших жалоб в адрес коменданта Липольда после того, как пригласил его вечером на обед на территорию предприятия. Это было 27 апреля накануне дня рождения Шиндлера. Примерно в одиннадцать вечера заключенные, находившиеся в цехе, с удивлением воззрились на вдребезги пьяного коменданта, который несмотря на поддержку твердо стоявшего на ногах Шиндлера буквально полз по цеху. Во время этого выразительного прохода Липольд пытался присмотреться к кое-кому из заключенных в цехе. Он форменным образом бесновался, тыкая пальцем в стропила высоко под потолком. Герру директору с трудом удавалось удерживать его от падения на пол цеха, что не мешало коменданту демонстрировать, какой карательной властью он обладает.

– Вы, проклятые евреи, – орал он. – Гляньте вон на те балки! Там я вас всех и повешу, всех вас!

Придерживая его за плечи, Оскар старался успокоить Липольда, нашептывая ему на ухо:

– Совершенно верно, совершенно верно. Но только не сегодня вечером, ладно? Как-нибудь в другой раз.

На следующий же день Оскар позвонил и Хассеброку и другим с тщательно подготовленными обвинениями. «Этот человек, – сказал он, – напившись, шатался по предприятию, угрожая всех немедленно казнить. А вокруг были далеко не чернорабочие! Это опытейшие специалисты, занятые в производстве секретного оружия!»

И так далее. И хотя Хассеброк нес ответственность за смерть тысяч рабочих в каменоломнях, хотя он считал, что всю еврейскую рабочую силу необходимо ликвидировать при приближении русских, он не мог не согласиться, что предприятие герра Шиндлера требует особого отношения.

– Липольд, – сообщил Оскар, – продолжает утверждать, что все так же рвется на фронт. Он молод, он здоров, он полон желаний.

– Ну что ж, – сказал Оскару Хассеброк, – посмотрим, что с ним можно сделать.

Тем временем комендант Липольд проспал весь день рождения Оскара, приходя в себя после праздничного приема.

В его отсутствие Оскар произнес перед всеми собравшимися удивительную речь. Весь день он принимал поздравления и праздновал, но никто не помнил, чтобы он нетвердо держался на ногах. В нашем распоряжении нет доподлинной записи его слов, но существует запись другой речи, которую он произнес через десять дней, 8-го мая. По словам тех, кто слушал его, оба раза, и в том, и в другом выступлении говорилось об одном и том же. То есть в обоих говорилось о грядущей жизни.

И все же называть эти выступления речами значило бы снизить их значение и умалить про-

изведенный ими эффект. Оскар инстинктивно пытался осознать наступающую реальность, изменить представление о себе и у заключенных, и у эсэсовцев. Задолго до этих дней он с непреклонной настойчивостью убеждал группу рабочих, среди которых была и Эдит Либгольд, что они переживут войну. Он продемонстрировал тот же дар убежденного пророчества, который проявился в нем в то утро, когда он предстал перед женщинами, прибывшими из Аушвица и сказал им: «Теперь вы в безопасности; вы со мной». Нельзя сбрасывать со счетов, что в другое время и при других условиях герр директор мог бы стать записным демагогом типа Хью Лонга из Луизианы или Джона Ленга из Австралии, дар которых заключался в умении убеждать слушателей, что он вместе с ними призван бороться с пороками всех остальных.

Произнесенное по-немецки выступление Оскара этим же вечером было обращено ко всем заключенным, собравшимся в цехе. Для охраны сборища такого размера был вызван взвод СС; здесь же присутствовал и немецкий гражданский персонал. Когда Оскар начал говорить, Польдек Пфедферберг почувствовал, как от напряжения у него дыбом встали волосы на затылке. Оглянувшись, он увидел непроницаемые лица Шенбруна и Фуша, и эсэсовцев с автоматами наперевес. «Они убьют этого человека, – подумал он. – И тогда все пойдет прахом».

Слова Оскара были посвящены двум главным темам. Во-первых, эпоха величайшей тирании подходит к концу. Он обращался к стоящим вдоль стен эсэсовцам так, словно они тоже были узниками, мечтающими об освобождении. Многие из них, объяснил Оскар заключенным, против их желания были переведены в состав СС из других частей и соединений. Во-вторых, он пообещал, что останется в Бринлитце, пока не будет объявлено о конце военных действий.

– И еще пять минут после, – сказал он.

Для заключенных эти слова, как и предыдущие манифесты Оскара были надеждой на будущее. В них утверждалось, что братские могилы в лесу не дождутся никого. Он напомнил о том, что уже пришлось пережить узникам, с целью подбодрить их.

Можно только предположить, до какой степени были сбиты с толку слушавшие его эсэсовцы. Он откровенно оскорбил их корпус. Возмутятся ли они или проглотят оскорбление, он должен будет понять по их реакции. Кроме того, он предупредил их, что остается в Бринлитце до конца, по крайней мере, столько же, сколько они, то есть он будет свидетелем их действий.

Но Оскар был, конечно, далеко не так уверен и жизнерадостен, как можно было бы судить по его словам. Позже он признался, чего в это время ждал: отступающие через Цвиттау части ворвутся в Бринлиц. Он даже сказал: «Мы были буквально в панике, потому что боялись – со стороны охраны СС можно было ожидать чего угодно». Но, должно быть, он сумел подавить в себе страх, ибо никто из заключенных, радовавшихся белому хлебу на дне рождения Оскара, не заметил в нем ни малейших примет испуга. Оскара также беспокоило поведение некоторых отрядов армии Власова, разместившихся на окраине Бринлитца. Они состояли из членов РОА, Русской освободительной армии, сформированной год назад по указанию Гимmlера из огромного числа русских военнопленных в рейхе; она находилась под командованием бывшего советского генерала Андрея Власова, захваченного в плен три года назад. Для обитателей Бринлитца эти части представляли опасность. Им было нечего терять, ибо они знали, что Сталин хочет подвергнуть их особому наказанию, и боялись, что союзники выдадут их. Власовцы были полны безнадежного славянского отчаяния, подогревавшегося водкой. И прорываясь к американцам, чьи передовые линии были дальше на западе, они могли пойти на что угодно.

Через два дня после выступления Оскара на письменном столе унтерштурмфюрера Липольда появился приказ. В нем сообщалось, что Липольд переводится в пехотный батальон Ваффен СС под Прагу. Хотя похоже, приказ не обрадовал Липольда, он безмолвно сложил свои вещи и исчез. В гостях у Оскара, обычно после второй бутылки красного вина, он часто утверждал, что хочет оказаться на линии огня. Герр директор нередко приглашал к себе на обед офицеров полевых частей вермахта и СС, отступающих на запад, и их застольные разговоры неизменно вызывали у Липольда боевой раж. Его глубоко огорчало, что он не может столь же непринужденно участвовать в разговорах о боях и сражениях.

Сомнительно, чтобы он пытался созвониться с Хассеброком до того, как сложить вещи. Телефонная связь постоянно прерывалась, потому что русские уже окружили Бреслау и были на расстоянии одного броска от Гросс-Розена. Но распоряжение о переводе никого не удивило в управлении Хассеброка, потому что Липольд нередко и перед ними произносил патриотические речи. Так что, оставив комендантом в Бринлитце обершарфюрера Мотцека, Йозеф Липольд ринулся в

бой – неустрашимый боец, мечта которого осуществилась.

* * *

Оскар меньше всего собирался покорно ждать конца. В первые же дни мая он как-то выяснил – может, даже позвонив в Брно, когда линия еще действовала – что один из складов, на котором он постоянно отоваривался, стоит брошенным. Прихватив с собой полдюжины заключенных, он двинулся с целью обчистить его. На дороге к югу постоянно возникали шлагбаумы, но он уверенно прорывался сквозь них, размахивая поддельными документами, на которых по распоряжению Оскара стояли печати и подписи «высшего руководства СС в Моравии и Богемии». Подъехав к складу, они увидели, что тот охвачен пламенем. В таком же состоянии находились и военные склады по соседству, из чего следовало, что этот район недавно подвергся бомбардировке. Из города, в котором чехословацкое подполье вело уличные бои, доносились звуки автоматных очередей. Герр Шиндлер приказал подать грузовик задом к дверям, выломал их и выяснил, что внутри все забито коробками с сигаретами.

Несмотря на склонность к легкомысленному пиратству, Оскар был напуган слухами, дошедшими из Словакии, что русские, не утруждая себя излишними формальностями, поголовно уничтожают гражданское немецкое население. Но слушая каждую ночь Би-Би-Си, он несколько успокоился заверениями, что война кончится до того, как русские окажутся в районе Цвиттау.

Заключенные тоже имели косвенную возможность слушать английское радио и понимали, что делается вокруг. На протяжении всей истории Бринлитца радиотехники Зенон Шеневич и Артур Рабнер постоянно ремонтировали тот или другой радиоприемник Оскара. В сварочной мастерской, надев наушники, Зенон слушал двухчасовую сводку новостей из Лондона. Во время ночной смены слушали радио и сварщики. Как-то эсэсовец, проходивший ночью по цеху, застал у приемника трех человек.

– Мы настраивали его для герра директора, – сообщили они ему, – и минуту назад привели все в порядок.

В начале года заключенные ожидали, что Моравия будет занята американцами. Но поскольку Эйзенхауэр остановился на Эльбе, тут должны были появиться русские. Круг заключенных, близких к Оскару, составил письмо на иврите, в котором шла речь о заслугах Оскара. Оно могло пригодиться, если его доставить в американскую часть, в которой были не только евреи, но даже военные раввины. К тому же Штерн и сам Оскар считали жизненно важным, чтобы герр директор как-то добрался до американцев. В определенной мере на решение Оскара влияло бытовавшее в Центральной Европе представление о русских как о варварах, людях со странными религиозными взглядами и смутным представлением о гуманизме. Но в любом случае, если сообщения с востока хоть в какой-то мере соответствовали истине, для опасений были все основания.

Однако опасения отнюдь не лишили Шиндлера силы воли. Он был бодр и полон взволнованных ожиданий, когда ранним утром 7-го мая до него через Би-Би-Си дошло сообщение о капитуляции Германии. К полуночи следующих суток боевые действия в Европе прекратятся. В ночь на среду 8-го мая Оскар разбудил Эмили, и забывший о сне Штерн присоединился к ним в кабинете, чтобы отпраздновать это событие. Штерн видел, что теперь Оскар не сомневался относительно гарнизона СС, но он бы затруднился ответить, в каких формах в эти дни проявлялась уверенность Оскара.

В цехах и в мастерских заключенные занимались обычными делами. Они работали даже с большей отдачей, чем в другие дни. Но к полудню герр директор нарушил привычный распорядок дня, заставив весь лагерь через громкоговоритель слушать речь Черчилля в честь Победы. Лютек Фейгенбаум, который понимал по-английски, не веря своим ушам, застыл около станка. Для всех прочих звучный, хрипловатый и трубный голос Черчилля был первым сообщением из другого мира, которое они слышали за все годы существования Нового порядка. Голос, который нельзя было спутать ни с каким другим, как голос покойного фюрера, был слышен и у ворот, и на вышках, но СС воспринимало его с мрачным спокойствием. Теперь их внимание было привлечено не к территории лагеря. Как и Оскар, но гораздо внимательнее, они пытались заметить приближение русских. Как предписывала одна из последних телеграмм Хассеброка, они должны были занять оборону в густых зарослях зелени. Вместо этого с полуночи, стоя на часах, они приглядывались к темной стене леса, прикидывая, не таятся ли там партизаны. Растерянный обершарфюрер Мотцек,

тем не менее, приказывал им оставаться на постах и выполнять предписанные обязанности. Ибо в выполнении долга, в повиновении приказам, как позже утверждали в суде их руководители, и была сила СС, его гений.

За эти два дня, отмеченные неопределенностью, в промежутке между объявлением мира и его действительным приходом, один из заключенных, ювелир Лихт, успел сделать подарок для Оскара, подарок более дорогой, чем металлическая коробочка для запонок, преподнесенная Оскару в день рождения. Его предложил сделать старый Иеретц с упаковочной фабрики. Было установлено – и даже люди из Будзына, закаленные марксисты, не стали возражать – что Оскару надо уезжать после полуночи. Церемонией проводов занялась группа близких к Оскару людей – Штерн, Финдер, Гарде, оба Бейские, Пемпер. Достоинно внимания, что, еще сами не зная о том, увидят ли мирные дни, они обеспокоились о прощальном подарке.

Все сошлись во мнении, что подарок должен быть сделан из благородного металла. Источник его был предложен тем же самым Иеретцом. Открыв рот, он продемонстрировал золотой мостик. «Не будь Оскара, – сказал он, – эта штука досталась бы СС. Мои зубы лежали бы в куче им подобных на одном из складов СС, вместе с золотыми коронками несчастных из Люблина, Лодзи и Львова».

Принять такой дар, конечно, было невозможно, но Иеретц настоял на своем. С помощью заключенного, который в свое время занимался зубоврачебной практикой в Кракове, мостик удалось извлечь. Лихт расплавил золото и днем 8-го мая успел выгравировать на внутренней поверхности сделанного из него кольца надпись на иврите. То была строчка из Талмуда, которую Штерн процитировал Оскару в приемной Бучхайстера в октябре 1939 года: «Тот, кто спас единственную жизнь, спас весь мир».

В этот же день в одном из гаражей завода двое заключенных сняли обшивку с потолка и внутренней стороны одной из дверей «Мерседеса» Оскара, аккуратно разместили там несколько мешочков с драгоценными камнями для герра директора и натянули обшивку обратно без, как они надеялись, выпуклостей. Для них это тоже был странный день. Когда они вышли из гаража, уже садилось солнце и казалось, что весь мир застыл в ожидании решающего слова.

Похоже, что такие слова должны были быть произнесены вечером. И снова, как на своем дне рождения, Оскар приказал коменданту собрать всех заключенных в цехе. И снова пришли немецкие техники и секретарши, хотя они были готовы сняться с места и бежать. Среди них стояла Ингрид, давний объект его симпатий. Она не сможет покинуть Бринлитц в обществе Шиндлера. Она покинет его со своим братом, молодым ветераном войны, хромавшим из-за ранения ноги. Оскар приложил столько усилий, снабжая своих заключенных товарами для мена, что вряд ли он мог отпустить из Бринлитца свою старую любовь Ингрид, не снабдив ее имуществом для бартерных сделок. Конечно, когда-нибудь они, как друзья, встретятся где-нибудь на Западе.

И как во время первого выступления Оскара вооруженная охрана выстроилась вдоль стен. До окончания войны было еще около шести часов, а СС давала присягу, что никогда не уйдет с поста. Глядя на стражу, заключенные пытались понять, что сейчас у них на душе.

Когда было объявлено, что герр директор хочет еще раз обратиться к ним, две женщины-заключенные, знакомые со стенографией, Вайдман и Бергер, вооружились карандашами и блокнотами и приготовились записывать то, что будет сказано. Ибо речь должна была прозвучать экспромтом из уст человека, которому скоро предстоит стать беглецом, – она осталась на страницах, заполненных Вайдман и Бергер. В ней поднимались те же самые темы, что и в предыдущей, но на этот раз она была обращена и к заключенным, и к немцам. В ней говорилось, что пленников ждут новые времена, и утверждалось, что теперь всем им – эсэсовцам, ему самому, Эмили, Фушу, Шенбруну – необходимо будут спастись.

– Только что было объявлено, – сказал он, – о безоговорочной капитуляции Германии. После шести лет жестокого уничтожения человеческих существ, жертвам предстоит найти успокоение, а Европе постараться вернуться к миру и покою. И я хотел призвать вас соблюдать неукоснительный порядок и дисциплину – всех вас, которые вместе со мной перенесли эти тяжелые годы – в надежде, что вы достойно встретите новые времена, ибо через несколько дней вы вернетесь к своим разрушенным и разоренным домам в поисках выживших членов ваших семей. И вы должны противостоять разгулу страстей, результаты которого трудно предвидеть.

Он, конечно, имел в виду разгул страстей не среди заключенных. Он обращался к гарнизону, к тем, кто стоял вдоль стен. Он дал им понять, что они могут уходить и обращался к заключенным

с просьбой дать им уйти. Генерал Монтгомери, командующий объединенными силами союзников, объявил, что по отношению к покоренным должна господствовать гуманность, и каждый – он имел в виду немцев – должен определиться в мере своей вины и в степени выполнения долга. «Солдаты на фронте, как и те маленькие люди, повсеместно исполнявшие свой долг, не могут нести ответственность за деяния той группы, что тоже называла себя немцами».

Он подчеркнул, что все его соплеменники имеют право на защиту – заключенным, заключенным, пережившим эту ночь в будущем придется услышать эти слова тысячи раз. И все же если был человек, заслуживший право на защиту, право на то, чтобы его выслушали и отнеслись хотя бы с терпимостью, то им, без сомнения, был герр Оскар Шиндлер.

– Когда уничтожались миллионы таких как вы, ваши родители, дети, братья и сестры, тысячи и тысячи немцев осуждали эти деяния, и даже сейчас миллионы их не подозревают о творившемся ужасе. Документы и данные, найденные в Дахау и Бухенвальде, подробности из которых сообщало Би-Би-Си, оказались первыми сведениями, – сказал Оскар, – которые поведали многим немцам «о чудовищном размахе уничтожения людей».

И тем не менее, он еще раз обратился к ним с просьбой проявить гуманность и предоставить суду право решать судьбу тех, кто принимал такие решения.

– И если вам придется обвинять кого-то, делайте это как подобает. Ибо в новой Европе будут судьи, неподкупные судьи, которые смогут выслушать вас.

Дальше он заговорил о тех тесных связях, которые установились у него с заключенными за прошедшие годы. В его словах звучали едва ли не ностальгические нотки, но он не скрывал опасений, что его причислят к компании Гета и Хассеброка.

– Многие из вас знают, что в течение всех этих лет я оберегал своих рабочих от преследований, придинок и издевательств, чтобы сохранить им жизнь. И если было трудно защищать столь ограниченные права польских рабочих и обеспечивать их работой, оберегать их от насильственной высылки в Рейх, сохранять их убогие жилища и скудное имущество, то борьба за спасение евреев порой казалась просто невозможной.

Он описал лишь некоторые трудности, выпавшие на его долю, и поблагодарил всех за помощь, в выпуске боеприпасов, затыкая рот властям. Учитывая, что Бринлитц практически ничего не выпускал, его слова могли показаться иронией. Но он говорил совершенно серьезно, без тени шуток. Слова герра директора в буквальном смысле могли быть истолкованы, как «Спасибо вам за то, что вы помогли мне дурачить систему».

Теперь он обращался к ним с просьбой подумать об окружающем населении.

– Когда через несколько дней перед вами откроются двери к свободе, подумайте о тех многих, что живут по соседству с предприятием, которые помогали вам едой и одеждой. Я делал все, что в моих силах, чтобы вы не голодали, ибо дал обет до последнего для оберегать вас, обеспечивая вам хлеб насущный. И я не отступлюсь от своих слов, пока не минует пять минут после полуночи.

– Не пытайтесь громить и грабить дома соседей. Будьте достойны миллионов жертв, вырванных из вашей среды, воздерживайтесь от искушения мести и террора.

Он не мог не признать, что появление заключенных в этих местах не было встречено с особой радостью. Упоминание о евреях Шиндлера было табу в Бринлитце. Но есть более высокие понятия, чем желание сводить счеты.

– Я доверяю вашим капо и мастерам наблюдение за порядком и поиск взаимопонимания. Скажите всем об этом, ибо такой подход должен служить интересам вашей безопасности. Приношу благодарность мельнику Даубеку, который, обеспечивая вас пищей, действовал за гранью возможного. И от вашего имени, я приношу свою благодарность смелости и отваге человека, который, рискуя жизнью, не позволял вам умереть с голоду.

– Не благодарите меня за то, что вы остались в живых. Благодарите тех из своей среды, кто работал день и ночь, спасая вас от уничтожения. Благодарите бесстрашных Штерна и Пемпера, и других, которые, думая о вас и опасаясь за вашу судьбу, особенно в Кракове, ежесекундно смотрели в лицо смерти. И когда пришел долгожданный час воздаяния почестей, наша обязанность, пока мы еще все вместе, – блюсти порядок и не отступать от принципов благородства. И стоя среди вас, я обращаюсь к вам с просьбой – не позволяйте себе бесчеловечности, отдавайте себе отчет в ваших решениях и поступках. И я хотел бы поблагодарить близких мне людей за их готовность к самопожертвованию в связи с моей работой.

Речь его была взволнованной и рваной, он переходил от темы к теме, перескакивал с одной мысли на другую, но все они вызывали воспоминания о его безрассудной смелости. Обратившись к гарнизону СС, Оскар поблагодарил их за то, что они не поддались варварству, которого требовали их обязанности. Кое-кто из заключенных в цехе подумал: «Он просил нас не провоцировать их? А что он сам делает?» Ибо СС было СС, и в его составе нашли себе достойное место такие, как Гет и Йон, Хайар и Шейдт. СС заставляло своих членов делать такие вещи, сама мысль о которых была на грани возможностей человека. И Оскар, как они чувствовали, подошел к опасной черте.

– И я хотел бы, – сказал он, – поблагодарить стоящих здесь охранников СС, которых против их желания, забрав из армии и флота, одели в эту форму. У них есть семьи, и они давно уже осознали всю омерзительность и бессмысленность поставленных перед ними задач. И они вели себя гуманно и сдержанно.

Заключенные не поняли, что возбуждение Оскара, которое дошло до предела, позволило ему завершить задачу, поставленную перед собой в день рождения. Его стараниями эсэсовцы больше не представляли собой боевую единицу. Ибо, стоя здесь, они проглотили его оценку их поведения как «гуманного и сдержанного», и теперь им не оставалось ничего другого, как покинуть пределы лагеря.

– И в завершение, – сказал он, – я призываю вас к трем минутам молчания, чтобы почтить память тех бесчисленных жертв, кто погиб в эти жестокие годы.

Они послушались его. Обершарфюрер Мотцек и Хелена Хирш; Люся, которая лишь на прошлой неделе поднялась из подвала; Шенбрунн, Эмили и Гольдберг. Для них время тянулось с мучительной медлительностью; они испытывали непреодолимое желание скорее исчезнуть отсюда. Но они хранили молчание среди гигантских прессов «Хило», а вокруг затихал грохот самой страшной из войн.

Когда все было кончено, эсэсовцы торопливо покинули пределы цеха. Заключенные остались. Озираясь, они не могли поверить, что теперь предоставлены самим себе. Когда Оскар и Эмили двинулись укладываться, они обступили их. Оскару было преподнесено кольцо Лихта. Рассмотрев его и выразив свое восхищение, он показал надпись Эмили и попросил Штерна перевести ее. Когда они спросили, откуда взялось золото и выяснили, что на кольцо пошел мостик Иеретца, они увидели, что его бывший владелец рассмеялся; Иеретц был в составе комитета по подготовке проводов и, готовый к шуткам, охотно демонстрировал проем на месте отсутствующих зубов. Но Оскар посерьезнел и торжественно надел кольцо на палец. И хотя этого тогда никто не понял, в ту секунду, когда Оскар позволил себе принять их дар, они стали опять самими собой.

Глава 38

В течение несколько часов, следовавших за выступлением Оскара, гарнизон СС стал исчезать. На заводе командос, собранные из обитателей Будзынского и других лагерей, уже начали раздавать оружие, приобретенное Оскаром. Оставалось надеяться, что они предпочтут просто разоружить эсэсовцев, чем вступят с ними в ритуальное сражение. Что было бы далеко не самым умным поступком, как объяснил Оскар, потому что отступающих не имеет смысла загонять в угол. Но прежде, чем мысль о таком странном действии, как заключение договора с ними, обрела право на жизнь, кто-то даже предложил подорвать ручными гранатами сторожевые вышки.

Тем не менее, боевые группы лишь приняли сдачу оружия, о которой говорил Оскар. Охрана у главных ворот рассталась со своими автоматами едва ли не с благодарностью. В сумерках на ступенях, ведущих в казарму СС, Польдек Пфедферберг и другой заключенный Яцек Хорн разоружили коменданта Мотцека: Пфедферберг ткнул ему пальцем в спину и Мотцек, как и подобает любому нормальному человеку сорока с лишним лет, которого ждет дом, попросил их пощадить его. Пфедферберг изъясил пистолет у коменданта и после короткого выступления, в ходе которого Мотцек взывал к герру директору с просьбой спасти его, он был освобожден и направился домой.

Вышки, на которых Ури и другим предстояло проводить час за часом, приглядываясь к окрестностям и продумывая планы дальнейших действий, были найдены оставленными охраной. Несколько заключенных, вооружившись полученными автоматами, тут же взобрались на них, дабы у любого в окрестностях лагеря создавалось впечатление, что тут все по-старому и порядок соблюдается.

К полуночи в лагере не осталось ни мужчин, ни женщин из состава СС. Оскар пригласил в

кабинет Банкера и дал ему ключ от особого склада. Это было хранилище имущества военноморских сил, которое, пока русские не захватили Силезию, располагалось в районе Катовице. Его запасы предназначались для снабжения патрульных катеров на реках и каналах, и Оскар в свое время выяснил, что инспекция по делам вооруженных сил хотела переместить их в менее опасный район. Ему удалось получить контракт на перемещение этих запасов – с помощью небольшого подарка, позже объяснил он. Таким образом в Бринлитц прибыли и были разгружены на его территории восемнадцать грузовиков с верхней одеждой, форменными мундирами, с теплым бельем из грубой пряжи и шерсти, несколько сот тысяч бобин шерсти и много пар обуви. Штерн и другие не сомневались – Оскар понимал, что по завершении войны все это добро останется в его распоряжении и предназначал его для раздачи заключенным, чтобы они не были голыми и босыми. В позднейших документах Оскар утверждал то же самое; приложив контракт на складирование, он добавил: «Запасы предназначались для снабжения одеждой моих еврейских подопечных по завершению войны... Специалисты по текстилю из их числа определили стоимость запасов одежды на складе более чем в 150.000 долларов (по ценам мирного времени)».

Среди обитателей Бринлитца в самом деле были такие специалисты – например, Иуда Дрезнер, у которого было свое текстильное предприятие на Страдомской; Ицхак Штерн, который работал в текстильной компании по другую сторону улицы.

Совершив обряд передачи Байкеру этого драгоценного ключа, Оскар, как и его жена Эмили, переоделись в полосатую форму заключенных. Эпопеи, которую он творил с первых дней существования ДЭФ, близилась к завершению. Когда он появился во дворе, чтобы попрощаться с заключенными, все пришли к выводу, что маскировочный наряд вводит в заблуждение и от него легко можно будет избавиться, когда Шиндлер встретится с американцами. Тем не менее, это грубое одеяние имело такой вид, что никому не пришло в голову даже улыбнуться. Наконец он окончательно избавился от необходимости оставаться заложником Бринлитца и «Эмалии».

Восемь заключенных вызвались сопровождать Оскара и Эмили. Все были молоды, но среди них была и супружеская пара – Рихард и Анка Рехены. Самым старшим из них был Эдек Рейбински, но и он был лет на десять моложе Шиндлеров. Позже он и поведал о всех подробностях их удивительного путешествия.

Эмили, Оскар и водитель расположились в «Мерседесе». Остальные следовали за ними в грузовике, нагруженном продуктами, сигаретами, напитками, предназначенными для обмена. Оскар не скрывал волнения перед отъездом. Одной опасности со стороны русских, то есть власовцев, уже не существовало. Несколько дней назад они ушли из этих мест. Но нельзя было исключать, что на следующее утро или даже раньше в Бринлитце не появятся другие. С заднего сидения «Мерседеса», на котором сидели Оскар и Эмили в их полосатых одеяниях – нельзя не признать, что все же они не очень походили на заключенных, а скорее, на преуспевающую семью, направляющуюся на бал-маскарад – Оскар продолжал торопливо давать советы Штерну и указания Банкеру и Залаетеру. Видно было, что он хочет скорее тронуться с места. Но когда водитель. Долек Грюнхаут, включил двигатель «Мерседеса», тот заглох. Оскар выбрался из машины и поднял капот. Он был растерян и встревожен, ничем не напоминая того уверенного человека, который несколько часов назад обращался к ним с руководящей речью.

– Что там такое? – продолжал спрашивать он.

Но в сгустившихся сумерках Грюнхауту трудно было сразу разобраться, что случилось с двигателем. Ему потребовалось время, чтобы найти поломку, но она оказалась не той, что он предполагал увидеть. Кто-то, испугавшись мысли, что Оскар покидает их, перерезал проводку.

Пфедферберг, стоящий в толпе, провожавшей герра директора, кинулся в мастерскую, выволок сварочный аппарат и приступил к работе. Он обливался потом, руки у него дрожали, потому что ему передалось нетерпеливое ожидание, владевшее Оскаром. Шиндлер то и дело посматривал в сторону ворот, словно каждую секунду в них во плоти и крови могли появиться русские. Для таких опасений были все основания – как ни странно, многие во дворе опасались такого же исхода – а Пфедферберг, казалось, копался невыносимо долго. Наконец, когда Грюнхаут с отчаянием повернул ключ, двигатель заработал.

«Мерседес» сразу же снялся с места, а за ним последовал грузовик. Все слишком перенервничали, провожая его, но письмо, подписанное Штерном, Хильфштейном и Залпетером, в котором перечислялись заслуги Оскара и Эмили, было вручено Шиндлерам. Кавалькада, выехав за ворота, двинулась по дороге вдоль путей и, свернув налево – к Гавличкову броду – уносила Оскара в

безопасный край. В этом было нечто от свадебного путешествия, потому что Оскар, который приезжал в Бринлитц со столь многими женщинами, покидал его со своей женой. Штерн и остальные остались стоять во дворе. Наконец они могли принадлежать сами себе. И им еще предстояло перенести и тяжесть, и неопределенность этого положения.

* * *

Зияющая неопределенность, сопровождаемая опасностями, длилась три дня, обретая свою историю. Когда эсэсовцы покинули лагерь, единственным представителем машины уничтожения в Бринлитце остался немец-капо, который прибыл из Гросс-Розена с людьми Шиндлера. Он сам попал в Гросс-Розен за убийство и успел нажить врагов в Бринлитце. Группа мужчин выволокла его из барака и притащила в заводской цех, где с безжалостным энтузиазмом повесила на одной из тех балок, на которых унтерштурмфюрер Липольд угрожал повесить все население лагеря. Кое-кто из заключенных попытался вмешаться, но палачи были полны яростной решимости, и остановить их не удалось.

Это было первым убийством, случившимся уже после наступления мира, чего многие обитатели Бринлитца опасались. Они видели, как Амон повесил бедного инженера Краутвирта на апельплаце в Плачуве, и лицезрение этой казни, хотя и совершенной в силу совсем иных причин, наполнило их тогда глубочайшим отвращением и ужасом. Ибо Амон был Амоном, и изменить его было невозможно. Но эти палачи были братьями по крови.

Когда капо перестал дергаться, его труп оставили висеть над смолкнувшими станками. Это зрелище смутило многих. Предполагалось, что его смерть даст удовлетворение, но вместо этого родилось сомнение в правомерности таких действий. Наконец несколько человек, которые не принимали участия в казни, обрезали веревку и кремировали тело казненного. Что было еще одним доказательством необычности лагеря в Бринлитце, ибо единственным телом, отправленным в печь, где должны были испепеляться еврейские трупы, оказалось тело арийца.

На другой день были распределены запасы со склада военно-морских сил. Рулоны материи пришлось разрезать на куски. Моше Бейски рассказывал, что каждый из заключенных получил по три метра ткани вместе с комплектом белья и несколькими бобинами шерсти. Кое-кто из женщин сразу же сел кроить и шить себе одежду, в которой они могли бы вернуться домой. Другие же предпочли оставить ткань в нетронutom виде, чтобы в трудную минуту жизни ее можно было бы продать.

Были розданы сигареты, которые Оскару удалось вытащить из горящего склада в Брно, и каждый заключенный получил по бутылке водки из запасов Залпетера. Почти никто не решился ее выпить. Это был слишком драгоценный товар, чтобы расстаться с ним.

В сумерках второго дня на дороге, ведущей от Цвиттау, показался дивизион танков. Лютек Фейгенбаум, притаившийся с автоматом в кустах у ворот, испытал желание сразу открыть огонь, как только первый танк оказался в виду лагеря. Но он счел, что делать этого не стоит, это было бы ошибкой. Машины прошли мимо. Наводчик в одном из последних танков колонны, поняв, что изгородь и сторожевые вышки могут означать присутствие поблизости еврейских преступников, развернул ствол и выпустил по лагерю два снаряда. Один разорвался во дворе, а другой попал в балкон женского общежития. Выстрелы были случайным проявлением злобы, владевшей танкистами, и у заключенных, имевших теперь в своем распоряжении оружие, хватило ума не отвечать на них.

Когда смолк грохот мотора последнего танка, все услышали рыдания, доносившееся со двора и из женского корпуса. Осколками ранило девушку. Сама она была в шоке, без сознания, но вид ее ран вызвал у женщин потоки слез, которые они сдерживали все эти годы. Пока женщины плакали, врачи обследовали девушку и сочли, что раны у нее неглубокие.

* * *

Первые часы своего бегства маленький отряд Оскара двигался, примкнув к хвосту колонны грузовиков вермахта. Они старались в течение ночи покрыть как можно большее расстояние, и никто не обращал на них внимания. За их спинами отступающие немецкие саперы подрывали сооружения, и порой их обстреливали из засад, устраиваемых чешскими партизанами. Недалеко от

городка Гавликов Брод пришлось отстать, потому что дорогу им преградили чешские партизаны. Оскару пришлось представиться как заключенному.

– Эти хорошие люди вместе со мной сбежали из трудового лагеря. Ушли и эсэсовцы, и герр директор. Это машина герра директора.

Чехи спросили, есть ли у них оружие. Спрыгнувший с грузовика Рейбинский присоединился к разговору. Он признался, что у него есть винтовка. Вот и хорошо, сказали чехи, вы лучше передайте нам то, что у вас есть. Если вас перехватят русские и выяснят, что вы вооружены, они могут и не понять, что к чему. Лучшей защитой для вас служит тюремная одежда.

В этом селении к юго-востоку от Праги, на дороге, ведущей в Австрию, по-прежнему существовала возможность столкнуться с опасными группами. Партизаны показали Оскару и прочим, где на городской площади находится отделение чешского Красного Креста. Там они могут в безопасности провести ночь.

Но, въехав в город, они узнали от работников Красного Креста, что в наибольшей безопасности они будут, расположившись в городской тюрьме. Оставив машины на площади под присмотром Красного Креста, Оскар, Эмили и их спутники, прихватив с собой личный багаж, легли спать в открытых камерах полицейского участка.

Вернувшись утром на площадь, они выяснили, что обе машины ограблены. В «Мерседесе» была содрана вся обшивка, камни исчезли, с грузовика были сняты колеса, а из двигателя вынуты детали. Чехи отнеслись к происшествию философски. «В такие времена всем нам приходится что-то терять». Может даже, они заподозрили Оскара, потому что правильные черты его лица и голубые глаза наводили на мысль, что он беглый эсэовец.

Команда осталась без своего транспорта, но на юг, в направлении Калице шел поезд и они в своих полосатых обносках сели на него. Рейбинский рассказывал, что они «ехали до леса, а потом пошли пешком». Был шанс где-то в этом лесистом пограничном районе к северу от Линца найти американцев.

Они двигались по лесной дороге, пока не наткнулись на двух молодых американцев, которые, катая челюстями жевательную резинку, сидели у пулемета. Один из заключенных, сопровождающих Оскара, заговорил с ними по-английски.

– У нас приказ никого не пропускать по дороге, – сказал один из солдат.

– А запрещено ли обогнуть вас лесом? – спросил заключенный.

Джи-ай продолжали жевать. Странная, жвачная раса.

– Думаю, что нет, – наконец сказал джи-ай.

Так что они свернули в лес, и через полчаса, выйдя опять на дорогу, наткнулись на пехотинцев, которые двумя колоннами двигались на север. При помощи знатока английского, они обратились к начальнику группы разведки. Подъехав в джипе, он вылез из него и сам стал расспрашивать их. Они откровенно поведали ему, что сами они евреи, а Оскар был герром директором. Они не сомневались, что теперь-то они находятся в безопасности, потому что из сообщения Би-Би-Си знали, что в американской армии много солдат, имеющих немецких и еврейских предков.

– Стойте на месте, – сказал капитан.

Он уехал без всяких объяснений, оставив их в компании несколько смущенного молодого солдата, который предложил им сигареты с вирджинским табаком, показавшиеся им слишком элегантными и изысканными – как джип, форма и все остальное имущество американцев не знакомых с понятием «эрзац».

Хотя Эмили и остальные заключенные опасались, не арестуют ли Оскара, сам он сел на траву, с удовольствием вдыхая чистый весенний воздух лесного высокогорья. У него было с собой письмо на иврите, и он знал, что среди уроженцев Нью-Йорка найдется хоть один знаток этого языка. Через полчаса на дороге появилась группа, которая шла гурьбой, ничем не напоминая военных. Это оказались солдаты-евреи, и среди них – военный раввин. Полные возбуждения, они обступили их, обнимая всех присутствующих, в том числе Оскара и Эмили. Ибо они, рассказали солдаты, оказались первыми живыми узниками концентрационного лагеря, которые встретились батальону.

Когда с церемонией встречи было покончено, Оскар вынул свое рекомендательное письмо и протянул его рабби, который, прочитав его, начал плакать. Он пересказал его содержание остальным американцам. Снова начались аплодисменты, объятия и рукопожатия. Молодые джи-ай вели себя с громогласной непринужденностью, как дети. И хотя их отцы или деды были выходцами из

Центральной Европы, они были уже настолько американцами, что заключенные не могли скрыть изумления, глядя на них.

В результате компания Шиндлера провела два дня на австрийской границе в гостях у командира полка и раввина. Их угощали прекрасным настоящим кофе, который им довелось пить лишь до начала эпопеи гетто. И ели они, сколько влезет.

Через два дня рабби предоставил в их распоряжение трофейную машину скорой помощи, в которой они и направились к разрушенному Линцу в Верхней Австрии.

* * *

И на второй мирный день русские так и не появились в Бринлитце. Вооруженная группа маялась от необходимости охранять лагерь дольше, чем они предполагали. Они помнили, что единственный раз им довелось увидеть испуганных эсэсовцев, когда те наткнулись на предупреждение о тифе – если не считать растерянного Мотцека и его команду в последние несколько дней. Поэтому по всей ограде были развешаны предостережения о наличии тифа.

Днем подошли трое чешских партизан и через проволоку поговорили с часовым. «Уже все кончено, – сказали они. – Можете идти куда хотите».

«Когда появятся русские, – объяснили им. – А пока мы будем здесь».

Этот ответ дал понять о патологическом страхе, владеющем заключенными, будто мир за пределами колючей проволоки таит в себе для них опасность и выходить в него надо осторожно и постепенно. Но это же говорило об их мудрой предусмотрительности. Они еще не были уверены, что поблизости нет разрозненных немецких групп.

Чехи пожали плечами и удалились.

Этим же вечером, когда Польдек был в составе караула, на дороге послышался рев нескольких мотоциклов. Стало ясно, что они не собираются проезжать мимо, как колонна танков, а поворачивают к воротам лагеря. Из темноты возникли пять мотоциклов с эмблемами голов СС и с грохотом подъехали к изгороди. Когда эсэсовцы – очень молодые ребята, как припоминает Польдек – выключив двигатели, слезли с седел и направились к лагерю, среди его вооруженной охраны разгорелся горячий спор, не стоит ли тут же открыть огонь по незванным гостям.

Эсэсовцы на мотоциклах, казалось, понимали, какая опасность подстерегает их в этой ситуации. Они остановились в некотором отдалении от ограды, жестами давая понять, что им нужно горячее. Им нужен бензин, говорили они. И поскольку перед ними предприятие, они полагают, что в Бринлитце есть его запасы.

Пфефферберг посоветовал, что лучше снабдить их бензином, и избавиться от посетителей, чем создавать проблемы, открывая огонь. Тут поблизости могут быть и другие эсэсовцы, которых привлекут звуки перестрелки.

Так что в конце концов эсэсовцев пропустили через ворота и несколько заключенных принесли им бензин из гаража. Эсэсовцы, сопровождаемые вооруженной стражей, были осторожны и сдержанны, давая понять, что не видят ничего особенного в узниках с оружием, защищающих свое обиталище от вторжения извне.

– Надеюсь, вы понимаете, что здесь тиф, – по-немецки сказал Пфефферберг, показывая на объявление на ограде.

Эсэсовцы переглянулись.

– У нас уже скончалось пару десятков человек, – сказал Пфефферберг. – И еще пятьдесят изолированы в подвале.

Эти слова произвели заметное впечатление на обладателей эмблем мертвой головы. Они были измотаны, им приходилось спасаться бегством. Этого было более, чем достаточно. Плюс ко всему им не хватает только тифозных вшей.

Когда появился бензин в канистрах по пять галлонов, они выразили свою благодарность, раскланялись и исчезли за воротами. Заключенные наблюдали, как, залив баки, они аккуратно привязали к задним сидениям канистры, в которых еще оставался бензин. Натянув длинные, до локтей, перчатки, они включили двигатели и на малой скорости покинули лагерь, не утруждая себя излишними благодарностями. Гул моторов стих за пределами деревни, в юго-западной стороне. Для людей у ворот эта вежливая встреча была последней, когда они видели форму мрачного легиона Генриха Гиммлера.

* * *

Когда на третий день лагерь был формально освобожден, это произошло стараниями единственного русского офицера. Верхом на лошади он одолел препятствия в виде обочин дороги и железнодорожных путей у ворот Бринлитца. Когда он подъехал ближе, стало видно, что ехал он на пони, худые ноги офицера в стремях едва ли не касались земли, и ему приходилось все время поджимать их, касаясь тощих ребер лошадки.

Он явился в Бринлитц олицетворением тяжело доставшейся победы, ибо гимнастерка его была изорвана, а кожаный ремень винтовки настолько износился от пота и превратностей погоды, что его пришлось заменить веревкой. Уздечка пони тоже была веревочной. Лицо его было покрыто загаром, и в чертах его было что-то чужое и в то же время странно знакомое.

После короткого разговора на смеси русских и польских слов охрана у ворот пропустила его внутрь. С балконов второго этажа разнеслась весть о его появлении. Когда он спешился, его расцеловала миссис Крумгольц. Улыбнувшись, он на двух языках попросил принести стул. Один из ребят помоложе притащил его.

Став на сиденье, он оказался на несколько голов выше всех заключенных, в чем при его росте не было необходимости, и произнес по-русски набор привычных фраз, возвещающих об освобождении. Моше Бейски уловил их смысл. Они освобождены усилиями доблестной Советской армии – Красной Армии. Они могут идти в город и вольны двигаться в любом направлении, которое выберут. Ибо в стране Советов, как в мифическом царстве небесном, нет ни евреев, ни христиан, ни мужчин, ни женщин, ни рабов, ни свободных. В городе они не должны позволять себе чувство недостойной мести. Союзники найдут тех, кто угнетал их и предадут строгому и нелицеприятному суду. Главное, что они свободны, и пусть это чувство перевесит все остальные.

Спрыгнув со стула, он улыбнулся, как бы давая понять, что, покончив с официальной частью, готов отвечать на вопросы. Бейски и остальные стали разговаривать с ним, а он, ткнув в себя пальцем, сказал на ломаном идише, которым говорят в Белоруссии, – чувствовалось, что на нем говорили не столько его родители, сколько деда и бабки – что он сам еврей.

Теперь стало ясно, что разговаривать с ним можно более откровенно.

– Вы были в Польше? – спросил его Бейски.

– Да, – признал офицер. – Только что вернулся оттуда.

– Остались ли там евреи?

– Никого из них не видел.

Вокруг толпились заключенные, переводя смысл разговора остальным, стоявшим поодаль.

– Откуда вы сами? – спросил офицер.

– Из Кракова.

– Я был в нем две недели назад.

– А в Аушвице? Что насчет Аушвица?

– Я слышал, что в Аушвице все же осталось несколько евреев.

Заключенные погрузились в задумчивость. Слова русского офицера дали понять, что Краков опустел, и если они вернуться в него, то будут ощущать себя подобно высохшим горошинам на дне кувшина.

– Что я могу для вас сделать? – спросил офицер.

Раздались просьбы о пище. Он решил, что сможет доставить им повозку с хлебом и конское мясо. Все появится еще до вечера.

– Но вы можете поискать, что есть в городе, – предложил офицер.

Идея им понравилась – они могут просто выйти за ворота и получить все, что нужно, в Бринлитце. Кое-кто не мог себе этого представить.

Молодые ребята, среди которых были Пемпер и Бейские, пошли провожать офицера. Если в Польше не осталось больше евреев, им некуда деться. Они не собирались получать от него инструкции, но считали, что он мог бы обсудить с ними то затруднительное положение, в котором они оказались. Русский офицер помедлил, развязывая замотанные вокруг столба поводья.

– Не знаю, сказал он, прямо глядя им в лица. Не знаю, куда вам податься. Только не на восток это-то я могу вам сказать. Но и на запад. – Он снова стал дергать пальцами узел. – Нас нигде не любят.

* * *

После разговора с русским офицером, узники Бринлитца вышли наконец за ворота, чтобы вступить в первый осторожный контакт с внешним миром. Первые шаги навстречу ему сделала молодежь. Сразу же после освобождения Данка Шиндель вскарабкалась на лесистый холм за лагерем. Начинали расцветать лилии и анемоны, и перелетные птицы, вернувшиеся из Африки, копошились в ветвях. Данка посидела на холме, наслаждаясь спокойствием дня, а потом, перекатившись на бок, легла в траву, вдыхая аромат цветущей зелени и глядя в небо. Она лежала тут так долго, что ее родители стали беспокоиться, не случилось с ней чего-нибудь в деревне или же не натолкнулась ли она на русских.

Одним из первых, если не самым первым, ушел Гольдберг, спеша добраться до своего добра, спрятанного в Кракове. Он собирался как можно скорее эмигрировать в Бразилию.

Большая часть заключенных старшего возраста продолжала оставаться в лагере. Теперь в Бринлитце были русские, и офицеры заняли виллу на холме над поселком. Они доставили в лагерь освежавшую тушу лошади, и заключенные жадно накинулись на мясо, хотя оно показалось им слишком сытным после их диеты из хлеба с овощами и овсяных каш Эмили Шиндлер.

Лютек Фейгенбаум, Янек Дрезнер и молодой Штернберг пошли в городок раздобыть продовольствия. Улицы его патрулировались чешскими подпольщиками, и немецкое население Бринлитца теперь, в свою очередь, опасалось появления освобожденных из заключения. Лавочник дал понять ребятам, что к их услугам целый мешок сахара, который он хранил в кладовке. Штернберг, не в силах сопротивляться искушению, уткнулся в него лицом и горстями стал запихивать сразу в рот, из-за чего начал маяться жестокими болями в животе. Он стал жертвой того, что открылось группе Шиндлера в Нюрнберге и Равенсбрюке – и свободу, и изобилие пищи надо воспринимать постепенно.

Главная цель этого похода в город заключалась в надежде найти хлеб. Как член охраны Бринлитца Фейгенбаум был вооружен автоматом, пистолетом, и когда пекарь стал доказывать, что у него нет ни крошки хлеба, кто-то сказал Лютеку: «Припугни-ка его автоматом». Ведь этот человек был *sudetendeutsch* и теоретически нес ответственность за все их страдания. Фейгенбаум навел на пекаря ствол и через магазин прошел в его квартиру в поисках спрятанной муки. В задней комнате он обнаружил дрожавших от страха жену пекаря и двух его дочерей. Они были настолько перепуганными, настолько неотличимыми от семей в Кракове во время акции, что его охватило всепоглощающее чувство стыда. Он кивнул женщинам, словно нанес им визит вежливости, и вышел.

Такое же чувство стыда пришлось пережить Миле Пфедферберг во время первого посещения деревни. Когда она появилась на площади, чешский партизан остановил двух девушек из судетских немцев и заставил их снять обувь, чтобы Мила, по-прежнему носившая деревянные башмаки, могла выбрать то, что ей больше подойдет. Оказавшись в таком положении, Мила густо покраснела. Партизан заставил одну из девушек надеть деревянные башмаки и удалился. Мила побежала за ними следом и вернула обувь. *Sudetendeutscherin*, вспоминает Мила, даже не поблагодарила ее.

Вечером в лагере в поисках женщин появились русские. Пфедфербергу пришлось приставить пистолет к голове солдата, который вломился в женское общежитие и схватил миссис Крумгольц. (Даже спустя годы она ругала Пфедферберга, тыкая в него пальцем: «Как только мне представился случай уединиться с молодым парнем, так этот сукин сын помешал мне!»). Трех девочек увели – впрочем, они в той или иной мере сами изъявляли такое желание – к русским, и они вернулись через три дня, уверяя, что хорошо провели время.

Но в Бринлитце отношение к ним было недоброжелательное, и через неделю заключенные постепенно стали уходить из лагеря. Семьи, которым удалось не потерять друг друга, отправлялись прямо на Запад, не испытывая никакого желания снова встретиться с Польшей. Братья Бейские, пуская в ход свои запасы водки и одежды, пересекли всю Италию и у ее берегов сели на судно сионистов, которое и доставило их в Палестину. Дрезнеры через Моравию и Богемию попали в Германию, где Янек оказался среди первых десяти студентов, зачисленных в Баварский университет в Эрлангене.

Манси Рознер вернулась в Подгоже, где была обусловлена их встреча с Генри. Сам же Генри Рознер, освобожденный из Дахау вместе с Олемом, как-то в общественной уборной в Мюнхене

увидел человека в такой же, как у него, полосатой тюремной одежде. Генри спросил, где тот был в заключении.

– В Бринлитце, – последовал ответ.

Человек рассказал ему, что все, кроме одной старушки (как потом выяснилось, он был неточен) в Бринлитце остались в живых. Сама Манси узнала о том, что Генри выжил, от своей двоюродной сестры, которая прибежала в комнату в Подгоже, где Манси ждала встречи с мужем, размахивая польской газетой, где перечислялись имена уроженцев Польши, освобожденных из Дахау.

– Манси, – сказала кузина, – дай я тебя поцелую. И Генри жив, и Олек.

Подобная же встреча произошла и у Регины Горовитц.

Ей потребовалось около трех недель, чтобы с дочерью Нюсей добраться из Бринлитца до Кракова. Там она сняла комнатку – прихваченная с собой доля из морского склада позволила ей это сделать – и стала ждать Долека. С его появлением они стали наводить справки о Рихарде, но никаких новостей не поступало. Как-то в один из летних дней Регина увидела фильм об Аушвице, снятый русскими, где показывалось освобождение поляков из лагеря. Она увидела ставшие впоследствии знаменитые кадры с детьми за колючей проволокой, и как они в сопровождении медсестры уходят за электрифицированную ограду Аушвица-1. Будучи самым маленьким и тем самым привлекая к себе внимание, Рихард фигурировал в большинстве кадров. Не в силах сдержать слезы, Регина вскочила и выбежала из кинотеатра. Люди на улице попытались успокоить ее.

– Это мой сын, это мой сын! – продолжала рыдать она. Но теперь она по крайней мере знала, что мальчик жив, и ей удалось выяснить, что Рихард, освобожденный русскими, был передан в одну из еврейских спасательных организаций. Решив, что его родители погибли, спасатели передали его для усыновления старым знакомым Горовитцев, семье Либлинг. Получив их адрес, Регина приехала к Либлингам и, стоя у их дверей, услышала голос Рихарда, который колотил в сковородку, оповещая: «Сегодня для всех будет суп!» Когда она постучала в двери, он позвал госпожу Либлинг открыть их.

Так он вернулся к ней. Но из-за того, что в памяти у него остались виселицы Плачува и Аушвица, она не могла приводить его на детскую игровую площадку, где у него начиналась истерика при виде качелей.

* * *

В Линце группа Оскара, представившись американским властям, избавилась от своего странного транспорта в виде машины «скорой помощи», и на грузовике была доставлена в Нюрнберг в большой фильтрационный центр для освобожденных из концлагерей заключенных. И тут выяснилось, как и предполагалось, что выйти на свободу – далеко не простое дело.

В Конанце, у озера на швейцарской границе у Рихарда Фехена жила тетя. Когда американцы стали опрашивать группу, есть ли им куда податься, все назвали эту тетю. Восемь молодых заключенных из Бринлитца намеревались, если представится такая возможность, перетащить Шиндлеров через швейцарскую границу, если у кого-либо по отношению к немцам внезапно появится желание мстить, и в таком случае, даже в американской зоне они могут стать жертвой этих страстей. Кроме того, все восемь собирались эмигрировать и предполагали, что в Швейцарии будет легче осуществить свои намерения.

Рейбински припомнил, что хотя их отношения с комендантом в Нюрнберге носили теплый сердечный характер, тот все же не смог предоставить им транспорт, чтобы пробираться на юг в Констанце. Через Шварцвальд им пришлось добираться своими силами, часть пути пешком, часть на поезде. Неподалеку от Равенсбурга они отправились в местный лагерь тюремного типа и обратились к его американскому коменданту. Здесь на положении его гостей они опять-таки провели несколько дней, набираясь сил на армейском рационе. Затем, отвечая на любезность хозяина, допоздна засиживались с ним, рассказывая истории об Амоне и Плачуве, о Гросс-Розене, Аушвице и Бринлитце. Они надеялись, что он даст им транспорт до Констанцы, может быть, грузовик. Вместо этого он предоставил в их распоряжение автобус и снабдил провизией на дорогу. И хотя у Шиндлера еще были драгоценные камни и валюта общей стоимостью в 1000 рейхсмарок, автобус достался им даром, без оплаты. После долгого общения с немецкими бюрократами Оскару было трудно представить себе, что такое возможно.

К западу от Констанцы во французской оккупационной зоне, примыкавшей к швейцарской

границе, они остановили свой автобус в деревушке Крейцлинген. Розен зашел в магазин скобяных изделий и приобрел кусачки для резки проволоки. Есть основания считать, что при покупке кусачек компания по-прежнему была в своих полосатых одеяниях. И возможно человек за прилавком не смог выбрать, какому из двух соображений отдать предпочтение: а) это заключенные, и поскольку они планируют какое-то ограбление, надо позвонить французским властям; б) на самом деле это немецкие офицеры, которые хотят скрыться в таком маскарадном виде, и, может, им стоит оказать помощь.

Пограничные заграждения проходили перед Крейцлинген и с немецкой стороны охранялись французскими часовыми из *Surete Militaire*. Группа расположилась перед заграждением в конце деревни и стала ждать, когда часовой окажется далеко от них и они смогут, отогнув проволоку, оказаться в Швейцарии. К сожалению, какая-то женщина, вышедшая из-за поворота дороги, обратила на них внимание и кинулась предупреждать пограничную стражу и на французской и на швейцарской стороне. И в тихой швейцарской деревне, которая была зеркальным отражением точно такой же, расположенной на немецкой территории, швейцарская полиция окружила группу, но Рихард и Анка Резены вырвались и бросились бежать, так что их догнала и остановила патрульная машина. Через полчаса вся группа была передана обратно французам, которые сразу же обыскав их, нашли и драгоценности, и валюту; их отвезли в бывшую немецкую тюрьму и заперли в отдельных камерах.

Рейбинскому стало ясно: их подозревают в том, что они входили в состав охраны концентрационного лагеря. В таком случае вес, который они набрали, будучи гостями американцев, может бумерангом отозваться на их судьбе, потому что теперь-то они уже не выглядели столь истощенными, как при расставании с Бринлитцем. Каждого из них допрашивали по отдельности относительно подробностей их путешествия и о происхождении драгоценностей. Каждый откровенно рассказывал все, что ему было известно, но никто не знал, так ли будут себя вести остальные. Тут они испытывали больше страхов, чем во время пребывания у американцев, опасаясь, что если французы выяснят, кто такой Оскар и кем он был в Бринлитце, они смогут отдать его под суд.

Уклоняясь от ответов на вопросы о подлинной роли Оскара и Эмили, они провели в заключении около недели. Сами Шиндлеры теперь уже знали об иудаизме достаточно, чтобы пройти тест на знакомство с ним. Но манера поведения Оскара и его внешний вид вызывали серьезное сомнение в подлинности его рассказов, что он недавний узник СС. К сожалению, письмо на иврите, рассказывающее о нем, осталось в Линце у американцев.

Эдек Рейбински как лидер восьмерки подвергался допросам наиболее регулярно, и на седьмой день заключения его доставили в камеру для допросов, где он встретил человека в гражданском, говорившего по-польски. Его привезли сюда дабы проверить утверждения Эдека, что он, мол, родом из Кракова. В силу нескольких причин – может потому, что в ходе последовавшего допроса поляк играл роль сочувствующего ему, или же потому, что он слышал звуки знакомой речи, – Рейбински сломался, стал плакать и на беглом польском рассказал всю их историю от начала до конца. Остальных стали вызывать одного за другим; подводя их к Рейбинскому, всем говорили, что он признался, и требовали, чтобы они по-польски изложили правдивую версию. Когда к утру все версии совпали до мельчайших подробностей, всех, включая и Шиндлеров, собрали в камере для допросов, где оба следователя по очереди стали обнимать всех. Француз, вспоминал Рейбинский, не мог сдержать слез. Все были потрясены этим зрелищем – плачущий следователь. Когда он несколько успокоился, то приказал, чтобы ленч принесли не только ему и его коллеге из Польши, но и Шиндлерам и всей восьмерке.

В тот же день он устроил их в гостиницу на берегу озера в Констанце, где они оставались несколько дней, и за их пребывание там платила французская военная администрация.

К тому времени, когда вечером все расселись за столом в гостинице – Эмили, Рейбинский, Рехены и остальные – все имущество Оскара уже отошло Советам, а последние несколько драгоценных камней и валюта затерялись в лабиринтах освободившей их бюрократии. Он остался без копейки денег, но ел с таким же аппетитом и увлечением, словно устраивал в отеле званый обед для всей своей «семьи». Теперь у него было только будущее.

Теперь удачи Оскара сошли на нет. Мир так и не смог дать ему то, что давали времена войны. Оскар и Эмили перебрались в Мюнхен. Какое-то время они делили жилище с Рознерами, потому что Генрих с братом получили ангажемент в одном из мюнхенских ресторанов и стали как-то вставать на ноги. Один из бывших заключенных, встретив Оскара в маленькой запущенной квартире Рознеров, был потрясен его рваным пиджаком. Имущество в Кракове и Моравии, конечно же, было конфисковано русскими, а оставшиеся камни пошли на приобретение еды и напитков.

Когда Фейгенбаумы оказались в Мюнхене, они встретили его последнюю любовницу, еврейскую девушку, которой удалось выжить не в Бринлитце, а в гораздо более худших местах. Многие из гостей в комнатке, снимаемой Оскаром, снисходительно относились к его героическим слабостям, но испытывали стыд, видя, в каком положении находится Эмили.

Он по-прежнему относился к своим друзьям с щедрым великодушием, отлично делая вид, что его ничего не волнует, и умение делать то, что никому не под силу, не покинуло его. Генри Рознер напоминает, что он нашел источник получения цыплят в Мюнхене, где о них и думать забыли. Он старался бывать в обществе тех своих евреев, кто остался в Германии – Рознеров, Пфедфербергов, Дрезнеров, Фейгенбаумов, Штернбергов. Некоторые циники позже говорили, что в те времена в любом случае стоило бы тереться вокруг бывших узников концлагерей и иметь еврейских приятелей, присутствие которых обеспечивало безопасность. Но его независимости были чужды такие инстинктивные хитрости. *Schindlerjuden* стали его семьей.

Как и все они, Оскар узнал, что в феврале минувшего года Амон Гет был задержан танкистами генерала Паттона, когда находился в роли пациента в санатории СС в Бад Тельце; его держали в заключении в Дахау, а ближе к концу войны передали новому польскому правительству. В сущности, Амон оказался одним из первых немцев, переданных полякам для суда над ними. Часть бывших заключенных была приглашена на процесс в качестве свидетелей, и Амон, потерявший представление о действительности, пригласил для защиты таких свидетелей как Хелена Хирш и Оскар Шиндлер, но тот решил не ехать в Краков. Те же, кто прибыл на суд, видели, как Амон, отощавший из-за своего диабета, отчаянно, но тщетно пытался защищаться. Он утверждал, что все распоряжения о казнях и транспортировке заключенных подписывались его начальниками, так что это их преступление, а не его. Свидетели же, которые рассказывали об убийствах, совершенных руками коменданта, – утверждал Амон, – злостно преувеличивают. Да, несколько заключенных пришлось казнить как саботажников, но во время войны иная участь не могла ждать их.

Метек Пемпер, дожидавшийся, когда придет его время давать показания, сидел рядом с бывшим узником Плачува, который, увидев Амона на скамье подсудимых, прошептал: «Этот человек по-прежнему наводит на меня ужас». Но сам Пемпер, первым представ на свидетельском месте, дал полный отчет о преступлениях Амона. За ним последовали и остальные, среди которых были доктор Биберштейн и Хелена Хирш, их болезненные воспоминания не потеряли всей своей остроты. Амон был приговорен к смерти и повешен в Кракове 13 сентября 1946 года. Прошло два года с того времени, когда СС арестовало его в Вене за делишки на черном рынке. По сообщениям краковской прессы, он пошел на казнь, не проявив раскаяния, и перед смертью выкинул руку в национал-социалистском приветствии.

В Мюнхене сам Оскар опознал Липольда, задержанного американцами. Заключенные из Бринлитца сопровождали Оскара на процедуре опознания и слышали, как Шиндлер сказал протестующему Липольду: «Предоставишь это сделать мне или отдать тебя пятидесяти разъяренным евреям, которые ждут на улице?» Липольд тоже был повешен за свои преступления – не в Бринлитце, а за предыдущие в Будзыне.

Оскар к тому времени пришел к мысли, что станет фермером в Аргентине; он будет выращивать нутрий, больших южно-американских водоплавающих крыс, которые ценились из-за их меха. Оскар исходил из того, что тот же самый безошибочный коммерческий инстинкт, который в 1939 году привел его в Краков, заставляет его теперь пересечь Атлантику. Он был совершенно без денег, но «Джойнт», международная благотворительная еврейская организация, которой Оскар во время войны предоставлял свои отчеты и которая знала о его послужном списке, выразила желание помочь ему. В 1949 году ему была предоставлена безвозмездная ссуда в 15.000 долларов и выдана рекомендация («Ко Всем, Кого Это Может Касаться»), подписанная М.В. Бекельманом, вице-председателем исполнительного комитета «Джойнта». В ней говорилось:

"Американский комитет «Джойнт» тщательно расследовал деятельность мистера

Шиндлера во время войны и оккупации... Мы от всего сердца хотели бы рекомендовать всем организациям и отдельным лицам, вступающим в контакт с мистером Шиндлером, всемерно помогать ему в знак признания его выдающихся заслуг...

Под предлогом руководства нацистскими предприятиями сначала в Польше, а потом в Судетах, мистер Шиндлер создал достойные условия работы, а потом защитил еврейских мужчин и женщин, обреченных на смерть в Аушвице и в других столь же зловещих концентрационных лагерях... Лагерь Шиндлера в Бринлице, – был единственным лагерем на оккупированной нацистами территории, где евреев не только не убивали, но и не подвергали избиениям, относились к ним с уважением, которого заслуживают человеческие существа.

И теперь, когда он вынужден заново начинать жизнь, окажите ему содействие, как он в свое время помогал нашим братьям".

Направившись в Аргентину, он взял с собой полдюжины семей *Schindlerjuden*, оплатив им проезд. Вместе с Эмили он обосновался на ферме в окрестностях Буэнос-Айреса и работал на ней около десяти лет. Те из спасенных Оскаром, которые не видели его в те годы, сочли невозможным представить его в роли фермера, ибо он никогда не был склонен к утомительной постоянной рутине. Кое-кто говорил, и в этих словах была доля истины, что при всей невероятности их существования, и «Эмалия» и Бринлиц успешно функционировали потому, что на них были такие толковые головы, как Штерн и Банкер. В Аргентине же у Оскара не было такой поддержки, если, конечно, не считать здравого смысла и привычки к сельской жизни со стороны его жены Эмили.

Тем не менее, это десятилетие, в течение которого Оскар выращивал нутрии, продемонстрировало, что искусственно выращенные нутрии, в отличие от диких, дают мех и кожу не столь высокого качества, как предполагалось. К тому времени разорилось немало аналогичных предприятий, и в 1957 году ферма Шиндлеров обанкротилась. Эмили и Оскар перебрались в домик, приобретенный отделением «Бнай-Брит» в Сан-Висенте, южном пригороде Буэнос-Айреса, и Оскар стал искать себе работу в качестве коммивояжера. Тем не менее, через год он вернулся в Германию, а Эмили осталась.

Устроившись в небольшой квартирке во Франкфурте, он обзавелся капиталом для покупки цементного завода, не теряя надежды на получение большой компенсации от западногерманского министерства финансов за потерянную в Польше и Чехословакии собственность. Из его усилий практически ничего не вышло. Многие из близких ему людей пришли к выводу, что неудача его обращений к германскому правительству объяснялась ростом прогитлеровских настроений среди гражданских служащих среднего звена. Но, может быть, обращения Оскара не принесли результатов в силу чисто технических причин, и не представляется возможным уловить бюрократическую злонамеренность в ответах, поступивших к Оскару из Министерства.

Цементное предприятие Шиндлера было приобретено на средства, полученные от «Джойнта» и в виде «займа» от тех евреев Шиндлера, которые смогли найти себе место в послевоенной Германии. История его длилась недолго. В 1961-м Оскар опять обанкротился. На судьбу его предприятия повлияло несколько суровых зим, в ходе которых строительная индустрия сошла почти на нет; но кое-кто из спасенных Шиндлером считал, что неудача компании объяснялась беспечностью Оскара и его неприязнью к рутинными обязанностям.

В этом же году, прослышав о его неприятностях, *Schindlerjuden* из Израиля пригласили нанести им визит – все расходы они брали на себя. В израильской прессе появилось оповещение об этом на польском языке, предлагающее всем бывшим заключенным концентрационного лагеря Бринлиц, кто знал «Оскара Шиндлера из Германии» связываться с газетой. В Тель-Авиве Оскара ожидала бурная встреча, полная экстаза и восторгов. Дети спасенных им родителей, родившиеся после войны, не выпускали его из своего кольца. Он погрузнел, черты его лица расплылись. Но на всех встречах и приемах те, кто знали его раньше, видели, что он сохранил свою раскованность – это был все тот же Оскар. Та же ворчливая насмешливая пронизательность, то же непередаваемое обаяние, та же тяга к радостям земным – даже два банкротства не смогли изменить его.

То был как раз год процесса над Эйхманом, и визит Оскара в Израиль вызвал особый интерес международной прессы. Перед началом процесса Эйхмана корреспондент лондонской «Дейли Мейл» написал заметку о разительном контрасте между этими двумя людьми и процитировал начальные слова обращения *Schindlerjuden*, призывающего помогать Оскару: «Мы никогда не забудем беды египетские, мы не забудем Хамана, мы не забудем Гитлера. Но среди неправедных мы

всегда будем помнить праведных. Помните об Оскаре Шиндлере».

Среди тех, кому довелось пережить Холокост, было неверие в рассказы о столь благословенном трудовом лагере, как у Оскара, и эти сомнения слышались в голосах некоторых журналистов на пресс-конференции Шиндлера в Иерусалиме.

– Чем вы объясните, – спрашивали они, – свое тесное знакомство с высшими чинами СС в районе Кракова, с которыми вы постоянно имели дело?

– На этом этапе истории, – ответил Оскар, – было как-то трудноато обсуждать судьбу евреев с главным раввином Иерусалима.

Незадолго до окончания аргентинской эпопеи Оскара отдел свидетельств музея Йад-Вашем запросил и получил от него полный отчет о его деятельности в Кракове и в Бринлице. И теперь по инициативе отдела и учитывая мнение таких людей, как Ицхак Штерн, Якоб Штернберг и Моше Бейски (некогда подделявавшего для Оскара официальные печати, а теперь уважаемого ученого-юриста) музей Йад-Вашем поднял вопрос об официальном признании заслуг Оскара. Председателем совета был судья Ландау, который вел процесс Эйхмана. В распоряжении Йад-Вашем находилась масса собранных им свидетельств относительно Оскара. В этом внушительном собрании четыре носили критический характер. Хотя все четыре свидетеля подтверждали, что без помощи Оскара им было не выжить, они осуждали его деловые методы, особенно в первые месяцы войны. Два из четырех уничижающих его показаний были написаны отцом и сыном, которые ранее появились в нашем рассказе под фамилией Ц. Свою любовницу Ингрид Оскар поставил как *Treuhand* над их предприятием по сбыту эмалированных изделий. Третье заявление было подписано секретаршей Ц. и повторяло слухи об избиении владельцев предприятия, с которыми Штерн познакомил Оскара в 1940-м году. Четвертое заявление поступило от человека, утверждавшего, что до войны он владел эмалировочным предприятием Оскара, которое носившим название «Рекорд» – но Оскар, как он утверждал, пренебрег его интересами.

Судья Ландау и его совет могли бы счесть эти показания несущественными по сравнению с массой всех остальных и оставить их без комментариев. Тем более, что во всех четырех документах не отрицалось, что в любом случае Оскар был их спасителем, и совет мог задаться вопросом, почему же в таком случае, если Оскар вел себя столь преступно по отношению к этим людям, он пошел на непредставимый риск ради их спасения.

Муниципалитет Тель-Авива был первой организацией, которая воздала честь Оскару. В свой пятьдесят третий год рождения он получил право открыть памятную доску в Парке Героев. Надпись гласила, что он был спасителем 1.200 заключенных концлагеря Бринлиц, и хотя все спасенные им были перечислены поименно, оповещалось, что памятная доска воздвигнута в знак любви и благодарности ему. Через десять дней в Иерусалиме он был награжден званием Праведника, что было высшей почестью в Израиле, основанном на древнем племенном убеждении, что среди массы неверных Бог Израиля всегда выделяет достойных. Оскару также было предоставлено право посадить дерево на Аллее Праведников, которая ведет к музею Йад-Вашем. Дерево по-прежнему растет там, в ряду всех прочих посаженных в честь других праведников – во имя Юлиуса Мадритча, который неизменно и кормил, и оберегал своих рабочих, о чем не было и слышно на заводах Круппа и «ИГ Фарбен», и в честь Раймонда Титча, управляющего Мадритча в Плачuve. Мало какое из деревьев, высаженных в эту каменистую почву, вырастает выше 10 футов.

Немецкая пресса поведала, как Оскар во время войны спасал людей, и о церемонии награждения в музее Йад-Вашем. Эти отчеты, пусть и превозносили его, но не облегчили ему жизнь. На улицах Франкфурта ему шипели в спину, вслед летели камни, а группа рабочих орала, что его надо было сжечь со всеми прочими евреями. В 1963 году он дал в челюсть какому-то работяге, который назвал его «еврейским любимчиком», и тот подал на него в суд. В местном суде, самой низшей судебной инстанции в Германии, Оскару пришлось выслушать целую лекцию от судьи, который присудил его к уплате штрафа. «Я был готов покончить с собой, – писал он Генри Рознеру в Куинс в Нью-Йорке, – если бы не знал, какое это им доставит удовлетворение».

Все эти унижения усиливали его зависимость от спасенных им. Они единственные обеспечивали ему духовную и финансовую поддержку. В последние годы жизни он неизменно проводил несколько месяцев в году вместе с ними, живя в почете и довольстве в Тель-Авиве и Иерусалиме и бесплатно питаясь в румынском ресторанчике на Бен Иегуда стрит в Тель-Авиве, хотя Моше Бейски тщетно пытался ограничить его порцию тремя двойными коньяками за вечер. Но в конце концов брала верх другая половина его души, и он возвращался к своему скудному существованию в

тесной убогой квартирке в нескольких сотнях метров от центрального вокзала Франкфурта. В письмах из Лос-Анджелеса Польдек Пфедферберг просил всех спасенных помочь обеспечить ежедневное существование Оскара Шиндлера, состояние которого он описывал как «упадок духа, одиночество, разочарование».

* * *

Связь Оскара с *Schindlerjuden* носила определенный, установившийся с годами, характер. Полгода он был бабочкой под солнцем Израиля, а полгода проводил в трущобах Франкфурта. И у него постоянно не было денег.

Тель-Авивский комитет, в который опять вошли Ицхак Штерн, Якоб Штернберг и Моше Бейски продолжал оказывать давление на западногерманское правительство, побуждая его выделить Оскару Шиндлеру достойную пенсию. Основанием для таких обращений был героизм, проявленный во время войны, потерянное им имущество и плохое состояние здоровья. Первой официальной реакцией со стороны германского правительства было награждение Оскара Почетным Крестом в 1966 году, на церемонии присуждения которого присутствовал и Конрад Аденауэр. Но лишь к 1-му июля 1968 года министерство финансов было радо сообщить, что с данной даты ему будет выплачиваться пенсия в 200 марок ежемесячно. Через три месяца пенсионер Шиндлер из рук епископа Лимбургского получил знаки посвящения в рыцари церковного ордена Святого Сильвестра.

Оскар неизменно выражал желание сотрудничать с Федеральным департаментом юстиции в преследовании военных преступников. В этом деле он проявлял жесткость и непримиримость. К своему дню рождения в 1967 году он сообщил конфиденциальную информацию относительно многих из личного состава концлагеря Плачува. Рукопись его показаний свидетельствует, что он давал их без промедления, но с другой стороны, он очень скрупулезно относился к своим обязанностям свидетеля. Если он не знал ничего или очень мало о каком-нибудь рядовом эсэсовце, он так и говорил. В таком ключе он охарактеризовал Амтура, а из эсэсовцев – Зюгсбургера, а так же фройляйн Оннезорге, одну из надзирательниц, отличавшуюся всего лишь излишней вспыльчивостью. Тем не менее, он без замешательства назвал Боша убийцей и эксплуататором и рассказал, что столкнувшись с Бошем в 1946 году на вокзале в Мюнхене, он подошел к нему и спросил, спокойно ли ему спится после Плачува. Бош, сказал Оскар, к тому времени жил с паспортом, полученным в Восточной Германии. Старший инспектор Мохвинкел, представлявший в Плачуве интересы инспекции по делам вооруженных сил, был так же охарактеризован достаточно недвусмысленно: «Умный, но жестокий», – как сказал о нем Оскар. О Грюне, телохранителе Гета, он рассказал историю, как тот пытался убить заключенного Ламуса, которого ему удалось выкупить за бутылку водки. (Об этой истории свидетельствовали многие другие заключенные в своих показаниях, собранных в Йад-Вашеме). Об унтере СС Ритчеке Оскар сообщил, что репутация у него была не из лучших, но он сам, Оскар Шиндлер, ничего не знает о его преступлениях. Кроме того, он не уверен, в самом ли деле именно Ритчек изображен на трех фотографиях, которые ему показывали в департаменте юстиции. В его составе был единственный человек, с которым Оскар рисковал делиться непроверенной информацией – инженер Хут, который помог ему во время последнего ареста. Хут, говорил он, обладает высоким чувством ответственности, и его самым лучшим образом характеризуют даже сами заключенные.

* * *

После шестидесятилетия он стал сотрудничать с Обществом немецких друзей Еврейского университета, что явилось результатом настояний тех *Schindlerjuden*, которые были обеспокоены, чтобы в жизни у Оскара Шиндлера появились какие-то новые цели. Он начал работу по созданию фондов в Западной Германии. Его давние способности очаровывать бизнесменов и официальных лиц снова принесли свои плоды. Так же он помогал разрабатывать план обмена немецкими и израильскими ребятишками.

Несмотря на ухудшающееся состояние здоровья, он продолжал и пить, и вести такой же образ жизни, как и в молодости. Он влюбился в немку Аннемари, которую как-то встретил в отеле «Царь Давид» в Иерусалиме. В последние годы жизни он отдавал ей все свои чувства.

Его жена Эмили, не получая от него никакой финансовой помощи, продолжала жить в своем маленьком домике в Сан-Винсенте к югу от Буэнос-Айреса; она обитала в нем и в то время, когда писалась эта книга. Как и в Бринлитце, она была олицетворением спокойного достоинства. В документальном фильме, снятом немецким телевидением в 1973 году, она говорила – без горечи и озлобления, которых можно было бы ждать от брошенной жены – об Оскаре и Бринлитце, о своем пребывании в нем. Она недвусмысленно дала понять, что до войны Оскар не совершил ничего из ряда вон выходящего и продолжал оставаться таким же, каким и был. Тем не менее, ему повезло, что в тот краткий период времени с 1939 по 1945 годы, наполненный жестокостью, рядом с ним оказались люди, которым пригодились его доселе скрытые таланты.

В 1972 году во время посещения Оскаром исполнительного отдела Американских друзей Еврейского университета в Нью-Йорке, трое из *Schindlerjuden*, владевшие на паху большой строительной компанией в Нью-Джерси, обратившись к группе из семидесяти пяти бывших заключенных Шиндлера, собрали 120.000 долларов, которые пошли на создание отдела, посвященного Оскару, в Трумэнновском исследовательском Центре Еврейского университета. Собрание отдела включало в себя Книгу Жизни, составленную из рассказов спасенных Оскаром и список спасенных. Двоим из этой троицы, Мюррею Пантиреру и Исааку Левенштейну было всего по шестнадцать лет, когда Оскар забрал их в Бринлитц. Теперь дети Оскара стали его родителями – лучшее, что он создал, источник его гордости.

Он был очень болен. И еще в Бринлитце врачи – Александр Биберштейн, например – знали это. Один из них предупредил близких друзей Оскара: «Удивительно, как он еще продолжает жить. Его сердце работает на чистом упрямстве».

В октябре 1974 года он потерял сознание в своей маленькой квартирке рядом с вокзалом во Франкфурте и 9 октября умер в больнице. В свидетельстве о смерти сказано, что кальцинирование артерий мозга и сосудов сердца привело к фатальному исходу. В его завещании было высказано пожелание, о котором он неоднократно говорил многим из *Schindlerjuden* – чтобы его похоронили в Иерусалиме. Через две недели священник францисканского прихода в Иерусалиме дал свое согласие, чтобы герр Оскар Шиндлер, один из наиболее заблудших детей Церкви, нашел последнее успокоение на Латинском кладбище Иерусалима.

Прошел еще месяц, прежде чем тело Оскара в запаянном свинцовом гробу пронесли по узким улочкам Старого города в Иерусалиме до Латинского кладбища, обращенного к югу над Гинномской долиной, которая в Новом Завете названа Гееной. На газетных снимках можно было увидеть, как в море «евреев Шиндлера» его провожали Ицхак Штерн, Мойше Бейски, Хелена Хирш, Якоб Штернберг, Иуда Дрезнер.

Его оплакивали на всех континентах.